

**НОВЫЙ  
МИР**

12

---

1935

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ**

**И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**ж у р н а л**

**К Н И Г А  
ДВЕНАДЦАТАЯ  
ДЕКАБРЬ**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 5**

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Многокрасочная вкладка: И. В. СТАЛИН НА ВЫПУСКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ—картина худ. В. Н. ЯКОВЛЕВА.

1. Речь тов. СТАЛИНА на I Всесоюзном совещании стахановцев . . . . . 3
2. К. ГОРБУНОВ. — Кризис, рассказ . . . . . 15
3. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. — Дорога на Океан, роман, окончание . . . . . 31
4. БОР. КОРНИЛОВ. — Последний день Кирова, поэма . . . . . 106
5. БОР. ПИЛЬНЯК. — Созревание плодов, роман, окончание . . . . . 112
6. МАРИАННА ТОЛСТАЯ. — Два стихотворения . . . . . 160
7. С. МСТИСЛАВСКИЙ. — Удел сильных, пьеса . . . . . 162
8. Н. МХОВ. — Коломенский завод . . . . . 220

## ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Г. ЧУЛКОВ. — Путевые заметки . . . . . 236

## ЗА РУБЕЖОМ:

10. АЛ. ХАМАДАН. — США, окончание . . . . . 249

## ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

11. И. РАБИНОВИЧ. — Бронзовые пролетарии . . . . . 267

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

12. М. ЭГАРТ. — В. Каверин. «Исполнение желаний» . . . . . 283
13. ЭРТ. — Як. Рыкачев. «Сложный ход» . . . . . 284

Статформат Б/5 176 X 250.

Уполн. Главл. Б—15328.

Об'ем 18 печ. лист. по 64 000 знак.

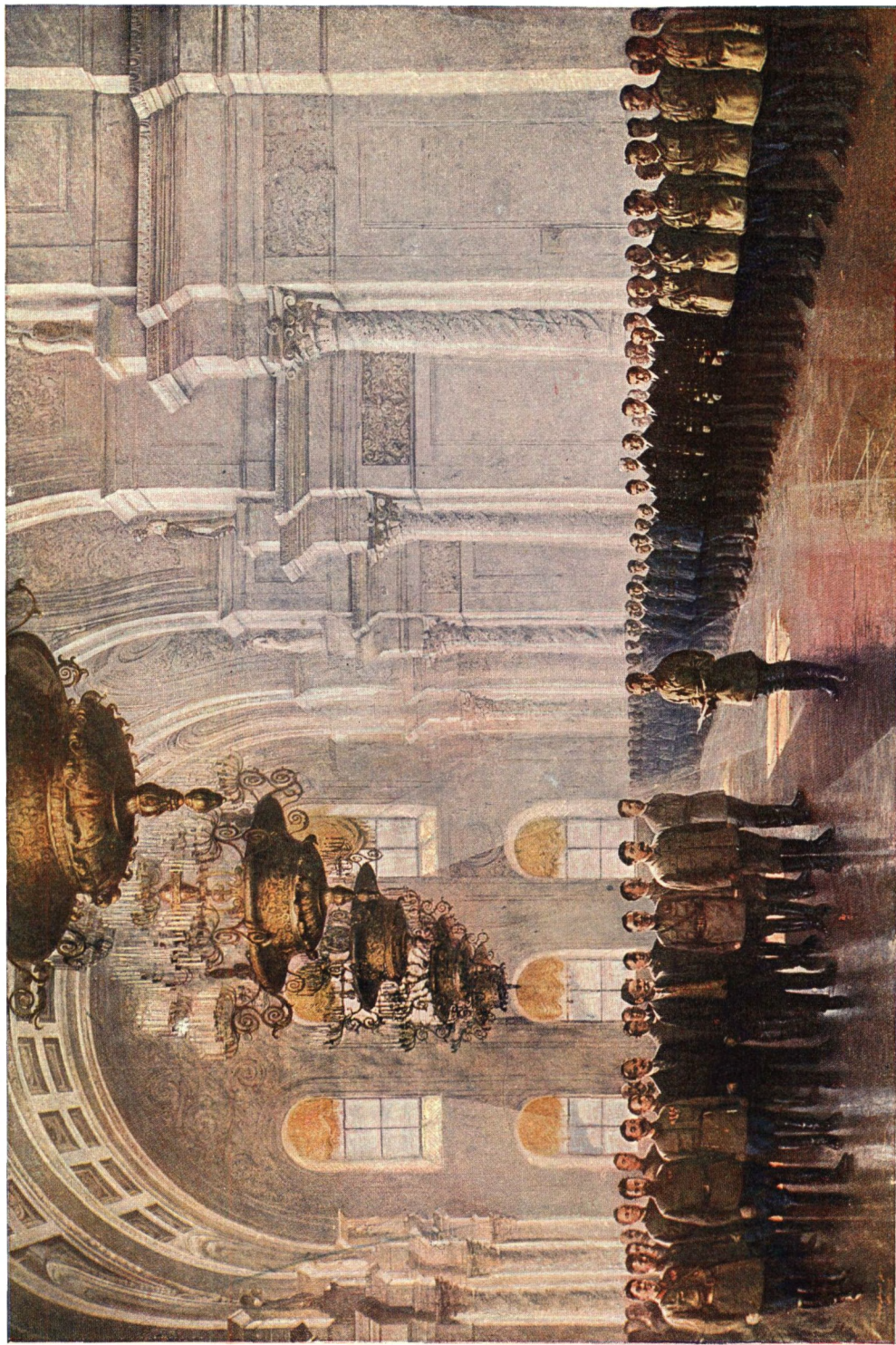
Сдано в набор 8/XII—35 1

Подписано к печати 30/XII—35 г.

Техн. ред. В Раковская,

Зак 1972

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Остепанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.



И. В. СТАЛИН НА ВЫПУСКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ.

Худ. В. Н. Яковлев.



# Речь товарища Сталина

## НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ СТАХАНОВЦЕВ

### 1. Значение стахановского движения

Товарищи! О стахановцах здесь, на этом совещании, так много и так хорошо говорили, что мне, собственно, мало что остается сказать. Все же, раз меня вызвали на трибуну, придется сказать несколько слов.

Стахановское движение нельзя рассматривать, как обычное движение рабочих и работниц. Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое войдет в историю нашего социалистического строительства, как одна из самых славных ее страниц.

В чем состоит значение стахановского движения?

Прежде всего в том, что оно выражает новый под'ем социалистического соревнования, новый высший этап социалистического соревнования. Почему новый, почему высший? Потому, что оно, стахановское движение, выгодно отличается, как выражение истического соревнования, от старого этапа социалистического сорев .ия. В прошлом, года три тому назад, в период первого этапа социалистического соревнования, социалистическое соревнование не обязательно было связано с новой техникой. Да тогда у нас, собственно, и не было почти новой техники. Нынешний же этап социалистического соревнования — стахановское движение, наоборот, — обязательно связан с новой техникой. Стахановское движение было бы немыслимо без новой, высшей техники. Перед вами люди, вроде гг. Стаханова, Бусыгина, Сметанина, Кривоноса, Пронина, Виноградовых и многих других, люди новые, рабочие и работницы, которые полностью овладели техникой своего дела, оседлали ее и погнали вперед. Таких людей у нас не было или почти не было года три тому назад. Это — люди новые, особенные.

Далее. Стахановское движение это такое движение рабочих и работниц, которое ставит своей целью преодоление нынешних технических норм, преодоление существующих проектных мощностей, преодоление существующих производственных планов и балансов. Преодоление — потому что они, эти самые нормы, стали уже старыми для наших дней, для наших новых людей. Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает старые техниче-

ские нормы, старые проектные мощности, старые производственные планы и требует создания новых, более высоких технических норм, проектных мощностей, производственных планов. Оно призвано произвести в нашей промышленности революцию. Именно поэтому оно, стахановское движение, является в основе своей глубоко революционным.

Здесь говорили уже, что стахановское движение, как выражение новых, более высоких технических норм, представляет собой образец той высокой производительности труда, которую может дать только социализм и чего не может дать капитализм. Это совершенно правильно. Почему капитализм разбил и преодолел феодализм? Потому, что он создал более высокие нормы производительности труда, он дал возможность обществу получать несравненно больше продуктов, чем это имело место при феодальных порядках. Потому, что он сделал общество более богатым. Почему может, должен и обязательно победит социализм капиталистическую систему хозяйства? Потому, что он может дать более высокие образцы труда, более высокую производительность труда, чем капиталистическая система хозяйства. Потому, что он может дать обществу больше продуктов и может сделать общество более богатым, чем капиталистическая система хозяйства.

Некоторые думают, что социализм можно укрепить путем некоторого материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это не верно. Это мелкобуржуазное представление о социализме. На самом деле социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества. Но для того, чтобы социализм мог добиться этой своей цели и сделать наше советское общество наиболее зажиточным, — необходимо иметь в стране такую производительность труда, которая перекрывает производительность труда передовых капиталистических стран. Без этого нечего и думать об изобилии продуктов и всякого рода предметов потребления. Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы, как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну.

Но этим не исчерпывается значение стахановского движения. Его значение состоит еще в том, что оно подготавливает условия для перехода от социализма к коммунизму.

Принцип социализма состоит в том, что в социалистическом обществе каждый работает по своим способностям и получает предметы потребления не по своим потребностям, а по той работе, которую он произвел для общества. Это значит, что культурно-технический уровень рабочего класса все еще не высок, противоположность между трудом умственным и трудом физическим продолжает существовать, производительность труда еще не так высока, чтобы обеспечить изобилие предметов потребления, ввиду чего обще-

ство вынуждено распределять предметы потребления не соответственно потребностям членов общества, а соответственно работе, произведенной ими для общества.

Коммунизм представляет более высокую степень развития. Принцип коммунизма состоит в том, что в коммунистическом обществе каждый работает по своим способностям и получает предметы потребления не по той работе, которую он произвел, а по тем потребностям культурно-развитого человека, которые у него имеются. Это значит, что культурно-технический уровень рабочего класса стал достаточно высок для того, чтобы подорвать основы противоположности между трудом умственным и трудом физическим, противоположность между трудом умственным и трудом физическим уже исчезла, а производительность труда поднялась на такую высокую ступень, что может обеспечить полное изобилие предметов потребления, ввиду чего общество имеет возможность распределять эти предметы соответственно потребностям его членов.

Некоторые думают, что уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться путем некоторого культурно-технического поравнения работников умственного и физического труда на базе снижения культурно-технического уровня инженеров и техников, работников умственного труда, до уровня среднеквалифицированных рабочих. Это совершенно неверно. Так могут думать о коммунизме только мелкобуржуазные болтуны. На самом деле уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться лишь на базе под'ема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда. Было бы смешно думать, что такой под'ем неосуществим. Он вполне осуществим в условиях Советского строя, где производительные силы страны освобождены от оков капитализма, где труд освобожден от гнета эксплуатации, где у власти стоит рабочий класс и где молодое поколение рабочего класса имеет все возможности обеспечить себе достаточное техническое образование. Нет никаких оснований сомневаться в том, что только такой культурно-технический под'ем рабочего класса может подорвать основы противоположности между трудом умственным и трудом физическим, что только он может обеспечить ту высокую производительность труда и то изобилие предметов потребления, которые необходимы для того, чтобы начать переход от социализма к коммунизму.

Стахановское движение знаменательно в этой связи в том отношении, что оно содержит в себе первые начатки, правда, еще слабые, но все же начатки такого именно культурно-технического под'ема рабочего класса нашей страны.

В самом деле, присмотритесь к товарищам стахановцам. Что это за люди? Это, главным образом, — молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами. Большинство из них прошло так называемый технический минимум и продол-



жают пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности, они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко учат и толкают их вперед, ибо это — люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать. Сегодня стахановцев еще мало, но кто может сомневаться, что завтра их будет вдесятеро больше? Разве не ясно, что стахановцы являются новаторами в нашей промышленности, что стахановское движение представляет будущность нашей индустрии, что оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, на котором только и можно добиться тех высших показателей производительности труда, которые необходимы для перехода от социализма к коммунизму и уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим?

Таково, товарищи, значение стахановского движения в деле нашего социалистического строительства.

Думали ли об этом великом значении стахановского движения Стаханов и Бусыгин, когда они приступали к ломке старых технических норм? Конечно, нет. У них были свои заботы, — они стремились к тому, чтобы вывести предприятие из прорыва и перевыполнить хозяйственный план. Но, любиваясь этой целью, им пришлось разбить старые технические нормы и развить высокую производительность труда, перекрывшую передовые капиталистические страны. Было бы однако смешно думать, что это обстоятельство может хоть сколько нибудь умалить великое историческое значение движения стахановцев.

То же самое можно сказать о тех рабочих, которые впервые организовали в нашей стране Советы Рабочих Депутатов в 1905 году. Они, конечно, не думали, что Советы Рабочих Депутатов послужат основой социалистического строя. Они только оборонялись от царизма, от буржуазии, создавая Советы Рабочих Депутатов. Но это обстоятельство несколько не противоречит тому несомненному факту, что движение за Советы Рабочих Депутатов, начатое в 1905 году ленинградскими и московскими рабочими, привело в конечном счете к разгрому капитализма и победе социализма в одной шестой части мира.

## **2. Корни стахановского движения**

Мы присутствуем сейчас у колыбели стахановского движения, у его истоков.

Следовало бы отметить некоторые характерные черты стахановского движения.

Бросается в глаза прежде всего тот факт, что оно, это движение, началось как-то самопроизвольно, почти стихийно, снизу, без какого бы то ни было давления со стороны администрации наших предприятий. Более того. Это движение зародилось и стало разворачиваться в известной мере вопреки воле администрации наших предприятий, даже в борьбе с ней. Товарищ Молотов уже рассказывал вам о том, какие муки пришлось пережить тов. Мусинскому, лесопильщику в Архангельске, когда он тайком от хозяйственной организации, тайком от контролеров вырабатывал новые, более высокие технические нормы. Судьба самого Стаханова была не лучшей, ибо ему приходилось обороняться при своем движении вперед не только от некоторых чинов администрации, но и от некоторых рабочих, высмеивавших и травивших его за «новшества». Что касается Бусыгина, то известно, что он за свои «новшества» чуть было не поплатился потерей работы на заводе, и лишь вмешательство начальника цеха тов. Соколинского помогло ему остаться на заводе.

Как видите, если и имело место какое либо воздействие со стороны администрации наших предприятий, то оно шло не навстречу стахановскому движению, а наперекор ему. Стало быть, стахановское движение зародилось и развернулось как движение, идущее снизу. И именно потому, что оно зародилось самопроизвольно, именно потому, что оно идет снизу, оно является наиболее жизненным и непреодолимым движением современности.

Следует, далее, остановиться еще на одной характерной черте стахановского движения. Состоит она, эта характерная черта, в том, что стахановское движение разнеслось по всему лицу нашего Союза не постепенно, а с какой-то невиданной быстротой, как ураган. С чего началось дело? Стаханов поднял техническую норму добычи угля впятеро или вшестеро, если не больше. Бусыгин и Сметанин сделали то же самое, один — в области машиностроения, другой — в области обувной промышленности. Газеты сообщили об этих фактах. И вдруг — пламя стахановского движения об'яло всю страну. В чем тут дело? Откуда взялась такая быстрота в деле распространения стахановского движения? Может быть Стаханов и Бусыгин являются большими организаторами с большими связями в областях и районах СССР, и они сами организовали это дело? Нет, конечно, нет! Может быть Стаханов и Бусыгин имеют претензию быть великими фигурами нашей страны и они сами разнесли искры стахановского движения по всей стране? Это тоже неверно. Вы видели здесь Стаханова и Бусыгина. Они выступали на совещании. Это — люди простые и скромные, без каких бы то ни было претензий на то, чтобы стяжать лавры фигур всесоюзного масштаба. Мне даже кажется, что они несколько смущены тем размахом движения, которое развернулось у нас вопреки их ожиданиям. И если, несмотря на это, спички, брошенной Стахановым и Бусыгиным, оказалось достаточно для того, чтобы все это дело развернулось в пламя, — то это значит, что стахановское движение является делом вполне назревшим. Только движение, которое вполне созрело и ждет толчка для того, чтобы вырваться на волю, — только такое движение могло распространиться так быстро и нарастать, как снежный ком.

Чем об'яснить, что стахановское движение оказалось делом вполне незревшим? Где причины того, что оно получило такое быстрое распространение? Каковы корни стахановского движения?

Их, этих причин, по крайней мере четыре.

1) Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом прежде всего корень стахановского движения. Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица — бич рабочего класса, если бы у нас жилось плохо, неприглядно, не весело, то никакого стахановского движения не было бы у нас. (*Аплодисменты*). Наша пролетарская революция является единственной в мире революцией, которой довелось показать народу не только свои политические результаты, но и результаты материальные. Из всех рабочих революций мы знаем только одну, которая кое как добилась власти. Это—Парижская Коммуна. Но она существовала не долго. Она, правда, попыталась разбить оковы капитализма, но она не успела их разбить и тем более не успела показать народу благие материальные результаты революции. Наша революция является единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела еще дать народу материальные условия для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость нашей революции. Конечно, хорошо прогнать капиталистов, прогнать помещиков, прогнать царских опричников, взять власть и получить свободу. Это очень хорошо. Но, к сожалению, одной лишь свободы далеко еще недостаточно. Если нехватает хлеба, нехватает масла и жиров, нехватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой. (*Одобрительные возгласы, аплодисменты*). Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело и вот на какой почве выросло стахановское движение.

2) Вторым источником стахановского движения является у нас отсутствие эксплуатации. Люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обогащения туенядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество, где у власти стоят лучшие люди рабочего класса. Поэтому-то труд имеет у нас общественное значение, он является делом чести и славы. При капитализме труд имеет частный, личный характер. Выработал больше, получай больше и живи себе, как знаешь. Никто тебя не знает и знать не хочет. Ты работаешь на капиталистов, ты их обогащаешь? А как же иначе? Для того тебя и наняли, чтобы ты обогащал эксплуататоров. Ты не согласен с этим, — ступай в ряды безработных и прозябай как знаешь, — найдем других, более сговорчивых. Поэтому-то труд людей не высоко ценится при капитализме. Понятно, что в таких условиях стахановскому движению не

может быть места. Другое дело — в условиях советского строя. Здесь трудовой человек в почете. Здесь он работает не на эксплуататоров, а на себя, на свой класс, на общество. Здесь трудовой человек не может чувствовать себя заброшенным и одиноким. Наоборот, трудовой человек чувствует себя у нас свободным гражданином своей страны, своего рода общественным деятелем. И если он работает хорошо и дает обществу то, что может дать, — он герой труда, он овеян славой. Понятно, что только в таких условиях могло зародиться стахановское движение.

3) Третьим источником стахановского движения следует считать наличие у нас новой техники. Стахановское движение органически связано с новой техникой. Без новой техники, без новых заводов и фабрик, без нового оборудования стахановское движение не могло бы у нас зародиться. Без новой техники можно поднять технические нормы в один-два раза — не больше. Если стахановцы подняли технические нормы в пять и в шесть раз, то это значит, что они опираются целиком и полностью на новую технику. Таким образом выходит, что индустриализация нашей страны, реконструкция наших заводов и фабрик, наличие новой техники и нового оборудования послужили одной из причин, породивших стахановское движение.

4) Но на одной лишь новой технике далеко не уедешь. Можно иметь первоклассную технику, первоклассные заводы и фабрики, но если нет людей, способных оседлать эту технику, техника так и останется у вас голой техникой. Чтобы новая техника могла дать свои результаты, надо иметь еще людей, кадры рабочих и работниц, способные стать во главе техники и двинуть ее вперед. Зарождение и рост стахановского движения означают, что у нас уже родились такие кадры среди рабочих и работниц. Года два тому назад партия сказала, что, построив новые заводы и фабрики и дав нашим предприятиям новое оборудование, — мы сделали лишь половину дела. Партия сказала тогда, что энтузиазм строительства новых заводов надо дополнить энтузиазмом их освоения, что только таким путем можно довести дело до конца. Очевидно, что за эти два года шло освоение этой новой техники и рождение новых кадров. Теперь ясно, что такие кадры уже имеются у нас. Понятно, что без таких кадров, без этих новых людей у нас не было бы никакого стахановского движения. Таким образом новые люди из рабочих и работниц, освоившие новую технику, послужили той силой, которая оформила и двинула вперед стахановское движение.

Таковы условия, породившие и двинувшие вперед стахановское движение.

### **3. Новые люди — новые технические нормы**

Я говорил, что стахановское движение развилось не в порядке постепенности, а в порядке взрыва, прорвавшего какую-то плотину. Очевидно, что ему пришлось преодолеть какие-то препоны. Кто-то ему мешал, кто-то его зажимал, и вот, накопив силы, стахановское движение прорвало эти препоны и залило страну.

В чем тут дело, кто же, собственно, мешал?

Мешали старые технические нормы и люди, стоявшие за спиной этих норм. Несколько лет тому назад наши инженерно-технические и хозяйственные работники составили известные технические нормы применительно к технической отсталости наших рабочих и работниц. С тех пор прошло несколько лет. Люди за это время выросли и подковались технически. А технические нормы оставались неизменными. Понятно, что эти нормы оказались теперь для наших новых людей устаревшими. Теперь все ругают действующие технические нормы. Но они ведь не с неба упали. И дело тут вовсе не в том, что эти технические нормы были составлены в свое время, как нормы заниженные. Дело прежде всего в том, что теперь, когда эти нормы стали уже устаревшими, пытаются отстаивать их, как нормы современные. Цепляются за техническую отсталость наших рабочих и работниц, ориентируются на эту отсталость, исходят из отсталости, и дело доходит наконец до того, что начинают играть в отсталость. Ну, а как быть, если эта отсталость отходит в область прошлого? Неужели мы будем преклоняться перед нашей отсталостью и делать из нее икону, фетиш? Как быть, если рабочие и работницы успели уже вырасти и подковаться технически? Как быть, если старые технические нормы перестали соответствовать действительности, а наши рабочие и работницы успели уже на деле перекрыть их впятеро, вдесятеро? Разве мы когда либо присягали на верность нашей отсталости? Кажется, не было этого у нас, товарищи? (*Общий смех*). Разве мы исходили из того, что наши рабочие и работницы так и останутся навеки отсталыми? Как будто бы мы не исходили из этого? (*Общий смех*). В чем же тогда дело? Неужели у нас не хватит смелости сломить консерватизм некоторых наших инженеров и техников, сломить старые традиции и нормы и дать простор новым силам рабочего класса?

Толкуют о науке. Говорят, что данные науки, данные технических справочников и инструкций противоречат требованиям стахановцев о новых, более высоких технических нормах. Но о какой науке идет здесь речь? Данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвавшая связи с практикой, с опытом, — какая же это наука? Если бы наука была такой, какой ее изображают некоторые наши консервативные товарищи, то она давно погибла бы для человечества. Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики. Если бы дело обстояло иначе, у нас не было бы вообще науки, не было бы, скажем, астрономии, и мы все еще пробавлялись бы уветшалой системой Птолемея, у нас не было бы биологии, и мы все еще утешались бы легендой о сотворении человека, у нас не было бы химии, и мы все еще пробавлялись бы прорицаниями алхимиков.

Вот почему я думаю, что наши инженерно-технические и хозяйственные работники, успевшие уже порядочно поотстать от стахановского движения, сделали бы хорошо, если бы они перестали цепляться за старые технические нормы и перестроились по-настоящему, по-научному, на новый, стахановский лад.

Хорошо, скажут нам. Но как быть с техническими нормами вообще? Нужны ли они для промышленности, или можно обойтись вовсе без всяких норм?

Одни говорят, что нам не нужно больше никаких технических норм. Это неверно, товарищи. Более того, — это глупо. Без технических норм невозможно плановое хозяйство. Технические нормы нужны, кроме того, для того, чтобы отстающие массы подтягивать к передовым. Технические нормы — это большая регулирующая сила, организующая на производстве широкие массы рабочих вокруг передовых элементов рабочего класса. Следовательно, нам нужны технические нормы, но не те, какие существуют теперь, а более высокие.

Другие говорят, что технические нормы нужны, но их надо довести теперь же до тех достижений, которых добились Стахановы, Бусыгины, Виноградовы и другие. Это тоже неверно. Такие нормы были бы нереальны для настоящего времени, ибо рабочие и работницы, менее подкованные технически, чем Стахановы и Бусыгины, не смогли бы выполнить таких норм. Нам нужны такие технические нормы, которые проходили бы где нибудь посредине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых добились Стахановы и Бусыгины. Взять, например, Марию Демченко, всем известную пятисотницу по свекле. Она добилась урожая свеклы на гектар в 500 и больше центнеров. Можно ли это достижение сделать нормой урожайности для всего свекловичного хозяйства, скажем, на Украине? Нет, нельзя. Рано пока говорить об этом. Мария Демченко добилась пятисот и больше центнеров на один гектар, а средний урожай по свекле, например, на Украине в этом году составляет 130—132 центнера на гектар. Разница, как видите, не маленькая. Можно ли дать норму для урожайности по свекле в 400 или в 300 центнеров? Все знатоки дела говорят, что нельзя этого делать пока что. Очевидно, что придется дать норму по урожайности на гектар по Украине на 1936 год в 200—250 центнеров. А норма эта не маленькая, так как, в случае ее выполнения, она могла бы дать нам вдвое больше сахара, чем в 1935 году. То же самое надо сказать насчет промышленности. Стаханов перекрыл существующую техническую норму кажется раз в десять или даже больше. Объявить это достижение новой технической нормой для всех работающих на отбойном молотке было бы неразумно. Очевидно, что придется дать норму, проходящую где либо посредине между существующей технической нормой и нормой, осуществленной тов. Стахановым.

Одно во всяком случае ясно: нынешние технические нормы уже не соответствуют действительности, они отстали и превратились в тормоз для нашей промышленности, а для того, чтобы не тормозить нашу промышленность, необходимо их заменить новыми, более высокими техническими нормами. Новые люди, новые времена, — новые технические нормы.

#### 4. Ближайшие задачи

В чем состоят наши ближайшие задачи с точки зрения интересов стахановского движения?

Чтобы не разбрасываться, давайте сведем это дело к двум ближайшим задачам.

*Во-первых.* Задача состоит в том, чтобы помочь стахановцам развернуть дальше стахановское движение и распространить его вширь и вглубь на все области и районы СССР. Это с одной стороны. И с другой стороны — обуздать все те элементы из хозяйственных и инженерно-технических работников, которые упорно цепляются за старое, не хотят двигаться вперед и систематически тормозят развертывание стахановского движения. Чтобы распространить во-всю стахановское движение по всему лицу нашей страны, для этого одних лишь стахановцев, конечно, недостаточно. Необходимо, чтобы наши партийные организации включились в это дело и помогли стахановцам довести движение до конца. В этом отношении Донецкая областная организация проявила бесспорно большую инициативу. Хорошо работают в этом смысле Московская и Ленинградская областные организации. А как другие области? Они, видимо, все еще «раскачиваются». Например, что-то неслышно или очень мало слышно об Урале, хотя Урал является, как известно, громадным промышленным центром. То же самое надо сказать о Западной Сибири, о Кузбассе, где еще, по всем видимостям, не успели «раскачаться». Впрочем, можно не сомневаться, что наши партийные организации возьмутся за это дело и помогут стахановцам преодолеть трудности. Что касается другой стороны дела — обуздания упорствующих консерваторов из среды хозяйственных и инженерно-технических работников, — то здесь дело будет обстоять несколько посложнее. Придется в первую очередь убеждать, терпеливо и по-товарищески убеждать эти консервативные элементы промышленности — в прогрессивности стахановского движения и в необходимости перестроиться на стахановский лад. А если убеждения не помогут, придется принять более решительные меры. Взять, например, Наркомат Путей Сообщения. В центральном аппарате этого наркомата недавно существовала группа профессоров, инженеров и других знатоков дела — среди них были и коммунисты, — которая уверяла всех в том, что 13—14 километров коммерческой скорости в час является пределом, дальше которого нельзя, невозможно двигаться, если не хотят вступить в противоречие с «наукой об эксплуатации». Это была довольно авторитетная группа, которая проповедывала свои взгляды устно и печатно, давала инструкции соответствующим органам НКПС и вообще являлась «властителем дум» среди эксплуатационников. Мы, не знатоки дела, на основании предложений целого ряда практиков железнодорожного дела в свою очередь уверяли этих авторитетных профессоров, что 13—14 километров не могут быть пределом, что при известной организации дела можно расширить этот предел. В ответ на это эта группа вместо того, чтобы прислушаться к голосу опыта и практики и пересмотреть свое отношение к делу, бросилась

в борьбу с прогрессивными элементами железнодорожного дела и еще больше усилила пропаганду своих консервативных взглядов. Понятно, что нам пришлось дать этим уважаемым людям слегка в зубы и вежливоенько вы-проводить их из центрального аппарата НКПС. (*Аплодисменты*). И что же? Мы имеем теперь коммерческую скорость в 18—19 километров в час. (*Аплодисменты*). Мне думается, товарищи, что в крайнем случае придется прибегнуть к этому методу и в других областях нашего народного хозяйства, если, конечно, упорствующие консерваторы не перестанут мешать и бросать палки в колеса стахановскому движению.

*Во-вторых.* Задача состоит в том, чтобы помочь перестроиться и возглавить стахановское движение тем хозяйственникам, инженерам и техникам, которые не хотят мешать стахановскому движению, которые сочувствуют этому движению, но не сумели еще перестроиться, не сумели еще возглавить стахановское движение. Я должен сказать, товарищи, что таких хозяйственников, инженеров и техников имеется у нас не мало. И если мы поможем этим товарищам, то их будет у нас несомненно еще больше.

Я думаю, что если эти задачи будут выполнены нами, стахановское движение развернется во-всю, охватит все области и районы нашей страны и покажет нам чудеса новых достижений.

## 5. Два слова

Несколько слов насчет настоящего совещания, насчет его значения. Ленин учил, что настоящими руководителями-большевиками могут быть только такие руководители, которые умеют не только учить рабочих и крестьян, но и учиться у них. Кое-кому из большевиков эти слова Ленина не понравились. Но история показывает, что Ленин оказался прав и в этой области на все сто процентов. В самом деле, миллионы трудящихся, рабочих и крестьян трудятся, живут, борются. Кто может сомневаться в том, что эти люди живут не впустую, что, живя и борясь, эти люди накапливают громадный практический опыт? Разве можно сомневаться в том, что руководители, пренебрегающие этим опытом, не могут считаться настоящими руководителями? Стало быть, мы, руководители партии и правительства, должны не только учить рабочих, но и учиться у них. Что вы, члены настоящего совещания, кое-чему поучились здесь, на совещании у руководителей нашего правительства, — этого я не стану отрицать. Но нельзя отрицать и того, что и мы, руководители правительства, многому поучились у вас, у стахановцев, у членов настоящего совещания. Так вот, спасибо вам, товарищи, за учебу, большое спасибо! (*Бурные аплодисменты*).

Наконец, два слова о том, как следовало бы ознаменовать настоящее совещание. Мы здесь в президиуме совещались и решили, что придется



как либо отметить это совещание руководителей власти с руководителями стахановского движения. И вот мы пришли к такому решению, что человек 100—120 из вас придется представить к высшей награде.

*Голоса:* правильно. (Бурные аплодисменты).

*Сталин.* Если вы одобряете, товарищи, то мы это дело проведем.

(Участники совещания стахановцев устраивают бурную восторженную овацию товарищу Сталину. Весь зал гремит от рукоплесканий, мощное «ура» потрясает своды зала. Бесчисленные возгласы, приветствующие вождя партии товарища Сталина, несутся со всех концов. Оvation заканчивается мощным пением «Интернационала» — три тысячи участников совещания исполняют пролетарский гимн).

---

# Кризис

Рассказ

К. ГОРБУНОВ

**А**мбулаторный прием больных кончился. Доктор Павел Кузьмич, уже сняв халат, мыл руки. Прodelывая это за день много раз, старик в каждом случае был одинаково тщателен. Он долго взбивал между ладонями розоватую мыльную пену, чистил под ногтями щеткой и, сполоснув руки водой, затем раствором сулемы, шел к окну, внимательно разглядывал на свету пальцы, точно перед глазами его находились пробирки с опасными бактериями. Безупречная аккуратность, которая потом восхищала даже товарищей по работе — людей, также приученных к чистоплотности, — стала развиваться у него еще смолоду, особенно в год женитьбы на Вере Юлиановне. Вскоре после брака жена рассудительно заявила:

— Основа твоей профессии, Павел, конечно, — всегдашняя осторожность; однако, учись различать: где кроется главная суть обязанностей, а где — только их форма.

Он с недоумением пожал плечами.

— Я достаточно знаю дело. Чего ты хочешь?

— Совсем немного. Видишь ли, ты моешь перед осмотром руки, чтобы охранить интересы больного — человека для нас постороннего, покидая же амбулаторию, думай о себе. Одним словом, уходя домой, надо вымыть руки гораздо лучше прежнего.

— Позволь, Верочка, — возразил щепетильный Павел Кузьмич, — если говорить о предпочтении, то вывод полу-

чается иной: в часы приема у меня двойная ответственность — за себя больного, значит, именно в амбулатории я должен...

— Ничего не значит, друг мой! энергично перебила молодая супруга. Помни: дома, кроме тебя, живу я, у нас безусловно, появятся дети. Захворает семья, ты вынужден будешь ухаживать за нами, отчего не найдешь времени лечить крестьян. Предположим, наконец, что твоя маленькая небрежность на работе принесла кому-нибудь случайный ущерб, так ведь пострадавший и прочие больные не останутся без помощи, сляжешь, не дай бог, ты, — кто им и может?

Голос двадцатилетней жены удивил доктора категоричностью, а слова ее — при незаконченном гимназическом образовании — выходили слишком круглыми, точными. Казалось, буд она переняла от кого-то смысл и тон рассуждений. Доктор взглянул на тонкие, выкомерно сложенные губы упрямо выдающийся подбородок — почувствовал, как у него слегка замило сердце. «Порою она сильно походит на свою мать. Та — вздорная, раздражительная женщина, кичась своим дворянским происхождением испортила характер мужу — скромному чиновнику. Неужели и моей уравновешенности грозит опасность?»

— Кто тебе внушил такие мысли? — мягко спросил он.

Обхватив голову, Вера Юлиановна неожиданно закрычала:

— Перестаньте меня злить!

Выяснилось, что разубеждать ее бесполезно. Утвердясь в каком-либо мнении, она могла спорить до слез и приступа головных болей. Дабы помирить жену и свои взгляды на врачебный долг, Павел Кузьмич решил постоянно содержать руки в самой безукоризненной чистоте. Позже это сделалось у него привычкой, не требующей ни малейшего усилия воли.

Сегодня доктор обнаружил на правом безымянном пальце чуть приметную заусеницу и поспешил прижечь ее иодом. Как и всегда перед концом работы, в приемной был нарушен порядок вещей: баночки, пузырьки, стоящие обычно в стенном шкафчике, теснились на столе и подоконнике; среди лекарств поблескивала сталь инструментов; на полу, выкрашенном желтой масляной краской, белели хлопья ваты и ниточки марли. Закрыв пробкой иод, старик нетерпеливо покосился в сторону двери, ожидая появления уборщицы.

Но вошла сестра Маша. На дежурствах в больнице девушка пользовалась общей любовью. Склонные поболтать выздоравливающие находили в ней живого собеседника; она умела ободрить безнадежного; с ласковой настойчивостью умеряла недовольство капризных. Шутя отвечая на вопросы, сестра ловким, почти незаметным движением ставила подмышку лежащему градусник, уверенно наливала микстуру. В присутствии доктора Маша терялась. Помогая ему вести осмотр или делая при нем перевязку, она краснела от взгляда маленьких его, сердито понукающих глаз; бинт у нее путался, инструменты плохо слушались. Особенно смущали сестру подвижные, седые брови старика. Они напоминали ей толстых, мохнатых гусениц, которых Маша отчаянно боялась в детстве.

— Там еще одна больная только-что приехала, — тихо сообщила девушка.

— Я не железный, — устало проворчал доктор, — тридцать пять душ отпустил.

Домашний вид его — без халата, с полотенцем, перекинутым через плечо, в короткой, пузырящейся на спине тол-

стовке, — должно быть, придал Маше смелости.

— Шестерикова Антонина из Еланского колхоза, — объяснила она. — Помните? Такая низенькая, с темным родимым пятнышком на щеке.

Павел Кузьмич бросил на спинку стула полотенце.

— Говорил ведь прошлый раз. Чего еще ей? Не могу! — решительно отказал он.

— Просит.

— Все просят, всем надо. Пусть знает часы приема и не опаздывает.

Но Маша уже открыла дверь, пропуская впереди себя маленькую круглолицую женщину в большую цветную платку с длинными кистями. Она спокойно прошла на середину комнаты, прямо к доктору и сказала:

— Извините меня, если можете, я так и не поняла тогда, что мне — совсем нельзя, или просто какая опасность есть?

Говорила она, как и двигалась, медлительно, степенно.

С профессиональной грубостью Павел Кузьмич взял ее за бедра, пониже пояса черной юбки и, сдавливая их, отрывисто бросил:

— Таз у тебя, знаешь, где? Сантиметр видела? Может, все еще на верхки меряете?

— Что вы, — не согласилась Антонина, — у нас в кооперативе давно перешли на метр, в нем ровно сто сантиметров.

— Ну вот, а когда у тебя таз не больше семи, то родить нельзя, — заключил доктор и отошел к окну.

За окном, на запыленной снегом березе, сидела ворона, терзая утащенную с помойки куриную лапу.

— Сколько раз наказывал конюху Андрею стрелять ворон, — говорил старик, — садятся на всякую гадость, потом летят к больнице.

Маша, потупясь, перебирала лежащие на столе инструменты.

— Совсем нельзя или опасно только? — повторила Антонина.

Коротко вздохнув, доктор сказал:

— Умереть можешь.

Из дрогнувших пальцев сестры выпал пинцет, тревожно звякнув о застекленную поверхность столика.

— Что вы там бьете? — раздраженно заметил доктор. — Оставьте в покое мои инструменты.

Теребя кисти платка, Шестерикова медленно выговорила:

— Первый-то раз ведь можно было.

— С тех пор таз деформировался. Понятно?

— Изменился, выходит, — задумчиво объяснила она себе трудное слово и покачала головой: — Нет, мне это непонятно.

— Других спроси, — отрезал Павел Кузьмич. — Дочь у тебя есть, и хватит. — Брови его изломались под острым углом, — верный признак того, что старик начинал сердиться.

— Нам сына хотелось бы, — с доверчивой простотой сказала женщина, мельком взглянув на Машу.

Доктор заторопился к ней, шаркая кожаными подошвами валенок.

— Сына вам, сына?! — повторял он, все более раздражаясь. — А я, вот, вдовец! В квартире со мной — никого, кроме прислуги, да и та, вроде меня, из ума выживает. Дети, извольте видеть, учатся. Они плевать на отца хотели. У них там — зачеты да практика. Открытки не бросят, не то, что приехать... Мало ли кому чего хочется. Не будет сына у вас, не получится. Операция нужна.

Антонина запахла на груди концы платка.

— Конечно, у всякого свое. Тогда — извините и до свиданья.

Она вышла, беззвучно прикрыв за собою дверь. Несколько минут в приемной стояла неприятная тишина. Наконец, раздался негодующий голос Павла Кузьмича:

— «Нам сына хотелось!» — переразнил он. — Важности-то сколько: себя называет «мы».

— Она, вероятно, мужа в виду имела, — заступилась Маша.

— Все равно хамство. Расфрантилась! Кулачка, наверное.

— Это — жена бригадира.

— Мне хоть самого председателя колхоза. Я им всю жизнь культуру да скромность вбивал и не перестану! — решительно закончил старик, направляясь к вешалке.

Маша отчаянно прошептала вслед ему:

— Зачем же вы их лгать учите?

Он с юношеской живостью повернулся, изумленно протянул:

— Что-о? — Горло перехватило у него хрипотцой. — Вы понимаете, что сказали? Мы на вечеринке глупыми дерзостями кавалера забавляем или на работе сейчас находимся?

— Понимаю, все понимаю. Ругайте меня, уволить можете, — шептала сестра, то смятенно прижимая руки к груди, то касаясь ими пылающих щек. — Я не могу, Павел Кузьмич, — тверже сказала она. — Вы отлично знаете, что таз у нее нормальный.

— Ага! — вспыхнул доктор. — Повашему, главврач дурак, невежда? Пока я заведу больницу, прошу не заводить своих порядков. Без переучек доживу! Ей в девках еще гулять бы, а она уж — второго ребенка. Придет страда, в избе — никого, около ребенка — мухи... Не позволю! — он рванул с вешалки тяжелую романовскую шубу. — Сложных операций без числа сделал, — аборт сумею провести.

— Павел Кузьмич, — позвала Маша, — а вы давно последний раз в избу заходили?

Доктор так и остался с одним только надетым рукавом. Эта скромная тихоня дерзила сегодня не переставая.

— Вы что же, каждый день в деревне бываете? — кашлянув, угрожающе спросил он, словно Маша, часто посещая без его ведома деревню, совершала служебное преступление.

— Почти каждый, — ободряясь, подтвердила сестра. — У нас весь персонал бывает, только вас, простите, никуда не вытащишь. Вы либо дома сидите, либо на работе. У нас в больнице жизнь так и кипит: газеты читают, кружки разные, собрания, — торопливо перечисляла Маша, точно боясь, что смелость покинет ее в решительный момент и ей не удастся сказать всего.

— Не зазнавайтесь, — угрюмо обрывал доктор. — Я в свое время один больше всех вас работал.

— Так помогите же нам! — воскликнула Маша. — Не одна я прошу, все просят, и фельдшер — наш предместкома тоже... Что случилось, почему вы так переменялись?

Павел Кузьмич постоял у двери, пошевелил бровями и, не ответив, выбежал в коридор. Там ему встретилась уборщица.

— Конюшня! — заорал он в ее перепуганное лицо. — В приемной до сих пор не убрано. Ни на кого положиться нельзя. Выговор, прогоню!

Маша устало опустила на стул. К ней в приемную заглянул фельдшер Никита Иванович. Весельчак, богатырского сложенья, он только-что вернулся с мороза, и от него веяло холодом; румянец заливал безусое, полнокровное лицо его.

— Блажит старичок? — весело спросил он, поглаживая свой шишковатый, боксерский затылок, выбритый до синевы, несмотря на зимнюю пору.

— Бушует, — подтвердила сестра. — Набралась я духу и сказала ему все, что хотелось. Поможет ли, не знаю, а отношения наверняка испортились.

— Ничего, он вспыльчивый, да отходчивый, — успокоил фельдшер. Он принял оживленно рассказывать: — Только-что приехал из Порецкого. Шестидесяти малышам оспу привил, — рука, понимаешь, онемела, вакцины чуть хватило. Чудно! «Надо бы перед началом разъяснительную беседу с женщинами провести!» — говорю председателю совета. Он смеется: «Дежурный исполнитель оповестит, — и без беседы успевайте принимать». И действительно, повалили, удержу нет. Грамотный народ, Маша, стал.

Сестра задумчиво вставила:

— Вот бы Павлу Кузьмичу показать.

Фельдшер крупно шагал по тесноватой приемной, трогал вещи, заглянул для чего-то в шкафчик, коснулся висящей электрической лампочки; она закачалась на проводе. Возбуждение Никиты Ивановича после работы и морозного

степного пути не улеглось еще, — большому телу фельдшера хотелось движений.

— Температурит дедушка, — говорил он. — Жизнь сильно перепугала нашего старичка, хворает он.

— Все шутите вы, Никита, — отозвалась невесело Маша. — А я боюсь: дождемся ли мы благоприятного кризиса?

Жил доктор всего лишь через дорогу от больницы. Шатровый дом, крытый железом, построило для него, в плодовом больничном саду, еще земство. Опираясь на толстую суковатую палку, доктор легко и сбивчиво шагал по узенькой тропинке, которую зимой и летом протаптывали его старческие ноги вдоль одного и того же ряда яблонь.

Негреющее вечернее солнце поддурманило корку снега. Стволы цепенеющих от холода деревьев утопали в сугробе по самые ветви. Со стороны прачечной доносилось пронзительное скрипенье колодезного журавля, точно по зимней дороге, вдоль садового забора, двигался на колесах тяжелый воз.

«Меня из дома не выгонишь, — ворчал Павел Кузьмич, часто сбиваясь с тропинки и угодая в сугроб. — А куда в такую службу, если до ближайшего селения восемь километров?» — оправдывался он.

Ему вспомнились жестокие споры в земстве при постройке больницы. Он предлагал соорудить ее в большом волостном центре, на одинаковом расстоянии от крайних деревень участка, стремясь облегчить посещение больницы далеко живущим крестьянам. Какие-то пронырливые техники, подрядчики настаивали заложить постройку в луговой степи, около молочной фермы помещика Белецкого. Они указывали на благоприятную почву избранного ими места, говорили о полезном для больных климате, близости родниковых источников.

— Позвольте, климат и воду мне выбирать! — горячился доктор. — Почву отдайте агрономам, — я не абрикосы еду радовать.

Его не послушались. Воду пришлось добывать в степи глубоким бурением; летом было здесь невыносимо знойно,

зимой гулял северо-восточный леденящий ветер. Потом выяснилось: помещик дал земцам крупную взятку, полагая, что благодаря больнице ферма увеличит сбыт продуктов. Надежда не оправдалась. Белецкий продал стадо мясникам, ферму — на слом, и больница мишилась последнего соседства.

— Просчитался, — злорадно шептал Павел Кузьмич. — Земские идиоты отпускали на содержание больного по шесть копеек в день, а он хотел, чтобы я покупал у него яйца и масло.

Прежде, чем войти в дом, хозяин, отряхивая снег, постучал носками вале-нок о ступени крыльца. Столовая встретила Павла Кузьмича тишиной, почти нежилым видом обстановки. Вокруг стола беспорядочно толпилась дюжина незанятых стульев. Рамки косо висящих картин бахромилась паутиной. Коричневый лак фисгармонии запорошило седой пылью. В углу, на дерюжке, лежала старая, больная собака. Она приоткрыла навстречу доктору один глаз, слабо стукнула о пол хвостом и опять погрузилась в дремоту. Все было до того знакомо, что переставало замечаться, а главное, все вызывало скуку.

Наконец, из кухни появилась санитарка Евдокия. Женщина дородная, с широкой мужской спиной и походкой, она при жизни Веры Юлиановны заходила в свободные от дежурства часы помочь ей приготовить обед, убрать комнаты, стирала белье. Когда Павел Кузьмич овдовел, она совсем переселилась в дом, неплохо заменив доктору и детям умершую хозяйку. Дети выросли, уехали. Евдокия, сочтя, видимо, что главные заботы ее кончились, перестала наблюдать за порядком в доме. Наскоро покормив доктора, санитарка уходила в больницу, где у нее часто находились дела, если не служебные, так еще какие-то, не известные Павлу Кузьмичу. Незанятое время она проводила в таинственном одиночестве на кухне, куда доктор избегал заглядывать. Кастрюли, запах мяса, тушеного с лавровым листом, все еще напоминали ему, по старой памяти, о властных окриках жены. Он робел там, предоставив санитарке неограниченное право распоряжаться в

этом полутемном царстве пищи, не спрашивая о ценах и количестве закупаемых продуктов.

— Вы скорее пообедайте, мне итти надо, — гулко, на весь дом сказала Евдокия.

Привыкнув к ее независимости, Павел Кузьмич не стал возражать. Он только, с оттенком обиды, сказал:

— Я не Христа ради у тебя кормлюсь, чтобы нежеванными глотать куски. Невогда, — так подожду твоего возвращения.

— Зачем же говеть? Я шей-то вам налью, жареное припасу, на стол поставлю да хорошенько закрою, — не остынет.

Она прогремела в буфете посудой и, двинув на клеенку тарелку, жаровню, исчезла. Старик достал графинчик разбавленного спирта. Долго не притрагиваясь к рюмке и щам, сидел, двигая бровями, рассеянно пощипывая хлеб. Над тарелкой струился пар. Затуманенный взор доктора видел, через открытые двери, внутренность всех комнат просторной квартиры. В кабинете скудно мерцали стеклянные дверцы книжного шкафа. Угол письменного стола занимал пухлый альбом открыток, привезенный из Крыма в год брачной поездки. Со стены спальни глядело с крупной фотографии холодное и отчужденное лицо Веры Юлиановны.

«Сколько под одной крышей прожили, а чем вспомнить, не знаю» — горько подумал Павел Кузьмич.

В комнатах сына и дочери стояло по застланной кровати, на которых третий год никто не спал.

«Черти, покату-т-трава» — мысленно выругал он детей и зажал в костистой, широкой ладони рюмку.

Выпил и сказал вслух:

— Я, кажется, немого распускаться начал. И дом нехороший у меня: пустынный очень.

Остаток дня прошел у доктора в молчаливом раздумьи. Столовую наполнили сумерки, серые и вязкие, как табачный дым. Стояла мертвая тишина. Так, вероятно, тихо бывает на дне глубокого озера. Павел Кузьмич зажег лампу и принес из чуланчика саквояж, набитый старыми письмами. Блеклые листки оживили прошлое. Розоватая секретка, полу-

ченная доктором от Веры Юлиановны в ответ на его любовное признание, гласила:

«Не скажу, что — равнодушна к Вам. Знайте, единственный вид любви на свете — брак. Нельзя и помышлять о нем, пока Вы не окончите университета. Посещайте меня реже, чтобы не возбудить сплетен».

Помнится, эти сухие, насквозь рассудочные строки он с умилением принял тогда как отговорку девушки, испуганной первым чувством и наивно пытающейся сделать строгое лицо.

— Вероятно, теща записку диктовала, — усмехнулся теперь Павел Кузьмич.

Приятель-студент, сын земского начальника, писал:

«Я твердо выбрал себе поприще. Называется оно: адво-ка-ту-ра! Напрасно ты мечешься, ищешь путей. Продолжай подвигаться на медицинском. Мы, выходя из народа, должны вернуться к нему — просвещать его, лечить ему духовные и физические раны».

Сбоку письма юношеским почерком доктора значилось:

«Мастер петь, соловушка, получая от папаши 1000 рублей в год на карманные расходы. Поучился бы, вот, на уроки. Не вспомнишь ты о народе. Будешь сутяжничать по судам в пользу темных дельцов!»

«Как хорошо, что я во-время порвал с ним, — одобрительно подумал доктор. — Правильно и со страховым агентом разошелся. Тоже был пошляк и, вдобавок, жулик: сгорит у мужика поветь, а он пишет в акте — весь дом сгорел. Мужичку выдают полностью страховку, агент с него баранью тушу получает. Да, — вздохнул Павел Кузьмич, — от жены сторонился, с друзьями перессорился, а новых приятелей не нашол. Где я их возьму? Живу в берлоге, морозы — на дворе» — прошептал он старое оправдание.

Павел Кузьмич напрасно винил в своем одиночестве морозы и отдаленность больницы. Три года назад, в селе Елани, откуда приезжала сегодня Шестерикова, водились у него замечательные друзья: старый Липат — бывший загонщик вол-

ков на охотах помещика Белецкого, комсомолец-библиотекарь Сеня, еще несколько человек из молодежи; больше всех нравился доктору председатель только-что организованного тогда Еланского колхоза Алексей Голубев. Доктор не знал, сколько лет Голубеву, но за русую бороду с пышными бакенбардами, особенно за голубые, рассудительные глаза, он считал председателя человеком опытным. Ни степная метель, ни удушливый зной не удерживали Павла Кузьмича от частого посещения новых товарищей. Он приезжал к ним каждый свободный вечер: помогал составлять хозяйственные отчеты, осматривал, не дожидаясь ветеринара, готовность лошадей к полевым работам, ходил вместе с Голубевым по избам, убеждая тех, кто не верил преимуществам колхоза. Последнее делалось обычно так:

— Вот, — начинал Голубев, садясь в передний угол, — я здешний уроженец, меня вы слушаете плохо. Приехал доктор, ученый, он вам лучше опишет.

— В жилище бобра чище и просторней, чем у тебя, — говорил Павел Кузьмич хозяину, показывая на грязь и тесноту избы. — Ты одинок и беззащитен. Против тебя богатый сосед, засуха, болезни. Гляди сюда! — Доктор щипал себе кисть руки. — Видишь, как покраснело? Это кровяные шарики сбежались из всего тела, чтобы защитить большое место. Так и беднякам надо всем вместе жить.

Если в колхозе прибавлялся, после беседы, новый работник, то на обратном пути в правление доктор, не помня себя от восторга, кричал:

— Голубев! Какие мы дела завернули, не чета земским оболтусам. Пробьем, Голубев, мы деревенскую толщу!

— Пробьем, — отзывался ровным голосом председатель.

Увлеченно разговаривая, они проходили при январской луне по спящим улицам села, сопровождаемые голосами потревоженных собак. Обычно рядом с Голубевым шагал молчаливый Сеня. Позади скользил и припрыгивал на укатанной дороге Липат в подмерзших лаптях. Доктор оборачивался к нему.

— Липат, наша берет!

— Сила! — отвечал тот, еле держась на ногах. Спотыкающийся этот мужичок, тщедушный и разговорчивый, напоминал доктору подвыпившего молодого петушка, который наклевался однажды вишен из-под самодельной настойки, выброшенных Верой Юлиановной на двор.

Иногда, вслед им, с визгом летело полено, брошенное кем-то из темного переулка. Голубев приостанавливался и спокойным басом говорил:

— Не шали! — Он добавлял: — Это все Спиридоновы, подберемся мы к ним.

Сладостная дрожь щекотала спину Павла Кузьмича от восхищения перед невозмутимостью Голубева и от гордого сознания, что он, доктор, не боится опасности, наравне с этим человеком. То были лучшие минуты в жизни Павла Кузьмича.

— Ты умрешь где-нибудь по дороге между Еланью и больницей, — сердито говорила дома Вера Юлиановна. — Так и надо: не забывая семью.

Полный счастливого превосходства, он молча выслушивал попреки ограниченной и вздорной жены. Детям — резвой Оле и задумчивому Юрию, чем-то похожему на избача Сеню, — внушал:

— Растите в отца, помогайте его маленькому участию в больших событиях.

По мере своих юных сил и разума они помогали: готовили для избы-читальни плакаты, переписывали стенную газету.

Несмотря на старание ближайших помощников Голубева, дела в колхозе шли плохо. Люди небрежно пахали землю, добрая половина урожая терялась в поле, а то и разворовывалась, инвентарь портился, лошади дохли. Прилежным работникам подметывались угрожающие записки. Сам доктор получил открытку, в ней — славянскими буквами — значилось:

«Твоя доука промывать чужие кишки. Запутаться в мирскую беду — своих кишек не соберешь».

— Спиридоновские штучки, — хмурился Голубев, — изловить бы на чем этих зверей. — Он похудел; мучимый ангиной, судорожно глотал слюну; в голубых глазах его появились от бессонных ночей красные прожилки.

Братьев Спиридоновых Павел Кузьмич не знал, в больницу к нему они не ездили. От Голубева доктор слышал, что они зажиточные старообрядцы, окруженные в Елани многочисленной родней. Веря злым отзывам председателя о братьях, доктор возненавидел их заочно. К удивлению своему, он увидел как-то Липата, беседующего с одним из Спиридоновых. Заметив Павла Кузьмича, они оборвали разговор.

— Липат! — возмутился доктор. — Разве он тебе компания?

Некоторое время Спиридонов пристально изучал физиономию доктора, будто стараясь запомнить каждую ее черточку, потом раздельно ответил:

— Других лечите, мы здоровые.

Липат виновато молчал. Доктор поспешил в правление к Голубеву, чтобы рассказать о неприятности. Там его поразила новая неожиданность: председатель сбрил бороду.

— Да ты совсем мальчишка! — воскликнул Павел Кузьмич, позабыв о встрече с Липатом и Спиридоновым.

— Двадцать четыре года! — прохрипел Голубев.

Доктор поглядел на резкую худобу его щек, молчаливого Сеню, на озабоченных чем-то колхозников, и ему впервые стало тревожно:

«Ой, не пробуйте, пожалуй, толщу. Ой, мало их, все — молодежь. А тех кто считал? Кругом — темнота...»

Домой он приехал сумрачный. Не успел раздеться, как прискакал из колхоза верховой посыльный.

— Вертайтесь в колхоз, Голубев просит

Председатель встретил Павла Кузьмича укоризной.

— Чего скрылись? — Он указал на колхозников. — Объясните им, я уж голос сорвал. Зерно, понимаете, осыпается, а у них третий день престольного праздника.

— Не на помещика батрачим! — возразила сумрачно колхозница, с желтушным лицом, как бы натертым охрой.

Рядом с ней очутился возбужденный до неузнаваемости Сеня:

— Чьи слова, чьи речи? Я первый в борозду становлюсь!



Павел Кузьмич оглох от шума. Единственным спокойным человеком оказался ему Липат. Он сидел на столе и беззаботно перематывал онучу. К ужасу своему, доктор убедился, что на сей раз бывший загонщик волков не только похож на хмельного петушка, но и на самом деле пьян. Липат встал на стол, топнул грязным лаптем и крикнул:

— Кто здесь галдеж разводит?!

На столе подпрыгнула чернильница, покатила ручка.

— Уймись, чернила прольешь, — предупредил Голубев.

— А погореть твоей черниле! — завизжал Липат и, соскочив на пол, бросился к двери.

Через полчаса у окна кто-то радостно возгласил:

— Пожар!

Все, сшибая друг друга, кинулись к выходу. За окошечкой, вдали от жилья, горел сарай с колхозным инвентарем. Около правления колхоза растерянно переминался один Павел Кузьмич. У ног его ползал, разевавая рот, покинутый в суматохе ребенок; плач его заглушался набатом. Под гору неслись к реке бочки, металась оголтелая скотина.

— Началось, теперь гляди! — услышал доктор над самым ухом. Мимо пробежал Спиридонов.

«Сейчас вилы схватит» — мелькнуло у доктора. Он испугался не за жизнь свою, а за что-то еще более дорогое, неотвратимо гибнущее на его глазах.

Павел Кузьмич взобрался на дрожки, приказал конюху Андрею:

— Гони!

Он ехал, не решаясь оглянуться на клубы черного дыма, зажимая уши от преследующего набата.

К несчастьям этой осени прибавилась смерть жены и отъезд детей в столицу. Доктор уединился, избегая встречать людей, кроме сослуживцев. Он хлопотал в больнице, стараясь забыть пережитое. Читая в районной газете о высылке из Елани братьев Спиридоновых, о большом урожае в колхозе, старик неловко ежился. Походило, что заметки напоминали ему, будто в далеком про-

шлом не оказал он помощи тяжело больному.

— Что же, значит, пробили они толщу, — любил говорить доктор, успокаивая себя.

Внешне его радовали хорошие вести, но проверить их воочию Павел Кузьмич не рисковал: «Вдруг опять увидишь Липата, пляшущего на столе». Слушая рассказы о том, как много людей в деревне учатся, он утвердительно поддакивал. А на приеме в амбулатории прежде всего спрашивал больного:

— Неграмотный, поди?

Вот и сейчас, развернув после чтения старых писем газету и пробежав корреспонденцию об успешном ремонте тракторов, Павел Кузьмич с удовлетворением крикнул:

— Не плохо!

И тут же невольно подумал:

«Интересно знать — сколько дней этой осенью справляли в Елани храмовой праздник?»

Часам к девяти вечера в окно стукнул завхоз и громко прокричал, что со станции привезли новую партию белья. Доктор махнул ему: зашел бы. Тот, не поняв жеста или не пожелав зайти, нырнул от освещенного окна в темноту. Павел Кузьмич оделся и пошел в кладовую. Белье прислали добротное, из желтоватой бязи. Занятый осмотром его и подсчетом, завхоз отвечал на вопросы доктора лаконично: «Да, все в целости», «Завтра отчитаюсь», «Лошади угодили заморенные, оттого и поздно приехали».

— Что вы мне, одолжение составляете? — рассердился Павел Кузьмич и направился в больницу.

Придаться здесь ни к чему не удалось. Больные спали. Вторая сестра, Олимпиада Васильевна, бодрствовала над книгой в дежурке. Сиделки оказались на своих местах. Старик вернулся домой.

Ему не спалось. Пружины матраца кололи бока и отзывались на каждое движение скрипом. В темноте шумно вздыхал больной пес. Мысли в голову лезли неприятные: «Один, случись припадок сердечный, — воды никто не подаст. Воры могут забраться. Ограби-

ли же недавно почтальона!..» Заполночь он с облегчением услышал, как, отперев дверь своим ключом, вернулась Евдокия. Из кухни легла на пол столовой узкая полоска света.

«Теперь засядет до зари, — подумал доктор. — Чем занимается она? Шьет? Гадает на картах?.. Проклятая бессонища. Что это стукнуло в чулане? Кажется, мышеловка захлопнулась».

Он поднялся, накинул прямо на белье шубу, но мышеловку проверять не пошел: остановился у двери кухни, не решаясь переступить порога. Он увидел темное жерло печки, рогатые ухваты, — на одном из них, прислоненном к углу, висел опрокинутый горшок; целый протенок занимало деревянное корыто, огромное, точно колода; на ящике с углями лежали меха для раздувания самовара. Загроможденность кухни вещами, копоть в ней напомнили Павлу Кузьмичу тесную деревенскую кузницу.

Евдокия, припав грудью к столу, водила карандашом по тетрадке. Губы ее напряженно шевелились, из-под чепца выбилась и упала на лоб длинная, седящая прядь волос.

— Убери, — невольно посоветовал доктор.

— Что? — не поняла она, занятая делом.

— Волосы убери: тень от них падает на бумагу и мешает писать.

— А-а, — протянула санитарка, коротко скользнув рукой по лбу. — Я и не разберу — чего мне так неловко?

— Ты прошла бы в столовую.

— Зачем?

— Стол там удобней, и лампа над ним висит более светлая, можно зазечь...

— Она, проклятая, керосину много жрет. Садитесь, что ли. И вы полуночищаете?

— Так, думы разные.

Запахнув плотнее на коленях полы шубы, он присел с краешка табурета.

— Не помешаю тебе тут?

— Нет. Только в голове у меня разбегаются, когда вы говорите.

— Не буду, — виновато пообещал он, и тут же не утерпел: — Где ты сегодня была?

— На кружке.

— Чего там у вас?

— Грамоте выучили. Теперь проходим — о наделе колхозов землей. Посылают меня в деревню объяснять этот надел.

— Сумеешь?

— Чем я хуже других?

Самоуверенность Евдокии не понравилась Павлу Кузьмичу. Одновременно ему польстило, что в больнице, под его началом, работают столь храбрые люди.

— Ну, кончишь кружок?.. — поинтересовался он.

— Чего вы? — снова не поняла санитарка.

— Много ли он тебе принесет?

— Дальше пойду.

— В сестры, что ли?

— Какая тут хитрость? — отозвалась Евдокия.

Ответы ее становились все короче. Она чаще встряхивала головой, как бы отгоняя навязчивые вопросы. Павел Кузьмич язвительно усмехнулся:

— Чего там — в сестры? Сдавай прямо на главврача. Больницей станешь заведывать.

Она сердито бросила карандаш.

— Понаехало сегодня на вас. Кажется, насмешек я не заслужила: детей вырастила, как покойница наказывала, худого не скажешь.

— А обо мне, вон, худое говорят, — пожаловался доктор.

— Пускай языки чешут, кому не лень. От больных про вас ничего, кроме хорошего, не услышишь: и заботливый, и рука у вас легкая.

— Говорят, закис я, — огорченно добавил он.

— Немудрено, — согласилась Евдокия. — Молодым-то хорошо туда-сюда поворачиваться. Наблюдаете порядок в больнице, и за то пусть кланяются.

Павел Кузьмич недовольно возразил: — Какая моя старость? Павлову 86 лет, а он в чушки играет.

— Кто это?

— Ученый.

— Не знаю. До таких лет вы умрете, пожалуй.

— У тебя тоже волосы седые, — отомстил ей доктор.

— Я характером спокойная, значит, долговечная, — ответила Евдокия, снова порываясь к тетрадке.

Разговор больше не клеился, и Павел Кузьмич побрел с неохотой в спальню. Изнурительная бессонница вызвала новый прилив раздражения. Он ворочался на кровати, бормоча:

— Состариться... Поработали бы в те времена, когда на рецепт отпускали по 2 копейки. Вам хорошо теперь: бязь возами шлют.

От сознания того, что больничное хозяйство обеспечено на круглый год бельем, а в погребе и кладовой избыток солений, картошки, убойны, ему стало приятно. Кроме того, смертельные исходы в больнице наблюдались редко, радовала также и дисциплина среди персонала.

— Евдокия! — бодро позвал он. — Завтра у меня выходной день?

— Будто вы не знаете?

— Мне, Евдокия, конечно, умирать пора. Однако, сходи пораньше на конюшню да вели Андрею подать лошадь.

Утром он проснулся от конского ржания под окном. Евдокия была уже на дежурстве. Доктор, поленясь разогреть самовар, вышел из дому без чая. Холодный воздух пощипывал только-что умытое лицо. Сад курился морозным туманцем. На яблонях и грушах висели легкие гирлянды инея. Казалось, достаточно ветерку шелохнуть сад — и серебряный убор его зазвенит. Луч солнца из-за крыши дома коснулся вершин деревьев, и они заискрились голубоватыми огоньками. В больнице топились печи. Тающими завитками дым восходил к небу.

Вчерашнее недовольство у Павла Кузьмича рассеялось. Ему хотелось поговорить, — какой предстоит хороший февральский день, — и он пожалел, что не позвал с собой фельдшера Никиту Ивановича или Машу. Но, вспомнив о цели путешествия, решил: «Правильно сделал, поехав один». Скучать ему не пришлось, — конюх Андрей представлял незаменимого собеседника. Страхивая иней, он шаркнул рукавицей по унтеровским, времен японской войны, усам и густо спросил:

— Далече ли?

— В Елань.

— Дорога известная. Опять же, давненько я вас туда не возил. К больному, что ли, теперь или — в колхоз?

— Так себе, — замылся доктор.

Андрей с улыбкой повернулся к нему, показывая сквозь усы отлично сохранившиеся белоснежные зубы.

— За так нам деньги не платят. Давно я хотел посоветоваться, — неожиданно перескочил он, — почему это, когда посмотрю я в такой вот денек на сугроб, то глазам делается больно и радуга заблестит?

— Слеза есть?

— Обязательно! — радостно подтвердил конюх.

Павел Кузьмич ответил, как по книжке:

— Солнечный луч преломляется в слезе и, распадаясь на цвета, вызывает мгновенное зрелище радуги.

— Учись, — крикнул Андрей, хлестнув лошадь. — А я уж собирался у вас капель просить.

По обеим сторонам дороги расстилались сугробы. Мирно скрипели полозья саней. Доктор вспомнил, как беседовал в еланских избах, и начал рассказывать Андрею, отчего появляется радуга на небе; выругал за невежество попов, объясняющих ее происхождение обещанием бога не наказывать людей потопом.

— Понятно, — сказал Андрей, — я им деньги перестал с тех пор таскать, как мы с вами порецкого батьку из приемной выголкали.

Конюх явно прихвастнул: не участвовал он в изгнании попа, да и вообще никто не выгнал его из приемной, — поп сам ушел. Но Павлу Кузьмичу льстило потолковать о былом своем подвиге, и он в сотый раз оживленно принялся излагать его Андрею.

— Помнишь? Еду, так же вот, с тобой в Порецкое, осматривать школьничков. Заворачиваю ребятишкам веки, — поголовное малокровие! «Коровы, — спрашиваю, — есть?» У некоторых окказались «Пейте больше молока!» Отвечают: «Грех, великий пост». — «Чепуха, — говорю, — пейте!» Ну-с, поп, конечно, донес на меня...

— А вы про него статейку в «Губернские ведомости»! — подхватил Андрей.

— Не поместили, трусы! — воскликнул доктор.

— Теперешняя-то «Коммунарка» разве тогда не выпускалась?

— Что ты, из ума выжил? — удивился Павел Кузьмич.

— Да я и сам знаю, не выходила, — ответил конюх. — Только жалко: она зубастая, живо бы остригла попа.

Доктор продолжал:

— Тут и пошло у нас! Он против меня — старух и стариков...

— А мы на него, которых помоложе! — заключил Андрей.

— Я — тех, что помоложе, — с удовольствием подтвердил доктор. — Получается: или меня — из волости, или — его. Скорее, пожалуй, меня. Плохо дело! Через год, на последний день масленицы, вдруг скачет попов работник: «Пожалуйте, батюшке худо». Приезжаю. Объялся, конечно, поп. Я ему — клизму. Студобил. «Лекарства, — просит, — дайте». — «Лекарства, — говорю, — никакого, а с завтрашнего дня извольте на диету: кроме яиц всмятку и молока, — ничего». — Павел Кузьмич торжественно взмахнул руками. — Так что ж ты думал? Ел ведь! Потом явился ко мне в приемную: «Прошу оставить грех мой в тайне между нами, я его эпитимией испущаю». «Виноват, — отвечаю, — как врач, я помог вам, а как общественник постараюсь доканать вас, и никакой эпитимии на язык свой накладывать не собираюсь». Огорчился поп и уехал.

Андрей восхищенно хлопнул кнутовищем по борту саней.

— Тут ему и каюк.

— Оскормился, — со смехом заключил доктор.

— Куралесили мы в молодости, — похвалился конюх.

«И теперь еще повоюем» — собрался было ответить Павел Кузьмич, да умолк на полуслове и тревожно поглядел в левую сторону от дороги. Там, по снежной целине, тяжело двигалась уступами шеренга подвод, на каждой из них стоял человек и широкими взмахами бросал на

снег лопатой что-то серое. Вслед за подводами тянулось десятка полтора сох, вспахивая сугроб. Разграфленная пепельно-серая карта поля резко выделялась среди белизны сугробов. Старик даже зажмурился на секунду, чтобы проверить потом: не мираж ли ему представился от яркого солнечного сияния и зимнего однообразия степи?.. Нет, все осталось попрежнему: люди пахали снег и посыпали его, несомненно, золой.

— Андрей, — беспомощно обратился Павел Кузьмич, — для чего это?.. — загнулся и, помрачнев, сердито кончил: — ...для чего мы так медленно едем?

Полозья закричали резче. Воздух стал обжигать лицо. «Зачем они? — догадывался Павел Кузьмич. — Раньше этого не делалось». Он расстроился и не поддерживал больше разговора. Показались крыши знакомой Елани. Внутри у доктора что-то дрогнуло. Огромное село раскинулось по берегам степной речушки. «Я ведь не знаю, где она живет, — неожиданно испугался доктор. — Спросить кого? Где там, — они, дьяволы, обычно, кроме соседей, называть никого не могут». Вот и знакомый мост через речку, с края села. У моста плотники рубили большой дом.

— Эй, — закричал доктор, — клуб, что ли, строите?

Плотник, сидящий верхом на срубе, задержал взмах топора.

— Клуб в запрошлом году оттяпали. Это — изба трактористу Панкову.

— Не знаете, случайно, где Шестериковы живут?

— Бригадир, что ли?

— Ага! — обрадовался Павел Кузьмич, вспомнив, что Маша назвала тогда женщину бригадировой женой.

Плотник рассказал — как проехать. Павел Кузьмич вылез из саней, подошел к срубе и, задрвав голову, глухо спросил:

— Видел, там снег пашут и золой посыпают? — спросил и оглянулся на Андрея. Тот поправлял шлею.

— Чтобы снег удержать! — прокричал сверху плотник на полсела.

— Я знаю! — тоже как можно громче ответил доктор. — Да не рано ли, горюю?

— В самый раз, — успокоил плотник.

— Во-время, — подтвердил и Андрей. — Народишко за работу гуртом взялся.

На улицах встречалось много новых построек. Каждый хозяин чем-нибудь украсил свое жилье: то жестяного петуха посадил на конек, то устроил резные наличники.

— Пожар летом был? — осведомился Павел Кузьмич.

— Нет, — лениво ответил Андрей, — вздохнул народишко и строится. Пожар-то, он, видите, целым порядком гонит, а тут в разных местах новые понатыкано.

Недавней поделки оказался и домик Шестериковых. Возле угла его стоял шест, принятый доктором издали за непомерно высокую скворешню. Приглядевшись, он изумленно понял: радиомачта. Он зашел в сени, уставленные новыми, пахнущими сосной, ларями. Крадучись, точно вор, Павел Кузьмич с любопытством открыл ближний к двери ларь, зная из прежнего, как убоги зимние запасы у недавно поженившихся людей, если их не наделили зажиточные родители. Ларь до краев наполнял мука. Из нижней боковой доски второго выпал маленький сучок; в отверстие просвечивалась желтизна. «Пшено» — безошибочно определил доктор. Курица, с перевязанной, вероятно от замороженной, ногой, прицеливаясь, размеренно долбила носом в отверстие. «Не запираются, — осудил Павел Кузьмич хозяев, — долго ли ограбить».

Маленькая женщина, Антонина Шестерикова стирала в кухне детское белье, поставив оцинкованное корыто на лавку около чела печки. Антонина стирала без кофточки. Сорочка, сшитая погородскому, без рукавов и с зубчиками кружев на груди, не закрывала полных, смуглых плеч.

— Что же ты мало покатал ее? — спросила, не разгибаясь, Антонина.

— Кого? — не понял доктор, полагая, что ослышался, так как в избе заливалося радио.

Женщина вскинула голову и, тряхнув над корытом руками, убежала в горницу. Он последовал за ней, отпахнув цветную занавеску. Голос певца звучал здесь еще громче.

— Уйми этого петуха, — указал Павел Кузьмич на репродуктор: — я плохо слышу.

Она передвинула на ходу медный рычажок под зеркалом и, прижимая к груди кофточку, юркнула в спальню. Сделалось тихо.

— Сколько у вас комнат? — недовольно сказал доктор. — Я не молодецкий — бегать за тобой.

— Всего лишь три, — отозвалась Шестерикова из спальни.

Она вышла, застегивая нижнюю пуговицу блузки, взбивая рукой подстриженные волосы, — такая же спокойная, уверенная, как и вчера, в приемной.

— Я думала, Митя с Галочкой вернулся. Вы не постучали. К нам приходит много народу, и все стучат.

— Я доктор, матушка, — сказал Павел Кузьмич. Подумал и добавил: — доктор и старик.

Хозяйка сдержанно улыбнулась.

— В приемной доктор, а у нас — гость. Садитесь. — Она придвинула стул и покосилась на зеркало.

Он повторил невольно ее взгляд и увидел четко отраженные в зеркале большие следы на свежее-выскобленном полу. «От моих валенок, — ужаснулся доктор, — галоши бы носить, так нет, кожей подшил».

— Собираемся покрасить, — как бы уловила его мысль Антонина, — да никак олифы не достанем. Мне нравятся полы у вас в приемной: так и блестят.

Доктор подумал:

«Услышала бы ты, какого нагоняю дам я сестре, если она пустит ко мне тебя с грязными ногами. А сам, вот, насвинячил, старый мерзкий».

— Вы раздевайтесь, — прервала она его самобичевание.

— Я сам привык раздевать, — молодцевато пошутил Павел Кузьмич.

На спокойном лице Антонины едва заметно дернулись губы. Гость понял, что шутка получилась тяжелая.

— Такая работа, — силло пояснил он и одновременно заметил, насколько черны и засалены рукава романовской его шубы, лежащие на кремовой, свежей скатерти стола. У него, как в молодости, запылали уши. Кряхтя, он принялся раздеваться. — У вас радио есть? — пытался он замять неловкость, хотя спрашивать было незачем, ибо репродуктор стоял на виду и пятью минутами раньше от него лилось пение.

— Премияльное. Ожидали, что 1-В-1 дадут, а они поставили обыкновенное колхозное, — у того фон получше; да и наш неплох: питание тоже собственное.

Павел Кузьмич кивал головой. Лоб у него покрывался испариной. Чтобы не слышать больше этих непонятных для себя «фон», «питание», старик задал трафаретный вопрос:

— Ну, как мы себя?..

— Так вот и живем. Забыла! — спохватилась Шестерикова, — чаем надо вас угостить, — и направилась в кухню.

— Глубоко признателен, — вежливо поблагодарил доктор. — Сыт!

«Да что же я тона не найду? И уйти неловко» — мучился Павел Кузьмич, сознавая, что все время говорит пустые, бессодержательные слова, как бывало в гостиной у агента страхования.

— Дочка здорова? — осведомился он.

Антонина вытряхнула из самовара на заслонку старые угли

— Ее Митя на санках катает. Другие в детский сад ребятишек водят. Я, признаться, не решаюсь: все-таки чужой глаз.

— Сегодня холодно, застудит он ее, пожалуй, — мрачно предостерег доктор.

— У нас будильник. Мы по минутам с ней гуляем. Детям воздух нужен. — Она поглядела в окно. — Позовите кучера сюда, он продрог наверно.

Доктор, обрадованный предлогом, суетливо взялся за шубу.

— Некогда. Мы сейчас поедem. Сердце беспокойно: в больнице — операция.

Он протиснулся в неловко в дверь, сопровождаемый ее недоуменным, обиженным взглядом, и столкнулся в сенях с молодым хозяином. Он нес девочку,

закутанную в знакомый доктору платок и, не выразив никакого удивления перед незнакомым человеком, молча посторонился, давая Павлу Кузьмичу дорогу.

Андрей похрапывал на облучке. Доктор встряхнул его за плечо.

— Тронулись! Ездили не по-что, привезли ничего.

Из сеней выбежал молодой, рыжеволосый хозяин, без шапки, с узелком подмышкой. «Боже мой! — испугался доктор, — кажись, десяток яиц тащит, этого еще не доставало». Он хотел строго крикнуть: «Молодой человек, я и раньше не брал», да во-время заметил, что подмышкой у парня скомканый платок с девочки, захваченный, видимо, второпях из дома.

— Минуточку! — попросил умоляюще парень. — Что я вам скажу... — Он виновато озирался на дверь сеней, точно проверял, не подслушивает ли Антонина, как говорит он о делах, которые надлежит знать только ей и доктору. — Не обижайтесь, прошу, на меня. Я не хочу подрывать ваш авторитет... Может, ей в Москву к профессору съездить? Подождите... Она хочет устроить сечение, если ребенок останется жив. Как вы думаете? — Он волновался. Белые пятна проступали на пуговных его щеках, будто за время разговора их успело схватить морозом.

— У вас голова не покрыта, — сурово начал доктор. — Вы сами тут профессора! — крикнул он. — С дочкой по часам гуляете. У вас в комнатах заблудишься. Не думайте, что за Москву обижен. Я не самолюбец. Идите, говорю! Или хотите такую жену вдовой оставить?!

Через дорогу переходил к избе Шестериковых приземистый человек в барашковой шапке. Он торопился; его русую, пышную бороду относил в сторону. Не могло быть сомнений, что это Алексей Голубев.

Доктор плюхнулся в сани и, как три года тому назад, отчаянно приказал:

— Гони!

Он не помнил обратной дороги. По возвращении прошел прямо в больницу.

Страшно шевеля бровями, рыскал из палаты в палату, впиваясь маленькими, острыми глазами в листки течения болезней, чепцы сиделок, урны по углам; отворачивал одеяла, проверяя белизну простыней; нагибался, заглядывая под койки. Он побывал на кухне, в уборных, кладовой. За ним всюду следовал фельдшер Никита Иванович, тоже недавно вернувшийся из поездки. Обычно смешливый, он сохранял теперь подчеркнуто серьезное выражение безусого лица. Встретив Машу, фельдшер качнул головой и закусил губу.

В прачечной лежала на плите пестрая кошка. Любимица прачки Марфы, она грелась и беззаботно мурлыкала.

— Конюшня! — бешено завопил доктор. — Скотный двор! Гнать! Вы кто?! — набросился он на Никиту Ивановича.

— Фельдшер, — кротко ответил тот.

— Я знаю, что не Федор Шаляпин! Кто вы там, по вашей общественной линии?

— Предместкома.

— Прошу вас, предместкома, сегодня же вечером созвать общее собрание свободного от дежурства персонала.

В больнице потянулись тревожные часы. Служащие заходили в местком, спрашивали:

— О чем он хочет говорить?

— Приходите, услышим, — бесстрастно отвечал фельдшер.

Прачка Марфа, ища сочувствия, жаловалась.

— Так он же видел ее, окаянную, каждый день, а тут — нате, взъелся.

Заглянул чернобородый конюх Андрей. Посидев и послушав сговора, вздохнул, он угрюмо предсказал:

— Наверняка про покойницу хочет доложить, там крысы завелись. Кошку необходимо, с глаз долой, туда запелить.

Евдокия несколько раз наведывалась домой и, возвращаясь, сообщала:

— Пишет в памятной книжке.

Когда народ разошелся обедать и в местком осталась только Маша, фельдшер, сидящий за столом, потянулся могучим, широкогрудым телом и со смехом продекламировал:

Прочтет, улыбнется и снова прочтет,  
И снова без отдыха пишет.

Помолчал и закончил:

— Я думаю, Маша, вопросик-то не такой, чтобы его обсуждать, перед общим собранием, на партийной фракции.

— Веселый вы человек, Никита, — позавидовала она.

Общее собрание открылось, при напряженной тишине, в 7 часов вечера, в красном уголке. Павел Кузьмич тихо и вразумительно говорил:

— Мы старые земские врачи. У нас, конечно, есть много недостатков. Мы мало учились, бегая больше по урокам, зарабатывая деньги на пропитание; грешили богемкой. Но нельзя отнять у нас одного качества...

Маша придвинулась ближе к Никите Ивановичу, словно ожидая — вдруг скажет сейчас докладчик нечто интересное и в то же время, может быть, страшное.

— Это качество таково, — объяснял доктор: — Нас попы травили, за нами урядники шпионили, а мы пешком по 30 километров шагали и находили дорогу к мужику. А вот вы, молодые товарищи!..

Беспокойство мелькнуло в насмешливых глазах фельдшера. Он подался корпусом вперед, как бы торопя: «Ну, говори скорее».

— Чего только у вас нет? — продолжил Павел Кузьмич. — Любят вас, ценят. Виданное ли дело?! Раньше роженницу хоть связанную в приемный покой вези, а теперь она сама от бабки бежит. Вам целыми подводами бязь присылают. А вас насильно в деревню не прогоняют. Собрали бы мужиков, потолковали...

Никита Иванович облегченно вздохнул и откинулся к спинке скамьи. Глаза у него насмешливо сузились, вокруг них залучились морщинки.

Простоватый завхоз шепнул Никите Ивановичу:

— Что же это он, — с больной головы на здоровую?

Слегка толкнув его локтем, фельдшер нарочито громко подтвердил:

— Верно, никак не прогонишь!

— Да, да! — повысил голос и доктор. — Чего вы боитесь? Дальнего расстояния? Так ведь у вас, товарищи, лошадь есть, не пешком вас посылают. Нет, не расстояния вы боитесь, а трудностей работы. Вот, давно ли, кажется, был я в деревне?

Тут у Павла Кузьмича запершило в горле, и он потянулся к графину с водой.

— ...сегодня с'ездил и не узнал. Полный бурелом! Золу, понимаете, сыпят на снег, медведи полосатые! У них часы. Громадные часы с боем! Б-4-Д-4 всую понаставили.

— 1-В-1, — не утерпев, поправил завхоз.

— Тише! — зашипела на него Маша.

— Помните о массах! — призывал Павел Кузьмич. — В частности, у нас в амбулаторной ожидальке у больных от скуки температура повышается.

— С первого числа газеты будут, — виновато встала Маша.

Доктор заикнулся было еще каким-то неопределенным звуком, но почувствовал, что говорить ему, в сущности, больше не о чем, все сказано. Он слезил в карман за ситцевым носовым платком, помахал им на разгоряченное лицо и сел.

Слово взял фельдшер.

— Хорошая, самокритическая речь, понравилась мне, — многозначительно начал он. — Правда, не все земские медики были хороши, но не будем об этом спорить. Наш Павел Кузьмич относится к лучшей, передовой части их. Спасибо ему за сердечное, взволнованное слово. Он разбудил молодежь. Я лично, действительно, редко посещаю деревню, — сказал фельдшер, не моргнув глазом.

Никита Иванович говорил, а доктор оглядывал собрание. Как показалось ему, лица у всех были понурые, пристыженные. Маша теребила на груди отделку серого платья. Евдокия низко склонилась над вязаньем чулка. «Прекрасные, совестливые люди, замечательные работники, — подумал доктор. — Надо их только почаще встряхивать. Теперь у них — кризис: я их расшеве-

лил. Хотя для первого раза, кажется, очень сильно навалился». У него стало тепло в груди. Захотелось как-нибудь приласкать их, ободрить.

— Я обещаюсь, — торжественно произнес он, — устроить в Елани цикл бесед о санитарном просвещении...

— А мне завтра, чуть свет, ехать — о надеде земли объяснить, — сообщила Евдокия, поднимая голову от чулка.

Стало шумно и радостно. Все сгрудились к столу и заговорили, перебивая соседей. Прачка Марфа протискивалась к доктору.

— Кошку-то я отдала свояченице!

Павел Кузьмич зычно хохотал, поворачивался то к одному, то к другому, повторяя:

— Превосходно! Изумительно! Кстати, у нас и между собою связь не ахти какая. Почему бы вам, этак скопом, не заходить ко мне? Так, неофициально, по-студенчески, чайку попить. Человек я одинокий, холостой, так сказать. Дом у меня просторный. Да чего там, зайдемте сейчас.

Вызвались итти шестеро, в том числе фельдшер, Маша, завхоз.

— Евдокия, сахару хватит? — вспомнил Павел Кузьмич.

— Нет, пожалуй, — призналась она.

Выручил завхоз.

— У меня позаимствуем.

— Казенного? — насторожился доктор.

— Павел Кузьмич, — умоляюще прикладывая завхоз руки к груди, — честное слово, завтра сложимся и внесем. Не домой же каждому за куском бежать.

Садом шли все под руки, шеренгой. Доктор — в середине, по тропинке. Остальные лезли сугробом. Развороченные кристаллы снега искрились от лунного света и будто кипели под ногами. От ближайшей яблони скакнул вглубь сада заяц, белый, как вылепленный из снега.

— Держи его! — азартно крикнул завхоз.

— Не шуми, — остановил доктор, — он не первый год тут зимует.

Павел Кузьмич нагнулся в сторону Маши.



— Я вам подарю альбом с крымскими видами.

Девушка вскинула длинные ресницы:

— Хорошо, буду хранить.

Доктору ни разу не доводилось тяжело болеть. Все-таки он представил, что после хвори чувствуешь себя, вероятно, легко и свободно, как сейчас.

Он снова нагнулся к Маше:

— Эту маленькую, из Елани, подешлите ко мне, — обиделась, должно

быть, немного. Впрочем, не надо: я ведь скоро беседовать поеду туда.

Павел Кузьмич склонился вправо, к фельдшеру.

— Послушайте, уютесь вы с женой где-то в каморке, — ни почитать, ни отдохнуть. А у меня дом пустует. Дети, если и приедут, так не надолго. Перебрались бы ко мне, а?

Никита Иванович обещал переселиться утром.

# Дорога на Океан

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Окончание <sup>1</sup>)

## Буря

Все три раза Сайфулла приводил поезда точно по расписанию. Для молодого машиниста это было крупной победой (—но Пересыпкин, по часам карауливший его прибытие, даже не подходил к нему, чтобы не портить парня похвалами. Только в третий раз он решился одобрительно пожать руку машиниста.) И хотя шумело в висках и глаза слипались, Сайфулла сошел с машины не прежде, чем самолично поставил ее в стойло и сделал мастерам указания по текущему ремонту. Он неторопливо возвращался домой, разминая ноги и думая о Кате Решоткиной; на целых девятьсот километров первых трех рейсов она становилась ближе к нему теперь. Здесь, на полдороге, ему сообщили о приезде матери... Тогда со всех ног он помчался в общежитие за товарной платформой; там, в низенькой, угарной комнатухе о восьми кроватях, дожидалась его с полудня Биби-Камал. Притихшая, с маленьким высохшим ртом, она расположилась на табуретке у койки сына и то поглаживала бедное его лоскутковое одеяло, то безмолвно и сурово смотрела на портрет Сталина (и тогда с той же пристальностью Сталин всматривался в нее со стены).

— Вот, даже сердце забилось. Эх, куандыр дын, анкай... обрадовала, мать!

Он ворвался, ее мальчик, и в избе задрожало стекло; он вбежал, и один вид поношенного материнского бешмета, лаптей, ситцевого головного платка, сухоньких и как бы с благословеньем поднятых ему навстречу рук, ее потухших очей — остановил его. «Какая стала!» Уже давно Биби-Камал не носила посеребрённых пятак на концах кос... Недоверчиво, но все еще улыбаясь всем своим существом, он пошел к ней. Мать привстала, поклонилась ему низко и почтительно: он стал совсем взрослым, ее Сайфулла! Остренькая косточка ее подбородка вопросительно выдалась вперед. Но он обнял ее, она забилась в его руках, забормотала — «тьфу, астагфирула — пропадет мое дитя...» — и заплакала. Сын не удивился: это был обычай всех матерей на свете. И было хорошо, что никто третий не мешал им в этом жадном ощупывании друг друга словами и пальцами.

Разминая в ладонях очерствевые руки матери, он сразу стал рассказывать ей про мелкие огорчения и крупные радости своей удачи, про комсомол, про паровоз, про все, что отличало его от прежнего Сайфуллы. Мелко-мелко, чтоб успокоить, она колотила его по плечу и вглядывалась украдкой в похудевшее, испачканное копотью лицо. Она не шибко верила в его татарское счастье. Конечно, он стал хозяином большой машины, и ему доверяют многотысячные грузы, но бедное его одеялишко-то было

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн.кн. 9, 10 и 11 с. г.

прежнее, что увез из Альдермеша шесть лет назад... Гортанно, в тоне высокой приподнятости он рассказывал про маленькие злоключения своей первой самостоятельной поездки. Она глотнула воздуха и, глядя в скудную лампочку под потолком, сообщила, что отец его умер: «Зиарат, вот место, где хорошо беднякам!» Тут же она передала ему и наследство — серебряные закрытые часы Самигуллы, великую ценность, полученную еще в старой армии за стрельбу, — часы и старую, сточенную бритву.

— Ты ее поточи, койра аны! Тут еще осталось, — хозяйственно сказала она, пальцем проводя по обушку. — Вина не пьешь?

— Нет, нам Ленин не велит, анкай!

Она склонила голову в знак того, что это очень хорошо. Не зря в Альдермеше говорили, что Ленин был честный мусульманин!

Все еще стремясь поразить ее или хотя бы отогнать черную тень ее горя, сын докладывал ей, как любят его товарищи (—и еще на-днях вся организация поручилась за него своей честью!). Очень довольная с виду (—и украдкой потирая грудь под ситцевой голубой рубашкой, где все болело и болело), мать сказала, что дом их изнашивается вконец, и объяснила жестом, как легко входит рука в просторные щели завалинки. Плотники запросили двести за смену подгнивших венцов, а у нее не было: последние гроши ушли на похороны и на содаку мулле. Вот, она приехала спросить у старшего в семье, стоит ли и есть ли на что чинить их обветшалый шалаш. (Она говорила, кончиком головного платка прикрывая рот: он все-таки был мужчиной, ее Сайфук!) Сын слушал ее все угрюмее. Он правильно понимал вопрос: возвратится ли он когда-нибудь домой в Альдермеш? Новые, уже чуждые ему заботы и ответственность надвигались с этой стороны. Ему показалось, что сейчас старуха произнесет самое горькое из слов, М а р ь я м, отзывавшее польнью, запахами вечерних стад и суховею степей. Он пожал плечами; нет, он вряд ли вернется туда; ведь там не проходит его паровозы! В искреннем порыве он чуть было не упомянул о Кате, но мать торо-

пливо закивала, потому что уже прочла в нем все: на новых местах растут и новые цветы! И с молчаливой деликатностью стариков стала развязывать свой грубый крапивный мешок, в котором привезла гостинцы...

Их свидание прервал посыльный из депо, в ы з ы в а л ь щ и к. Он принес неожиданное известие о назначении Сайфуллы в следующую езду. Его спарщик заболел, и отказ Сайфуллы неминуемо отразился бы на работе паровоза. К просьбе диспетчера не задержать отправки присоединялся приказ дежурного по депо, ответственного за сроки. Товарный транзитный на Сарзань отправлялся через сорок минут. Времени оставалось в обрез на осмотр паровоза и сопряженную с отъездом беготню, и — еще минутка, чтоб ледяной водою сполоснуть лицо. Отдых отменялся.

— ... ты жди меня, мать, я вернусь, тис кантермен. Ты ложись и спи во всю мочь, отдыхай. Я вернусь, юкла! — И он убежал.

... теперь они отправлялись в путь уже без всякого торжества. Бригада Сайфуллы была давно на месте. Вождение паровозов еще не стало ремеслом для них; дополнительная нагрузка льстила им; она показывала, в какой степени нуждаются в них люди. Кроме того, все трое находились в том возрасте, когда человеку свойственно еще и еще раз испытывать свои силы. Профиль этого плеча дороги был им неизвестен, и Протоклитов отказал им в сопровождении машиниста-наставника, потому что на товарную серию в Черемшанске их приходилось только два, и оба были в раз'езде. С тем большим и даже приятным сознанием ответственности ребята поднялись на паровоз. Было 18.20. Свесившись на поручнях, Сайфулла принял же з л, условный металлический документ, с кольцом — хватать с хода поезда, и дал оглушительный свисток: молодые машинисты любили сигналить на всю станцию. В дальнейшем он действовал так, как если бы самый придирчивый экзаменатор следил за каждым его движением.

Набыструю проверив все, он поставил золотники по ходу и сдвинул регу-

лятор на треть зубчатой гребенки. Тотчас же в водомерной трубке прыгнула вода, а в топке алое, как бы подстриженное, затрепетало пламя. Дым плотными цинковыми хлопьями пополз назад, в депо. Зашевелились чугунные плиты под ногами, и станция—ее вечерние огни и звуки—сдвинулась куда-то в прошлое. Зеленая семафорная звезда, осеняющая дорогу в неизвестность, волшебю всплыла над головою... Станция стояла в низине. Кочегар прибавил угля, а Сайфулла припустил поддувало. Чтобы не резать графика движенья, требовалось пройти две ближайших станции с нагоном времени в двадцать семь минут. Машина была прекрасна, и в закрытой будке ни сквознячка; случись закуривать, спички хватило бы на пятерых. И Сайфулла придумал здесь, что скажет про паровоз Кате Решоткиной по возвращеньи из четвертого рейса.

«Я на нем ездю и песни пою!..»—скажет он Кате Решоткиной тоном бывалого русского машиниста, и та рассмеется на его понятное хвастовство таким звонким смехом, что и Марьям услышит из убогой Чукурги!

Итак, их было трое здесь, в этом, памятном для черемшанских летописей, пробеге. Помощником действовал Витя Решоткин, и было странно узнать, что у маленькой и кроткой Кати такой внушительный брат, еле умещавшийся под железным потолком будки. Повидимому, брился он перед поездкой; бумажкой был заклеен порез на губе. А при топке состоял тот самый Скурятников, что работал за целый оркестр в памятную ночь и Махуб-Эби. По слухам, несмотря на юность, он успел пройти через кочегарки всех заводов в области, и отовсюду уводило его мечтанье, и везде беспощадно громили его как лемуна. И правда, бессемейный, непривязчивый, он имел дурную склонность уходить вдруг, не попрощавшись. Бродяга по призыванию и, следовательно, со врожденным пристрастием к огню, он, видимо, только здесь отыскал себе должность по нраву: законно блуждать по свету и «со своим костерком подмышкой»,—так определял страсть свою он сам. Ездить с ним бывало нескучно и,

пожалуй, поучительно. На длинных перегонах он любил вспоминать свои приключения вслух, пока не накричит на него механик.

Так и сейчас. Едва минули Бармалеево, представилось ему, будто служил пожарным в Калуге. А уж кому и рассказывать про огонь, как не пожарному!.. В самом начале Решоткин еще подзадорил его—

— И врешь же ты, Скурятников, прямо как на экспорт!

— Э, не скажи, в Калуге хо-орошие пожары бывали! — откликнулся тот, поглядывая на слепительную щелку шуровочной дверцы. — А мясные ряды, например, а ветеринарная лечебница!.. а то, было еще у меня, горел купецкий дом на Площади жен-мирононосц... красота глядеть! — И по особой заманчивой глухотце в его голосе можно было предсказать, что истории его хватит до самой Куллы. — Я и раньше знавал его: шикарный дом, на столбах и с галдарейками. Случалось, мимо проходишь, то кусочек дивной музыки подслушаешь, то цветной зайчик с люстры на тебя упадет. А глаз у меня на эти штуки вещей, соломон-глаз!.. раз иду, и как-то нехорошо в окнах, маетно. Так меня мысль и обожгла: будешь ты, родной в скорости гореть, дивно и по первому разряду. И войду в тебя, и посмотрю, какая в тебе жизнь происходит. Знаешь, в пожарной каске и во дворец пускают! И, скажи, неделя проходит — не горит. Месяц сошел — не горит. Полгода...

Сайфулле было сейчас не до огненных его баталий. По этой ветке на Сарзань и дальше, на Миас, ему пришлось ездить лишь дважды, еще помощником. Боясь прозевать всякие низенькие путевые отметки, он высунулся за брезентовую шторку, и сразу все погасло, голос Скурятникова и шипенье инжекторов. Ударило ветром сразмаху, и снежная крупка заколола бритые виски. Сперва не увидел ничего: только оранжевое зарево из поддувала, попрыгивая, бежало по снежным кочкам насыпи. Когда пригладился — различил: слегка шевелилось волнистое ночное поле. Поземка играла травяными кустками, где были, и как

бы расчесывала не очень ласково их. Впрочем, на протяжении четверти часа они пропали вовсе, и Сайфулла понял, что снежный покров в этом месте глубоже. В выемках задувало еще сильнее. Помнилось, на карте здесь, судя по времени, обозначен был небольшой, в четыре тысячных, уклон. Не оглядываясь, он потянул проволоку свистка и дал один протяжный сигнал о большей бдительности. Снежку прибавилось, и могли потребоваться тормоза. Взвилось визгливое облачко, и тотчас же вся кондукторская бригада показала ему с ходу белые сигнальные фонари. Их было семь, по числу тормозов в составе. Все обстояло хорошо, в машине нигде не стучало. Сайфулла приспустил клапаны своей ушанки, чтоб не обжигало щеку с левой, подветренной стороны, и достал мороженое, оттаявшее в кармане, яблоко, — привезла мать. Оно приятно припахивало соломкой. Сладкий крупчатый сок брызнул из надкушенной кожуры.

Он подумал при этом, что мать приехала кстати. По дедовскому обычаю, которого, как и почтения к родительнице, никто не отменял, следовало показать матери свою невесту. Биби-Камал — хорошая женщина. (Он живо вспомнил ее поднятые руки и древнее, сытное тепло материнских объятий.) Пусть успокоится ее сердце, пусть сравнит Катю с тою гордой и полуграмотной дикаркой! Конечно, Кате трудно будет вести эту первую беседу: мать Сайфуллы не умела по-русски. И еще жаль, что Катя не любит бус, не сурмит бровей, не носит красивых, жестких и с синим отливом косиц, чяч тулум, как та, прежняя. «Но если бы ты ее увидела, ты сама отступила бы в тень, в черашня!» Он суеверно избегал произносить это имя, как будто теперь оно приобрело силу вызывать бурю или причинять неизлечимую болезнь; во всяком случае оно мешало его искренности с Катей. В течение последнего года (—ровно столько времени таскал он в кармане письмо из Альдермеша, прежде чем показать его Пересыпкину—) имя Марьям следовало за ним всюду, заглушая радость, звуча отголоском насмешки и горечь придавая еде. Сайфулле

представилось, что произойдет, если она однажды через гордость свою прорвется к нему в Черемшанск. Она придет в рубище, в тысячу раз красивее и чужее, чем прежде. Она спросит, улыбаясь и обнажая черные, в цвет агата, зубы (—наверно, там еще красят зубы по старой моде для большей женственности и очарованья):

«Ты не радуешься мне, Сайфулла?»

Оскорбленная его испугом, она вскинет стрелчатые глаза и протянет письмо, что удалось сберечь от ревнивых рук отца. Она скажет: «Возьми, это написано тобою; не стыдись. Ут алсын аларнэ — пусть их с'ест огонь! А то кто-нибудь прочтет и донесет, и тебя прогонят отсюда старой метлой. Бери, у меня нет лучшего подарка для тебя». И он возьмет, потому что нехорошо оставлять улику в руках женщины, которую собираешься забыть. Она скажет еще: «Пойдем куда-нибудь в поле или, по старой памяти, на киюг, колодезь, а то нас увидят вместе, а это не нужно!» И он согласится, и всякий чужой взгляд будет причинять ему неловкость, потому что научился бояться того, чего раньше страстно добивался... Смеясь и видя его насквозь, она ударит его по сердцу: «Тебе стыдно со мной. Напуганная совесть кричит прежде, чем к ней прикоснулись. Наверно ты стал честнее оттого, что заучил, в какую сторону открывают регулятор. Не стоит уважать дочь кулака, если она не сумела стать женою машиниста!» Очень сердитый на себя, что не прогнал ее сразу, он закусит губы и не промолвит ничего.

«... ну, как же она любит тебя, русская?»

О, если бы Катя любила, как умеют это женщины его племени. «Э, сердце стоит дороже рукопожатья русской девушки: в потемках сами собой соединяются руки, уж они устроены так. Или в два ее неосторожных взгляда верить?..» Скурятников злословил не зря, что товар этот доступнее, чем каши нужных размеров в кооперативе. Альдермешские старики, имевшие несчастье выходить за пределы родной деревни, сказывали не раз про веселье и изменчивость русских жен. Они обжигают, как

водка, и раньше срока приносят старость; они вступают в грудь, как недуг, и сердце исходит грустными песнями, морщинится и увядает: никакая честная утеха не порадует его после первой опаляющей ночи; и, когда насытится, она уйдет с первым русским... и они посмеются над тобой сообща, перед тем как схватиться в любовном ликовании!» У стариков выходило, что пьяный бог, создавая эту женщину на радостях творенья, месил ее тесто на сладком вине и жгучей отравы прибавлял в него для крепости.

«Она м а р з а! (— Так в просторечии зовут старухи русских женщин.—) Мать проклянет тебя за нее».

«Ладно. Я не вернусь к вам никогда».

Тогда черная девушка прикинет к уху и обожжет его последним увещанием. Ему стало холодно; он с ожесточением выкинул руку, как бы отпихивая ее—:

— Уйди, Марьям. Югал, исчезни!

Случилось, что рука задержалась в таком положении. Она быстро побелела с подветренной стороны. Сайфулла удивился; он не заметил, когда это началось. Густой, рыхлый снег несся навстречу паровозу. Ветер усилился; в световых конусах прожекторов взлетала и курилась снежная путаница. Сайфулла настороженно поднял бровь, на-слух проверяя исправность машины. Ничего не было; только свистело где-то в паровозных снастях, ныл гудок, и когда налетал порыв бури, брезентовый лоскут бился о железную стойку. Немножко пугала мысль, что в самый разгар метели придется брать проклятый Сарзанский перевал; судя по времени, до него оставалось не свыше тридцати километров. Старые паровозники шутили в Черемшанске, что право езды машинисты приобретают лишь по ту сторону перевала. (Они намекали на другое: старые паровозники имели обыкновение навещать покладистых сарзанских шинкарок.) Занос не пугал Сайфулла; существовало правило, в случае беды отцеплять паровоз и в одиночку таранить снежные завалы... Он обернулся к бригаде. В той же позе, что и два часа назад, Скурятников си-

дел на чурбаке, живописуя калужский пожар.

— ...и довелось мне из всего переполоху спасти одни часы со звоном... И ни барышни этой чортовой, ни добренькой старушки! И, вот, несу я их сквозь дым, плачу от гари, а они дивно звонят на мне, как живые...

— Эй, давай! — крикнул Сайфулла.

Кочегар вскочил; повествование, в сущности, закончилось. Этот человек любил уходить, не попрощавшись, и обрывать историю на полуслове... Он подкинул угля и, защищаясь лопаткой от жара, почти любовно разглядывал деловое качество огня. Пламена в топке закосматылись и напряглись; бегучий золотой подшерсток появился среди белых плещущих языков. Скурятников умел различать достаточность порции по оттенкам и повадкам огня: еще и еще требовалось пищи насытить эту геенну. Они шли на приступ самого Сарзанского перевала, и теперь-то наверняка весь мир, затая дыханье, следит за ними!.. Кочегар отправился на тендер; он не успел скинуть и десятка лопат, как, скомканного, его впахнуло назад, в будку. И белый вихрь еще гнался за ним. Смущенно опираясь на лопату, Скурятников дышал по-рыбьи во весь рот, — и даже из ушей торчал у него снег.

— Что, небос, дыханье повредилось? — захохотал Решоткин; он был силен, самое тело его предназначено было для преодоления тяжестей; явления слабости всегда вызывали его усмешку.

Тот виновато пожал плечами. Было странно узнать Скурятникову, что существуют стихии, равные по размаху и могуществу его огню. А он уважал огонь, потому что неоднократно и вблизи наблюдал его подвиги.

— Чудно, соколà, душа горит, а ноги холодные! — невпопад отозвался кочегар. — По первому разряду крутит. А, врешь, шатия... — И, озлобься, снова рванулся на тендер.

Он сделал это с решительностью, точно кидался с обрыва. Слышно было, как он бранился и сквернословил там, точно это воодушевляло его на

рукопашную с бурей. Опять покатались с тендера глыбы обмерзшего угля, и столько было на них воды, что и коксовать не стоило. Впрочем, и на этот раз единоборство длилось не более трех минут. Скурятников воротился растерянный, без кепки, весь облепленный снегом. Вихры на нем, залезанные бурей, стояли прямо и дико, как на чорте.

— Вó, кепку унесло, — промовил он, изумленно протирая глаза. — А еще поносились бы кепка!

Раззадорясь, он щедро кормил свою топку. Он принимал к самому ее устью, растрясая уголь по колосникам; казалось, он ластится к огню и жалуется на свою обиду. Черные гневные пятна зашевелились в плавучей массе огня; они полностью впрягались в работу. В щель брезента было видно, как золотые космы искр понеслись и рассеялись во тьме... И почему-то утрата кочегарской кепки рассмешила остальных. Кепка была новая, д и в н а я кепка, Скурятников ее любил. Шутили, что он и спал в ней, а без нее испытывал гнетущее чувство наготы... Вместе с тем стало уютнее и веселее от сознания, какая вьюга плещется в борты их комсомольского корабля. Решоткин даже выразил сожаление, что нет с ними Пересыпкина, чтоб воспел потом в подходящих стихах их сарзанское приключенье. И опять не было сомнений, что они одолеют эти тридцать рискованных километров. Никогда бригада физически не ощущала в такой степени железного здоровья машины... Итак, перевал начался. Сайфулла дал два коротких сигнала, требование отпустить тормоза. Он высунул голову за брезент, сиюсь разглядеть овертания этой громадной выемки в равнине. Уже сказывались и снег, и крутизна под'ема; время от времени буксовали колеса; могучая одышка котла смешалась с выхлопами пара из трубы.

— ... шурай! — приказал за начальство Решоткин.

... ничего рельсов нельзя было понять; не только рельсов, но и насыпи не стало видно. Вернее, глаз видел все, что представлялось встревоженному разуму. Забитые снегом фонари почти не светили.

Походило, что паровоз движется всплоную, сквозь громадный взбесившийся сугроб. Но, если высунуться по пояс, можно было различить два-три вагона, совсем белых и округленных от налипшего снега. Все это, впрочем, происходило от воображения; не имея никакой опорной точки, оно приобрело сейчас небывалую гибкость. Оно рисовало на этом летучем полотне то дом, то дерево, то человека, чтоб смазать их через мгновение. И, если вслушаться в грохот ветровых валов, казалось — далеко, одна посреди поля, бездомная поет Марьям... О, Сайфулла узнал этот голос, бесхитростный и такой чистый на под'еме, точно звенели колокольчики из серебряной фольги. Напев уводил Сайфуллу куда-то за пределы ночи, в призрачный сумрак детских видений, радостей и испугов. И, вот, старая сказка проходила снова мимо ослепленных глаз, а визг и стремительность бурана получали новое обозначение. — Молодой Хасан-Батор ищет места для основания\*Казани. Ватага конных батырей в белых туркменских тельпеках, косматых и башнеподобных, сопровождает его в напрасных скитаниях по пустыне. Они рыщут из края в край; снежный пепел дымится под копытами коней. Увы, нет на этой унылой степи достойного места для татарской столицы! И когда притомились витязи, и пристали их рослые кони, нападают они на место, где живет А ж д а г а...

Последняя сестра древнего китайского дракона, она обитает в глубокой норе, и даже на след ее наступить смертельно. Образ этой великанской змеи прошел сквозь совместное детство Сайфуллы и Марьям. Зимами, обнявшись от ужаса, они слушали бешеный, снежный посвист ее крыльев; в летние ночи, когда стачиваются метеоры о холодный воздух, они наблюдали в небе огненное сверканье ее чешуи... И, вот, огромные, в полмира, крылья взмывают над головами батырей. Непобедимая, она убивает многих из них, чтобы, через столетия народного сказа, напороться на тоненькое, как лучинка, копые Хасана.

«Не пой, Марьям, про то, чего не было. Ерлама! Человеческому разуму

известно: не существует Аждага, и легендарный твой Хасан—только выдумка бродячего поэта, терче. Ты зря не читаешь книг, Марьям...»

Сильны в такую ночь зовы детства; из памяти не вычеркнуть того, что записано там лесами, молнией, запахами полевых цветов... Уже не солнце, а детское невинное сердце заново восходит над миром. Эти еле угадываемые деревья, досуха высушенные морозом и ветром, обтягиваются зеленью, точно накинули на рожицу зеленый чапан муллы. Мальчик и девочка бегут по опушке леса. Они торопятся. Идет гроза. Их колени в ссадинах, но еще далеко до дома. Зелен становится лиловой; серой изнанкой оборачиваются листья. Проносится птица, такая быстрая, что тень ее не поспевает за нею. Тощие стебли размахивают подобиями рук. Травы оживают. Скромный ползучий копытень пахнет так, как будто стремится вобрать в себя все остальные запахи земли... Вдруг задымились дороги, зачертили стрижи. Падают первые капли дождя; сухая почва звенит под ними. Потом удар, минутная слепота, отчаянный крик Марьям... Одинокое дерево на холме пылает от корней до вершины. Оно стоит в красном балахоне, оно ежится. Двигутся злые, угловатые плечи огня. Упав на колени, дети жмутся друг к другу. То же изумление, смешанное с восторгом и ужасом, испытывал перед солнцем дикарь. Тучи, расщитые молниями, трещат; нитку за ниткой выдергивает ветер. Минутная река чивня. Видение гаснет. По лугу, кувыркаясь, бежит первый солнечный лучик. Еще чадит огромная головня, которую посетил божество. Белые дымки на обугленных ветвях кажутся чудесными цветами... — «О, пусть такой же день настигнет тебя с чужой женщиной, прежде чем ее кровь соединится с твоею, Сайфулла!»

Он вслух спросил нахмурясь:

— Ты угрожаешь, черная, недобрая Марьям?

И, вот, не милый напев про Хасана, тревожный визг резнул его слух. Длинные сарзанские составы, много снега на путях; машина буксовала, и все трое

внимали, сощурился, отчаянно, безрезультатно вращению колес. Видимо, они достигли до Шамаевской выемки. Две цифры определяли это место: девять тысячных под'ема и стометровые холмы по сторонам. Между них, как в тоннель, врывалась буря, и снежный вихрь приобретал материальную упругость. Скурятников выглянул за брезент, и было так, точно взяли его за лицо и могущественно втокнули обратно. Стало страшно подумать, что станется за перевалом, когда навалятся семьдесят пять задних вагонов и понесут под уклон.

— Качай песок... эй! — крикнул Сайфулла и сдвинул регулятор на последний зубец.

... Скурятников порвал проволоку. Песок не сыпался под колеса. Паровоз продолжал скрежетать на месте. И как только поняли, что с песочницей неладно, не дожидаясь приказанья, Решоткин выскочил на площадку паровоза. Его охватили беспорядочной вой, точно одновременно дули в тысячу пустых бутылок,—и снег, снег... Слипшиися комья ударялись о накалившее тело паровоза, таяли, текли и отвердевали внизу. Боясь заморозить насосы, Скурятников задавал все новые порции топлива. Тяга усилилась, и угольная мелочь почти целиком вылетала через трубу. Потоки искр метнулись в небо, и это было единственным освещением для Решоткина. Он нахлобучил шапку и с прыжка ухватился за собачки песочницы, — винты, наглухо запирающие ее крышку. Сразу стало тепло и липко в ладони; он понял много позже, что сорвал кожу. Ноги в сапогах соскальзывали с котла. Тогда он изо всей силы подтянулся на руках и кое-как оседлал машину.

... приходилось сбивать собачки, они не отвинчивались. Колпак отвалился, и Решоткину удалось железным прутком нащупать под песком трубу. Ушло много бесценного времени, чтоб пропихнуть туда смерзшиеся комья. Ветер ломал ему руки, рвал одежду, и парень ощутил напористую силу его мускулов, гибких и ледяных. Налипший в ладони песок мешал работать, пальцы коченели и сами



тянулись за пазуху, греться... Кстати, там имелась у него пакля; он сунулся за нею, чтобы досуха вытереть кровь, но потерял равновесие и свалился бы к колесам, если бы не подвернувшиеся поручни. Стало страшно и обидно. Срывая снег с лица, выкрикивая ругательства, лишь бы заглушить садную боль во всем теле, цепляясь за паропроводные трубы, он полез обратно. Требовалось выкинуть из песочницы набившийся снег и поставить крышку на место. Под ногти забивался лед с песком, и Решоткин едва не плакал от ярости... Все это время паровоз работал вхолостую. Рельсы должны были светиться, если бы не поступала постоянная снежная смазка.

— А... сукины дети! песку не могли насушить...

Избитый, окровавленный, дрожа заметно для глаза (—и даже бумажку с губы сорвал!), он вернулся в будку. Он улыбнулся, когда первый сильный рывок обозначил движение. Тем временем успели связать проволоку, а Скурятников все румянея, все кормил своего рыжего зверя. Целое зарево искр шло над паровозом. Никто не произносил ни слова; они прислушивались к повизгиванию колес и переглядывались. Теперь власти у всех стало поровну. Очень медленно, хотя поршни работали на полную, с пятикилометровой скоростью они выбирались на Шамаевское плато. Все отчетливо помнили, что воды в котле было еще на четверть стекла. Вместе с тем видно стало по манометру, как садился пар. Они берегли его и не пытались закачать дополнительное количество воды, чтобы не сбавлять ходу. Опасность заноса оставалась позади. Так, значит, не за пивом в дружеской пирушке, а вот как достается она, зрелость мастера!

— Ну, теперь лишь бы спуститься, товарищи...

Решоткину промыли руку и, приложив на место оторванный лоскуток кожи, замотали платком. Он морщился и, верно от боли, дразнил Скурятникова. (Всем было известно, что в отсутствие одного бригадного кондуктора ходит кочегар к его жене, беспутной и шальной бабенке. По малости все грешили в Че-

ремшанске, но, зная характер супруга, ждали от этого предприятия если не прибудного младенца, то поломанного кочегарского ребра.) Скурятников отшучивался как умел и облизывал губы, еще сохранившие вкус бабенкиных поцелуев... Тем временем паровоз рывками набирал скорость. Снова замолкли. Сайфулла глядел наружу, опасаясь оборвать состав от неравномерного хода машины. Решоткин приготовился вернуть тендерные тормоза. — В этот момент и произошло несчастье.

В топке зашумело, и желтоватый клуб пара плеснул сквозь шуровочную щель. Густо запахло железом и кипятком. Внезапно в водомерном стекле исчез уровень. Решоткин крутнул пробный кран, воды в котле не было; он схватился за инжектора, — оба не качали. Все стало ясно: воды в тендере было мало, она на подъеме ушла назад, и всасывающие рукава инжекторов не доставали до нее. Теперь же, при спуске, она откачалась вперед... и никогда так не шумел, не хлопотал огонь, почуяв свою силу.

— ... тушить машину! — в голос закричали все.

Открыв колосники, они били по ним лопатой, лишь бы скорее провалить жар, и за шипеньем пара не слышно было голосов. С разгона паровоз продолжал итти, но, в сущности, это двигалось уже мертвое тело. Вскоре его поршни замерли совсем. Можно было и не заглядывать в топку. Если только не случилось самого худшего в судьбе машиниста, под жогом огневой коробки, то-есть прямого убийства паровоза, следовало считать, что контрольные пробки расплавлены. Лицо Сайфуллы дергалось, ручки пота вымывали полоски копоти с его щек. Остатками пара он дал последний сигнал бригаде — тормозить.

— ... эх, хараб булдым быт! — высоким голосом вскричал он, и жест, каким он бросил шапку о пол, означал то же самое: погиб, потому что слишком доверился удаче.

Надо было предупредить Черемшанск о катастрофе. Решоткин, физически самый стойкий из всех, отправился на ближайший раз'езд, к телефону; едва

спустился вниз, тотчас растворился в метели. Здесь, на оголенном месте, никакой преграды не было ветру. Он налетал, и свистковый клапан звучал на одной унылой ноте; он налетал в поисках любой щелочки, чтобы немедленно просунуть в нее целый сугроб. По пояс проваливаясь в снег, бежали кондуктора спросить о причинах остановки, и, пожалуй, это было самое стыдное — об'яснять им. (Один какой-то нсунывающий смазчик, пользуясь случаем, щупал буксы своих вагонов, еще не догадываясь ни о чем.)

Состав заносило, колес не было видно. Наверно, часа через два все это будет под снегом, который уже не растает никогда, никогда!.. Легкой ломкой корочкой успел покрыться паровоз. Тогда Скурятников уселся на гряде угля и опустил голову. Минут через десять он достал гармошку и несмело приложил к губам, заклинательно поглядывая в залитую топку. Но не вставало убитое божество. С видом полного безразличия он спрятал свой инструмент; стало ясно, что завтра же ему придется искать какую-нибудь другую должность на свете. Сайфулла молча и без шапки опустился рядом с ним на чугунный пол...

Так ждали они помощи и расправы.

### „Я возвращаюсь к тебе, Марьям!“

По линии Черемшанск — Сарзань в сутки проходило до семнадцати пар поездов. Легко представить, что творилось на станциях к утру по обоим плечам перегона. К рассвету под'ездные пути были сплошь заставлены поездами. Они стояли в шахматном порядке; орда бессонных пассажиров таскалась среди сугробов и штурмовала начальство; но никто не знал, когда удастся расшить этот общедорожный скандал. В Черемшанске о катастрофе догадались поздно. Обмороженный Решоткин только через три часа добрался до раз'езда, но провода оказались порванными, и добиться Черемшанска-станции он не смог. Тревогу поднял диспетчер, не получавший подтверждения из Куллы о проходе 4019-го; это он затребовал снегоочисти-

тели и ремонтную бригаду до выяснения причин задержки. К полночи снежный покров на путях достигал метровой толщины. Ветер стих, но убийственный снегопад длился всю ночь. Протоклитов в это время ехал на Чешму на ревизию оборотного депо; от дежурного в Савруше он узнал, что эшелон Сайфуллы застрял в пути. И, хотя это было дело скорее начальника участка, Протоклитов отправился на место происшествия со вспомогательным поездом. Он добрался туда незадолго до рассвета, когда снегу намело вровень с крышами. Балансируя, чтобы не поскользнуться, он по крышам вагонов добрался до паровоза.

В будке было холодно и темно. Двое сидели на полу, скорчившись и привалившись к железной стенке. Они озябли; на плечо Скурятникова, ближнее к выходу на тендер, нанесло снежку. Может быть, он дремал, но, когда чужая тень заслонила просвет в брезенте, вяло поджал откинутую ногу под себя, и снежная складка на плече сломалась. Светало. Сайфулла поднял голову, но лицо Протоклитова терялось в потемках, и он опять сгорбился. Синеватый отблеск снега из щели лег на его чуть приплюснутый нос. Прошла ужасно длинная минута, а начальник депо все еще не сказал ни слова, и лишь фонарь прыгал в его руке. «Ишь, как повешенный, выплясывает...» — сравнил Скурятников и отвернулся, чтоб не видеть.

— ... хозяин паровоза тут? — четко спросил Протоклитов и, обоим показавшись, улыбнулся, и оба бессознательно повторили эту усмешку брезгливой снисходительности. — Встань, я тебе не приятель. Ну-ка, держи фонарь...

Протоклитов был одет в кожаное пальто, для тепла подпоясанное узким ремешком; и почему-то ему потребовалось расстегнуться в этом месте и зянуть потуже. Затем последовал быстрый и беглый осмотр паровоза. Машинист, снова ставший мальчиком, с видом равнодушного отчаяния протягивал фонарь в ту сторону, куда устремлялся протоклитовский взгляд. Начальника депо прежде всего интересовали пар и вода. Водомерное стекло было пусто; на манометре еще сохранилось

два очка пара. Протоклитов также пощупал инжектора и откинул ручку регулятора, утратившего всякий смысл. Потом он достал горсть угля и внимательно рассматривал ее, высунувшись на сизый, предутренный свет; не представлялось иной цели его исследования, кроме как продлить муку. Говорил он совсем мало; он берег свое неистовство, как еще недавно они сберегали пар. Он изгибался во все стороны при этом, он гнулся легко и ловко, совсем бескостный, и Скурятников усмехнулся сквозь горечь свою — какую гибкость и статность придает человеку ненависть!.. Пытка продолжалась. Просунув фонарь в топку, Протоклитов пошарил на колосниках, изловчился и схватил со шлаковой корки кусок растопленного, остывшего свинца. Диагноз был окончательный.

Было тихо; точно из-под снега доносились глухие голоса. И опять кто-то покричал Пырьева с Тетешиним, как полгода назад, в Саконихе. Снегоочистительная бригада начала свои раскопки.

— Ну, кто следил за уровнем воды, босяки?

Ребята промолчали, вопрос был задан ради униженья и не требовал ответа. Сайфулла глядел на начальника устало и равнодушно. Мускулы его лица расслабились, и, как ни подымал он тяжелую свою бровь, она неизменно сползала вниз. Его знобило; черные губы бормотали что-то, и можно было подумать, что он пьян. Протоклитов спрятал расплавленную пробку в карман. Его взор блуждал по обындевелым стенам будки. Вдруг он увидел на стене намокшую, разодранную впопыхах стенную газету. Карикатура посреди листа изображала его самого, как он спит на кровати в обнимку с дырявым паровозом. Судорога прошла по его телу; он стал еще суше и выше.

— ... кырган! — сказал он единственное оскорбительное татарское слово, какое знал, и рука его круто откинулась в сторону, но пространство будки было слишком тесно для драки; костяшкой пальца он больно ударился обо что-то, и это уберегло его от самой большой глупости, возможной в его ожесточении.

Сайфулла не отшатнулся и лишь прижимал к груди фонарь; любое наказание показалось бы ему незначительным в эту минуту. Да и слышал ли он, что происходило дальше в будке! Скурятников поднялся и, отряхнув снег с плеча, жестоко заглянул в глаза Протоклитова.

— Жалей товарища... — сказал он, за плечо и с силой оборачивая его к себе. — Жалей татарина, скотина. Он же тоже ж пролетарьят!

Протоклитов вздрогнул и, что-то пробормотав, быстро вышел из будки.

... Отсюда начинается падение Сайфуллы. Личное его несчастье было ничтожно в сравнении с позором организации, преждевременно поверившей ему. Он представил себе жесткие, осудительные глаза товарищей, блестящий и насмешливый взгляд Кати. Беда состарила его... Потом он сидел в углу чужого вагона и все разглядывал руки, обожженные при тушении топки. Странное дело: не болело совсем... Рассвело, но в телушке еще стояли потемки. Рабочие, возвращавшиеся с заноса, тут же кипятили чай на железном очаге и не говорили с ним. Один взял чурбак из-под Сайфуллы и стал колотить его на лучину. Почти физическая ощущалась теперь близость Марьям. Она опять стояла перед ним, протягивая руки для примиренья. «О, ты променял меня на паровоз, Сайфук!» Черная бархатная безрукавка, по-городскому обшитая стеклярусом (— все, что осталось от разорения!), обтягивала ее маленькую, никем в его отсутствие не тисканную грудь. И Сайфулле стало жалко ее... Один из бригадиров молча вставил в его руку жестяную кружку с чаем. Сайфулла жадно выпил его, и ледяная Марьям истаяла на время, отошла в свое небытие.

Вдруг он понял, надо что-то делать. Болезненное возбуждение охватило его по приезде в Черемшанск. Он отправился искать секретаря своей ячейки. Его не оказалось ни в депо, ни дома. Организация в полном составе вышла на расчистку путей. Через полчаса он отыскал между вагонами и секретаря, и Пересыпкина сразу. С лопатами, мок-

рые от пота, они показывали колхозным мужикам, как могли, пример социалистической работы. Лица у всех были виноватые. Должно быть, их успели оповестить о преступлении бригады 4019. Как по сговору, они сделали вид, что не замечают приближения Сайфуллы. Временно, до решения организации, он как бы переставал существовать в Черемшанске. Кроме того, время было дорого, работы хватало на сутки, и все еще подсыпало из продырявленных небес. Сайфулла долго, всем показалось — лениво, рылся в кармане; трое комсомольцев, опершись на лопаты-движки, исподлобья наблюдали за ним.

— Возьми это, — сказал он, отдавая сломанную, захватанную пальцами книжку. Потом в память ему пришло, что возвращению подлежит не только это. Он торопливо принялся обшаривать свои карманы, и боязнь утратить такой документ, право на жизнь и дружбу товарищей, на минуту вернула какое-то нездоровое оживление его лицу. Нет, она была на месте, таких вещей не теряют! Это была книжка ударника. — На!

Секретарь пощурился, сделал озабоченное лицо—:

— В чем дело, товарищ?

— Билета возьми, — терпеливо и настойчиво повторил Сайфулла.

— Куда же мне его... — и недоуменно развел руками, и нехватало у него дерзости взглянуть в опустошенные глаза товарища.

И уж готов был спрятать за пазуху судьбу машиниста, как вдруг взъярился Пересыпкин и смаху воткнул лопату в снег—:

— Нет, милый... ты жди, когда мы сами тебя погоним. Это не мораль для комсомольца — наблудить и удрать. Мы еще судить... да-да, судить тебя станем! — И, вдруг, изловчась, ударил словом побольнее: — Жалости ищешь?

С ожесточением заводного механизма он продолжал работу. Снег полетел через голову, и мужики с почтением глядели на него, как на парходное колесо, вырвавшееся из воды. «Уж такой надевает бед!» Сайфулла постоял, потом полпелся прочь. Он долго блуждал между

вагонов; целый город выстроился здесь за одну ночь. В одном месте Катя пересекла ему дорогу; он напряженно проводил ее глазами, и уже не Марьям, а она сама показалась ему виденьем вдалеке. Возможно, блуждания эти были нарочными: дома ждали его пытливые, всевидящие глаза матери.

... Сайфулла ударил в дверь ногой. Переобувался товарищ, — он как-то слишком быстро поторопился уйти. Биби-Камал, точно и не ложилась, сидела на том же месте, где ей велели. По обычаю крестьян, она поднималась чуть свет. Сайфулла устало потянулся, но не дозвнулось; лицо его сморщилось, как у старика. Мать привстала. Несчастие успело наложить отпечаток на ее мальчика. Мать подбежала, отвела его к койке, попыталась снять с него сапоги, как всю жизнь стаскивала их с Самигуллы.

— Ты сядь здесь... здесь мягко. Ты сядь...

Поеживаясь от суровой материнской ласки, он отстранил ее руку—:

— Не надо, анкай. Я сам...

Она не смела спрашивать ни о чем. О, он стал совсем взрослым, он даже научился горбиться, ее Сайфук. Она без запинки прочла по глазам, что страдание его велико, и старалась хоть дольку переложить на свои привычные плечи. Конечно, она никогда не поймет сложной механики деповской жизни; она никогда не держала книг в руках, и безошибочное чтение людского горя было единственной грамотой, какой ее обучили в молодости.

—... снег еще не перестал? Ах, какие снега легли в этом году по Татарстану! И, значит, в Альдермеше — вдвое...

Стаскивая с себя мокрые сапоги, он потрепал ее по руке. «Ты во-время приехала, Биби-Камал!» Мать следила за каждым его движением. От нее не ускользнуло также, что подошвы истончились на сапогах Сайфуллы, а каблуки сбились. «У нее где-то был спрятан кусок кожи. Как хорошо, что она не истратила его на себя». Сын жался под ее глазами; горе сделало его совсем проврачным для глаз Биби-Камал; она видела в нем все... Его удивило, что так быстро рассвело. Вдруг прояснело, точ-

но вымыли закопченные окна. Он заинтересовался, сколько же времени прошло с тех пор, как, заодно с паровозом, он убил и себя. Часы Самигуллы были совсем ненашенные; покойнику некуда было ходить с часами; жизнь они пролежали в сундуке. Забыв первоначальное намерение, он протянул их матери —:

— Возьми, ал! Я могу потерять. Вернусь — ты отдашь мне. Минга бирерсен... — И, забыв отдать, положил их обратно в карман.

Она торопливо закивала... Дальнейшее чередование событий становилось ясно. Конечно, дом надо чинить, чтобы ко времени женитьбы на Марьям жизнь в Альдермеше пришла в полную стройность. Она подумала, что остроносый Имамутдинов нарочно запрашивал с нее, чтоб не потерять уваженья. «Плотники нынче важный народ!» Кроме того, людского страха всегда легче добиться, чем любви, а уважение где-то посередке. Но она попросит, поклоняется; он уступит, он сделает за полтора.

Она сказала:

— Я думаю нанять Имамутдинова. Он самый надежный в Битамане. А лес мне обещали дать в колхозе.

Сайфулла рассеянно согласился:

— О, Минур хороший плотник. Как же, я помню Минура!

Итак, ее мальчик возвращался в отчий дом. Биби-Камал не зря молила бога. Он не пошлет ей одинокой старости. Жестокое желание матери сбывалось. Она будет нянчить внуков и, затихая навсегда, будет слышать высокий, веселее свадебной пляски, детский плач... Конечно, ее Сайфулла простой татарский мужик. Он не годится водить большие русские машины. Мулла Ибрагим скажет, что бог никогда не бьет, не дав предварительно попробовать сладости; так больнее! «Э, для нищего и в беде съестся своя выгода» — снисходительно молвит Ибрагим... И, в конце концов, Марьям славная девушка. Она красивая, вся черная, как сулюк, пивавка; парни говорят, что даже глядеть на нее жарко. Нужда поучила ее, что не сломала костей. Вдобавок, в Аль-

дермеше привыкли к повадкам бога; он не любит равнять людей богатством, он любит равнять их нищетой. Будущий муж Марьям может поступить в трактористы... о, даже в счетоводы может поступить он! Честному мусульманину везде путь.

— ... хочешь есть, Сайфук?

Хитрая Биби-Камал, она напекла впрок целую стопку пресных лепешек, чтоб не разорять сына своим присутствием... Он нерешительно взял одну, разломил, скосил глаза на руки матери, месившие этот хлеб. Тесто было кислое, название хлеба было кабартама. И вместе с этим забытым словом тысячи подробностей — и прежде всего голуби, голуби, стаи на альдермешском минарете! — вспорхнули кругом. Глаза увидели с предельной резкостью (— и даже заболели глаза!) свое село; оно приблизилось на расстояние взгляда. («Ешь, ешь, Сайфук; когда заботы, надо много есть, и заботы едят пищу, а ты стоишь в стороне!») Он удивлялся с холодком в спине, как быстро он проходит назад то расстояние, на одоление которого потребовалось целых шесть лет... Захотелось еще, она с радостью протянула две сразу. Он был голоден, он потрудился вдоволь. «Ух, как много похоронил он за одну ночь». Они стали обсуждать будущее. Ничего продавать не надо. В голосе Биби-Камал появились хозяйственные нотки. «Ты купи мне на юбку, чтобы было чем похвастаться соседям. Не траться зря, бери подешевле. А для Марьям — зеленого с синими цветами ситца, что всегда так приманивает татарских молодух». Он кивал, в уме прикидывал расходы... Но вдруг ему стало жалко утратить дружбу товарищей, с которыми выросал в люди; — жалко загубленной вчера машины, а всего страшнее — что уже никогда он не вернется на свой паровоз. Тогда он поджал ноги под себя и, раскачиваясь, заплакал; в ту же минуту заболели обожженные пальцы. Он не закрывал лица руками, ему не было стыдно перед Биби-Камал.

— ... разве тебя посадят в тюрьму, Сайфук?.. Ничего, пальцы заживут, Марьям подождет. Ты вернешься после...

О, откуда ему было знать: с ним случилось это впервые. Может быть, только выгонят без права поступления на ту же дорогу. «Надо полагать, это как-нибудь обойдется, Сай! Товарищи тебя скоро забудут, а значит, и простят». Она уложила его в кровать и сама прикрыла одеяло. Он в забытьи все стонал со стиснутыми зубами, точно прокусили самое сердце. Похлопывая его по руке, Биби-Камал размеренно твердила песню. Она умела сочинять их любой длины и по мере надобности, но в особенности давались ей колыбельные...

«Огонь устал. Он говорит: я горел, я не буду светить, я хочу спать. Юкла сым киляз!.. Ночь ему сказала: спи, я постерегу. Не спишь ты всю ночь, а днем завидуешь солнцу. Он погас, сундэ. Хорошо.»

Сайфулла заснул сразу. Биби-Камал натянула одеяло на его постаревшее лицо, потом стала собираться в дорогу. Она заторопилась назад приготовить дом и невесту к возвращению сына. Время от времени она безмолвно и строго глядела на портрет Сталина, и с той же пристальностью Сталин всматривался в нее со стены.

### Черемшанский узелок

Сайфулла проснулся, когда Биби-Камал уже уехала. Ясный день смотрелся в окно. Лицо горело, как обожженное, и кожа набухла, а на пальцах созрели волдыри. Ощупывая себя, как бы стремясь удостовериться, что это он сам, он перебрал в памяти подробности последних суток. Теперь, при трезвом обсуждении, еще очевиднее становилась неотвратимость беды. (Кто-то прошел в сенях, и он торопливо поверил, что товарищи пришли за ним... но шаги стихли, и попрежнему только огонь постреливал угольками из печурки. Итти к ним первому не хотелось, потому что и сам, как ему сейчас казалось, никому из них не простил бы подобной вины...) Итак, нужно было узнать сначала, с чем он вернется в Альдермеш. Сундучок, где с пожитками хранились деньги, оказался незапертым. Вдруг пришло в голову, что их украли. Взволнованный, он раз-

брасывал вещи вокруг себя; беда вдруг стала маленькая-маленькая...

И опять эта отчаянная и уже последняя надежда не сбылась. Все было цело. Он смирился и, вытерев руки о штаны, чтоб не измарать бумажки, стал лениво пересчитывать деньги.

Иххватило бы, пожалуй, на юбку матери, но мало было для подарка Марьям. — Тогда он вышел, снег ослепил его, заломило в висках. И, так случилось, вместо кооператива он оказался на дворе у шинкарки Медведевой. Возможно, он сделал это скорее из любопытства (— потому что в его положении горше пытки было безделье), чем из подражания заправским машинистам, когда ожжет их горем; во всяком случае это посещение также могло отсрочить возвращение в Альдермеш. Вдова ушла за водой. Сайфулла ждал ее, сидя на ступеньках. Погода была теплая и ветренная. Мокрое белье трепалось на веревках. Никаких событий не происходило; только сытый петух с видом убийцы погнался за курицей и настиг, и оповестил об этом соседей.

Медведева носила солдатскую папаху и мужские сапоги. Она спустила ведра на снег и, приставив коромысло к боку, вопросительно глядела на машиниста. Сайфулла протянул ей в горсти бумажки, сколько было. Вдова оглянулась, не заманка ли, не попрытаны ли свидетели по-за-углами. Впрочем, она не боялась; про нее знали все в Черемшанске и по-малкивали: у каждого могла случиться неотложная потребность в ее услугах. Послюнив пальцы, она считала деньги: сбиваясь и сердясь, она ногою отстукивала счет рублям. Их было там только одиннадцать.

— Половинки все вышли, а на полный туман мало, — равнодушно сказала Медведева. (Она нагнулась, скатала снежок и кинула в петуха, чтоб не блудовал с чужими курами.)

— Больше нету... — И показал пустые руки, и сам осмотрел их со всех сторон, не прилипло ли между пальцев.

Тогда вдова закричала, размахивая багровыми ручищами, что все ходят к ней, а потом прописывают в газетах, и что только сиротская доля заставляет

ее кормиться от черемшанских прощалаыг. Хотя этот широкобровый паренек заявлялся к ней впервые, она на всякий случай припомнила и покойного мужа, задавленного на сцепке вагонов, и еже-часный свой риск быть сосланной за-едино с детишечками в холодные, нежилые края... Сайфулла слушал гулкое журчанье простыней на веревках и все отворачивался, чтоб ненароком не попала пальцем в глаз. Кстати, он вспомнил молву, что Медведева принимает и вещами; он достал ей отцовские часы. Солдатским громким шагом они маршировали и на холоду. Вещь понравилась вдове, перекрещенные ружья на крышке чем-то напомнили молодость. Кроме того, она любила разные николаевские предметы. Ее калмыковатое, бесчувственное лицо стало человечнее. Почти с материнским умилением она осмотрела вещь; прикладывала к уху, дышала на нее, а потом терла рваным рукавом. Стрелки показывали половину второго, и она решила дать за вещь двадцать пять рублей и целый литр той особенной настойки на березовых почках, что — как выпьешь, так и заперхась, и засмеешься, точно целая роща вместе с вешними птахами войдет и разольется по душе...

Они вошли в дом. Две худеньких девочки-однолетки, нараспев, как стихи, читали книжку. Приученные ко всему, они приникли к страничке и замолкли. Сайфулла томительно мял шапку, вдова, чертыхаясь, рылась в чулане, темноликий, как индеец, Никола нацеливался в татарина со своей скоробленной доски. По обычаю всех шинкарок, Медведева налила себе первую и пригубила в знак того, что не подмешано отравы. Потом ее припухлое веко деловито оползло вниз —:

— Литр я ценю в осмнадцать. Сдачи у меня нету, да и потеряешь. Там еще осталось у тебя... доплатишь, вторую возьмешь! — Не хотелось ей обманывать татарчонка за такую знаменитую вещь. — Придеешь, стукани два разка в оконницу. Я уж буду звать!

Сайфулла вырвал покупку и побежал. Он долго метался по каким-то лесным дорогам, в поисках укромного места: все

казалось, вот выйдет из-за угла та девушка, что приколола розетку ему на грудь в памятный вечер его возвышенья. (И не существовало, наверно, иного такого же выразительного танца первого юношеского отчаянья!) Бутылка была липкая, битое горлышко резало язык, настойка была мутного чайного цвета. Он сделал два глотка, чтоб заглушить густую животную тоску, и все гладил грудь, где не проходило... Тогда он закопал остатки в снег, с расчетом еще притти за нею, и с шальной головой отправился искать справедливого и задушевного человека, чтоб рассудил его старинную тяжбу с ненавистной Марьям...

А через час сумрачный и одинокий он сидел в вертепе у Абдурахмана, и стайка темных, гулящих молодчиков облепила его. Точно ослепший от хмеля, глядя прямо перед собой, он без утайки выкладывал им все из себя, и сам платил за всех, потому что в растрате этих денег только и мнилось ему спасенье. Так они пили на его счет и за его невесту, тормошили и хлопали по плечам, тешились, оскорбительно называли чапашкой, под шумок сыпали ему в кружку пепел с цыгарок, пытливо интересуюсь, что от этого дела получится с человеком. И один все добивался, верно ли, будто родичи его на шею завязывают тесемки от штанов, а другие —

— ... ну-ка, опиши нам свою бри-тую... — воодушевленно вопили другие... — не с нею ли наш Гриня Кашечкин поспал на прошлой неделе!—А сам Гриня, безусый атаман и водитель черемшанской шпанки, как будто не о нем речь, неторопливо обрывал бумажный цветок из вазочки, гадал на избранницу.

Тогда-то крупный, в броне неотмываемой сажы, кулак просунулся посреди компании, и все близоруко взирали на него с любопытством, переходившим в трезвое и настороженное удивление. Удар пришелся в лицо ближайшего из озорников. Хилое тело шутника запрокинулось вместе со стулом, и даже Абдурахман, готовый жизнь сложить за благочиние заведенья «Красный Восток», по-детски засмеялся от удоволь-

ствия. Он подбежал, бережно поднял поверженного с полу и, посадив на стул, даже галстучек поправил на нем.

— Ай, нехорошо так падать, — сказал он ему, с преувеличенным акцентом и покачивая головой. — Перломиться можно. Мерсе скажи гражданину, что не убил... папирской угоди. — Но тот молчал и сидел, как загнипотиженный.

У стола, пошатываясь, стоял внушительной наружности мужчина, чумазый, — и все завязки на его ватной куртке были порваны, — копоть проникла и дальше, на серую исподнюю рубаху; только в депо и можно было измазаться так. Жест его вряд ли имел воспитательное значение; скорее то была естественная реакция на замеченную гадость... Очень тихо, остро и интересно стало в пивной. Вдруг Гриня стукнул костяшками пальцев в стол, и все вскочили, шумно раздвигая стулья, и Абдурахман предусмотрительно стал у двери, и сам Гриня с очень бледным лицом, подрагивая, как на пружинках, стал обходить обидчика; он держал руки за спиною. Ватага крикнула в голос, в табачном дыму блеснула широкая металлическая радуга... В ту же минуту смельчак лежал меж столов с раскинутыми руками, и точно красную розу осыпали ему на лицо, стекали живые лепестки с тонких грининых губ.

— Пойдем отсюда, татарин... — взгремел победитель Грини Кашечкина. — Как тебя... Миргалим?.. Хасан? Рази ж это звери, чтоб понять твой крик, кочевник... Это ж люди!

Сайфулла подавленно взирал на своего избавителя. Он не раз встречал его, но шумело в голове, и он не умел припомнить хоть какую-нибудь наводящую подробность. Кажется, сейчас это был единственный человек, по сердцу расположенный к нему. И оттого, что денег у обоих не оставалось, они пошли догупливать вместе пропащий день. В обнимку тащились они от сугроба к сугробу, и невозможно было бы во всех интонациях передать их душевную и многословную беседу. Впрочем, Сайфулле досталась роль доверенного в сердечных излияниях хмельного человека.

— ... я помню, ты Зиганшин. Мы с тобой родня, с дядькой твоим воевали... ха, в одном хомуте распахивали эти чортовы пустоша! И я присту... присту... — не удалось ему многосложное слово, он сплюнул его и посмеялся — «Какое упорное!» — Я бы л, как двигали тебя на паровоз. Э, не горюй, у нас всегда так: воздвигнут человечка на пьедестал, а он и нагадит. Но тебя обманул паровоз, а меня баба. Чорт была, шайтан по-вашему. Э, описать, не поверишь... — И затем следовал знакомый многим в Черемшанске рассказ, как его выгнала некая Зоська, обозвав на прощанье верблюдом; как он очертил себе, якобы, грудь красным карандашом и вскричал, чтоб стрелила, сук а; как замахнулся на нее сам, а она равнодушно повернулась спиной, и спина была тугая и белая, как сметана. — И вот, татарин, шесть месяцев прошло, и все не знаю: не то ангел, не то просто скважина...

Была у него потребность всякого встречного вводить в круг своих видений, чтоб надоумили — убить ее, простить, или предать забвению. Он кулаками потрясал при этом, в надежде, что хоть ветер донесет к ней его звериное и низменное отчаянье.

— Ты тихо говори... ты кричать не надо! — вразумлял Сайфулла и думал, что вот бы поменяться им местами.

— Умолкни... как тебя, Хасан?.. Миргалим? Нам Скурятников сказал, что обидел тебя этот сукин сын. Что, ударил он тебя либо хотел ударить? Куда он тебя?.. щека?.. голова?.. зубы? — И сам кулаком ударил по ветру. — Ничего, не жалею, я помогу тебе. Иди час к Протокалитову, назови мое имя. Скажи ему громко, что тебя послал Кормилицын. И в глаза ему гляди, как они заюлят перед тобою. Хха, дарю тебе талисман на этого человека... владай и твори чудеса! — Так хрипел он, и тесно ему было на дороге, и оттого, что всегда в России уважали пьяных, об'езжали их встречные возы.

Сайфулла лишь зажмуривался; в его положении можно было рассчитывать лишь на чудо. Многое победил в себе, но осталась суеверная надежда на какое-



то древнее, у стариков хранимое, могущественное слово. Стоит произнести его в урочный час, и оно сизым пламенем вырвется наружу, опалая гортань, и горе его испепелится, и вторично судьба дарует ему возможность с честью пройти через Сарзанский перевал. И почему-то крепко верилось, что Кормилицын знает это тайное слово, и, вот, проговорится, а тот все бродил поблизости. И тогда, хитря, он повел этот громадный футляр с тайной на то заветное место, в лесок, где была у него закопана бутылка.

... до самого вечера никто не видал их больше. А ближе к сумеркам Кате и Пересыпкину случилось проходить мимо кооператива. Они заметили кучку всякого поселкового люда. Сбившись в кружок, они наблюдали какое-то не очень веселое происшествие. Пересыпкин заглянул из-за чужих спин. «Эге, голубчик, — жестко усмехнулся он, — да ты вдобавок и пьяница!» И пальцем помянул Катю, чтоб полюбовалась на избанника... Посреди, весь измаранный в снегу и с рассеченной бровью, плясал Сайфулла; то была уже не лихая, сдержанного и бешеного ритма, а пипа, а лишь беспорядочные конвульсии отравленного человека. Он вскидывал руку при этом, и она вспархивала, как подстреленная, и хватала что-то, и с силой кидал оземь. (Кормилицына при нем уже не было.) Зрители с пристальным и сумрачным интересом наблюдали эти судороги. И одна крохотная старушка, наверно — машинистова мать, пожалела вслух свихнувшегося паренька: вот, еще один окрестился в паровозную веру...

Катя ворвалась в толпу, которая послушно расступилась. Она схватила за руку Сайфуллу, и заглянула в глаза, и он задрожал, и потащила за собой, и такая ненстоявая властность была в ее порыве, что и жены паровозных мастеров, ревнивые до чужих секретов, не нашлись осудить ее. (И хотя он радовался, радовался, что она отыскала его здесь, отбивался как мог —:

— Кыт мун нан... убирайся!)

Она довела его до водоразборной колонки, заставила нагнуться и обмыла ему лицо. Он повиновался с удивлением

перед ее силой. Жажда жгла его; сломив сосульку с крана, Сайфулла грыз ее, хрусткую, как стекло. Они двинулись, Катя с закушенными губами — чуть впереди. Она решила отвести парня в дорожную будку, спрятать его, пока не вернется к нему человеческое обличье. В ту смену на стрелке дежурила подруга; она не выдаст тайны. В помещении было темно и тесно, ровно на двоих. Забрел, было, погреться стрелок охраны, потоптался сконфуженно, побурчал — вот, мол, наворожила себе злато, и вышел, следуя обычаю простонародной деликатности. Скрестив руки, вся раскачиваясь. Катя в упор разглядывала сидящего Сайфуллу. Проходили паровозы за окошком, и Сайфулла ежился от их ползучих, медленных и зрячих огней. Отрава давно изошла болью через виски. Все стало ясно. Глухие, издали донеслись гудки отравленья; вечерний поезд уходил на Альдермеш. Юноша рванулся к двери, и Катя насмешливо посторонилась, но самые руки Сайфуллы, уцепившиеся за край дощатой койки, не пустили его. Что ж, в Альдермеш можно поехать и позже, когда он снова накопит денег на подарки: Марьям подождет, она привыкла ждать!

— Вот, упал... — и коснулся опухшего надбровья. — Чего молчишь... ругай!

— Что у тебя с руками?

— Сжег...

Она молчала, все ждала, что он придумает себе оправданье, и, конечно, выгнала бы его, если бы посмел произнести хоть слово. Вдруг он вскочил и вскинул руки над головой —:

— Бэтюн, весь Татарстан смотрит. А хуже — ты смотришь...

Она топнула ногой, чтоб молчал; потом спросила брезгливо:

— Верно, что он тебя ударил? — и по ее щеке разлилось тепло, как будто и на нее мог распространяться протоклитовский удар.

Он крикнул, защищаясь от ее глаз:

— ... не было, не было!

Катя опустила голову и перебирала в пальцах бахромку платка. «Что же мне делать-го с тобой?» шепнули губы. Она пошла наружу, приказав ему оставаться здесь. Ночной холод не успокаивал, тер-

ритория станции показалась маленькой. Катя дважды обошла ее, и все еще не родилось решения. У клуба толпились люди, и посреди высокий нетрезвый человек выкрикивал что-то, заставлявшее людей смеяться и поталкивать друг друга в бока. Катя послушала, ей стало противно, что еще существует такая гадкая жизнь! — На задворках поселка, уткнувшись лицом в забор, она заплакала от злости, и кулаками барабанила в садные, неструганные доски.

«... как же поступать-то теперь?»

Бросить Сайфуллу, значило потерять его навсегда. Но он не мог оставаться и в Черемшанске: взбунтовалось бы деповское старичье. Ей пришла мысль, что ошибка только тень преступления, а в истории с загубленным паровозом имелись смягчающие обстоятельства (— от брата Катя узнала подробности этого несчастного рейса) и что свой человек стоит дороже всякой машины. Она струсила этой догадки и торопилась выкинуть ее из памяти... Потом вспомнила Мартинсона, — его моторисса еще торчала на запасном пути. По должности этот человек имел право принимать решения даже, когда они шли вразрез с обычаем карать, не справляясь о причинах. Тогда она пустилась напрямки в тупичок за контрольным постом, где стоял вагон начподора. Уже она вступила на подножку... ее остановило соображение, что все это она делает для себя. И, пока колебалась в раздумьи, дверь распахнулась, и сверху почти свалился на нее Пересыпкин.

Вряд ли кто-нибудь заставлял его в таком виде; он безумел и не соображал ничего на свете. В полном смятении чувств он метнулся через сугроб, шапкой ребячливо зажимая рот себе, но какая-то лютая сила снова вернула его к вагону. И хотя Катя не знала, что случилось там, наверху, ее собственное горе заставило подойти, притянуть к себе товарища и гладить, гладить его ускользающие плечи.

— Что случилось, Алексей? — Нечаянно она коснулась его мокрых щек и отступила, не узнавая прежнего, деловитого и жесткого паренька. — Ты плачешь?..

Он содрогнулся от этой непрошеной близости; он промычал, освобождаясь от ее рук:

— Алешку жалко... (— И Катя не сразу поняла, что это было сказано про Курилова.)

Ее неожиданная ласка отрезвила его; он попытался объяснить Кате, что за человек сидит сейчас в запертом купе наедине со своей ужасной мукой, как бережно растил его самого этот «отец и садовник многих людей вроде меня», и как подло это, что никакою большою радостью он пока не успел отплатить Курилову за себя. Катя слушала, и ей было грустно за свою собственную минутную слабость. Они пошли прочь от вагона. (Так Алексей Никитич и не узнал, может быть, самого существенного эпизода в истории одной безымянной пары, которую наблюдал в различные периоды своей жизни.)

Алеша шел впереди, очень связно обсуждая черемшанские события, но вдруг присел, почти свалился на чугунный кожух стрелки и, втиснув голову между колен, заплакал. Жалость к Курилову была сильнее стыда даже перед этой девушкой, и у нее нашлось чуткости не утешать его. Потом он поднялся, свыкаясь с мыслью, что не всегда Алексей Никитич будет направлять его поступки и мысли; иногда с этого сознания и наступает человеческая зрелость.

— Пойдем, бюро еще не кончилось, — сказал он, нахлобучивая шапку до бровей. — Ты отвернись, я оботрусь снежком... — И прибавил, как бы оправдываясь в дурной чувствительности, что, вот, он видел старость великого человека. (Только теперь в каком-то ином, человеческом освещении представилась ему сцена с Лизой, подсмотренная нечаянно в Борщнинском лесу.)

... за непокрытым столом, в слоях табачного дыма, заседало бюро ячейки, вчерашние товарищи Сайфуллы и, следовательно, самая строгая из судейских коллегий. В комнате, набилось свыше сорока человек. Все волновались, и было трудно вести собрание в порядке. Опять на повестке стояло одно, попрежнему огненное, слово паровоз. Катя поискала

глазами Мартинсона, но он еще не вернулся из Куллы; она поймала на себе пристальный, вопросительный взгляд Протоклитова и, пожав плечами, отвернулась.

Шло обсуждение приговора; вне зависимости от решения по делу самого Сайфуллы, Решоткин выводился из состава бюро и назначался в слесаря, Скурятников получал окончательное увольнение. Слово дали Протоклитову, вызванному для показаний, и хотя комсомольская неудача оказывалась козырем в его игре, ему удавалось даже сейчас сохранять скупающую невозмутимость эксперта. Он долго складывал газету и все косился на Катю, в лице которой читалась какая-то усмешливая тайна. Его выступление стоило расценить как призыв к сговору, и он платил щедро тем, кого приглашал в сообщники. Его предложение в равной степени поражало разумностью доводов и настораживало, потому что все видели в нем сложный и хитрый маневр. По мнению Протоклитова, суровое взыскание погубило бы молодого машиниста. «Не забывайте, друзья, что возвращаться ему отсюда некуда; дровеня встретит его как отступника; а парень в доску наш». Щадя самолюбие соплеменников Сайфуллы (— и вместе с тем лстя им, не пропускаям ни слова —), он мимолетно намекнул на культурную отсталость этого честного и деятельного народа; он подчеркнул, что бураны, подобные вчерашнему, сбивали с толку и опытных механиков, и, кстати, не без юмора привел пример из собственной практики, выслушанный с напряженным и сочувственным вниманием. (Рассказанный случай действительно имел место, но — с одним белым бронепоездом и в ту именно ночь, когда он решился на бегство в новую жизнь; он утаил эти частности от собрания, как не имевшие прямого отношения к делу.)

— Вот что касается музыкантика... — заключил он, имея в виду Скурятникова — ...я был стукнул его построже. — И стал скручивать папиросу, и на этот раз табак неряшливо сыпался ему на колени.

Его предложение не могло остаться без сторонников; кое-кому из ребят по-

нравились почетные условия мира. «Пускай коллектив в кратчайший срок отремонтирует паровоз, а Сайфулла проведет его до Сарзани!» Но следом за Протоклитовым поднялась Катя, и оттого, что в лице ее читалось негодование, шум мгновенно затих. Она пошла к столу.

— Просишь слова? — спросил секретарь. — Опоздала, мы уже обсудили на счет Виктора.

— Нет, я собралась говорить о Сайфулле.

Судьи переглянулись; они испытали неловкость за Катю, отважившуюся защищать виновного в одиночку. Никто не глядел на нее, и даже Пересыпкин, кусая ногти, неподкупно опустил глаза.

— Почему он сам не пришел сюда? — поинтересовался он. — П е р е ж и в а е т?

— Я подобрала его в нехорошем виде. А это было ваше дело — поддерживать товарища в беде...

Секретарь засмеялся —:

— Ну, у нас и без него хватило работы, — и со значением погладил кровавой мозоль в ладони. — Ходят слухи, что начальник депо ударил его. Скажи про это!

— Я спрашивала, он отрицает.

— ... боится, что его сообщенье расценят как жалобу? В его положении это было бы, разумеется, смешно...

Она пожала плечами —:

— Ну, я еще не жена ему, чтобы он лгал мне.

Пересыпкин одобрительно улыбнулся. Эта девушка любила ходить с поднятым лицом и не боялась сплетен!.. Она начала с того, что гневно отвергла поправку на национальность и осмеяла формулу товарищеского снисхождения. «...он ничем не отличается от всех вас и не нуждается поэтому ни в преувеличении похвал, ни в преуменьшении наказания. Слишком много глаз — дружеских и враждебных — смотрят сегодня в Черемшанск, товарищи. Для дела станет лучше, если мы будем помнить о них, даже когда ссоримся или любим!» Ребята наградили аплодисментами скорее порыв, чем самый смысл ее речи; всякий знал и раньше, какое впечатление в депо произвела бы любая поблажка провинив-

шемуся машинисту. И, хотя всем без исключения жалко было товарища, каждый старался говорить жестче и суровее, как будто это означало жесткость и к себе самому. Так решилась участь Сайфуллы. (Должно быть, Катя знала накрепко, что у нее найдутся средства удержать его от возвращения в Альдермеш.)

Иронически улыбаясь их юной пылкости, Протоклитов поднялся. Он спросил, необходимо ли его дальнейшее присутствие; его не задерживали. Катя Решоткина остановила его на полдороге.

— Погодите одну минутку, — сказала она через всю комнату и выжидала, пока утихнет шум. — Чуть не забыла, Протоклитов...

Тот медленно обернулся с внимательным и неподвижным лицом. Они стояли друг против друга, как на поединке. Катя казалась выше и бледнее обычного: Пересыпкин взирал на нее с нескрываемым восхищением.

— ... станете проходить мимо клуба, — кусая губы, сказала Катя, — заберите своего Кормилицына. Он там кричит, что вы белый и заслуженный офицер... а люди кругом смеются, и получается очень нехорошо.

Она проговорила это обыкновенным своим голосом, не подчеркивая ни слова, но собрание вдруг поднялось, кто-то уронил табуретку, и народу как будто сразу стало вдвое. Какой-то некрупный, задиристый паренек, выскочив на середину, делал ей торопливые, просительные жесты, чтоб продолжала, добивала до конца... но больше она не знала и сама.

И опять ничто не шевельнулось в лице Протоклитова. Он отрицательно покачал головой —:

— У меня не вытрезвитель, милая барышня, подбирать всех пьяниц в Черемшанске. Но если у вас в будке найдется еще местечко на этого хорошо сохранившегося холостяка... — И он поощрительно подмигнул Кате, как бы рекомендуя заняться Кормилицыным.

Произошло замешательство; никто не знал, как именно поступать теперь. Потом Пересыпкин вскочил на стол и прыгнул вдогонку за уходящим Протоклитовым. Его схватили налету, его дер-

жали за все его ремни, а он колотил по рукам товарищей и тянулся к двери, которая медленно закрывалась.

— Грубо, гадина, грубо... — кричал он срывающимся детским голосом, и потребовались соединенные усилия всех остальных, чтоб удержать его на месте.

### Перед тем, как уйти из дому

До Москвы Алексей Никитич устроился в вагоне своего приемника.

Накануне Мартинсон вернулся поздно. У Курилова в купе шумел черемшанский лекарь. Должно быть, знание физического недуга сближает с пациентом теснее двадцатилетней дружбы. Так, рыжий доктор называл больного уже батенькой, посвящал в секреты человеческого организма и, хотя отвергал значение лекарств, натащил уйму пузырьков в знак того, что это он — хозяин болезней в Черемшанске. Мартинсон улыбаясь: речь шла о вреде и пользе внезапного отказа от спиртных напитков.

— ... представьте себе, батенька, ответственный мотор, который тридцать лет работал на высококачественном бензине. И вдруг в него запускают, допустим, чай с лимоном, эх-эх! (— Так он смеялся. —) Что происходит? Катаклизм и мовэ в высшей степени. За примером недалеко... У меня товарищ был: цветущий мужчина с высшим образованием, отец детей, муж жены, сын матери и так далее. Представляете? Бросил пить, попал в растрату и теперь совершенно трезвый сидит в лагерях, эх-эх-эх!

— Так в чем же дело?.. механизма не улавливаю... — любопытствовал Курилов, и видно было, что уже любой собеседник мог скрасить его одиночество.

— Как же, батенька! Резко переменились условия. Допустим, был Иван Ребров, а получился Семен Самсонов, эх-эх-эх...

Сонливый мужчина в форменном ките и с кошачьими усами принес им чай. Мартинсон не порешился нарушить этой задушевной, содержательной беседы и ушел на совещанье с молодежью. Протоклитова он уже не застал там. Ре-

бят сидели притихшие; никто даже и намеком не обмолвился новому начальству о скандале, происшедшем час назад. Как и они сами — Сайфуллу, начподор мог заподозреть коллектив в попытке свалить на постороннего провинности истекших суток. Убитый паровоз стоял у всех в глазах. И прежде чем давать ход такому оглушительному открытию, следовало послушать Кормилицына в трезвом виде. Никаких добавочных улик, кроме оговорки пьяного человека, не имелось; всякий грубый шаг только испортил бы дело. И было негласно решено в тот раз окружить Кормилицына вниманием и дружбой, чтобы отыскать лазейку к этому гнилому человеческому дуслу, в котором, подобно сове, приютилась тайна.

Мартинсон вернулся только после полночи и постучал в куриловское купе; тот еще не спал. Молодой товарищ спросил старого, не нужно ли ему чего-нибудь. Алексей Никитич сказал ему, чтобы тот подоткнул одеяло со стороны окна. «Продрог весь, наверно, от утомления!» Тропическая жара стояла в вагоне, проводники старались. Потом световые пятна станции двинулись по оконным шторкам, и моторисса вступила в бескрайние просторы зимней ночи.

— Ну, что у них там? — спрашивал Курилов и приподымался на локтях.

— Лежи, старик. Ребята сожгли паровоз... замолкли! Истинное совершенное нетие никогда не бывает праздничным. Я помню свое... — Он оборвал на полуслове; этот четкий, почти литой, под бобрюк остриженный человек не любил бесплодных лирических волнений. — Снег идет... и его много!

— Зима.. — протянул Курилов и осторожно, сперва одной, потом другой лопаткой положил себя на подушку. (Наверно, и на Океане холодный дождь плещет в сонные улицы, и световой маяк высоко в небе помигивает громадным воздушным кораблям, прибывающим с братских материков.)

— Ну, что твоя болезнь? — Было бы бестактно не спросить об этом у больного.

— По-моему, проходит. — Он имел в виду только последний приступ. — Конечно, тяготит это жалкое, нищенское состояние: лежать... и над тобой проходят люди...

В конце-концов, Курилов не имел претензий к судьбе. Однажды при нем рубили яблоню на дрова. И не брызгалась сочной щепой, а крошилась и падала кусками прелая древесина. А это дерево тоже проработало всю жизнь, но устало и умерло, и люди освобождали место, чтоб посадить взамен его другое. Так никогда река не остается прежней!.. Но все же можно было и умнее истратить остаток жизни. И он жалел, что ему не досталось заслонить своим телом вождя или пасть на расстреле, чтобы кто-то научился его примеру. Столько раз дразнил и ускользал от «смерти, чтобы увидеть ее вдруг за спиной... или в самой спине.

— Был такой в средние века воитель. Коридал... — раздумчиво начинал Курилов.

— Вот, не помню такого.

— Его мало кто помнит. В тысяча четыреста двадцать втором году при осаде Карлштейна он швырял во вражеский город с катапульты трупы людей. Умница!.. умел использовать солдата до конца.

И Мартинсон понимал, что это горечь бездействия отравляла Курилова.

— Тебе надо становиться в док и здорово чиниться, старик! — говорил он с суровой лаской.

И Алексей Никитич соглашался, что это, действительно, важное дело — ремонт боевого корабля.

— Болезнь, товарищ, это ненормальное состояние человека! — поучительно отмечал Мартинсон.

— Ты прав, ты совершенно прав, — с чувством откликнулся Курилов.

Так наяву сбывался вариант, когда-то придуманный Мариной в глухом Спасо-Болвановском переулке. И от обоих требовалось много умения, чтобы этого разговора хватило до Москвы... Утром, у вокзала, их ждала машина. Куриловский шофер выслушал приказание Мартинсона ехать прямо на службу. За всю

дорогу они обменялись едва парой незначащих фраз.

Они поднялись в кабинет, и по управлению распространился слух, что Алексей Никитич сдает дела. Обедать они отправились вместе: Мартинсон хотел посоветоваться, кого и в какой пропорции следует выбирать на предстоящую общедорожную конференцию. В столовой встретился Сашка Тютчев. Какой-то нешумный и слишком предупредительный на этот раз, он пешком проводил Курилова до дома. Он еще не прочел в сашкином лице его сокровенных мыслей, а уже смерклось. Они еще не успели договорить всего, как уже стояли у подъезда.

Тютчев спросил в тоне виноватой шутивости:

— Итак, отче, ложишься в больницу?

— Да, предписывают вскрыть нутро... Досадный перерыв в работе... и в жизни. Да и болезнь подлая, болезнь-вышибала, действует со спины...

В Москве чистили крыши в этот день. Ледяные глыбы валились сверху, и едва Алексей Никитич собирался разглядеть хоть одну из них, как уже разлеталась в грязные обломки.

— Неудачно у тебя складывается дело, — говорил Тютчев, подыскивая слово товарищеского ободрения. — Ты помянул давеча, у тебя просьба ко мне?

— Да... — И теперь, подгоняемый течением событий, торопился сам. — Если кто из твоих поедет за границу, закажи, чтоб привез хорошую трубку. Постой, я тебе объясню, какую... — И очень подробно излагал ее признаки, марку фирмы, качество дерева, а в особенности остановился на ее прочности. — Видишь, у меня была одна, хорошая... пятнадцать лет, почти родня... но украли. Дай, лучше я тебе нарисую!

Он сделал ему на память чертежик в записной книжке, и они расстались с мужественной и умной сдержанностью. Хотелось еще с минутку подержать горячую сашкину руку, но знакомый вахтер, знавший в лицо всех жильцов дома, уже открыл дверь. Выходя из лифта, Курилов вспомнил, что забыл указать другу одно обстоятельство (—мундштук должен быть непременно прямой!), но

стало поздно; железная коробка неотвратно пошла вверх, щелкая на этажах. Он едва прикоснулся к звонковой кнопке, а сестра уже отперла ему. Так ни разу за весь день и не удалось задержать событий, по минутам размеченных в графике жизни... Завидев брата, Фрося метнулась в комнаты, но раздумала, вернулась и с испуга даже не протянула руки. В доме пахло лекарством. Снимая пальто, Алексей Никитич разглядел на вешалке грязный, отрепанный пиджак. Такая же, точно собаками изглоданная, шапка-треушок валялась рядом с калошами (—и, пожалуй, лежать ей там было пристойнее). В квартире находился кто-то чужой; он и был причиной фросиной растерянности.

— А, у тебя гости, сестренка? — удивился Алексей Никитич.

— Муж. — И в лице читалось ожидание, что теперь-то брат и рассердится и выгонит их всех гуртом на стужу. — Знаешь, тут Лука болен... я и пропустила все сроки отъезда.

— Что же с ним? — за сестру встревожился Алексей Никитич. — Врача бы надо... этого не следует запускать!

— О, теперь-то дело на поправку идет. Я и не смогла прогнать Павла: все-таки отец. И как он учуял, что я с Лукою у тебя, ума не приложу...

Курилов еще раз покосился на вешалку —:

— Вахтер-то не задержал его?

— Я позвонила вниз, чтоб пропустили. Ты уж прости нас всех, Алешенька! — И низко, рукой до полу, поклонилась.

Тогда он привлек ее к себе и, придерживая голову за подбородок, долго, с упреком глядел в виноватые, заплаканные глаза сестры, пока они не улыбнулись.

— Стыдно, Фрося. Павел Степаныч там?

— Он у Луки... всю ночь дежурил. Он уйдет... Я ему сказала, чтоб на вторую ночь не смел... чтоб убирался, куда знает. (Ведь квартира-то твоя!) Ящики все я сама заперла, ты не бойся... — Она опустила глаза, и брат понял, что Фрося слышала их разговор с Клавдией о бдительности.

— Ну, так вот. Согрей нам чайничек и дай что-нибудь пожевать. Можно и мясное, ничего! Налево кругом марш...

Не прячась, он заглянул в проем двери. Обернутая газетой, горела лампа на столе; видимо, абажур разбили как-нибудь в суматохе. Больше, чем лекарствами, пахло здесь горелой бумагой. Особый, ночной беспорядок, как всегда в комнате больного, бросался в глаза. На кожаном диване, очень длинный, точно выросший за эти три недели, лежал фросин мальчик. Мало изменившийся со времени свидания в Саконихе, Омеличев сидел рядом, локтями упираясь в колени; черные, со скупой сединою, волосы пробивались между пальцами; недвижный, затаившийся, он глядел, как спал и во сне шевелил руками его плохой, незадавшийся сын. Шорох заставил его поднять голову. Он вгляделся в потемки, привстал, почтительно держа руки по швам.

Курилов встал рядом и смотрел на Луку. Мальчик поминутно ворочался и скидывал на пол все, чем был укрыт. Синева болезни лежала в его глубоких, страдальческих глазницах; с такими бровями, смыкающимися, точно две наклеенные шерстинки, редко выживают дети... Все было ясно. Алексей Никитич не испытал ничего, кроме желания поскорее повидать Зямку.

— Вот, застаешь ты меня, как вора, незванного, — заговорил Омеличев и, не зная, как поведет себя хозяин этого места, тоже не протягивал руки. — Уйти, что ли?

Курилов вымолчал одну минутку. Что мог сообщить ему этот укрощенный, озлобленный и, главное, совсем безопасный человек? Но, может быть, уходя все вперед и вперед, захотелось Курилову в последний раз коснуться этой доисторической древности, напоминавшей о молодости, о рукопашных схватках с прошлым, о самоотвержении, происшедшем от великого и не зря растраченного богатства.

— Куда же тебе торопиться к ночи, посиди. Фрося нам чайку сготовит... Ты, помнится, любил чаек?

Да, тот обожал это старинное русское безделье — чай. У него на Каме в

месяц выпивали фунтов до семи; Омеличев кашлянул в ладошку и сам удивился издали фантастической цифре своего прежнего благополучия.

После того, как Алексей Никитич переделся и вымылся с дороги, они вышли в соседнюю комнату, чтоб не тревожить больного. Ссылаясь на утомленность глаз после бессонной ночи, гость просил Курилова не зажигать яркого света. Впрочем, тот и сам сознавал, что не стоит смущать его излишней пристальностью. Шел на убыль этот человек, и хотя понимал бесповоротность судьбы, все еще не умел привыкнуть к новому своему состоянию. Он почти и не сидел, а все ходил, не давая Курилову рассмотреть себя; раза три за время беседы он выбегал взглянуть на Луку. Были пусты его руки, не звенели в них привычные ключи от утраченных царств и будущего. Но все еще не отвыкли руки; и, вот, он брал вещь и мучительно вглядывался в нее, как бы стараясь узнать ее, и находил в ней иное назначение и новизну, ему уже недоступные, и сердился, и не ставил обратно, а как бы откидывал прочь. «Нет, ничего не изобретено нового со времени его поражения!» Одет он был в то, что года два назад выдали из цейхгауза, а в то время не гонялись за красотой казенной одежды... Они сели; Фрося заварила им погуще и сама осталась у Луки.

Долго не налаживалось, и только на полчаса прорвалось с бывалой искренностью —:

— ... Окосмател ты, Павел Степаныч. Уж не соблюдаешь себя. С дороги ушел, что ли?

— Не, мне отпуск дали. Ходил на Каму, на красавку свою взглянуть в последний разок... Мать, ведь!

— Это хорошо, что и маму не забыл. Что, легче жизнь стала на Каме?

Омеличев зябко поежился —:

— У кого мозги попроще, тем легче.

— А себя к каким причисляешь, Павел Степаныч?

Тот не ответил и сидел с закрытыми глазами.

— ... встретил самоварного мужика моего, Анатолия. Столько лет протекло, а признал хозяина-то! Расспрашивать,

видно, побоялся, а просто сунул мне три рублика да без оглядки от меня. Очень мне хотелось спросить, кому он теперь самовары-то ставит, да остерегся. Власть не власть, хоть и с портфелишком... но одет чисто, и глаз... пугливый, но вострый глаз. Видно, сразу учуял, какой у меня дар на него припасен... У меня-то в заведении он на самоваре состоял!

— Правильное наблюдаенье: растут людишки. Три-то рублика взял?

— А чего ж!.. он зато удовольствия на пять получил: кому дал!

Конфетки, простонародные сахарные подушечки, стояли в стеклянной вазочке. Омеличев раздавил одну в пальцах, осмотрел, бросил в рот, пожевал раздумчиво, усмехнулся: и цвет, и вкус те же... «так почему же, почему же жизнь-то такая непохожая?»

— Не во-время на Каму ходил, Павел Степаныч. Зима, не видать красавки-то, спит.

— Э, что надо, то видать. Чиновника издаля видать.

— Не бранись, купец. Не все чиновники!

— А ты не обижайся, я не про тебя. Ты праведник... да ведь ни одна затея, помнится, на праведниках не вызревала. Я в эти дрожжи плохо верил, хозяин. У меня крали густо; кто не ленив, тот и пользовался... но самому сытому из воров я боле доверял, чем самому тощему из праведников...

— И это правильно: грабительское было время!

—... зато и он все свое чувство пароходному делу отдавал. Левый глаз спать шел, а правый при деле оставался. Я людей поколеньями на деле растил. А у тебя — наблудил на суше, его, дурака, свиней пасти, а ты его на реку... Ничего, что я так, начистоту? Ты прикажи, я перестану.

— Скушно ты говоришь, Павел Степаныч. Я ждал что-нибудь повострее... чтоб по сердцу цапнуло!

Омеличев поежился; уже не имелось у него такого инструмента, чтоб оцарапать куриловское сердце. Он поднял голову, прислушался; замычал и забился мальчик в бреду; потом дошел успокоительный шопоток Фроси, и все стихло.

— ... и какой я купец, Алексей Никитич. Хозяйство было большое, баржей и пароходов... Господи, одних акций от разных предприятий четыре тыщи листов, а пользовался я ими? Только и удовольствия было — закатиться на таратайке по чувашским лесам. Эх, роши вы мои под-вечер, оранжевые, безвестные ручейки...

— Брось, ты же их рубил, роши-то!

— И ты рубишь, и тебе платят за власть. А меня самая суета радовала! Глядел на руки свои, всемогущие мои руки, и тешился. Белые в осьмнадцатом году весь мой флот в затоне спалили, чтоб красным не достался... воинство мое побито лежит... а ты видал мои слезы?

— Зато слова твои слышу, Омеличев. Слова мокрые! Все еще жалко тебе...

— Э, я бы и теперь всемеро скопил. Верни мне мою Каму! — Он оперся всею тяжестью о стол, и расплескались стаканы, и скатерть поехала в сторону, и с надтреснутой страстностью зазвучал омеличевский голос: — Я бы ее каждый день веником ометал всю!.. Я б тебя с судна на судно посуху провел до самого Пьяного Бора, где мой флот схоронен. Вода бы у меня на Каме не остывала день и ночь. Найди-ка верную цену, купи эти руки у Омеличева!

Курилов откровенно рассмеялся на хищную и взволнованную искренность —:

— Купил бы... да придется их наперво от головы оторвать. — Ему вспомнился разговор с Клавдией о том же самом; он решил испытать этого человека: — Но если согласен, я поговорил бы, с кем надо. Пускай руки твои на Каму едут и делом займутся... а?

Тот насмешливо покачал головой: — Для кого? Я ж по твоей статистике на земном шаре не значусь! Был у меня Егорка, да и тот погибнул.

— А Лука?

— Не смейся над этим, Алексей Никитич! — И пальцем веще погрозил, точно пророка несчастье.

Куриловым овладевала зевота; уже он каялся, что затеял это чаепитие. Времени оставалось в обрез, чтоб выпастыться перед больницей и позвонить кое-кому



из друзей. Кроме того, собирался послушать злую и умную критику врага, но зеркальце было слишком мелкое, все в трещинках, битое: Курилов не умещался там во весь рост. (А можно было отлично провести вечер у Зямки!)

— Но все-таки, грузооборот на Каме выше довоенного?

Обида, обида отравила разум этого человека —

— Э, ты ловок... с довоенным-то себя сравнивать. А я?.. я спать бы стал эти шестнадцать лет? Думаешь, расти — это только тебе дадено? Нет, хозяин, это дерево срублено, а не засохло. Пятнадцать лет назад, вона, не было человека, а теперь уж и страждет, лежит. — И опять воспламенялся почти до крика, и видно было, как обсохший фитиль напрасно лизал опустошенное дно; никнуло пламя, не светило и не жгло.

Омеличев опустил голову, и руки, обессилев, повисли вдоль тела —

— А запал тебе в голову наш чердачный разговор. Много времен ушло. Глаза в глаза глядимся, а сколько промеж нас положено и костей человеческих, и головешек. А то еще встретился мне тот офицерик, что приходил за тобою на Каме. Столько лет, а мало изменился... бровку-то попрежнему, ровно сабельку, вскидает!

— Ты б его за рукав, молодца... да в надежное место, а?

— Что ж мне его губить. Я и тебя не тронул...

«Соврал, соврал, Павел Степаныч! — думал Курилов. — Просто хотел напомнить про должок...»

— Я так до сих пор и не уразумел, почему ты меня не выдал. Мстил мною кому, или перетерпеть надеялся советскую власть... или просто так, по родству?

— Какое у нас родство: ты кочевой, а я оседлый. Тебе и мордва — свояки, а у меня они землю копали... Что ж, не святы люди-то!

Он и сам испугался сорвавшегося признания, забормотал что-то о революции, как о страстке для других народов, но маневр был неискусен и фальшив. Алексей Никитич ждал, что заступничества или денежной помощи

попросит Омеличев, и, стремясь закончить неудавшийся разговор, сам осведомился равнодушно, не нужно ли ему... Нет, разве только пару белишка на сменку! (Хотел хвастнуть ничтожностью просьбы, но тут-то и прорвалась непрощенная обида: «было время, целая рота от меня одетая ушла!») Вскоре позвала его Фрося подержать зачем-то Луку, а когда он возвратился, Курилов спал, положив голову на стол. Двумя часами позже, после ухода Омеличева, сестра разбудила брата и уложила его в кровать.

... утром поднялись рано. Чайничек, точно и не убирали, сипел на столе. Завернутый в одеяло, Лука сидел на диване, и Фрося поила его с ложечки. Алексей Никитич брился, когда Клавдия вызвала его к телефону. Она начала с выговора, что не удосужился сообщить ей о своем приезде. Голос ее, поутреннему свежий, металлическим эхом отзывался в микрофоне.

— Мне позволено это... ну, твоя Тютчев. Чрезвычайно неприятные друзья подобрался у тебя, Алеша. погоди, я возьму стул. — Она ушла, и Курилов терпеливо слушал, как потрескивает мыльная пена на щеках. — Что ты сказал?

— Я говорю, Клаша, чтобы ты составила мне комплект приятелей. Только избегай, если можно, нравоучительных женщин и вообще непьющих!

— У тебя остроты, как у провинциального адвоката, Алексей. А еще начальник политотдела!

— Ну, положим, я почти бывший начальник политотдела. А во-вторых, спецу: весь в мыле, и Лука корчит рожицы на меня. Вот, выпью чаю и отправляюсь...

— Я не успею приехать проводить тебя?

— Милая сестра, я еду не на тигров охотиться. Свой визит ты нанесешь мне завтра. Кстати, непременно приведи Зямку... пожалуйста! Ну, жму тебе руку изо всех сил...

Он положил трубку, но через пять минут она снова позвонила ему.

— Я хочу напомнить, Алеша, чтобы ты не забыл взять носовые платки и

зубной порошок. Машина у тебя есть?

— Спасибо, я пройду пешком. Отличное утро, а я мало хожу.

— Утро довольно пасмурное, — резко возразила сестра.

— Распорядись, чтобы у тебя протерли окна!

Она помолчала, потом спросила о том, главным, в чем и заключалась цель ее вторичного вызова:

— ... трусишь?

— Не-ет! — И сейчас не хотелось притворяться шутником. — Итти, правда, не хочется. Как-то щекотно итти туда...

Тогда она потребовала к телефону Фросю, и та с печальным лицом слушала ее наставления. Через полчаса Курилов стал собираться, но потребовалось привести в порядок бумаги, и из дому он вышел только после полудня... В этот раз, однако, он так и не добрался до больницы. Вдруг увидел прямо перед собою ту же самую, как ему показалось, парочку. Да, это были они, и он давно свыкся с мыслью, что мир переполнен их отображеньями. Они встречались ему в любую минуту, стоило только вспомнить о них, везде — на всех больших стройках страны... или на первомайских демонстрациях (— взявшись за руки, они проходили перед трибунами)... или у себя на вокзале (— может быть, по дороге в таинственный, что на полпути к Океану, город Комсомольск). Была какая-то высокая периодичность в их появлении... Смеясь, раскачиваясь, точно спаянные в локтях, молодые люди вбежали в кино. Соблазненный цветной афишей (— голубая фигурка ныряла в условную, лиловую, геометрическими кругами нарисованную воду), Алексей Никитич тоже купил билет в кино. Дневные посетители с любопытством поглядывали на человека с узелком, точно пришел в баню. (Еще Катеринка все собиралась обзавестись маленьким чемоданчиком!) Он высидел до конца, вслушиваясь в шопот парочки впереди себя, и ему очень понравилось... и все еще не было поздно в больницу, если поехать на трамвае. Но вагоны шли переполненные, и это давало нравственное право отложить больницу на завтра. В конце-

концов, он выиграл у судьбы целый день, отличный январский день, с нарзанной колкостью в воздухе, немножко даже длинный, как все бездельные дни... Была также мысль отправиться к Зямке; он раздумал из опасения, что там-то и застанет его очередной припадок.

Тогда он отправился бродить, куда придется. — Поднимался в учреждения и по-новому, со стороны, наблюдал деловую толчею людей; заходил в пустые дворы многоэтажных домов и с видом любителя разглядывал прокопченную штукатурку стен, невымытые, с продуктами в форточках, окна (— в темных сводчатых воротах парусным звуком шумел ледяной сквозняк); все стремился угадать, как будут выглядеть лица людей не завтра, но через десять пятилеток. (Теперь ему уже безразличны стали сроки.) Он шел по улицам, мысленно снося целые кварталы и застраивая их зданиями, один вид которых вселял гордое и головокружительное восхищение. Он стоял у книжных витрин, где текло и таяло вечернее солнце, ужасаясь количеству книг, которых так и не успел прочесть (— и твердо решал тотчас по выздоровлении добиться двухмесячного отпуска, чтобы догнать знание, ушедшее вперед!) Он доходил до окраины, щупал там шершавые, зимние шкуры деревьев, а потом зачем-то глядел на руки, или, зачерпнув снежку в ладонь, изучал, как из грязноватого комка рождается живая и резвая струйка, стремящаяся заскользнуть в рукав. Он разговаривал с детьми, угадывая в них будущих инженеров, летчиков, воинов и вождей, и они отвечали ему так, точно говорили сами с собою. Он вел себя очень странно. Он не торопился никуда.

Домой он вернулся, когда ему показалось, что становится почти распутством его взволнованное созерцание чужих жизней. «У меня ужасно озяб ночь, Фрося. К чему бы это? Ты не дашь мне рюмку водки по этому поводу?» Сестра не поверила его молодежеству и окрепшему виду. Алексей Никитич сказал ей, что в больнице выходной день и все доктора лежат пьяные. В лице

Фроси отразилось непонятное смущение... Оно объяснялось просто. Приученная нуждой к бережливости и готовя обед в обрез, на двоих, она никак не рассчитывала на третьего.

Этим третьим теперь становился Алексей Никитич.

## Страх

Лиза не написала бы письма, если бы кому-нибудь третьему могла доверить свои чувства. Она не отослала бы этих четырех, намелко исписанных страничек, если бы знала, какое впечатление они произведут на дядю. — Он даже не дочитал их до конца, едва понял, что речь идет о живой Танечке. Все сместилось, и ни одной карты он не узнавал в колоде, которою забавлялся всю жизнь. Письмо было получено поздно вечером. Боясь и думать о том, что произошло, он поторопился лечь в кровать. Он снял толстовку и, почистив щеточкой за дверью, бережно повесил на стул. Брюки он приложил к толстовке, а ботинки приставил снизу, как делал это последние сорок пять лет. Остатки себя он уложил в кровать и накрыл одеялом... Сон не пришел, и никогда не доставалось столько этим желтым, пролежаным подушкам.

Ему представилось, что это он сам сидит на стуле и смотрит на самого себя; смотрит и смеется. Единственно, чтобы оборвать эту мучительную раздвоенность, он зажег свет и оделся. Тут он снова взялся за письмо и не посмел его прочесть до конца. Строки путались в его глазах: Танечка была жива! Ему нехватало воздуха, и можно было думать, что сейчас дыхание его прервется. Он закрыл руками лицо, скупопо крупнице — переживая все то, что еще уцелело в памяти... Сомнений не оставилось. Покойница никогда не умирала. Помнилось, что Танечка всегда отличалась отменным здоровьем: любила вымокнуть в прозу, любила святочные гонки с бубенцами, любила опережать мчащиеся кавалькады и за все время пребывания Аркадия Гермогеновича в Борщине не болела ни разу. (Даже в минуты задумчивости, такой привлека-

тельной для молодого Похвиснева, не очередное ли приключение обдумывала она?) И так, Танечка жила, томилась и, может быть, неоднократно вспоминала о юноше, не посмевшем прикоснуться к ней.

— Как славно, что ты еще живешь!

... все становилось заново, и даже вещи в комнате выглядели свежее. Воображаемое кладбище, которого он стал постоянным посетителем, сежилось и пожухло, точно свернули его, нарисованное на бумаге, и бросили в огонь. Одиночеству его приходил конец. Соперников уже не существовало. Стоило еще жить, раз оставались невыполненные обязательства. Она омоложала, эта радость. Последний отблеск юности падал ему на руки, начинающие холодеть... Да, она была, была однажды, и это вышло так же верно, как то, что кресло под ним, источенное жуками, было когда-то деревом, рукоплескавшим солнцу и грозил!

Близ рассвета он кое-как заснул, клубком свернувшись в кресле. Напрасно ждали его в это утро фармацевты. Что мог он им сказать, кроме стихов Сенеки:

Я вечной тьмы избегнул, наконец!  
И своды мрачные тюрьмы подземной  
Слепит давно желанный день...

... Он принарядился во все лучшее, что имел. По-старчески забавляясь сам с собою, он поставил на стол два прибора для кофе и мысленно расспрашивал ее, будто бы сидящую напротив, как же она существовала все эти годы. Нет, ничто не смогло омрачить ее глубоких и лучистых глаз. Должно быть, она молодела по мере того, как старел он сам. С течением времени она утрачивала даже те недостатки, которые сопутствуют человеку, как признаки земного существования. Тем более, тысячекратно прав был Вергилий: «... пусть остается, кто б мог прах мой доверить земле!» Потом он отправился купить цветов и поставил три грошовых горшочка на столе. В светелке стало вдвое чище и умнее... Когда неожиданный и сумрачный явился к нему в этот день

Протоклитов, старик встретил его торжественно и вел себя так, как будто кто-то третий и несомненный присутствовал в комнате.

Ага, стало быть не под силу было надменному Илье выдержать полугодичное испытание! Вот, он раздевается, сажает свою доху на стул и сам с видом просителя садится рядом. Аркадий Гермогенович усмешливо молчит, целиком предоставляя ему инициативу разговора. Илья Игнатьич долго разглаживает красноватый рубец на лбу, след от шапки.

— Га, я угадываю, у вас какой-то праздник сегодня?

Аркадий Гермогенович утвердительно склоняет голову.

— Да... объявился человек, который пропал целых... — Он не умеет счесть, сколько же времени длилась разлука, и произносит наобум — ... больше десяти лет.

— Это родственник?

— Больше, это друг. — И с видом лукавого превосходства: — вы пришли ко мне, конечно, не случайно?

Они выдерживают паузу, необходимую для приличного перехода к самой цели протоклитовского посещения.

— Лиза еще не возвращалась?.. или уже ушла? Я видел на афише ее спектакль.

— О, она уже три недели в отъезде. Она здорова, отдыхает, ей очень хорошо. После всех неприятностей замужней жизни она имеет право на это маленькое удовольствие...

Илья Игнатьич не знал этого. Илья Игнатьич заметно разочарован и напуган. Илья Игнатьич стряхивает пытышко с рукава, но оно не стряхивается. Он сердится, мучится, он ненавидит его, такое маленькое...

— Вы можете не отвечать мне, если вопрос покажется бестактным. Она уехала одна?

Аркадий Гермогенович двусмысленно пожимает плечами:—

— Э, н-не совсем. Ведь это очень, э... далеко отсюда!

— Но все-таки... вы знаете ее адрес?

— Она просила не сообщать его никому. И даже я сам...

— Чорт возьми, вы же переписываетесь с нею? — В лице Ильи Игнатьича читается бешенство пополам с растерянностью, как будто он сам ставит себе диагноз и узнает, что неизлечима его болезнь. — Га, я прошу... настоятельно прошу передать ей, что... несмотря ни на что, она попрежнему дорога мне. Ее комната заперта на ключ и не занята никем. А если бы она захотела вернуться... — И, вот, перебивает сам себя: — Она уехала не с этим непристойным человеком, как его?.. ну, Виктором Аграфенычем, чорт! Было бы ужасно...

Аркадий Гермогенович игриво приподнимает все девять седых и длинных волосинок правой бровки. Пускай, пускай этот важный и надменный человек помучается полчаса над тем, что самого его терзало целых полвека!

— Дорогой друг, тайна женщины — это превыше даже тайны пациента!.. Так говорил Бакунин.

Сейчас это имя, произнесенное Похвисневым, приводит гостя почти в исступление. Он издевательски смотрит в самодовольное лицо старика:—

— Га, вы, действительно, дружили с этим человеком?

— О, я был последним спутником его многострадальной жизни, — без заминки и с почтенной гордостью отзывается Аркадий Гермогенович.

— Но он же умер за границей и в год смерти... (я подсчитал-с!)... вам было всего двадцать два!

Похвиснев долго качает головой:—

— Простите, он умер на Басманной, в доме своего брата. Видимо, вы путаете его с кем-то другим. Мой Бакунин, Сергей Петрович, служил преподавателем космографии и естественных наук. Дудников ненавидел этого достойного человека не меньше, чем меня. Мне припоминается один памятный день...

Сотрясаясь от беззвучного хохота, Илья Игнатьич встает, лезет в свою меховую пещеру и, подобно Атланту, поднимает ее на себе. Проходы ему тесны, под ним скрипят полы, рассчитанные на худосочных. Растерянный Аркадий

Гермогенович бежит следом в прихожую. «Сегодня я сварил кофе больше, чем это потребно для одного. Не хотите разделить со мною завтрак, милый друг?» Протоклитов уходит, он торопится: было бы отвратительно зрелище хирурга, избивающего беззащитного старика!.. Аркадий Гермогенович сконфуженно возвращается к Танечке, незримо присутствующей здесь. «Как хорошо, что ты жива...»

Целых три дня длилось это состояние чудесной взволнованности, сравнимое лишь с качаньем на высокой морской волне. Он доставал из секретного ящичка старенькую фотографию, украденную когда-то из семейного альбома в Борщине. Была изображена смуглая девочка у жардиньерки с цветами; изпод пюсового, отделанного рюшем и с плиссированными оборочками, платица выглядывали панталончики городками. Хлебным мякишем, укуской кислотой, осколком стекла он пытался кисти с обратной стороны надписать, сделанную столько лет назад, его собственной рукою: «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой...» Позже, несколько свыкнувшись с радостью, он снова отыскал письмо племянницы: надо же было когда-нибудь дочитать его!.. На этот раз каждая строчка письма оглушала его. —

«... Итак, здесь мы отыскиали старушеницу, возрастом равную твоей Танечке (—если бы она была жива!) Окрестные мужики почему-то зовут ее Арестантовной и утверждают, что она родная сестра последнего борщинского владельца, убитого здесь же в восемнадцатом году. Мы с Куриловым ходили смотреть ее. Дороги от дома к ее сторожке нет; нам пришлось прокладывать тропку самим. В лесу, вокруг ее жилья, много пней. Мы обтоптали снег, уселись на одном и стали ждать. Потом Алексей Никитич толкнул меня в плечо. Что-то двигалось. Старуха возвращалась из обхода своей вотчины. С первого взгляда трудно определить, мужчина это или женщина (должно быть, природе это различие нужно только в молодости!)

Я даже не запомнила, во что она была одета, — с такой силой эта встреча ударила меня по глазам. Но на ее голове, помнится, было что-то меховое, поверх укутанное цветною тряпкой. Она еле передвигала ноги, хотя держалась еще довольно прямо. Милостынный мешок свисал с ее шеи, как торба с лошади. Мы затихли. Курилов сказал, что такое долголетие горше смерти. И правда, видал ты когда-нибудь, чтобы морщины шли вертикально по лицу, как трещины в скале? Мимо нас двигался прошлый век. Она не взглянула на нас и пролезла в низенькую дверцу сторожки... Кстати, директор совхоза, Струнников, намекал вчера, что старуху будут выселять, так как место ее сторожки нужно под стройку...»

Со слов Струнникова же Лиза передавала также рассказ, как жители соседних селений, сами — глубокие старики, водили ее года два назад на опушку роши з е м л е к л а н я т ь с я, чтоб «не томила лютым знобом жизни, чтоб приняла, уступила местечко поспать до великого дня...» И какой-то высокий старик, тамошний вещун и, видимо, знаток тайных сил, поталкивал ее легонько в загорбок, твердя: «Кланяйся ей, матке... шибче кланяйся ей, голубке!» И та кивала покорно и угрюмо. И, может быть, была весна, и вялые пахучие сережки упали с берез.

Только теперь Аркадий Гермогенович увидел Танечку такую, как она выглядела в действительности. Похоже было, что его разбудила та самая женщина, чье имя он повторял, засыпая, полвека назад. Перед ним предстала внушительного вида сова, усищи росли на ней, как на унтере, мох выбивался из ушей: она окончательно приобрела признаки лесного чудовища, на положении которого существовала столько лет. Это милое видение врывалось к нему не в одиночку, а в сопровождении таких же незабвенных призраков: Дудников подмигивал мертвым глазком, и Спирька шел навстречу со спрятаннкими за спину руками, и Бланкенгагель замахивался палкой. «Как страшно, что ты еще жива!» И вдруг невероятная догадка завершила всю эту историю (— которую, впрочем,

следует читать скорее внутренними, чем телесными глазами). Аркадию Гермогеновичу стало холодно во внутренностях, как если бы в один прием скушал слишком много мороженого.

Дальнейшее само собою напрашивалось в следующем виде. — Из любопытства Лиза отправилась в лесную сторожку вторично повидать борщинское чудовище. Они уселись, и старуха рассказывала молодой женщине о замечательных людях своего столетия, о тяжести бессмертия, о предстоящем выселении в никуда... Но никто не сумеет предугадать содержание беседы двух женщин, — Танечка могла упомянуть о Похвисневе, а Лиза — подтвердить, что он еще жив и с прежней нежностью повторяет ее имя. Точно так же Лиза могла разболтать его секретное поручение... и тогда Татьяна оживилась, схватила руку Лизы и гладила ее, гладила своею, грубою, как рашпиль, благодарная и бессильная говорить. Возможно, она попросила Лизу записать на бумажке его адрес; первоначально в замысле старухи не было, конечно, ничего, кроме желания написать ему письмо, грустное, как последнее рукопожатие друга.

Но утром приходит директор Струнников вручить постановление местных властей. Старухи Бланкенгагель нет, она ушла за пропитанием. Он приклеивает бумагу клейстером на дверь и через два часа приходит снова. Старуха собирается недолго. Она уходит с узелком; его содержимое серого, пепельного цвета. Пока единственное желание старухи — добраться до первой канавы. Она выходит за околицу усадьбы; минутный испуг перед внезапным и непривычным ей простором кружит голову. Потом она осваивается... Какой-то непостижимый в таком возрасте порыв заставляет ее выпрямиться, и вот она уже знает, куда идти! Пешком она движется по дороге, вдоль замерзшей реки, где не раз ей случалось когда-то проезжать в лакированном, на высоких колесах, шарабане, с ливрейным форейтором впереди. Ни что не может служить ей вешкой, так изменилось все кругом. Но она движется, не уклоняясь от верного пути, руководясь животным инстинктом, подобно

кулигам саранчи... Она движется, и вьется вокруг нее уже пророзовевший январский снег; она ушла, и словно родимое пятно сошло с Борщни. Стало голубее в небесах, и птиц в лесу заметно поприбавилось.

«Не приходи ко мне, умри великодушно за порогом!» — мысленно шептал Аркадий Гермогенович, мечась в своей светелке.

... В эти дни он сидел взаперти, совсем разбитый. Обед ему приносил из столовой жилицын мальчик. За это старик гладил его по головке установленное число раз и, так приласкав, водворял ему шалку на прежнее место. Все остальное время, вооружась картой и самодельным масштабиком, он пристально следил за маршрутом старухи. Это были занятия простейшей арифметикой. В своем возрасте старуха могла двигаться не больше десяти километров в день. Если считать, что выселение произошло два дня спустя после отправки письма, она должна была находиться уже в трети всего расстояния от Борщни. По счастью, этот вариант был допустим при условии, что Бланкенгагельша полетит прямым путем, на манер ведьм или ворон; на деле же ей преграждали путь и слабость сил, и морозы, и даже милицейские управления. Таким образом, срок прихода оттягивался на неопределенное время. С другой стороны, у чортовой бабы могли оказаться припрятанными родительские ценности, колечко с рубинчиком или другая реликвия из благородного металла, достаточная на покупку железнодорожного билета. Тогда она могла ввалиться к нему с минуты на минуту.

Все явственнее различал он жгучие подробности, от которых захватывало дух. Вот она спит в сарае, что забыли запереть, привалилась к сену. В полуоткрытом глазу меркнет блик ночной зари, пар выбивается из мохнатых ноздрей. Она жива, призраки не замерзают! Приходит рассвет, горланят зимние птицы, она идет дальше, волока юбки по накапанному глянцу дороги. Механика ее движения такова: то ноги отстанут, то костыль... Вот она бредет через базар. Ее соблазняет шипенье кровяной кол-

басы, она тянет руку к жаровне. Потом, под надежным конвоем зевак, ее ведут в отделение. Она усмехается, усердно дожывая краденое, и молчит, молчит. Девать т а к у ю некуда; ее отпускают, пожимая плечами. Она плетется дальше за обещанным гостеприимством, и каждый шаг ее отзывается грохотом в сердце Аркадия Гермогеновича... Порой среди ночи будило его предчувствие, что сейчас произойдет ее вторжение. Неодолимый старческий страх рисовал феноменальные картины расправы: например, старуха войдет и избьет его зонтиком или, еще хуже, поступит с ним, как ведьмы с Макбетом. Надо было сосредоточиться и приготовиться к отпору, и он думал, думал, на всякие выдумки растрачивая благодетельный сон. Как никогда, звенело в памяти вергилиево напоминанье:

.. Как можешь ты спать при событиях этих?  
Или не зришь, вокруг тебя что за опасности  
встали!  
Что же стремглав не бежишь, пока можешь  
стремиться?!

Наверно, посреди ночной тишины раздастся скрип ее костыля и негромкое, одышливое покашливанье. Он отопрет до стука, сам, шикая в темноту, чтоб не разбудить соседей. Он увидит незнакомое ему существо в старинной тальме, усыпанной черными круглыми блестками, и, ради большего ужаса, в швейцарской соломенной шляпе, увенчанной гнилою птичкой. Он увидит незнакомое ему существо, которое, однако, угадал бы и в толпе по своему тоскливому и виноватому сердцебиению... Оно войдет, оно сядет посреди, наполняя светелку пронзительным знобом могилы. Оно будет молчать. Оно спросит тихо:

«Ничего, что я плачу?»

Он удивится отсутствию слез и обычных конвульсий, — разве т а к плачут? Впрочем, очень чопорно он поклонится ей, приглашая к мужеству, и обдернет украдкой свой люстриновый, приличный такому случаю, пиджачок.

«Вы не узнаете?.. вы меня забыли, Аркадий?.. вы не звали меня?»

Он вторично склонится, немой от ужаса и заложив руку за борт пиджака.

Тогда, волнуясь, она заговорит басовито и бестолково; она напомнит ему все, вплоть до соленых грибков, которые он так обожал, лакомка! Знаков препинания в ее речи будет больше, чем самых слов. А он разглядит тем временем ее руки в дырявых литьяных перчатках, ее щеку, в знакомой ямочке которой уже просвечивает земля, — ее рот, похожий на вывалившийся орган... (И то, что пело когда-то небесным голосом, стало обыкновенной дыркой для принятия пищи!) Она достанет из узелка свой единственный документ, бережно обернутый серым платком, справку сельсовета о выселении, с печатью и неразборчивой подписью, точно муха ползла из чернильницы.

«Уж только бы дни дожить, дожить дни...»

Аркадий Гермогенович сурово покачает головой, удивляясь такой настойчивости и сердясь, что затягивается ненужный разговор. «А Дудников, мадам?» — вскричит он вдруг, уже не страшась, что и тот ворвется сюда из-за двери со сжатыми кулаками... Словом, он припомнит все мельчайшие, даже не свои, обиды, чтобы укрепить себя в принятом решении. («А помните, помните, сударыня, как однажды вы с о б с т в е н н о р у ч н о избili кучера?!») Он постарается казаться оскорбленным, будучи раздавленным. Гнусным петушиным голосом он скажет, что он не ж и л с о ю з, чтоб раздавать пристанища. Потом он пригласит гражданку к мужеству и большей конкретности... Ради соблюдения приличий и достоинства она посидит еще немножко, спросит о каком-то Антоне Теофилактовиче, жив или убили; потом поднимется уходить. Он не остановит ее, хотя она будет уносить с собою все, что он кропотливо копил в душе все эти годы. Разве только обмолвится вслух восклицанием Сенеки —:

... О, эта встреча  
Вполне достойна выхода из ада!

Весь в испарине, он снова оставался один, стыдясь своей голизны, и те же книги, что когда-то были его друзья, спутники, почти сообщники тайны, ста-

новились теперь его судьями. В порыве минутного раскаянья он бежал вслед за гостьей, и Танечка возвращалась. Тогда наступал великий переполох, вызванный этим самовольным вселеньем. Он уже заранее бессилел от гонений до м к о м а, страдал от настроенной враждебности своих фармацевтов; уже он видел доносное письмо соседки о том, какими знакомствами располагает этот затаившийся пенсионер, и грозную на нем резолюцию, наискосок начертанную красным карандашом. По очереди его выгоняли отовсюду, пока, наконец, он приобрел право нищего странствовать под руку с Танечкой и сообща пить скорбь, которую заслужил.

Так вот кого в палачи избирала ему судьба!

### Глеб в действии

После поражения на Сарзанском перевале черемшанская война не закончилась. Казалось, Протоклитов шел на любые условия, лишь бы добиться взаимной сговорчивости. Было бы несправедливо обвинять его только в стремлении замять дело; он даже написал газетную статейку в защиту Сайфуллы, где почти дословно, в выражениях Кати Решоткиной, упрекал своих врагов в нечуждость к товарищу, попавшему в невольную беду. Он отыскал десятки доказательств невинности молодого машиниста, призывал свою недостаточную внимательность к инициативе молодых, давал обещание в кратчайший срок исправить допущенную оплошность. Скуратников, читая эти пышные словеса, только в бок пихал Пересыпкина—:

— Вот гад, вот... А ты говоришь, что я невыдержанный! Кабы я невыдержанный был, знаешь — что бы я с ним за эту пакость сделал?

Эта статья, прославившаяся впоследствии как образец лицемерной маскировки под мужество и благородство, была правильно оценена в Черемшанске и названа попыткой произвеста раскол среди молодежи. Чувство вины было общее у всех. И, пожалуй, эти судорожные поиски примиренья, исходившие от Протоклитова, объединяли молодых с не-

меньшей силой, чем их заботы по скорейшему вторичному выпуску на путь комсомольского паровоза. Первое крупное испытание их дружбы сообщило ей закалку, достаточную для перехода в наступление. Перед решительной схваткой (— приближалась чистка Протоклитова —) Пересыпкин ездил с Катей в Улган-Урман, где теперь работал слесарем Сайфулла. Из их беседы выяснилось, во-первых, что вынужденная разлука лишь укрепила отношения между Катей и провинившимся машинистом. (Пересыпкину предстал совсем иной человек; беда наложила на него отпечаток сосредоточенной серьезности и самостоятельности. От вчерашнего юноши не осталось и следа; этот вряд ли доверил бы ему письмо о Марьям.) А во-вторых, что и Сайфулле намекал Кормилицын на какой-то особенный секрет, который — стоит его помянуть вслух! — сделает начальника депо мягче травки. Но так и осталось невыясненным, было ли то пьяным хвастовством Кормилицына или отголоском спрятанной правды.

Естественно, Кормилицын становился героем и центром внимания для всей черемшанской общественности. Этот человек, по выражению Пересыпкина на одном закрытом заседании, обладал бесценным сокровищем государственной безопасности. Очень страдая от отсутствия куриловских указаний, он сам изобрел неплохую систему тайного наблюдения; каждая интонация и жест Кормилицына подвергались тщательному изучению. Однако, напуганный таким обилием ушей и глаз, Кормилицын сжался и на все расспросы отвечал одной и той же скороговоркой, что Протоклитов — хороший, очень хороший человек. Они, может быть, и отстали бы, но молчальнику понадобилось зачем-то удариться в крайность; он начал сочинять явную чепуху относительно своего знакомства с Протоклитовым, провалился, запутался и еще более раздразнил любознательность преследователей.

Глеб пристально следил за ходом атак, не вмешивался, не подавал виду, что ему понятно значение этих заигрываний. Внешне ничто не изменилось



в его отношениях с Кормилицыным, но время от времени тот ловил на себе его ленивый, прищуренный, остановившийся взгляд, заставлявший горбатиться и пошникать на полуслове. Тогда он переживал подлое раскаянье наблудившей собаки, мучительно выжидающей наказания... Наконец, Кормилицын вовсе стал избегать встреч с Протоклитовым и, хотя не верил в его показное равнодушие, не находил в себе силы внезапно исчезнуть из Черемшанска. Всем своим существом он сознавал, что, раз покинув это место, он немедленно подпадет под власть старых призраков и отправится убить женщину, продолжавшую терзать его и на расстоянии. В эту неделю он не пил, проявлял повышенную исполнительность в работе, а в нерабочее время не показывался нигде на глаза, — и в этом состояла, пожалуй, вся его защита от Протоклитова.

Удивительная выдержка, всегда отличавшая Глеба от прочих игроков такого рода, как будто начинала пропадать; все чаще он думал о крутых мерах, способных положить предел подозрениям. Но хотя цепь улик и удлинялась, удача, как всегда, сопровождала его начинания. Так, у него нашелся повод посетить черемшанского врачевателя. Они посидели уединенно, за рюмочкой, и часом позже речь пошла о Курилове, и хозяин передал гостю содержание своей беседы с Алексеем Никитичем. Якобы начальник спросил, какая из веселящих жидкостей более всего приходится ему по сердцу, и на это у лекаря хватило, будто бы, смелости ответить, что склоняется ко всем в последовательной и благородной гамме, лучше же всего предпочитает простачка: «Хватче берет, дольше держится, и, самое главное, с него не першит!»

— Такой милый, такой обаятельный... Просто грустно видеть такого человека в подобном состоянии, эх-эх! — пролаял он с искренним сожалением.

Глеб заинтересовался сообщением, и тот, коснувшись сущности куриловского заболевания, нарисовал ему горелой спичкой чертежик на папиросной коробке — как она выглядит, эта гипернефрома и как она на почке укрепляется, и

каким способом валит она громадного, здорового человека с ног. Гость слушал, облизывая истрескавшиеся губы: все развивалось самым стройным образом, и не в его силах было подхлестнуть чередование событий. В ту же ночь, из непонятных, на первый взгляд, побуждений Глеб заготовил пространный и умное заявление в партийную организацию, где с величайшей откровенностью признавался в одной вине, в сокрытии социального происхождения, чтоб замаскировать этим другую и главную. Он не поставил даты и не отсылал его никуда, а держал у себя в корзинке на всякий случай, как документ, удостоверявший его чистосердечное раскаяние. Не дожидаясь времени, пока в игру со свежими силами ввалится куриловский преемник, он задумал в самых быстрых темпах обезвредить Кормилицына.

Этот унылый, со вдовьими глазами, мужчина продолжал оставаться очагом всевозможных случайностей, потому что терять ему, кроме длинных волос да ненависти к Зоське, было нечего. Способов у Глеба было несколько; проще и сытнее для души было бы вывести его под благовидным предлогом в лес и там дать волю страстной и непреклонной решимости. Благоразумие, однако, заставило его с большей кропотливостью обдумать детали покушения. Сложность не пугала его; она труднее поддавалась разгадке, и, кроме того, Глеб не переставал помнить памятку великих: сколько бы ни было у тебя врагов, всегда приходится уничтожать их поодиночке!

В скором времени стало видно, до каких пределов дошло омятение Кормилицына. Не выдержав своего двусмысленного положения, он сам решил напрямки об'ясниться с Глебом. В обеденный перерыв он почти ворвался к нему в конторку, сам не зная — упадет ли к его ногам, прося справедливого возмездия, или ударит его сзади гаечным ключом, чтоб разом положить предел своим терзаниям... Он не сделал ни того, ни другого: сквозь стеклянную дверь их могли увидеть вместе. Итак, он вошел, и, хотя разговор мог занять неопределенно долгое время, Кормилицын не сядил, по-

глаживал спинку стула, тупо глядел в подбритый, наклоненный над столом, затылок Глеба.

Наконец, тот оторвался от своих ведомостей —

— А, это ты? — оказал он, не оглядываясь. — Ты подавал заявление на счет спецодежды. Я распорядился, тебе выдадут. Можешь идти.

Временные чернорабочие обычно не имели права на получение спецодежды; нарушением порядка Глеб намеренно подчеркивал свой вызов деповским законникам и обманывал бдительность Кормилищна.

— Спасибо... я получил! — И все глядел со страдальческим лицом в ямку на его затылке. — Скажи правду, ты шибко сердиться на меня? Я и сам не знаю, как это произошло. И я сразу отрезвел, но было поздно. Мне очень стыдно и гадко... я плохо отплатил тебе. Ты ничего не хочешь мне сказать?

— ... кроме того, что ты отрываешь меня от дела. Будь друг, говори короче!

— Я не знаю, что со мной делается, Глебушка. Ты слышал, здесь проездом был Курилов. Знаешь, я не вытерпел, пошел на него посмотреть...

Глеб с силой повсрнулся на стуле —

— Ты совсем невменяем, Евгений. Ты же был пьян... зачем это тебе понадобилось?

— Мне нестерпимо захотелось увидеть человека, которого мы собирались уничтожить в тот раз. Я не мог противиться себе. Мне хотелось испытать судьбу. Он мог почувствовать мои мысли, и все бы открылось сразу. Ясности!.. любой ценою, Глебушка, я купил бы эту ясность. Нет, я его не видел и напрасно простоял у вагона. Но меня резнул (— мне показалось!) ужасный крик, сквозь двойную раму... Ты не слышал, он сильно болен?

— Болен ты, а не он, дурак... — Он смаху ударил в дверь ногой, не присел там кто-нибудь, подслушивая; он терял выдержку, у него начиналась одышка в присутствии этого человека. — Ты вредишь не только мне, Евгений.

— Да, знаю сам. Я даже яды в руки брал, но... Пересыпкин как-то намекнул мне, что любое бегство навлечет лишь

новые подозрения. Знаешь, это означает что-нибудь, что он все вьется вокруг меня? Вчера приглашал пойти по холостому делу к Абдурахману... Я отказался. Правильно я сделал, Глебушка? Я ничего ему не сказал, я только хвалил тебя. Что же ты молчишь?.. ты же великий человек, Глебушка. Дай мне какой-нибудь совет!

С серым, скривившимся лицом Глеб наблюдал его из-под приспущенных век. Он совсем не ожидал, что дело зашло так далеко. «Пьянка с Пересыпкиным, злее не придумаешь!» Ему пришлось побороть в себе приступ почти обморочной тошноты, чтобы погладить дрожащую руку приятеля.

— Прежде всего я советую тебе не пить, — сказал он раздельно. — В следующий раз мне придется тебя уволить. Ну, отправляйся!

Обстоятельства требовали крутых и срочных мер. И, пока дружелюбно выталкивал Кормилищна, в голове уже содержался начерно гоговый план. В сущности, он зародился свыше месяца назад, при обходе депо, как безотчетная и чудовищная фантазия, что возникает внезапно в усталом мозгу и никогда не проходит бесследно. Глебу потребовалось в тот раз остановиться у большой машины. Она достаточно послужила на своем веку, и диагноз мастера состоял из перечисления обычных недугов паровозной старости. Манометр врал, трубы текли, пар гремел уже на восьми атмосферах. Начальник депо рассеянно слушал, что бубнил ему этот паровозный хирург, и следил за слесарем, разбиравшим подшипники. Было ясно, что для основательного ремонта нельзя будет обойтись без разбора топочной арки. Протоклитову показалось несправедливым в тот раз, что слесарь этот зарабатывает больше того чернорабочего, которому придется работать в тесном и ужасном пространстве паровозной топки.

Эта арка представляла собою широкое полукружие, сложенное из огнеупорного кирпича и предназначенное в равной мере как для правильного распределения пламени, так и для охранения самого котла от доступа холодного воздуха

из трубы. Обычно глина арки спекается в сплошной силикатный массив желтого цвета; ее разбивают кувалдой, присев на колосниках. Сюда требовались исключительного здоровья люди, способные пробыть два часа в густой и едкой стеклянной пыли. Чернорабочие неохотно шли на эту работу. И если бы во время работы, закрыв поддувало, одновременно захлопнуть дверцу топки... В тот раз он так и не додумал до конца и только теперь сообразил, что этим экспериментальным животным мог быть Кормилицын. Основательная изоляция такого, к примеру, паровоза, как серия ЭШ, исключала всякую возможность проникновения наружу крика о помощи. — Трезво оценивая физическое состояние намеченной жертвы, Глеб определял ровно в полчаса тот срок, по истечении которого ее вынут оттуда с глазами навывкате.

Делая необходимые технические расчеты, Глеб исходил из обратного, — как если бы уже отвечал на прирочивые вопросы следствия... Итак, Кормилицын был новичком и пьяницей; кроме того, приближалась встреча с ударниками Улган-Урмана, а покойный уже давно добивался случая быть премированным. Для правосудия было бы также вполне правдоподобным считать косвенным виновником этой смерти арматурщика, снимавшего манометр для проверки. Чтобы достать эту круглую латунную коробку, он неминуемо должен был встать на ручку шуровочной дверцы, предварительно захлопнув топку наглухо. Самая ответственность за несчастие падала непосредственно на бригадира чернорабочих и старшего мастера депо... да и то лишь по линии несогласованности в распорядке ремонта! Внезапная смерть Кормилицына должна была вызвать обильные кривотолки, но любое последствие было слабее, чем в том случае, если бы Кормилицына вскрыли однажды, как шкатулку с секретным замком. Таким образом, все неприятности, связанные с этим делом, вполне окупались результатом. При некоторой же счастливой игре обстоятельств почетная гибель Кормилицына на работе снимала с него подозрения,

служила неммым укором врагам и, следовательно, временно выручала и самого Протоклитова.

В два дня все было готово. Подходящая для исполнения приговора машина отыскалась в крайнем правом стойле депо. Соседний паровоз, поставленный для оточки, мог служить отличной ширмой для преступления. Протоклитов изучил обстановку и нашел, что было бы бессмысленно ждать другого такого же благоприятного случая. Для верности это предприятие следовало провести в обеденный перерыв, чтоб избежать свидетелей момента, когда пачальник депо поднимется на паровоз... Однако, в полдень двадцать второго января план этот подвергся пересмотру. Сомнения застигли Протоклитова, когда он входил к себе в конторку. Очутившись в безвыходном положении, Кормилицын мог ударами кувалды в стенки котла обратить на себя внимание и призвать на помощь. Следовало искать более удобного случая отделаться от дурака, и новый варьянт возник почти молниеносно, как возникает большинство крупнейших изобретений, если все данные для них подготовлены раньше...

Протоклитов шел к себе в конторку и уже положил руку на скобку двери, когда дежурный громко, через всю секцию, потребовал у бригадира одного чернорабочего на шлаковую канаву. Оба штатных чистильщика паровозных топков не вышли на работу в этот день, а категория Кормилицына всегда служила резервом при всяких нехватках рабочей силы. Было слышно, как бригадир прокричал фамилию Кормилицына, и это безумно взволновало Протоклитова, хотя и не знал еще, как он обратит эту мелочь себе на пользу. Очень медленно он достал табак и стал скручивать папироску; бумага прорвалась, а он все крутил и крутил в пальцах, растирая в пыль оставшиеся крупинки табака. Сверху капнул голубь ему на плечо; Глеб вздрогнул и продолжал дожидаться своей минуты... Три минуты спустя он увидел в стекле отражение Кормилицына, выходившего наружу со скребком и лопатой на плече. Стояло самое горячее время в депо; только-что

окончился обед, и приближался конец отчетных суток.

Он вышел наружу десятью минутами позже; за это время, по его расчетам, механик должен был сдать машину чистильщику, указав на сохранность контрольных пробок и количество пара на манометре, а Кормилицын — залезть под паровоз и приняться за работу... Он вышел и осмотрелся. Чистке подлежала маневровая машина ЧН с низким, старой системы, поддувалом, которому и предназначалось стать орудием убийства. Эта ломовая железная лошадь, имея маленькую топку и большую служебную нагрузку, пожирает громадные количества топлива; шлаку в них накапливается столько, что вся операция должна была занять не меньше часа. Этот момент и был началом плана. Место рядом с ЧезНкой было не занято, но чистильная канава не пустовала никогда, и было немыслимо, чтобы в течение этого срока не подошла другая какая-либо машина. Технические подробности благоприятствовали покушению. Паровоз стоял на канаве тендером к зданию, и самый тендер приходился уже над целым полотном; следовательно, Кормилицын работал под паровозом, упиравшись спиной в крайнюю стенку канавы. Глеб отчетливо представил себе, как — закрыв лицо варежкой и оберегаясь, чтобы не загореться, — Кормилицын выгребал на себя из топки раскаленный и оплавленный шлак.

Потом, во исполнение желаний, на канаву вступил мощный пассажирский паровоз, и передние буфера остановились всего в четверти метра от ЧезНки. Холодная испарина нетерпенья проступила по телу, едва Протоклитов представил себе, что произойдет, если неожиданным толчком сдвинуть эту громаду. Тотчас же он почти увидел наяву бледное лицо Кормилицына, его намертво закушенные губы и грудь его, истерзанную болтами зольника. Так образовалась вторая половина решения... Из будки паровоза спустился седоусый, чумазый человек и сконфуженно козырнул начальнику. Машина его была непотребно грязна, и Протоклитов насмешливо осведомился для начала, не валялась ли она, пьяная,

где-нибудь в навозном рву. Тот дернулся, как от ожога; тон начальника не предвещал механику добра. Многосемейный, не шибко задачливый, он подчинился мельчайшим интонациям протоклитовского голоса. И так как виноватому свойственно искать еще более виновных, механик стал жаловаться на ремонт, на скверное качество баббитовых прокладок, на неряшливость дышловой бригады, на всех, кто только мог разделить его ответственность.

— Ты смотри, Глеб Игнатьевич, что дается-т! Она, как язык в колоколе, болтаются. Ровно под музыку едешь... — И рукою потряс подшипники. — Всю дорогу крепили, веришь ли!

— Просто и помощник у тебя не лучше своего хозяина. С женою-то хоть сам управляешься... или тоже на соседей валишь? — угрюмо, пряча руки в карманах, заметил Глеб; он был уверен, что Кормилицыну под машиной не до подслушиванья!

— Глеб Игнатьевич! — взмолился механик, сдерживая шапку.

— Плохая, слишком беспартийная твоя деятельность, сердечный друг. Сколько лет ездешь?

— Одиннадцатый год с покрова пойдет... — И хотел выложить какие-то дополнительные сведения о себе, и опять Протоклитов оборвал его, не то в шутку, не то всерьез.

— Все это недосмотр администрации... не зря нашего брата бьют. Тебе бы в домашние хозяйки, к примусу!..

Нужно было довести его до предела, когда теряет всякое соображение человек. И он нажимал, и все еще было мало, и не умел найти слов, чтоб ослепить и парализовать волю этого человека. Мысль о Кормилицыне не покидала его ни на мгновение; казалось, еще одно усилие воли, и колеса сами сдвинутся вперед. А у машиниста и в прошлом бывали провинности; он отказался от подписки на заем, ссылаясь на многосемейность, и, еще месяц назад, по несчастной оказии случился обрыв поезда в пути. Он растерялся; увольнение грозило ему утерей насиженного места, домишки и огородика, уймы мелких и привычных удобств. Заметаешься, он

распахнул куртку и принялся отстегивать внутренний карман. Английская булавка колола пальцы, а он все шарил, а потом совал в руки начальника две захватанных бумажных веточки, удостоверивших его многополезную деятельность в прошлом...

— Спрячь, — глухо приказал Протоклитов. — Давай посмотрим... Ну-ка, поставь на центр!

Это означало необходимость сдвинуть машину так, чтобы подшипники поршневого дышла переместились в положение над центром ведущего ската. Машинист одурело метнулся на паровоз. Протекла секунда, напоенная вязгом металла. Буфера пассажирской машины энергично ударились в маневрушку, и звук был такой, как если бы сомкнулись лезвия гигантских ножниц. Протоклитов выпрямился, как при залпе, и опустил глаза... Кормилицын не существовал более. Действие ножниц было мгновенно, но все еще напрягался слух, пытаясь в хаотическом дребезге различить хоть стон в подтверждение случившемуся. Разговор с механиком пересекся сам собою. Почти не отдавая себе отчета, что говорит, Глеб пообещал подумать о судьбе машиниста и пошел прочь. Теперь, пожалуй, даже маленькую жалость испытал он к этому нелепому верзиле, оставшемуся под паровозом, но то была только мгновенная реакция на слишком крупное нервное потрясение. Вдобавок, опыт подсказывал ему, что роль дураков в истории — это расплачиваться за деяния умных... Какое-то сомнение, однако, заставило его обернуться. Он увидел и, вот, прислонился к стене, ища себе какой-нибудь материальной опоры.

Ошибиться было невозможно. Позади стоял Кормилицын, улыбающийся, невредимый, какой-то невещественный, как галлюцинация. Согнутым пальцем он призывал Протоклитова к себе, и рождалась слабая надежда, что даже и теперь он не понял ничего. Глеб не двинулся, не нашел в себе дерзости, и тогда сам Кормилицын, пошатываясь, точно хмельной, точно не уверенный, что он еще живет, пошел к нему навстречу. То, что издали принято было

за улыбку, вблизи оказалось гримасой крайнего бешенства. (Случилась неожиданность, отвратившая несчастье. Кормилицын уронил варежку и нагнулся за нею в тот момент, когда железная коробка зольника стремительно прошла над головою. Повидимому, в просвет между колесами он узнал знаменитые козловые сапоги Глеба... Не даром всю последнюю неделю он выжидал жестокого и до мелочей рассчитанного протоклитовского удара.)

Он отошел, весь белый от золы, как мельник. Даже защитные очки, сдвинутые на шапку, покрылись тонким слоем пепла. Его трясло, подбородок отваливался; можно было ожидать, что он разрыдается от гнева, иступленья и гадливости... У него зудило в носу, и рот был еще полон горьковатой шлаковой пыли. Ему хотелось кричать, — спазма сдавила горло, — не мог. Он стоял еще непрочно на земле, этот черемшанский Лазарь, и сплевывал на снег серую слюну, слегка окрашенную кровью. Защищаться стало бессмысленно —:

— Выслушай меня до конца, Евгений...

Тот прервал его —:

— Ну, вот... — и пожевал губами. — Узнаю протоклитовский темперамент!.. — И побежал прочь, неуклюже перепрыгивая через сугробы и шлаковые кучи, падая и торопясь, как будто его могло настичь горячее протоклитовское слово, как будто тот владел грозной силой обращать на пользу себе даже человеческую ненависть.

### Профессор читает лекцию в необычной обстановке

... В тот же вечер Кормилицын исчез из Черемшанска. Человек в его состоянии мог пуститься на самый рискованный шаг, и благоразумнее для него было открыться самому Курилову. Разумеется, свой донос он мог произвести и в Черемшанске, но до выяснения обстоятельств дела это повлекло бы его собственный арест, а у него еще оставались в жизни незавершенные намерения. Курилов же мог придумать какой-нибудь хитрый способ оплатить подоб-

ную откровенность. Правда, была несколько абстрактна их совместная вина перед Куриловым, — в те годы они так и не разыскали его; но Кормилицын вряд ли забыл тех куриловских соратников, которых они все-таки отыскали... Еще не соображая в точности, как парализовать его дальнейшую деятельность, Протоклитов бросился в погоню, хотя всякое неоправданное бегство в таких условиях немедленно поставило бы его вне закона. Он опоздал уехать в тот же вечер. Кормилицын становился недосягаемым. Наступила самая скверная и бесплодная из протоклитовских ночей. К утру он не изобрел ничего, кроме законного повода для поездки в Москву.

Следуя одной спасительной догадке, он еще раз обыскал свою корзину. Револьвера там не было. Кормилицын захватил его в удобную минуту, и это внушало надежду, что ревность свою он утолит прежде, чем ярость на бывшего приятеля. Конечно, эта человекоубойная машинка должна была выстрелить в свое время... и если бы только Зоська первую расплатилась за все!.. Когда Глеб с утренним поездом покидал Черемшанск, его целью было прямое объяснение с Куриловым. Он ехал признаваться только в той части своей биографии, которая в письменном виде осталась дома. Наверно, это будет то склиивый диспут, мотня — по-черемшански, о праве человека на вторую жизнь, о мнимой ответственности за отцовские преступления, и, наконец, — достаточно ли сильным чувствует себя пролетарское государство, чтобы и великодушие включить в обиход своих высоких побуждений. (Он знал и сам, однако, что первая половина вопроса не обязана сочетаться со второй; что никто не вправе выдавать человеку метрику о его втором рождении, кроме него самого; что Курилова не поразят эти скорее задушевные, чем разумные, аргументы. Им руководило отчаянье, и свою капитуляцию он намеревался сделать только средством передышки в большой войне.)

Конечно, Курилов усмехнется его появлению, поведет в комнаты, угостит хорошим табаком, и сам из-за густой

дымовой завесы будет наблюдать невеселые метания врага.

«Ты хочешь уничтожить меня?»

«Я хочу обезвредить тебя, Протоклитов. Эпоха только начинается, и ты достаточно грамотен, чтобы знать это. Было бы неверием в творческую программу пролетариата думать, что он ограничится Днепрогэсом или введением всеобщего обязательного обучения. Мы глядим далеко, и то, что мы видим там, на Океане, заставляет нас быть остороже. Вот почему мы проверяем все, что только может быть подвержено проверке...»

«Ты не веришь мне. Но если бы я просидел эти годы в тюрьме, разве я не приобрел бы права — пусть не на дружбу, а хотя бы на равнодушие твое!»

И Курилов усмехнется на его нечистую уловку.

... с вокзала Глеб позвонил ему на квартиру, чтобы договориться о часе свидания. Втайне он рассчитывал по самым интонациям Курилова определить, состоялась ли накануне убийственная исповедь Кормилицына... Бесхитростный и грустный женский голос сообщил ему, что Алексей Никитич третий день находится в больнице. Женщина назвала ее; это была та самая, где работал Илья. Протоклитова глубоко взволновало сообщение куриловской сестры, и опять еще не знал, как именно следует сыграть этим несомненным козырем. Он догадался спросить, разрешено ли навещать больного: этим же путем мог идти и Кормилицын. Ефросинья сказала, что лучше всего это сделать после операции, которая состоится в ближайшие дни. Она спросила фамилию того, кто говорит с нею, и, как когда-то сам Курилов, Глеб назвал вымышленную.

Задуманный разговор отпадал сам собою. Глеб вздохнул облегченно. До такой степени нуждаясь в сообщнике и даже в прямом исполнителе своих желаний, он всегда недооценивал выгрышного значения куриловской болезни. Было бы полезно узнать о ней подробнее, и тогда он вспомнил о брате. Этот человек мог дать исчерпывающие

сведения об участии Курилова... и вот, окупалась его почти безрезультатная поездка.

Он позвонил у двери с медной дощечкой. Кухарка ушла за покупками. Илья отпер сам. Эта маленькая удача ободрила Глеба.

— Хорошо, что ты дома, — и обнял брата. — Почему ты в халате?

— Был грипп, но завтра собираюсь выйти. Входи в мой вигвам и располагайся. Га, ты не спешишь? Ведь у тебя все планы и планы. Ты, конечно, по делу?

— На этот раз никакого... Просто зашел мимоходом удостовериться, что жив, режешь и бодрствуешь.

— Спасибо, я не избалован ничьей лаской. Га, за это ты получишь кофе. Я варю его сам, и знатоки хвалят.

Илья был в хорошем настроении. Взгляд его был свеж и трезв, розовели скулы; Глебу почудилось даже, что от него пахнет утренней рекой... Сейчас он казался моложе своих лет. Длиннорукий, в долгополом и пестром халате, со своей походкой, напористой и размашистой, он напоминал боксера, уверенно поднимающегося на ринг. Было видно, что первую половину жизни он употребил с толком для накопления опыта и доволен ею, но знал твердо, что самого существенного в ней еще не совершил. Это была умная и зрелая молодость ученого... Мальчишеским жестом Илья втокнул брата в кабинет, а Глеб намякнул шуточно, что предпочел бы подвести под кофе сытную материальную базу. Он привык обедать рано.

Илья лукаво подмигнул брату —:

— Видишь ли, моя кухарка экономит мои деньги. Га, кажется, она пропускает через мясорубку серую оберточную бумагу. Получается вроде того, на чем кладут кирпичи...

— Взбунтуйся!

— ... терплю. Кроме меня, это, пожалуй, единственный человек, преданный моей жене. — Он решил, что проболтался Глебу и нахмурился. — Словом, мне всегда не везло на старухах. Приходится питаться тайком. Хочешь отличной ветчины?

— Я хочу много отличной ветчины! — потирая руки, предупредил Глеб. — А что же жена? Помнится, у какого-то Еноха сказано, что жена обязана заботиться о муже...

Илья нахмурился —:

— Ну, значит, она не читала Библии. Открой верхний ящик письменного стола. Там сверток... нашел? Га, действуй, я сейчас вернусь.

И пока младший брат свирепо расправлялся с тремя огромными ломтями мяса, старший отправился с кофейником на кухню. Слышно было, как повизгивала ручка кофейной меленки и гремела посуда, небрежно сдвигаемая с плиты. Кухонных талантов никогда прежде у Ильи не наблюдалось. Гость искал каких-нибудь других перемен в квартире, и смог только определить, что жизнь старшего Протокалитова средоточилась теперь вся в одной этой комнате. То было пустынное, какое-то пещерообразное жилище холостяка; роль сталактитов играли фантастические нагромождения журналов и книг. Конечно, небурный кофейный прибор и груды белья в углу, как ее доставили из прачечной, могли быть случайным явлением. Но обращала на себя внимание совершенная недвижность и тишина, не привычная уху Глеба. Тогда он сообразил, что перемена коснулась самого главного. Кажется, Илья охладел к своей знаменитой коллекции часов.

Внешне все оставалось попрежнему, но ни один механизм не находился в движении. Некоторые из них, точно приготовленные к отправке, стояли как попало на полу. Не тикали маятники, не перезванивались колокольчики; мертво и тускло глядели старинные циферблаты. Без завода стояли и нарядные, с бронзовым амуром, французские часы-ягрушка, что созданы были для отсчета минуток любовной радости; молчал и черный, в мраморе, масонский инструмент, предназначенный следить годы приближения к вечности. Вчерашние любимцы были низведены на ступень домашней рухляди, и Глеб подивился с усмешкой, как все это похоже на Илью!

Скоро тот вернулся и, не торопясь, разливал кофе; на черной, изогнутой струе лежал чуть колеблющийся, продолговатый блик окна. Он поднимал кофейник, и окно магически вытягивалось почти в нитку. Чашки были огромны. В комнате густо и празднично запахло пряностью. Ноздри Ильи раздулись, вдыхая благословенный пар. И почему-то комната сразу приобрела уютность, располагавшую к дружеской и неограниченно долгой беседе. Глеб отхлебнул первый глоток, и ему стало жарко, как от вина.

— Можешь открыть кафе и прославиться!

— О, я подошел к этому делу научно. Я пью этот состав, как воду, и... га, работаю, как река! — Он сложился и вдвинул себя на кожаные подушки кресла. — У тебя несколько утомленный вид... но я бы сказал, вид лыжника, подходящего к цели. Как твои дела?.. тень родителя перестала тебя тревожить?

Глеб поторопился изменить направление разговора —

— О, все прошло... Но что происходит с твоей коллекцией?

— Я отдаю это в музей. Сегодня обещали прислать приемщика. Уже теперь все это не мое.

— ... надоело? А у тебя здесь есть диковинки, с которыми мне было бы жаль расставаться.

— Га, много возни... надо заводить. Незаведенные часы похожи на гроб, а? Это стало недугом, а мы, хирурги, народ решительный. Заболит — вырезать и выбросить. Что, не согласен со мной?

Глеб пошурился и не порешился спросить, распространяется ли помянутое свойство хирургов и на привязанность к сбежавшей жене.

— Да... это была слишком беспартийная для нашего времени страсть. Ты мобилизуешься во-время, Илья. Ближится горячее время, а мы все еще не готовы. Но, чудачки, они и хотят двигать поезд на энтузиазме, когда нормально они должны ходить на угле и на добротной тренировке нации работать честно. Это слишком дорогое и

летучее топливо, энтузиазм... я бы сберегал его в наглухо закрытых сосудах. Оно еще пригодится...

Илья раздумывал — :

— А какую ты предлагаешь замену?

— Словом, я о культуре. Зажиточность без культуры и есть мецанство, и отмычкой тут ничего не поделаешь! Слушай, ты бы хоть скворца завел, чтоб шумел в твоей пустыне!

— Га, скворцы гадят и бранятся. Продолжай, мне интересно слышать это от тебя... Но ведь культуру нельзя приказать. Ее не делают, как калоши и трактора. Ты вспомни, как Америка растила свои любимые, но первого ранга, кадры — отважных летчиков, головорезов, спекулянтов человеческого мясом, великих ученых...

— Долга песня, Илюша! Долго ждать, пока образуется то невесомое и могущественное, что каким-то тайным знаком передается из поколения в поколение.

— Ну, надо признать, твоя партия сумела раскатать громадный, многонародный монолит, и уже теперь кинетическая энергия его не поддается учету. Его ускорение огромно. Большая честь состоять в ней с самого начала...

Глеб рассмеялся неискусно, с холодком — :

— При таком образе мыслей надо быть последовательным. Подавай заявление о вступлении... Они подумают. Но, скажу тебе наперед, они долго будут думать. Ты устанешь ждать.

— Ну, ты плохо думаешь о своей партии. Меня нельзя не принять!

— ... а почему?.. чем ты доказал свою верность?.. работой? Но ты же получаешь за нее. Вся эта рухлядь стоит денег. — Он брал вещи со стола и, показав, кидал обратно. — Это все отличный, первый сорт... гравюры, мебель. Даже уходя в уединение, ты хочешь сделать его приятным...

Илья задвигался, и кресло закряхтело — :

— Эй, не запускай в меня нечистую руку, Глеб. Там зубы!

Глеб замолчал; именно здесь следовало остерегаться болтливости. Не зря предсказывал старый Игнатий Прото-



клитов, что этого сынка надо бояться, даже когда он поддакивает, а он станет поддакивать, едва постигнет секретную изнанку Глеба. «Ты заметно прогрессируешь, Илья!» Последняя вещь, какая попала в руки Глеба, оказалась кожаной дорожной рамкой с фотографией. Он заглянул; это была блудная, неверная, милая жена Ильи, Лиза. Объектив застал ее как будто врасплох; она не успела сменить выражения лица и, вот, улыбалась с наивной озабоченностью ребенка, безмерно удивленного раскрывшимися просторами мира.

Повидимому, Глеб слишком долго смотрел на изображение этой женщины.

— Поставь назад, — хмуро сказал Илья.

— Ого, ты ревнуешь меня к моей же родственнице!.. А, знаешь, у нее очень умное и запоминающееся лицо. Когда же ты познакомишь меня с нею?

— Я прошу поставить это назад, — заметно краснея, повторил Илья.

«Ага, он продолжает любить ее, всякую. Он еще сохраняет юношескую нежность к этой женщине. Нетрудно сохранить свой облик в малом, но даже в большом он остается Ильей Протоклитовым!» Это сведение заинтересовало Глеба; он копил их, как самоучка-изобретатель собирает всякие колесики, пока не отыщется им примененье... Так длилось до предела, за которым началось уже бешенство Ильи.

— Ты, наверно, очень привязан к ней, — с притворной завистью заметил Глеб, ставя фотографию на место. — Она платит тебе тем же?

— О, да! — убежденно сказал Илья.

И, солгав это, тотчас же заерзал с самым страдальческим видом, побагровел, как уличенный мальчишка, и даже воротник сорочки стал ему тесен. В довершение всего он опрокинул чашку, чтоб замаскировать смущенье. Брат равнодушно и безжалостно наблюдал его рукопашное единоборство с самим собою. «Не признаваться же тебе, разумеется, что твоя супруга удрала от тебя... но знаешь ли ты, с кем?» И оттого, что всякий перевес мог пригодиться ему в дальнейшем, он решил

на дерзкую откровенность, которую в иное время счел бы рискованной.

Он неторопливо обошел стол и дружественно похлопал брата по плечу —:

— Как ты не разучился краснеть, Илюшка?.. где же профессиональные мозоли-то твои? А мне думалось, что урологи непременно циники: специальность такая! Они начинают знакомство с человеком с самых стыдных, самых сокровенных его мест...

Илья барахтался, освобождаясь от сильных и чем-то унижительных объятий брата —:

— Га, повидимому, ты больше встречал урологов, которые по трипперам. (— Они продолжали эту шутовскую борьбу, как когда-то в детстве, но сейчас за нею крылся грубый житейский смысл, и победитель неминуемо становился хозяином предстоящего разговора; по существу, это была борьба за старшинство. —) Есть, милый, разница, недоступная, видимо, твоему сорту людей! У тех буж, а у нас нож...

— Ого, ты мстишь, ревнивый самолюбец! — улыбался Глеб, бледнея и выпуская Илью. — Ты выпускаешь протоклитовские шипы...

Илье и самому резкость его показалась чрезмерной (— и уж никак не удавалось смягчить ее).

— Все надо уметь, товарищ. Не с паровозом разговариваешь!

— ... неладно ты устроился в жизни, если смущаешься даже от невинных вопросов. Судя по ее детскому лицу, неправ, конечно, ты, Илья. Домашние ссоры не мешают твоей работе? А ее наверно много у тебя!..

— Да, устаю. (— А сам думал, что всегда и в детстве Глеб легко справлялся с ним. —) Все раз'ехались. Старик вернулся из Барселоны и свалился... острый сердечный припадок. А Земеля переводят на Украину...

Глеб вернулся на прежнее место, допил кофе и, вытянув ноги, неторопливо обдумывал последующий ход.

— Послушай, кстати, в твоей практике часто попадают гипернефромы?

Илья тяжело дышал; он бросил в брата подозрительный взгляд и не ответил: «Вот оно, очередное дело Глеба!»

— Скажи, эта болезнь серьезна?

— А... кто у тебя?

— О, не я!.. я намереваюсь жить, пока не опротивеет, пока не опробую из всех закромов... а у меня зверские аппетиты. Я имею в виду друга, которому многим обязан. Молчишь... это нехорошо?

— Да.

— ... и очень больно, наверно?

— К несчастью, нет. И потому они всегда приходят к нам слишком поздно. А у твоего приятеля боли...?

— Это незаурядной воли человек... но на-днях мне пришлось проходить мимо его окна, и я слышал его крик сквозь двойную раму.

Илья нахмурился, и, вот, уже врач сидел перед Глебом (— и как будто даже эфиром слегка запахло в комнате).

— Возможно, опухоль у него сопряжена с камнями. Они растягивают почечную лоханку и... Га, я почти не встречал людей, толерантных к этому виду боли. Впрочем, могут быть и другого рода закупорки, симулирующие камень. Ты пошли-ка его мне на-днях. Я приму его вне очереди...

— Надо спешить?

— Камень из лоханки может попасть в мочеточник и... если не пройдет дальше... тогда анурия, уремия... и смерть.

Глеб шурился, что-то соображая, весь двигался, как будто примеривая болезнь на себя —:

— Хорошо!.. рано или поздно придется резать?

— Ну, этого нельзя сказать заочно. Га, ступай к гадалке... — И все приглядывался, угадывая какую-то искусно спрятанную фальшь. — Мне надо видеть, трогать. Требуется много дополнительных данных.

— ... например?

— Га, надо убедиться, работает ли другая почка, нет ли дизурических, тугзирных явлений...

— О, туберкулез исключен. Бациллы Коха не найдено в моче. Только кровь и боль! Последний припадок был со рвотой. И хотя я знаю, что этого мало для диагноза...

Илья оживился —:

— О, ты изучил это дело!.. собираешься отбивать хлеб у брата?

Еще бы! Не зря Глеб высидел вечер у черемшанского лекаря, слушая музыкальные упражнения его жены и собутыльничая с ее супругом. Он перечел всю специальную литературу, какая нашлась на полупустых больничных полках. Он заучил формулы и теперь хотел видеть их применение в действительности. А выпитое кофе еще более побуждало его вести разговор в тоне острой и двусмысленной откровенности.

— Этот человек играет большую роль в моей судьбе. Он как громадная планета, и я ее ничтожный спутник. Пятнадцать лет я вращаюсь в ее орбите и все не могу вырваться...

— Га, это, наверно, паршивое ощущение!

— Нет... если быть справедливым. Я лучше стал из страха, что он увидит меня дурным. Потерять его было бы таким же событием, как потерять тебя. Впрочем, все это личные переживания... Но я пришлю его к тебе с запиской. Его зовут, скажем, Постников... да, Постников его зовут. А все-таки, он будет жить?

— Иные выживают, — неопределенно пробурчал Илья.

Глаза Глеба озабоченно блуждали по стенам; какой-то глухой звук вырвался у него сквозь сжатые зубы, и у Ильи были все основания принять его как выражение бессильной жалости к погибающему другу.

— Есть у тебя коньяк, Илья? Дай... Теперь я охотно выпью с тобою.

— Чего ты нервничаешь?.. возможно, опасности и нет!

Однако, он не заставил просить дважды и, вот, уже держал штоф обеими руками, так, точно согревал о него пальцы.

— Налей мне много, — сказал Глеб.

— ... хорошо! — И налил ему много.

Должно быть, он устал от страхов и повседневных хитростей; обычная выдержка покидала Глеба. Какого труда ему стоило, чтоб и капли не пролилось из переполненной чашки! И напрасно крику своему он старался придать будничнейший оттенок —:

— Вот, мы давно с тобой знакомы, милый брат, но подружились только теперь. Я не шибко верю в дружбу: друг—это первый кандидат во враги. И вместе с тем ничто не крепит так подлинную дружбу, как общность врагов. Так пусть же они у нас будут общие отныне! Ведь ты поможешь мне, правда?

— Не волнуйся... я сделаю все, что могу.

Стоя, Глеб выпил чашку в четыре больших глотка и, прижав руку ко лбу, казалось, слушал себя.

— Убирай, больше не буду. Теперь съдь, так!.. и расскажи мне все про эту болезнь, с самого начала!

Илья неторопливо подошел к нему —

— Ну-ка, раздевайся, я пощупаю тебя.

— Эх, Илюшка... Смотри на меня: похож я на больного?

Горячий блеск его глаз, его до хрипоты приподнятый смех, обострившаяся угловатость всех частей его тела, от челюсти до пальцев, стиснутых в кулаки, — все это сильнее слов убеждало в неосновательности подозрений. Голова была ясна, и каждая мысль пелась в ней, как музыкальная фраза. Его зрение как бы усилилось во много крат; его разум проникал во все мельчайшие извилишки и складки мира, и в каждой крупинке бытия он угадывал чудесную и стройную пропорциональность его частей. Только теперь к Глебу пришло полное понимание всего, как будто владел всем, что видел, — Ильей, этими книгами, серым снежком на подоконнике, старухой, что, громыхая, запирала дверь, завтрашним днем, самыми судьбами мира. Это было великолепное, звериное ощущение физического здоровья, помноженного на постоянную удачу... Пока Илья относил кофейник на кухню, Глеб с воровской вкрадчивостью всматривался в портрет Лизы; и было такое чувство, что он уже и ее держал в своих руках, и пресытился, и отвергнул ради чистого, почти математического созерцания мира... Илья вернулся, уже забыв, о чем шла речь. Потребовалась повторная просьба, чтобы он продолжил описание.

Это была его обычная, вступительная к циклу лекция, но применительно к аудитории об одном и неподготовленном слушателе. На протяжении часа нужно было изложить обширный опыт целого раздела сложной клинической науки. Глеб поминутно сам наталкивал его на тему, и в одном месте Илья с раздражением пригласил его помолчать, если он не хочет залечить своего Постникова до гроба. — Он начал с описания опухоли вообще, сообщил вкратце об их строении и развитии, несколько подробнее остановился на способах распознавания; эта часть более всего могла пригодиться Глебу. При этом он избегал специальных обозначений и старался без ущерба точности нарисовать образную картину процесса, когда из-за одной пораженной части человек начинает ненавидеть все свое тело. Он даже показал Глебу несколько типических рентгенограмм (— чернее самых ребер выделялись там тени оксалатных камней —), и тот пристально, ревниво касаясь пальцами, рассматривал эти убийственные туманности, наложенные одна на другую. Никогда он не слушал с таким вниманием... и хотя имена классиков хирургии, например, были упомянуты лишь мельком, он почти физически ощутил присутствие этих бесстрастных и беспощадных старцев с засученными рукавами, какими он представлял их всегда. С содроганием и отвращением он видел бугристые, мнущиеся под пальцами куски полуживой ткани, то желтой, под янтарь, и размером в горошинку (— но их множество!), то в тяжелых, обвисших капсулах бурого и мертвенного цвета. И самое страшное было, что тело противится всеми силами этому необъясненному злу, но зло растет, окрашивая все вокруг, мясо и мысли, пучась и вламываясь в соседние органы, рассылая повсюду гнилостный яд, и, наконец, рушит его, как дерево, напрасно цепляющееся ветвями за соседей.

Один раз Глеб все-таки прервал лектора —

— ... но если это распространяется даже по кровяным руслам, значит, через

год, через два... я не ограничиваю срока... оно нагрянет снова?

— Судя по твоему описанию... Га, за поминай своего друга крепче, Глеб!

Расхаживая по комнате, Илья продолжал лекцию. Речь пошла о путях вмешательства медицины; почти все они были оперативные. Он говорил также о способах иссечения пораженной почки, о последовательности разрезов и о процентном количестве неудач для каждого из них. И стало так, словно Илья уже работал, а Глеб из-за плеча наблюдал быстрые и точные руки мастера. Так, он увидел Курилова, боком положенного на валик, лица ассистентов, — безлично завешенные марлей, и, наконец, резвый, почти невидимый нож хирурга, как он проходит сквозь толщу брюшной стенки, от двенадцатого ребра до края прямой мышцы на животе. Разрез был громаден, и вторжение чудовищно. Глебу показалось, что даже при благополучном исходе это будет уже не прежний Курилов, охотник, искатель человеческого счастья, человека гора, с вершины которой видно будущее.

Предавшись мыслям, он почти не слышал теперь Ильи. Лишь отдельные фразы скользили по поверхности сознания —:

— ...через двадцать секунд я увижу почку... ее окологпочечную желтую клетчатку. Тогда я вывожу и оттягиваю почку вниз и наружу, а мой помощник раздвигает края раны. Я прошупываю пульсацию артерии *renalіs*, зажимаю ее, перевязываю и надсекаю...

— Постояй, ты берешь ее пальцами?..

— Конечно...

— Ну? — и ждал нетерпеливо объяснений. — Она дрожит?

— Что это?

— Ну, эта ж и л а, которую ты назвал! — напоминал Глеб и намелко ломал спичку за спичкой; он спешил, подсказывал, он как бы внушал, как должно это произойти.

— Да, она пульсирует. Ты успокойся... (Я уважаю тебя за такую степень дружбы.) Но не бойся: ничто не грозит твоему другу, пока он у меня на столе.

— Еще один вопрос, — мертвым, помимо воли, голосом спросил Глеб. — Ты волновался бы, если бы это был твой враг?

— Га, пустяки! Ты мало знаешь нашего брата... Мне довелось однажды оперировать тетку генерала Юденича. (Я не влюбил его с того раза, как он приезжал к отцу... помнишь, когда старик по пустяку избил Федора? А я обожал этого простоватого парня: он умел ловить ящериц, запускать змеи с фонариками, делать свирельки...) Старуха была жирна, я попотел над нею... и, право, ей не за что жаловаться на меня. Через неделю ее сшиб трамвай. Га, я жалел. На ней впервые были применены кое-какие новшества, и мне хотелось проследить пути метастаза...

... Он окончил лекцию не прежде, чем довел воображаемую операцию до конца. И едва успел зашить недвижимое, условное тело перед собою, Глеб собрался уходить. Несмотря на всю опытность в делах такого рода, он чувствовал себя дурно, точно высидел час в тухлом анатомическом театре; он ослабел, как игрок, поставивший все на свою постоянную удачу. Сейчас его почти тугали быстрота и легкость, с какою пригонялись одно к одному разрозненные колесики. О, Илья получит хорошую роль в этом трагическом спектакле!.. И хотя только-что выпили за дружбу, в глазах Глеба было оправданно любое поведение в отношении к брату. «Ты хотел ввязаться в большую игру? Так плати же полностью и наравне с соплеменниками за право дышать глубоко в эту эпоху...»

В прихожей Илья Игнатвич сконфуженно коснулся его плеча —:

— Меня тяготит, — ворчливо приступил он, разминая сустав указательного пальца, — что я солгал тебе давеча насчет жены. Обидно, что ложь, кажется, удалась мне на этот раз. Видишь ли, Лиза ушла от меня. Я долго верил, что благоразумие одержит верх, и она вернется...

— Чудак, ты же мог вовсе не отвечать на мой вопрос! — засмеялся Глеб (— и подумал, насколько бестактно было просить этого человека о наме-

ренной жи).—Извини за любопытство, но ты же сам начал... Кто же он, твой счастливый соперник?

— Подозреваю, ее сманил один режиссер. Га, в крагах и бархатной куртке... представляешь фрукта?

— Вызови на дуэль и насыться мщением... Кроме шуток, мне жаль тебя, бедняга! Ты был так привязан к ней. В чем же дело... разлюбила?

— Видишь, Глеб, ни в каком учебнике не сказано про женское сердце. Это еще более древний и туманный вопрос, чем опухоль твоего Постникова. Ну, ступай... наведай меня изредка!

Никогда их расставанье не носило оттенка такой горячей искренности. Илья трудно свылался со своим одиночеством; с уходом Лизы весь прежний опыт старого холостяка пошел насмарку. Дверь захлопнулась... В самом низу лестницы Глебу встретились трое людей; они несли ящики и старые одеяла. Их вел унылый молодой человек в пенсне и шляпе пиджак. Учтивым, без всякой интонации голосом он спросил у Глеба о квартире профессора Протоклитова.

— Нам нужно взять у него коллекцию часов, — пояснил он почти скорбно.

— Потрите ухо, если не хотите навеки испортить свою красоту, — строго сказал Глеб, кивнув на обмороженное, ставшее совсем воскового цвета, и прошел мимо.

## Гости

За окном, в глубине больничного двора, стояло дерево и, еще дальше за ним, фонарь. Вечерами тени ветвей скользили по стенам палаты, где лежал Алексей Никитич, по жесткому сероватому белью, по страницам книги, которую он читал. Он поднимал руку — они качались поверх ладони, и, приподымаясь поправить одеяло в ногах, он чувствовал их у себя на затылке. Ничего из прочитанного не оставалось в памяти. Глаза произвольно следили только за игрой теней, бесплотных и как-то по-весеннему набухших. Тогда Алексею Никитичу казалось, что он лежит уже очень давно. Через длинную цепь не-

уловимых промежуточных звеньев в воображении слагалась одна и та же картина доброй русской весны. — За городом, четыре часа дня. К деревьям вернулась их прошлогодняя гибкость. Ветер... и если выставить руку, он оближет ее, мокрый, сильный, искренний, как большая собака. Кружится грачиная стая. Подобно кораблям в бурю где-нибудь в океанской бухте, они хотят причалить к березе, но пристань колеблется, и они не умеют угадать могучего дыхания волны... Так, каждый порыв ветерка за окном сбивал его со строки. Читать стало невозможно. Кроме того, койка была поставлена так, что матовый свет с потолка не попадал на страницу.

Сосед Курилова тоже сдвинул книгу в колени. Он был провинциальный изобретатель, и, значит, были у властей причины отправить его на лечение в столицу. Алексей Никитич так и не понял, в чем состояла его болезнь; что-то разрасталось у него внутри; из него вырезали много скверного, дикого мяса, но выздоровление не приходило, и снова о-бок с Куриловым он ждал очереди на хирургический стол. Сиделки считали, что это был самый капризный и неукротимый пациент во всей больнице. Никто не наведал его здесь.

Книга соскользнула на пол; он не поднимал ее.

— Сколько будет на наши деньги — ли в р? — спросил куриловский сосед.

— Сколько-то рублей, не помню. Что вы читаете?

— О, великая гадость. Представьте, Курилов... Молодая дура замужем за дивизионным генералом. Она выхлупает в ает (— хамское какое слово, а?)... Она добивается для него голубой ленты, а сама сожительствует с его племянником. И в это время генеральская сестра... Не могу! Вы видите, Курилов, низменную морду этого автора?

— А вы читайте что-нибудь другое! Изобретатель заворочался и, свесив руку, тискал ножку кровати.

— Э, мне надоела наша жития святых. Я сам святой. У меня десять премий и грамота изобретателя... и я дохну. Я хочу повестей о грешниках, о

красавицах с иссиня-черными кудрями, о необыкновенностях я хочу... Понятно вам, Курилов?

— Чего вы все протестуете, чудак! — засмеялся Курилов.

— Э, вам хорошо... Вы ходячий больной! А я... да вы знаете, что я мог бы еще построить, будь я здоров, как вы!?

Курилову странно, что он еще способен вызывать зависть. Но это плахе утешение, и ему неприятен этот разговор. Он пошарил вокруг себя наушники радио, и тотчас же его движение повторил и сосед. Потребовалось такое же время привыкнуть к этому звуковому хаосу, сколько и на то, чтобы войти, раздеться, сдать одежду под номерок и подняться по мраморной лестнице в зал... Только-что кончилось первое, и начиналось второе отделение концерта. Галдела публика, настроивались инструменты, и по торжественному музыкальному гулу можно было судить о размерах зала. Все стихло, как будто за тем, чтоб придать еще большую внезапность аплодисментам. Наверно, появился или приезжий дирижер, или искусный пианист, игру которого призван был обрамлять целый оркестр. Напрасно кто-то старался перекричать овации и успокоить зал. Аплодисменты сникали, чтобы с новой силой вспыхнуть через мгновение... и какой-то тихий женский голос, почти у самого микрофона — глуховато и чуть нараспев — не уставал повторять имя артиста.

— ... вы видите ее, Курилов? Она очень хороша собой, и знает это. Ей не надо кричать, чтоб обратить на себя его внимание. И она не знает, что мы подглядываем за ней, как старцы за Сусанной... Смотрите, глядите, как он раскланивается им всем — людям, люстрам, мраморным колоннам. И ему хлопают за то, что он знаменит, — за то, что он такой строгий, выбритый, в добротном черном фраке...

«... И еще оттого, что накапливается богатство в этой стране, и народ, избавленный от нищеты и научившийся понимать красоту, становится и великодушнее, и требователен к своим художникам!» — мысленно продолжает Курилов.

— ... смотрите, какой он розовый, ясный. Он хорошо выпался перед выступлением, правда? Сейчас он комкает хрустящий платок в руке и смотрит на женщину. Отвернитесь же, Курилов... не мешайте им!

«И у него здоровые, ничем не тронутые почки...»

Но ему нравилось это парадное торжество, потому что была и его незидимая доля в этом успехе, и он прощал им, что ни разу за весь вечер не вспомнят Ошкурова и его безвестных жертв... Дирижер постучал по пюпитру, и деревянные инструменты сдержанно завели мелодию, незнакомую Курилову; по обычной занятости он никогда не посещал концертов. И оттого, что каждый читает музыку, как умеет, Алексей Никитич снова увидел проталинки в полях, стаи крейсирующих грачей и всем телом учуял влажный и пряный холодок оттаивающих оврагов.

Дверь открылась. Санитарка впустила Клавдию, и Зямка старательно выкручивался из ее сухой, неумолимой руки. Едва освободясь от опеки, он подошел к Курилову, нахмуренный и очень важный. От мороза или смущения перед необычным местом встречи пылали его щеки. «Рано, рано, взмечталось о весне!» Все трое поздоровались молча. Стул был один. Клавдия усадила мальчика и сама присела рядом, придерживая его за плечо. На свидание было отпущено только пятнадцать минут, и никто не знал, как благоразумнее истратить эту маленькую вечность.

Клавдия свободной рукой поправила кружевной галстучек на блузке.

— Ну, как тебе лежится, Алеша?

— А, знаешь, неплохо. Отдыхаю.. только мало кормят. Ты им шепни, чтоб не скупились!

Он приподнялся, собираясь познакомиться товарища по несчастью со своей знаменитой сестрой, чтобы и тот принял участие в беседе. (Еще со времени тюремного сидения Алексей Никитич привык делиться с соседями по камере всем своим достатком.) Но изобретатель затаился и повернулся спиной; он притворился спящим.

— Я получил твои яблоки, Клаша, спасибо... Нет, здесь мне хорошо! Взгляни, какие цветочки нарисованы на панели. Души отсюда поступают непосредственно в райскую регистратуру...

Он спросил, не с пленума ли она пришла к нему. Нет, пленум ее организации начинался завтра в двенадцать. Алексей Никитич сообразил, что к этому времени все его мученья окончатся, и повторил, что все это очень хорошо. Он достал яблоко из-под подушки и сунул Зямке в руку. Клавдия отдернула рукавчик и взглянула на часы. Прошло полторы минуты, одна десятая всего срока.

— Что говорят врачи?

— Левая, говорят, погибла, но правая почка станет жить.

— Конечно, надо было решиться на это, Алексей. Куда ты хотел бы поехать после выздоровления?

Присутствие мальчика умеряло взволнованность взрослых. Попеременно поглядывая на обоих, он не пропускал ни слова, и Клавдия с суровой и сдержанной лаской коснулась его лба.

— Ты что-то хотел сказать, Измаил?

— Не, я только жамерж даве... — сказал Зямка, памятуя давешние запреты.

— Все равно, скажи... если только умное.

— Ничего ошобенного. У нас дворник жараж женился. Шмешно!.. а двор неметеный. Мильционер штраф принес... вот, и женился! — давясь от смеха, сообщил Зямка.

Курилов покачал головой, значительно взглянув на Клавдию —:

— Видишь, сестра, как вредно жениться не во-время. Что же яблоко-то не ешь, парашютист?

— Я жараж яблоко Саньке прошпорил. Вот, я ему отдам.

— У меня много их, мучитель... Ты заезжала за ним на квартиру? — спросил он у сестры.

Нет, Марина сама привела его. Она осталась ждать внизу. Дежурный врач отказался пустить третьего, а Клавдия не решилась настаивать. (Да и ей-то разрешили свидание вопреки правилам

и лишь из уважения к ее почтенному имени.)

— Что же, рассказать тебе что-нибудь, Измаил? Вот... начало мне приятель, сочинитель один, поведал, а конец придумал я сам. Хочешь, например, про слона?

Тот надкусил яблоко и, держа откупленное за щекой, настороженно молчал. Но по глазам видно было, что про слона ему в любое время интересно.

— ... так вот. Ехал по Азии один бродячий немец со зверинцем. Мимо Тибета ехал, по горам и белым пустыням...

— А где китайская красная армия — ехал? — неожиданно спросил Зямка.

— Немножко в сторону от нее... — сказал Алексей Никитич, снова переглянувшись с сестрой. — Он показывал своих зверей: плати пятачок и входи. Был у него такой шатер, вроде цирка. Зрителям ставили складные скамеечки. Немец выходил — гутентаг, гутентаг!.. — и начиналось действие. Тигра он заставлял кланяться публике, удава надевал на шею, а потом завязывал узелком, чтоб не уполз в перерыве... И даже собака, милый Зямка, выделявала у него такие вещи, что нередко сходила за обезьяну. Но народ там живет бедный, грабят его иностранцы, а чем дичей — тем труднее дается ему копейка. Только и норовили картинку с фургона сорвать, на память. Фургон — это большой ящик на колесах, очень скрипит... Плохо шли у немца дела. Зайдет, бывало, в главную клетку, жует бутерброд с повидлом, чаем запивает, и звери так печально смотрят, что всего один у него бутерброд. И выпустил бы на волю, чтоб сами добывали пропитание, но, во-первых, полиция боязно, а во-вторых, жалко слона. Его звали Али. Он был белый, умный, и черная клякса на лбу. Не скучно, Зямка?

— Давай уж жараж, давай! — кивнул тот с натужливым, сочувственным лицом.

— ... но тут входит к нему жена, она билеты у окошечка продавала. «Все продано, — говорит. — Начинай!» Он подстаканник отставил, дает сразу третий звонок. Вышел и вспотел: публики

никого нету, а только сидит клетчатая фигура в котелке и обмахивается всеми билетами от жары. Немец плечами пожимает: «Гутентаг, можно приступить?» Фигура отвечает: «Гутентаг, начинайте сразу со второго отделения, только не торопитесь на слоне!» Жена шарманку вертит, считает в уме, на сколько им хватит пропитанья... Дошло до слона. А тот уж оголодал, и когда выходил показывать свои штуки, немец подпирал его на всякий случай плечом. По окончании фигура сказала: «Видя, с каким успехом это у вас получается, хотел бы и сам попытаться счастье. Покупаю у вас слона!» Хозяин уперся: «Да что вы! Такого слона... в чужие руки!» Но предстало на выбор — либо весь зверинец накормить слонем, пока не доберутся хоть до Китая, либо... Поломался — уступил. И все глядел с женой, как тот уводил слона на веревочке в направлении неизвестных гор...

Клавдия снова посмотрела на часы. Шла девятая минута. Они еще не успели обсудить главного, а бесценное время уходило на пустышки. Но сейчас у нее не стало мужества прервать шалость брата. Алексей Никитич лукаво покосился на сестру. Ее плечи заострились, левая бровь скорбно и высоко округлилась на лбу. Он понял вдруг, почему она не остригла в свое время. Она была очень стара, — желтые косточки просвечивали на висках; у нее заметно редели волосы, и требовалось особое уменье, чтобы их хватило на прическу. Он протянул руку и украдкой от Зямки погладил колени сестры. Она вздрогнула, смутилась, поднялась и отошла к окну.

— ... а там, верст на триста к югу, помещалось смешное королевство. Народ платил подати и тоже трудился на иностранцев; жил, словом, и голодно, и стыдно. Когда нечем стало его околпачивать, выдумали попы легенду. Будто придет избавитель в виде белого слона с пятном во лбу, и начнется столетняя сытость. Легенда — это нарядная неправда!.. Понимаешь теперь, зачем приехал жулик в котелке? Вот выгрузили слона с товарной платформы. Он был одет в большой ящик, а на ящике —

клейма и надписи: осторожно... не переворачивать... не ронять. (Они сделали так, чтоб народ не догадался, что бог приехал по железной дороге.) Пошел ящик на слоновых ногах через улицы, через базары. Пришел, раздели от досок, покормили, а уж он, бог-то, догадывается, что в историю попал! Но слоны, Зямка, плачут редко... Скоро праздник, народ с'ехался из деревень. Жгут цветные огни, жрецы до отрыва подметок танцуют, ждут появления бога. Вот, вывели из темноты на свет, повели на золотых шнурках... ничего, ему нравится. А как ударили в барабаны, заиграли на длинных трубах, бог испугался. Оборвал поводья и бросился напрямки, все сокрушая на пути. Да, Зямка, бивнями!.. Тогда его загнали в большой сарай и долго убивали стрелами. Скоро бог лежал, точно сложенный брезентовый стратостат, когда его надувают газом...

— Алеша, нам осталось всего четыре минуты! — безнадежно сказала Клавдия, не оборачиваясь от окна.

— Я слышу, Клаша. — Он видел краем глаза, как она двигается, нервничает, и сказка была единственным средством избавиться от жалких слов расставанья. Он продолжал, следя за нахмуренным лицом Зямки: — ... тогда, послали телеграмму механику. «Гутентаг?» — «Гутентаг!» — «Не можете ли починить эту вещь?» — «Можно... вам с разговором или только с движением? С разговором на двадцать процентов дороже». — «Нет, нам только с движением. Богу разговаривать не о чем». Два месяца трудился механик. Выгреб из слона лопатой, растянул на подпорках, вставил механизм, отрегулировал и живот, на случай поломки, сделал на застежке молнии. Знаешь, как у мамы твоей на ботиках! Сломалось — джик, стамесочкой подвинтить, готово!.. Когда в будущем году повторился праздник, слон путешествовал как ни в чем не бывало. Размахивал хоботом, уши дрожали, мигали глаза. Он стал очень уравновешенный, толще и даже красивее в этом виде. Кожу замазали, чтоб не трескалась от жары и не видно было заплат. Только жаль,



что колесики поскрипывали в ногах по недосмотру техника. Так завелся собственный бог в черномазом королевстве. Вот и все, Зямка... Ты что-то хотела сказать мне, Клаша?

— Нет... но нам пора итти, Алеша!

— Ну, и славно. Кланяйся Марине! Вторую половину я доскажу тебе потом, Зямка. У меня будет время подумать, что случилось дальше со слоном...

Восемнадцатая минута подходила к концу. Санитарка появилась в дверях. Очень прямая и спокойная, Клавдия поцеловала брата в лоб. Зямка молчал; глаза у него были красные и брови насупились. Алексей Никитич вернул сестру с порога и распорядился передать Зямке модель паровоза, что стоит у него дома на столе.

— Поблагодари, Измаил, — торжественно и тихо сказала Клавдия.

Продолжая хмуриться, Зямка ворочился к кровати —

— ... а самому-то?

— Куда мне!.. я большой, мне игрушки поздно.

— Может, еще выждоревеешь... — с суровой надеждой проговорил мальчик, и вдруг голова втянулась в плечи и самое лицо его сморщилось, точно у маленького старичка.

Алексей Никитич взволнованно потянулся к нему, но Клавдия уже потащила его за руку вон, как напраказившую собачонку.

... Минуту спустя Курилов снова взялся за радио. Музыка еще продолжалась, и целых полчаса он уверял себя, что слушает ее. Внезапная догадка подняла его с постели; он совсем забыл о Луке. Ему отчетливо представилась сцена передачи подарка. — Клавдия войдет с Зямкой, когда Лука будет катать по полу этот чудесный паровоз. У Зямки зажгутся глаза, но он смолчит. Сестра нагнется отобрать игрушку, а Лука вцепится и не будет отдавать. «Нехорошо быть таким собственником, мальчик! — четко скажет Клавдия, забыв о глухоте Луки. — Ты уже и м е л ее, теперь отдай другому». А Зямка, наверно, прибавит: «Ничего, я подожду... ты доигрывай!» — и отвернется. Вмешаться в эту явную несправедли-

вость стало поздно. Алексей Никитич лег и закрыл глаза.

... И опять воображение рисовало Зямку. Конечно, игрушку ему на руки не выдадут, чтоб не сломал. Ее ценность была слишком велика для уличного мальчонки. Ее поставят на комод, на кружевную дорожку, посреди бумажных тюльпанов и рядом с фотографией покойного мужа тети Анфисы. Зямкины гости, мальчики со всей той бедной улицы, будут с почтительной серьезностью разглядывать этот слишком щедрый и непонятный дар. И самым несчастным из них будет сам Зямка... (и тогда, может быть, в несытом восхищении растворится без следа его детская дружба к Алексею Никитичу.)

Вдруг изобретатель заворочался—

— А вы вовсе не атеист, Курилов! — сказал он со злым смехом.—Я по поводу вашего слона. Атеизм — это неведение бога. А вы отрицаете, деретесь с ним, совсем непочтительно отнимаете у него вселенную. Я про себя не говорю. Я умираю и злую на все, что может быть виновно в причиненной мне низости. Поэтому я готов признать все, что сумеет доставить мне исцеление или стать предметом ненависти. А вы-то!.. нельзя же злиться на то, чего нет! Правда?

Курилов молчал с минутку.

— В следующий раз я познакомлю вас с сестрой. Вы попробуйте развести ей вашу философию... она просто обожает таких собеседников! — И ему показался жалким этот цепляющийся за свою тень на земле человек.

### Донос в никуда

Близ этого времени в служебном вестибюле больницы произошел скандал. Служитель вышел отнести вечернюю газету в комнату дежурного врача. Возвращаясь, он застал у перевязочной высокого, всклокоченного и такого неопрятного гражданина, что ужаснулось все его санитарное, с пятилетним стажем, естество. Не отвечая на прямые вопросы, неизвестный пытался итти напролом в ближайшую палату, и потребовалась вышительная сила, чтобы свести его вниз по лестнице. Тогда посетитель

стал ломиться в клиническую лабораторию, но служитель, опасаясь за целостность склянок с анализами, догадался позвать на помощь. Дежурный врач нашел скандалиста в почти истерическом состоянии; его руки были в неотмываемой копоти; он уже сидел на стуле, двое рослых больничных верзил держали его за плечи, и на белых халатах отпечатлелись прикосновения рукопашной борьбы. Ввиду необычности требований этого человека о происшествии было доложено старшему хирургу.

В здании больницы Протоклитов оказался случайно. Он заехал навестить одну из пациенток. Молодая работница попала под циркулярную пилу четыре дня назад. Железом, скользящим от затылка почти до переносья, были вскрыты синусы мозга, а Протоклитову нравилось одолевать смерть, даже когда она успела потушить зрачки жертвы... Теперь он мог по праву гордиться своей работой. Сидя у койки, локтями в колени и лицом в лицо, он поочередно глядел то на остриженную голову девушки, где сквозь бинты угадывался длинный багровый шов, то в ее неживые глазницы; и опять — чуть окрашенная дорожка на марле, и опять — еле приметное мерцание поднимаемых ресниц. Он вслух назвал ее имя и терпеливо ждал, пока девушка не улыбнулась. Сейчас это было лишь машинальное движение какого-то лицевого мускула; в нем не содержалось ни боли, ни радости, ни даже сознания своего несчастья. Но так же, наверно, улыбалась первозданная глина в сказаниях о сотворении человека, когда, меняя цвет и приобретая гибкость, она впервые почувствовала теплоту солнечного луча.

Много грубее, вещественнее отразилась та же улыбка в лице мастера.

— Га, вы позовете меня на свадьбу, девушка... — Он сказал это ласково и вкрадчиво, как говорят с детьми, когда их будят. К врачу, стоявшему позади, он обернулся не прежде, чем сомкнулись дрожащие ресницы девушки. — Мы мало знаем о возможностях человека. Вот, железо распилито ей голову... она улыбается... мне приятно. О чем вы?

Уже настойчивее дежурный повторил о происшествии. Нет, этот ворвавшийся человек вряд ли пьян, несмотря на бессвязную речь; он кажется истощенным бессонницей, и он грозит последствиями, если его приход окажется безрезультатным. Протоклитов попросил провести его к себе в кабинет. Пятью минутами позже, отдав необходимые распоряженья, он отправился туда сам. Он шел по коридору, бубня какой-то марш и испытывая сытость творца, уверенного в своем могуществе... Служители предусмотрительно встали у дверей кабинета. Незнакомец, горбясь, сидел на стуле. Его успели облачить в белую больничную униформу. В таком виде предстала бы душа бедного Кихота, если бы ее неделю покоптить в центральном дымоходе пекла. Человек был длинен и неряшлив; из-под коротких заносенных штанов видны были скверные, спущившиеся носки... Увидев входящего Протоклитова, он вскочил, демонстративно отставив в сторону стул. Повидимому, беседа предполагалась в форме самого официального объяснения. Больно покалывали точечные его зрачки. С первого же взгляда он стал физически противен Протоклитову.

Не предлагая садиться, Илья Игнатьич спросил, кто он и что ему надо в больнице.

— Уберите ваших урядников, — отрывисто бросил тот, жестикулируя, как в припадке. — У вас не только лечат больных, а и ломают кости здоровым!

— Хорошо, — сказал Протоклитов и сделал знак, чтобы ушли. — Успокойтесь, они не придут больше.

— Мне нужен Курилов. Он лежит где-то здесь. Ведите меня туда.

Это было невозможно. Прием закончился вообще. Никто не мог проникнуть теперь к Курилову хотя бы для сообщения радости, способной исцелить. Свидание, таким образом, откладывалось... (—он сообразил длительность выздоровления) по крайней мере недели на две. Тогда посетитель проявил чрезвычайное возбуждение; он кричал, что у него срочное, пороховое дело, что он отправляется в дальнюю и продолжительную поездку, что теперь уже никто не

вправе остановить его; он бегал, описывая круги и петли, дважды упомянул какую-то Зоську и все, что было перед ним на столе, мимолетно испробовал на тяжесть или остроту; он торопился, пока не выдохлась и не утратила крепости его ненависть. Судороги его становились заразительными.

— Если это так важно, вы можете рассказать мне. В свое время я доведу это до сведения товарища. Если хотите, присядьте и запишите, но... Га, давайте будем кратки!

— Э, ваша внешность не внушает мне доверия!

Протоклитов опустил глаза, переложил толстый карандаш с места на место и снова бросил на него спокойный взгляд —

— Я должностное лицо, и мы ведем разговор в моем служебном кабинете.

Посетитель раздумывал, мял пальцами запущенный подбородок, подергивался, точно его везде кусало, и все поглядывал при этом на белые, с добротными запонками, манжетки врача. Уже он как будто и соглашался доверить тайну в чужие руки, но вдруг откинул стул, который снова оказался было у него в руках.

— Нет... — И мучительно потирал виски, сляся что-то вспомнить. — Я все-таки предпочел бы видеть самого Курилова. Баста!.. и мне не нравится, почему вы набиваетесь в посредники.

Поигрывая цветным карандашом, Протоклитов сказал, что он не предъявляет никаких прав на чужую тайну; что он не рискует волновать своего пациента накануне операции, — что он слишком утомлен и сам, чтобы тратить время на явную чепуху. Хитрость не подействовала, и он брюзгливо предложил посетителю зайти когда-нибудь в более доверчивом и уравновешенном состоянии. И тот уходил, но тотчас переменял решение, как будто не рассчитывал на скорое возвращение назад, затухал и воспалялся заразной нервной дрожью, принимался искать шапку и, найдя, потерянно выщипывал волоски; с одного края мех совсем пролысел. Они проделали несколько таких туров, где возбужденное недоверие чередовалось с

минутным и колеблющимся согласием, а вялая покорность с упорным, даже вызывающим, отказом произнести хотя бы слово. «Я не знаю, в чем дело... мне чудится, что он подглядывает за мною из вас!» — бормотал он еле слышно... Внезапно толстый карандаш с сухим треском переломился в пальцах Протоклитова, и эта внешняя подробность искреннего бешенства убедила посетителя сильнее остальных доводов.

— Вы сердитесь... тот не сердится никогда. Нет, я ошибся. — Он недоверчиво поднял с пола брошенные обломки; кажется, его поражало, что не сходятся цвета половинок. Потом наощупь он подвинул стул под себя. — Ладно, вы отвечаете за все... А то понимаете, как можно с вашим братом? Ну... моя фамилия Кормилицын. Может, пометите для памяти? Курилов должен узнать следующее. У него на дороге затаился подлец. Он работает начальником депо на станции... Внезапно он вскопчил, и стул покатился из-под него. — Ага, вы нахмурились? ... догадываетесь, кого я предаю вам?

— Вы поистине нестерпимый человек! — тихо сказал Протоклитов, и хотя не все же начальники депо приходились ему братьями, почувствовал, как начинают рдеть его уши.

— ... У него на совести много жертв. (Впрочем, сам он проговорился однажды, что совесть — это только непривычка!) Я не знаю, десять или сто... я познакомился с ним позже. Он всегда и все делал исправно. И он не гонится за легкой славой... потому и уцелел. Но он таков, что призраки не порешатся навестить его... Э, он расстрелял бы их вторично! Словом, это равнодушный. Ну-ка, покажите, что вы там написали?

И у него хватило дерзости потянуться за листком с белыми отметками Протоклитова, сделанными более для успокоения, но Илья Игнатьич откинул его руку и яростно навалился на стол. Однако, упоминание о деле содержало отдаленный намек на Глеба, которого всегда подозревал в чем-то неуловимом и нечистом (—и, кроме того, островерхая крышка чернильницы вдавилась ему в

ладонь); он опустил глаза и уже не чувствовал за собою права выгнать вон этого распадающегося человека.

— Я полагаю, брань не обязательна для нашего документа? — рассудительно заметил он. — Предоставим оценку самому Курилову!

Последовала пауза; их глаза встретились; многолетняя привычка врача помогла Протоклитову выдержать подозрительный, блуждающий взгляд маньяка.

— Это... это хорошо, что вы не кричите на меня. Вы не должны. Вы только бумага, на которой я пишу свою последнюю записку... понятно? Я предаю человека, которого любил. Я был его оруженосцем и тенью. Я повторяю его слова о России, славянах и бессмертии. Чего смеетесь?.. это теперь смешно, а тогда это стреляло!

— Га, постойте о бессмертии, — нетерпеливо прервал Протоклитов (— и чуть было не прибавил, что для такого единственная форма бессмертия — чучело торчать где-нибудь в прикладбищенской тивной). — Для вступления вы нагородили уже достаточно. Курилов, несомненно, заинтересуется, имеются ли свидетели... как мне кажется, вашей совместной деятельности.

— Я сам!

— Га, мало! Судя по вашему состоянию, у вас есть причины не только говорить правду, но и лгать!.. А речь идет о жизни человека... не так ли?

Кормилицын растерялся; донос, на который он тратил всего себя, мог сойти в этом месте за бредовую выдумку. Теперь очередь пришла за Протоклитовым не доверять услышанному.

— ... но вы же понимаете, тут уж свидетелей не остается! — криво усмехаясь, каким-то вкрадчивым и гнусавым голосом оборонялся Кормилицын. — Иначе они пришли бы вместе со мною, хе-хе. Им бы тут, пожалуй, тесновато пришлось... всем-то!

— Факты! — прикрикнул Протоклитов.

Тот вздрогнул и, вот, уже подчинялся, как если бы его сжимал в кулаке этот суровый и властный человек. Прошла минута, в течение которой Корми-

лицын шарил в памяти каких-нибудь самых убедительных доказательств. Потом последовало стремительное перечисление частей и городов, через которые прошел герой его доноса. Да, он мог указать место, где, один на другом, зарыты те самые Герасимов и Фарафонов, в честь которых даже переименованы села. Да, они вместе разыскивали Курилова на Каме, и если бы успехом увенчались поиски, не состоялось бы и этой головоломной беседы!

— Это уже другое дело, — кивал Илья Игнатьич. — И мне думается... такие сведения могут быть интересны не только для Курилова?

— О конечно, конечно, — лихорадочно поддержал Кормилицын. — Я этого и хочу... мы все этого хотим, — запальчиво крикнул он, раскинув руки в пустые темные углы кабинета. — Пускай, пускай мертвые повеселятся!

Рука Протоклитова неторопливо легла на телефонную трубку, и тот в два прыжка оказался рядом; всей тяжестью тела придавив рычаг, он выдернул шнур из розетки.

— Что... что вы собираетесь делать? — Тупое недоумение истекало из его окончательно расплывшихся зрачков.

— Вы попали с этим делом не по адресу. Я хотел исправить ошибку...

— ... нельзя! — шепнул Кормилицын, не то угрожая, не то заискивая.

— Га, вы трус! — брезгливо заметил Протоклитов.

— Нет... но у меня есть еще дела в жизни.

Глазами врача Протоклитов внимательно изучал его. Было ясно, этот неудачник делил равную ответственность с тем, чью голову украдкой притащил Курилову. Ему и самому недолго оставалось буйствовать и сгорать; кроме ненависти, уже иссякавшей, какие-то другие чадные пары переполняли этот кожаный мешок... Протоклитов снял руку с аппарата.

— У вас больше нет сведений для передачи товарищу Курилову?

— ... разве только подробности об этом негодяе?

— Что же... он убивал сам? — (И этот вопрос был уже от себя.)

Кормилицын пожегся —:

— Мне кажется, это и необязательно... — оторвался он.

Еще минут десять длилось бессвязное и без всякой хронологической последовательности перечисление эпизодов. Потом объяснение было закончено. Кормилицын, обессиленный, — точно вытек весь, — сидел, отваливаясь затылком к эмалированной дверце шкафа. «Какое у вас тут все белое...» — бормотал он, а глядел себе на руки; кажется, он приходил в себя. Илья Игнатвич поднялся из-за стола.

— В суматохе, га... вы забыли назвать фамилию этого человека.

С детства он испытывал гадливое чувство ко всякому доносу. И хотя еще не было указаний, что речь идет о его собственном брате, именно через физическую и все возрастающую враждебность к этому истерическому организму Илья ощутил незнакомую ему родственную теплоту к Глебу, как мужественному человеку, безропотно зарабатывающему право на жизнь и забвение ошибок. Ничто не изменилось в его лице, когда имя его брата было произнесено вслух. Очень медленно он сложил исписанный наполовину листок.

— Я гарантирую вам, что Курилов... так или иначе... получит эти сведения... С своей стороны, — (и, вот, они блеснули в усмешке, протоклитовские зубы), — я должен сообщить вам, что и моя фамилия тоже Протоклитов...

Кормилицын остался сидеть, но его заросшая волосом челюсть отвалилась куда-то вбок. Вцепившись в сиденье стула, не моргая, точно прозревший, он уставился в своего посредника и узнавал, узнавал то, что было спрятано под этим белым халатом. Так вот откуда происходило его непроизвольное сопротивление этому человеку!.. О, его донос с равным успехом можно было засунуть и в урну для окурков. Обещание довести его до Курилова звучало почти издевательски. Ему казалось, что он сходит с ума... Глеб следил за ним отовсюду. Можно было ждать, что дверь от-

кроется и не один, а семеро Протоклитовых, эластических, ловких и бесшумных, как на каучуке, встанут кругом его, а последний закроет дверь на ключ. Он одурело взирал на дверь, которая, действительно, шевельнулась. (Это было обычное явление; когда внизу захлопывали дверь, воздух с силой устремлялся вверх...) Пятясь и уже не слушая, что ему говорят, он стал отступать из кабинета. Затем последовал рывок, до неся стремительный спуск по ступенькам, и снова ослабленный поток свежего воздуха пахнул Протоклитову в лицо. Илья Игнатвич вышел в коридор, постоял, поправил уголок дорожки, загнущийся при бегстве, и отправился домой.

Все назначенное на этот вечер механически отменялось... Он включил ремень свет в квартире, как будто это могло доставить ясность разуму. Он путался и злился на Кормилицына, обрушившего на него свою гадкую, личную тайну. Дружественное чувство к Глебу распалось на какие-то обрывки жалости и сомнительного сочувствия, в которых уже созревало осуждение. И рядом с ним, осторожным, нигде не уловленным, вставал во весь рост безвестный Фарафонтон, отважный матрос или красногвардеец... (Старший Протоклитов вдоволь насмотрелся на этих людей, крест-накрест перепоясанных пулеметными лентами, по-львиному вторгавшихся в мрачную историю человечества и лавиной в двадцать человек спасавших положение на фронте.) Не в пользу брата выходили эти сравнения... И когда, через час бесцельной ходьбы из угла в угол, он с облегчением отметил, что судьба Глеба проходит краем, не задевая его, когда уже готов был ограничиться ролью зрителя и постороннего лица в этом сомнительном предприятии, — на глаза ему попала коротенькая записка Глеба, принесенная в его отсутствие. Не знакомый с почерком брата, Илья Игнатвич узнал автора лишь по содержанию ее. Подпись свою, видно, второпях, Глеб забыл поставить. В конверте находились двести рублей в уплату старого долга. Шутливыми, скользкими словами Глеб благодарил брата за дав-

нюю услугу и остальные обещал при-  
слать на-днях.

С самого начала Илье Игнатьичу не понравился беглый, гаерский тон записки. В иное время ему и в голову не пришло бы, что все это проделано ради последних десяти строк. Он вчитывался в них, пока не заучил наизусть: «...зря подозревал театрального Адольфа в со-  
вращении своей милой и ветреной же-  
ны. Мне довелось случайно выяснить...  
ее увез некий Курилов. Он работает  
у нас на дороге... я встречался с ним.  
Это солдат времен армейских комитетов,  
которого вдруг нарядили во власть: гру-  
боватый, себе на уме, любитель выпить...  
все это с шекспировским оттенком,  
но представляешь себе Шекспира на  
русский образец? Ходят слухи, неиз-  
лечимая болезнь... почки, и в этом све-  
те тебе понятна, как урологу, его запо-  
здавая погоня за удовольствиями. Те-  
перь они живут, кажется, в Боршне...»

И, вот, Илья Игнатьич стал узнавать черты брата в портрете, неряшливо накиданном Кормилицыным. «Да, этот человек не промахивается никогда». И даже мелочи, усиленные через рупор гражданской войны и оттого казавшиеся вымышленными, теперь не оставляли в нем сомнений. У Ильи Игнатьича было время подивиться изворотливости брата. Ради того, чтобы целиться без промаха, он проникнул в тонкости чуждой ему науки и, вот, даже намекал на усиление любовной деятельности Курилова, как на следствие интоксикации выделениями пораженных почек, — то, что в медицине ходит под именем усиления локального тонуса. Больше того, из далекого Черемшанска Глеб выяснил с точностью, кто именно станет завтра оперировать его врага, и хотел только, чтобы Илья немножко помнил о Лизе, когда будет копаться во внутренностях Курилова. Неистребимое, подобное недугу, влечение Ильи к этой беспомощной актриске он приспособил как реле, которым с расстояния направлял чужую, вооруженную ножом руку. Выдумка была рассчитана на самый грубый, низменный инстинкт, и в этом заключалась ее движущая сила. Таким образом, то, чего не успел сделать ста-

рый и подлый Игнатьич, их отец, Глеб передавал по наследству в надежные руки хирурга.

Илья Игнатьич постарался предста-  
вить себе Курилова, каким он был у  
него на осмотре. Но их беседа не содер-  
жала ничего запоминающегося: Алексею  
Никитичу в тот раз было не до разго-  
воров. Сложив вдвое и вчетверо этот  
смятый, состарившийся у него в руках  
блокнотный листок, Илья Игнатьич по-  
шел к телефону...

Он вернулся с полдороги вовсе не по-  
тому, что было поздно, и коллега, кото-  
рый мог заменить его на операции, уже  
находился в кровати.

### Стол

Кажется, сосед еще спал, когда во-  
шли и сказали, что пора идти.

Алексей Никитич отложил недочи-  
танную газету, полную в этот день са-  
мых удивительных за всю жизнь ново-  
стей, и поднялся с койки. Он озабочен-  
но осматрелся, чтобы не забыть чего-  
нибудь, но ни одна из привычных ве-  
щей не могла ему понадобиться там.  
Он отправился с гнетущим чувством  
этой пустоты и, волнуясь гораздо боль-  
ше, чем в тот раз, когда Ошкурков, заба-  
вы ради, выводил его на фальшивые рас-  
стрелы. Уже через несколько шагов это  
чувство сменилось обычным человече-  
ским смущением. Большой седоусый че-  
ловек, в одном белье, двигался по кори-  
дору под руку с очень миловидной па-  
латной сестрой. Мучило подозрение, что  
все их провожают глазами... Но были  
будни; выздоравливающие играли в  
шашки или учились ходить. Мимо про-  
вели что-то в тележке. Оно было жи-  
вое, укрыто простынями и в таком виде,  
что чинить его было бы все равно, как  
к здоровому пальцу приделывать недо-  
стающего человека.

— Хорошо, это все хорошо... — зяб-  
ко, чуть нараспев говорил Алексей Ни-  
китич.

Расстояние до самой стерилизацион-  
ной комнаты прошло незамеченным. Да  
и там не запомнилось ничего, кроме стен,  
выложенных глазурованными плитка-  
ми,—и в их глянцевої поверхности дви-

гались искаженные и как бы разливанные изображения людей. Упало в память и закрепилось прочно только окно. И решив, что оно последнее перед темнотой, куда предстояло войти, он пристально взгляделся в это очень банальное, служебное окно и в свежий (—о-отличный такой!) день за ним.

То была постоянная ошибка, объясняемая подавленным состоянием больного. Напротив, следующая зала имела целых три просторных окна в мир. В голубой эмалевой раме среднего из них, выстроенного фонарем, стояло сухонькое, в скуповатом снежном пушке, деревцо. Какая-то весенняя линияла раскраска была у старой штукатурки дальних больничных корпусов. Эти обманчивые цвета весны, робкие и как бы захватанные чуть-чуть, зеленоватые и палевые, проходили сквозь мытые стекла и в мельчайших дозах распределялись по склянкам и кюветам, по латунным штепселям и удивительным приборам, о существовании которых узнают лишь в самую крайнюю минуту... Их хватало также на ножки высокого шарнирного стола с широким, над ним, колпаком операционной лампы, на мрамор умывальников, на белые халаты людей; их было шестеро. Сосчитать их сразу Алексею Никитичу не удалось, но подсознательно ему понравилось, что их так много... Это успокаивало. Та же, как ему показалось, сестра дала ему прополоскать рот. Он выполнил процедуру с чувством почтительного недоумения и сконфуженно поблагодарил. Повидимому, все было готово; ждали только знака, чтобы начать. Трое у трех раковин одними и теми же движениями мыли руки. Потом крайний правый и самый высокий спросил, не оборачиваясь, почему не укладывают больного. Алексея Никитича повели к столу.

— Вы меня прямо как митрополита... — пошутил, было, он.

— Ложитесь, ложитесь! — торопливо и строго шепнула сестра.

Он влез с табуретки и скучно сидел на высоте. Ему сказали, чтобы он лег, и к чему-то холодному стали привязывать руки. А он смотрел на множество

рассеивающих призм в конусе лампы и нежно думал о любителе всякой техники, о Зямке.

Так и не дождался, когда зажжется это волшебное устройство. Все пошло очень быстро. Над ним подняли матовый алюминиевый шар с резиновым кольцом; оно плотно легло вокруг губ, прижав усы. «Ага, это надевается на лицо. О-отличная вещь...» — словами Арсентьича, которого также не забывал никогда в жизни, подумал Алексей Никитич. Не дожидаясь приказа, он энергично вдохнул холодную сладость наркоза, закашлялся, забился в ляжках. Еще, казалось, нужно было вспомнить что-то самое существенное, но мысль остановилась, грудь выгнулась высоко, а тело стало длинное, узкое... Потом, совсем невесомое, оно с веселым звоном скользнуло куда-то вниз, в движущиеся круги неизвестности.

... Я узнал позже всех, что Курилова оперирует Протоклитов. В этот день Клавдия Никитична просила меня поехать с нею в больницу; просьба имела обычную для нее форму военного приказа. Мы приехали во-время. Оставив ее внизу вместе с Мариной, я поднялся к знакомому молодому врачу. Один из учеников Протоклитова и давний мой приятель, тайком грешивший в литературе, он давно обещал мне показать эту восходящую знаменитость за работой. Еще месяц назад он добился согласия Ильи Игнатича на мое посещение, приписав мне буйное стремление написать очерк к столетнему юбилею больницы. Я оделся в халат, и мы вошли в операционную, когда Протоклитов с марлевой маской на лице уже встал на свое место у стола. Больной лежал в том положении, боком и на валике, какое требуется при почечных операциях. Все было закрыто простынями, за исключением самого операционного поля. Пигментированная, от частого употребления грелок, кожа имела мраморную расцветку; по незнанию я отнес это за счет световых эффектов лампы. Восемь человек глядели, как синел и сохнул иод. Я услышал позвякивание металла о стекло. В тот же момент последовал взмах, и тело Курилова

распахнулось от правой паховой области до еле приметной родинки на спине.

Я все еще ждал мгновения, когда сверкнет скальпель, и вместе того увидел сразу губастый слой подкожной клетчатки и пульсирующие рассеченные мышцы. Они сокращались, отступая к краям громадной эллипсоидной раны. Там, в лиловой глубине, двигались и дышали органы, которых я не узнавал; в прочитанных почти накануне книжках они выглядели иначе. Я знал приблизительный порядок операции, но теперь мне странно было, что Алексей Никитич не кричал. Всего за два дня перед тем этот затихший человек спрашивал меня, немножко стыдась, что такое кара вела, и я от неожиданности объяснил ее однопалубным кораблем колумбовых времен. Тот Курилов был много ближе и понятнее мне, но этот правдивей и убедительней. Напрасно добрый Сергей Петрович сообщал мне на ухо какие-то общеобразовательные сведения насчет спаянности с брюшиной и гигантского размера опухоли. Я машинально освободился от его руки, державшей меня за локоть, и сделал шаг в сторону.

— ... хилус! — сказал в эту минуту один из ассистентов.

Маленький, нестерпимо красный фонтанчик забил из глубины, и выемка сразу залилась кровью. Видимо, металлический зажим соскочил с крупнейшей почечной артерии. Резвый ручеек сбегал вниз между желтых, выпяченных позвонков. Тотчас много пальцев метнулись внутрь раны; их было, может быть, тридцать, а фонтанчик один, но целых две минуты он с гибкостью червя извивался между ними... Тогда опять в поле зрения вступили медленные и властные руки Протоклитова. Я старался глядеть на рыжеватые волоски его запястий, чтобы не видеть этой молчаливой борьбы. Он поймал ножку сосуда и, сдавив пальцами, произнес вполголоса какое-то слово, встречавшееся мне раньше лишь в правилах стихосложения. Сейчас это двуличное слово обозначало инструмент, который останавливает кровотечение.

Я не знаю, сколько времени пробыл там. Сложный запах операционной почти отравлял меня, но это происходило оттого, что я слишком долго и в чрезмерной близости рассматривал физическое тело моего героя. Я пошел к выходу, и неприлично орали мои неразносшенные башмаки в суховатой и как бы стерильной тишине. Так и не удалось мне выяснить, верно ли это, будто все хирурги ругаются на операциях. Никто не заметил моего ухода, но Сергей Петрович вышел за мною следом. Он догнал меня в коридоре и с привычной учтивостью спросил о впечатлениях.

— Прямо жалко расставаться... — грубо ответил я, пряча глаза (— но, разумеется, еще худшей профессиональной бестактностью было с моей стороны навестить Алексея Никитича в этот час).

... старуха, горбясь, сидела одна у самой двери, как просительница. Облака холода из наружной двери обдавали ее, когда кто-нибудь проходил мимо. (Марина вышла погулять во двор: кажется, она волновалась больше всех. Клавдия дважды посылала меня привести ее, чтоб погрелась...) Меня встретили вопросительные, беспокойные глаза старухи. Я объяснил со слов Сергея Петровича, что все должно быть благополучно. Должно быть, это вышло у меня достаточно убедительно; ее рука благодарно стиснула мою, как будто от меня зависело возвратить жизнь и свет Курилову. Я сказал ей об этом. Она потерянно улыбнулась и пальцами провела по седым вискам.

— Есть у вас что-нибудь курить? — резко, чтоб не выдать смущенья, спросила она.

Я дал ей вместе со спичками. Пламя шаталось ходуном в ее пальцах, точно семеро дули на него. От слишком частых затяжек папироска обугливалась и не курилась. Это была вторая папироса в ее жизни. (Окурочек первой, которую она снабдила, видимо, у служителя, валялся под стулом.) Клавдия Никитична потребовала от меня подробностей, и я с видом школьника доложил ей о внешних и второстепенных мело-



чах, потому что иные ускользнули от моего внимания.

Она спросила еще, щурясь от дыма и поминутно отряхивая несуществующий пепел:

— Вы давно дружите с Алексеем?

— Два года.

— Этого мало, чтоб узнать его.

— Но я знал его задолго до нашего знакомства.

Я хотел сказать, что имел неоднократно случаи наблюдать у куриловских соратников наиболее типические его черты. Она поняла меня как-то иначе — :

— Да... это только рядовой работник нашей партии, и это хорошо!

Никогда Клавдия Никитична не говорила так много. Она почти не стеснялась нас с Мариной, и в течение получаса я имел полную возможность наблюдать суровую человеческую изнанку этой величественной старухи. Вероятно, всю жизнь она издали следила за братом. Мы узнали множество эпизодов, переданных со стенографической сухостью и неизвестных нам прежде. В лице Марины я прочел сожаление, что ее кудая, неполная работа об Алексее Никитиче уже вышла из печати. (Сам Алексей Никитич всегда отличался скрытностью, когда дело касалось его положительных поступков. Точно так же я имел только очень смутные основания догадываться о его отношениях с младшим Протоклитовым; кое в чем впоследствии мне помог разобраться Пересыпкин. Но в эту минуту мне живо представился Глеб, характеристика которого начала складываться у меня еще раньше. — Вот, он входит в депо и смотрит на часы: четверть одиннадцатого! Значит, уже целый час Илья работает над его недругом. И, печально улыбаясь, он опускает глаза.)

Когда Сергей Петрович спустился сообщить нам, троем, что Курилов перевезен назад, в палату, Клавдия Никитична заторопилась на пленум. Он начинался через двадцать пять минут. Марина простылась с нами, спеша на службу. Клавдия Никитична предложила мне поехать с нею на заседание.

— Ведь вам, как литератору, полезно видеть все! — с ледяной ясностью упрекнула она.

Мы огорчились вместе. Зал был уже полон. У входа мою спутницу окружили незнакомые люди. Я потерял Клавдию Никитичну из виду с тем, чтобы через несколько минут увидеть ее на трибуне. Она перебирала исписанные листки, терпеливо снося приветственные аплодисменты; они длились дольше обычного и как будто включали в себя какое-то сочувствие несчастью, о котором уже знали... Нужно было обладать почти мужеством, чтобы начать с той же фразы, какую злоупотребляли в своих речах все ее современники, — большие и маленькие, честные и лживые, слепые и достаточно зрячие, — чтоб проследить разбег великой идеи в будущем. В ее устах это прозвучало, как ведущая формула века — :

— Мы призваны работать в радостное и прекрасное время, добрые товарищи мои...

В ее фигуре, наклоненной вперед, читалась непреклонная воля к полету. Запоминалась спокойная жесткость ее гипсового, бесстрастного лица. Никогда прежде я не знал, что может быть так по-своему красива поздняя и ясная молодость стариков.

### Актерское пальто

Перед отъездом из Черемшанска Лиза получила сумбурное письмо от дяди. Речь шла о вещах, не доступных в ее возрасте — о неисправимых заблуждениях сердца, о скорбной ясности разочарования, — о мечте, наконец, убивающей своего создателя. Что-то случилось со стариком за время отсутствия Лизы. На протяжении четырех листков со мужеством латинских цитат, исправлений и выносок на поля Аркадий Гермогенович дважды, впопыхах, называл племянницу Танечкой; он писал, что не имеет веса у современности и бессилён помочь чем-либо; он перечислял, какие бедствия повлек бы ее необдуманный приход, — тем более оскорбительные, что они касались самых материальных основ существования! Наконец, он просил ее воз-

держаться от всяких поспешных порывов, понятных в ее состоянии. Может быть, он предполагал, что Лиза по очереди станет читать письмо всем борщевинским обитателям, пока не доберется до истинного адресата?.. Лиза поняла его так, что Аркадий Гермогенович противится ее возвращению в московскую светелку.

Но письмо родилось не сразу; это был длительный процесс. За первым смятением следовал прямой бунт, но все завершалось последующим примирением. С начала третьей странички много ровнее бежали строки. Аркадий Гермогенович признавался, что у него нехватает мужества вкусить от мечты, полвека сберегавшейся на дне могилы. Аркадий Гермогенович сдавался. Вопль о пощаде внезапно сменялся лирическим призывом приехать немедленно. «И если маловато осталось на дне стакана, который пригубляли многие, полакомимся хоть ядовитой горечью осадка!» Эта фраза окончательно убедила Лизу, что старик бесповоротно спятил... Впрочем, относя стариковские метафоры на свой счет, она приняла их как согласие дяди вернуть то, что ей и без того принадлежало.

Самым важным в этом клочковатом послании была мимоходная сноска о посещении Пахомова. Конечно, Аркадий Гермогенович сообщил ему о предполагаемом приезде Лизы, и тот обещал зайти на-днях вторично, но дела своего не объяснил. Первою догадкой была робкая надежда, что театр подсылает «ней своего гонца. Уж не поторопилась ли она с обещанием Шамину?.. Она краснела от стыда и досады на себя и все-таки не могла противиться тягучим и несбыточным иллюзиям. Мысленно она возвращалась в этот мрачный подвал искусства; ее целовали почтенные и заносчивые старухи, искала дружбы театральная молодежь... У них не было повода насладиться своим великодушием. Прежняя Лиза, вертушка и хохотунья, такая быстрая на всякую затею, кончилась вся... На деле она приехала с твердым намерением отказать Пахомову и не хотела встречаться с Алексеем Никитичем до поры, пока

не будет одержана эта первая ее победа над собою. Его пристальные, знающие глаза спросили бы ее о новостях, а ей уже надоела роль провинившейся и покаявшейся девочки.

Ее личные дела устроились в два дня; через полторы недели вступал в силу написанный договор с Шаминым, а Пахомов все не приходил. Она жила смутными надеждами на то, что неминуемо должно было произойти... но ничего не случилось, кроме мелких стычек с дядей. Он стал суматошным, хлопотливым, беспокойства наводил за семейных. Создавалось впечатление, что несколько летучих мышей бесперывно пронизывают тесное пространство комнаты. Он все убегал куда-то и, возвращаясь, наполнял светелку шумом каких-то беспредметных восклицаний, вздохов и сожалений. Решась не прогнать Танечку, когда она вторгнется к нему, он принял и смежное с этим решение. Таким мог быть, по его мнению, только отказ от пенсии... И он таскался по всяким учреждениям в поисках человека, который выслушал бы до конца мотивировку его отказа. Вначале его письменные заявления, достаточно туманные, чтоб не обнаруживать сердечных ран, служили источником развлечения для канцелярских девиц с кудряшками. Случай был слишком невероятен в истории наркомата социального обеспечения. Он стал добираться выше по ступенькам служебной лестницы. Начальники пожимали плечами, они стали избегать старика. Один, в военной гимнастерке, даже сравнил его с танком прорыва, рассчитанным на действие в наиболее укрепленной полосе противника. Словом, в самый короткий срок Аркадий Гермогенович успел надоесть целому ведомству.

У него выработалась своеобразная тактика для подобных атак. Он ловил соответственного начальника у дверей его кабинета и залпом пытался изложить суть дела, пока тот с озабоченным и деловитым видом шествовал по коридору.

— Я хочу быть чистым, вы понимаете... — твердил Аркадий Гермогенович, двигаясь бочком.

— Вам проще не брать этой пенсии вовсе! — раздражительно замечало начальство. — И, кроме того, я спешу...

Нет, старику было желательно иметь государственное разъяснение на этот счет!

— Подарите мне только полчаса!.. я понимаю, что попал не в свой век, а это все равно, что...

— Но вы же видите... вы же видите, чорт возьми! — укоризненно и басовито произносило начальство.

Узенькая дверца захлопывалась перед самым носом старика, и, сидя на скамеечке для курьерши, он сосредоточенно слушал, как хрустит бумага за дверцей и звенит пряжка ремня... Вылазки эти заняли все его время. Фармацевты были окончательно заброшены. Книги бешено заструились с полок, которые пустели на глазах. Что когда-то служило пищей разуму, теперь валом пошло на пропитание тела. Он продавал их. Расставаясь с книгами, он как бы раздевался и сам. Хваленая предупредительность к людям исчезла, и уже не смела шуметь за дверью водопроводчикова жена! В его характере появились черты неуживчивости, бранливости, подчас и суевренности, небывалой прежде.

— Ты утрачиваешь последние признаки привлекательности, дядя! — обронила однажды Лиза и подумала со страхом, что, пока придет Пахомов, этот почтенный старец сжует ее всю.

... Но это посещение должно было состояться. Он пришел, наконец, очень вежливый и даже немножко грустный; он был в стареньком, но черном, и глядел не без оттенка томности. Наверно, такими бывали секунданты и до конца веков пребудут приглашающие на похороны. Лиза укладывала вещи в чемодан, готовясь к отъезду.

— Я слушаю вас, — сказала она, не прерывая занятий.

Платья были уложены. Очередь была за туфлями. Нахмурясь, Лиза взяла одну из них. В каблуке блестело медное, сточенное от ходьбы, потускневшее колесико. Стальной стерженек врезался в кожу, и попытка выдернуть ногтем не привела ни к чему. Тогда она попробо-

вала ножом, но лезвие скользнуло и оцарапало палец.

— Я не знаю, как вы встретите мое предложение, и я не удивлюсь вашему отказу, — торжественно приступил Пахомов.

— О, мне очень интересно.

Она вела разговор и все думала, как попала в каблук эта вещица. Вдруг она увидела, как наяву, разбитые в ночь разрыва часы Протоклитова и механизм, рассыпанный по полу... Вспомнилось также непрочное и обидное благополучие и двусмысленное уважение театральных подруг. Она укрепилась в намерении отказать Пахомову.

— Я прихожу к вам переговорить относительно Ксаверия.

Все получалось совсем наоборот. В театре, наверно, и не вспомнили о ней ни разу!.. Лиза нетерпеливо пожала плечами. Что еще нужно от нее этому неугомонному старику? В конце-концов, она не колумбарий, чтоб всю жизнь тащить в себе урны с останками своего прошлого!.. Или он еще не сыт?.. пред'являет права?.. ищет мщения? Ей показалось оскорбительным даже то, что Пахомов назвал его интимно, по имени. Она сказала, посасывая оцарапанный палец:

— Давайте! Как его здоровье?

О, длинен и полон глубоких переживаний закурдаевский век. Ксаверий жив, энергично лечится и, больше того, дозарезу нуждается в зимнем пальто. «О, нет, никаких взносов!» Закурдаев отвергнет любую подачку. Но друзья решили втихомолку устроить его юбилей. Правда, никакой округленной даты не выходило, но ведь ее одинаково можно исчислять и со времени окончания театральной школы, и с первого публичного выступления, и даже с того момента, как в детской душе пробудилось влечение к сценическим подмосткам. Словом, дата — дело второстепенное! Важнее было, что крупнейшие столичные актеры обещали играть в этом спектакле. Некоторые соглашались даже на выходные роли, а такая пестрая и нарядная афиша обеспечивала кассовый успех дела. — Пахомов знал, чем можно воздействовать на Лизу.

Дальше последовало приблизительное описание цели. Самое пальто предполагалось построить на ватине, из отечественного шевиота, с недорогим, но все же приличным меховым воротником. Старик мерзнет в своей кофтчонке. Со всем на-днях конец его башлыка попал под колесо трамвайного вагона, но провидение удовлетворилось гибелью только золоченой кисточки... Остатки от добытой суммы положено было выдать на руки квартирной хозяйке Закурдаева с тем, чтобы она кормила его горячей пищей, насколько хватит.

— Вы знавали Ксаверия... и нам хотелось бы, чтобы вы приняли участие в этом спектакле!

Ей почудилась какая-то ловушка. Вряд ли ее имя могло украсить какую-нибудь парадную афишу!.. и, наконец, Закурдаеву может быть просто неприятно ее присутствие? Она сказала об этом.

— Напротив, он намекал, что хотел бы сыграть с друзьями свой последний спектакль. Он с л и ш к о м крепко помнит вас.. но я не смею выдавать чужих секретов. Мы остановились на Островском — «Свои люди — сочтемся». Я уверен, вы с двух репетиций одолеете роль Липочки!

На этот раз тон Пахомова был почти дружественный. Лиза похудела, притихла и как будто выросла за эти годы, прикинувшиеся месяцами. Старенькое, бедное платьице на ней окончательно примирило его с Лизой. Он сохранял прежнюю уверенность, что только горе придает человеку истинную человечность, и испытывал удовлетворение, что по-сильно, тайком и за кулисами, потрудился над этой девочкой. А получив согласие Лизы на участие в спектакле, он по-хамски торопливо докуривал папироску, чтобы уж не пропало добро.

— ... что же, однако, в театре-то, Пахомов?

Там все обстояло по-старому, если не считать отмены М а р и и по настоянию художественного совета. Поговаривали о переезде в новое помещение. Виктор Адольфович снимался в кино в роли ксендза, и ему выбрали тонзурку на го-

лове. Уборные сверху починили, теперь не течет. Васильев две недели провалялся в группе и теперь — так и сказал — х р а м л е т... Скоро Пахомов выходя, оставил записку с адресом, окурок на подоконнике, тетрадку с ролью и ушел... Лиза метнулась к книжным полкам. Островский еще не был продан, хотя и стоял уже в веревках, на очереди. Она развязала пачку и нашла пьесу.— Ловкая купеческая дочка выгоняла из дому отца, заблаговременно прикарманив его денежки. Подразумевалось, конечно, что роль обманутого родителя исполнит юбиляр. Лиза с тоской подумала о его громовых рыданиях, рассчитанных на потрясение закоренелых и прочно оглохших негодяев. Вряд ли в выборе пьесы заключался какой-нибудь выпад: слишком много чести было бы для Лизы, да она и не нашла сходства между собою и Липочкой, Ксаверием и купцом Большовым.

Пьеса была не раз переиграна исполнителями, и репетиций не было. Именные участники торжества считали ниже своего достоинства тратить время на упражнения ради шевиотового пальто. Даже и Лизе пришлось только дважды прочесть роль самому Пахомову; в надежде приспособить себя куда-нибудь, он впервые испытывал свои силы на режиссерском поприще. Он похвалил Лизу, с отеческой мягкостью указав на недостатки; это лизины руки, красные и опухшие от стирки, которой занималась все утро, делали его таким сострадательным. И, конечно, если бы только настоящее потрясение удалось ему обрушить на эти худенькие, востренькие плечики...

На правах возраста и своих разбуженных симпатий он снова заговорил с ней на ты —:

— Э, Лиза... любой ценой купи себе несчастье. Великий поэт рассекал грудь героя и вдвигал ему уголь вместо сердца. — Он посмеялся с горечью, как смеются над заоблачными мечтаниями фантазеров положительными мыслители, владеющие незыблемою истиной. — К сожалению, эта хирургия ангелов карается по земным, советским законам!

— Мне кажется, молодость — недостаток, так легко исправимый, что...

Он не слушал ее; люди не ценят благодетелей, которые им оказывают!

— И я окунул бы тебя в прорубь, и когда зайдется сердце в тебе...

— Знаешь, у каждого бывали такие проруби, — вежливо и скучая встала Лиза.

Он сердился —:

— Э, опять не то! Я говорю об несчастии объемном... когда художник входит в него весь, как в готический храм, и теряется среди колонн, поддерживающих каменное небо. Новая музыка раздрает его слух, холод древних стен проникает в душу, и нужно очень вырасти, дорогая, чтобы через высокие стрельчатые окна выглянуть на зеленые лужайки вокруг. — Его, видимо, все еще преследовали образы — то несчастных Рашели и Асенковой, то прекрасной Адриенны, отравленной и выброшенной из могилы за свою любовь, то недавней Дункан, которую судьба — ограбив детей и любовника — задушила ее же собственным шарфом. Всех их он считал родными сестрами своей Елены и в порыве доброжелательного великодушия не прочь был ввести и Лизу в их трагическую семью. — Да, я, мизерный, провинциальный комедиант, завидую твоей будущности, твоему очищению... даже самым будущим разочарованиям твоим!

Все это было противоестественно, без слезы, выражено в безвкусных и напыщенных фразах и, самое противное, требовало немедленного опровержения со стороны Лизы: сердца учителей питаются благодарностью. Пахомов забывал, что как ни лупила его жизнь обо всякие отхожие места, так ничего и не вышло из Пахомова. Но Лизу разволновали ее собственные раздумья о том же самом. И когда в ближайшую ночь Аркадий Гермогенович присел к ней таинственно на кровать, она не спала.

— Мне послышалось, вы плакали, Лиза?

— Нет... но как жарко ты топишь в последние дни!

— Идет весна, самое опасное время для нашего брата. Природа пересматри-

вает живое: кого пустить на переплавку... Ишь, как торопится все! (За чей-то счет, за чей-то счет.) — И он проводит ладонью по густому зеленому ершику своих оконных огородов. — Я так запутался в хлопотах, что даже не успел расспросить вас толком. Вы жили в Борщине... Ну, о чем же шумят борщинские роши?

— Зима же, дядя, все под снегом.

Он оторопело умолкает: зима!.. а ему, приехавшему в Борщину лишь на каникулы, мнилось, что всегда в Борщине невывдающее лето!

— .. но вы видели женщину, которую я почитал мертвой, — говорит он с опаской. — Вы воскресили ее для меня! Расскажите же о ней!

Лиза поднимается с подушки. «Почему все-таки об этой старухе прилично говорить только ночью, когда не видно выраженья глаз?» Сонливым, ночным языком она повторяет содержание письма. Он слушает жадно, ему мало его тревог. Голодному кажется, что всех житниц мира нехватит для его насыщенья.

— Вы говорили с нею, правда?

— Я побоялась, это так страшно! Если бы ты видел... в нее уже теперь можно сажать дерево...

— Не торопитесь, я хочу понять вас!

— Я говорю, что она уже приобрела цвета и качества рыхлой, распаханной земли. Всем, кто приходит к ней, она показывает кресло, обитое гобеленом... и пятна, бурые, недобрые пятна на ткани. Кажется, в нем и убили мужики ее родственника... последнего борщинского владельца.

— Это был ее брат?.. его звали Всеволод Орестович?

Лизе непонятно, куда ведут сомненья старика.

— Да нет же, дядя. Почему же ты сразу не спросил? Ее зовут Дарья Андреевна...

Наверно, так чувствуют себя ограбленные... Рука Аркадия Гермогеновича вянет и обвисает. Он шатко идет к стеклянной стене в палисадник; он потирает лоб, предварительно охладив ладонь о стекло; он пытается сопоставить

некоторые события, как попало, раскиданные в памяти. Прошлое яснее, и образ озорной беловолосой Дарьиньки зарождается там. Это была дальняя родственница Бланкенгагелей, взятая в компаньонки к дочери; она несла хлопоты по дому... и, помнится, присматривала за деревенскими девушками, собиравшими хвойный игольник в парке. Вот, она наколола босую ногу и, похрамывая, возвращается по аллее, заштрихованной тенями деревьев; по ней самой вприпрыжку, снизу вверх, бегут те же смеющиеся косые полосы полдня...

Воспоминание охватывает старика так остро, что видит даже пестрое куриное перышко там, на борщинской террасе, слегка колеблемое не то солнцем, не то ветерком... Так, значит, страхи последних недель были напрасны. Побродив по знакомым местам, призрак снова влезает под свою замшелую плиту. «Ух, как напугала ты меня, Дарьинька!» Так это Дарьинька пришла в горькое и мерзкое уродство, а Танечка не увядала никогда! (Больше того, сейчас-то он знал крепко, что она все-таки движется к нему. И уже нечего было пугаться, что она сядет ему на шею грудой затхлой могильной земли...)

Все отчетливее мерцало перед ним танечкино лицо, очень не похожее, не прежнее, потому что и он сам отражался в нем. Воительница, она двигалась угасить комочек живой материи, называемой Аркадием Гермогеновичем... Резкий холодок исходил от ее ресниц. Все кругом стало понятно до полной прозрачности, и уже простой таблицы умножения хватало бы для постиженья всех таинств мира.

## Паяц

Еще прочно держалась тусклая и сухая московская зима. Снег вывозили на свалку, едва выпадал, и всегда вдоль улиц клубилась ядовитая зимняя пыль. Но, значит, наступал в природе какой-то долгожданный перелом... В эти сутки с полуночи начался ветер. День вышел лихорадочный; то сорило снежком, то светлело немножко, и люди на трамвайных остановках становились общи-

тельнее, доверчивее друг к другу; иные со скрытым ожиданием чуда смотрели вверх... И шел стекольщик по освещенной стороне, шел и всем подмигивал этот, что-то знающий, русоволосый паренек. Вдруг отраженный зайчик с его плеча метнулся по штукатурке темных домов, такой тревожный, резвый и веселый, что всякий принял бы его за отдаленный сигнал к наступлению весны.

... Закурдаевские друзья не смогли подыскать театра под юбилейное зрелище. Спектакль должен был состояться в помещении только-что отстроенного клуба. Итти было далеко, и, кроме того, пьеса открывалась монологом Липочки, примеривающей новые платья. Лиза отправилась туда пораньше. Все было хорошо, пока вел ее зайчик на стенах; но, вот, в поисках разбитых окон стекольщик повернул во двор. Тотчас же все поблекло, зимняя туча напозла на улицу. Ветер рванул, вывески задрезбжали, и тогда-то в проходных воротах большой гостиницы Лиза увидела этого старика с корзинкой. Ежась от продувного сквозняка, он выжидал покупателей. Порывами стремительная жесткая крупка хлестала по его мерзлому товару. Паяцы — целый цирковой коллектив выглядывал у него из лукошка. Все они были братья, все из одного локута. Двое дозорных выглядывали даже из кармана кустаря, нет ли милиционера поблизости. Старик был частник. Лизе показалось издали, что он продает цветы.

Она остановилась. Старик протянул ей всех, чтоб выбирала любого. Лиза нерешительно взяла одну. Игрушка изображала клоуна. Это была наглядная агитация за использование всякого житейского утиля. В матерчатой груди прошупывались две неструганые дощечки. Торопливой черной ниткой к ногам и рукам были пришиты жестяные кружки; на них еще сохранились буквы с консервной коробки. На колпачке сидел бубенчик, в который забыли вложить камешек; он не звенел. И хотя голова паяца была глиняная, зато такая румяная, неунывающая жизнерадостность была нарисована на его лице, что

невозможно было пройти равнодушно. Внезапно Лизе пришло в голову, что, если бы жив был ее ребенок, ему пригодилась бы эта бесхитростная вещица. Сожаление о неудавшемся материнстве было совсем мимолетное, и гораздо важнее, что место Протоклитова в нем занимал Курилов... Потом вспомнила, что у нее самой никогда не бывало игрушек. Грошовая цена и черная, щегольская, с позументиком, жакетка паяца соблазнили Лизу. Пускай висит до поры над ее кроватью в Черемшанске, как символ ее плохого, неумелого искусства!

Чтобы привести игрушку в действие, нужно было поступить именно так, как советовал Пахомов: легонько нажать ему на то место, где находится сердце. Тогда дребезжали жестяные вьюшки. и поплясывало молчаливое, мороженое дерево.

— ... голоса ему не полагается? — огорченно спросила Лиза.

Старику было известно, что означает покупательское сомнение в такую минуту—:

— Так ведь это он с холоду, барышня. А так, они у меня все певчие. Отогреется, зачнет скандалить — не уймется!

Лизе понравилось, что он сказал про паяца, точно про живого. Бумаги у продавца не нашлось, и покупка была засунута прямо в карман. И верно, вскоре он стал попискивать там, а когда гардеробщик ташил на вешалку Лизину шубку, паяц как будто бы произнес даже целую связную фразу. Кажется, он негодовал, что его, актера, оставляют в прихойе.

...Итак, громовая афиша оправдала себя. Успех был огульный. Невольно вставали в памяти бенефисы старых времен, запоминавшиеся в захламлении, как землетрясения. Публики собралось множество, причем все оказались знакомы между собою, все разговаривали вслух, а занавес открылся совсем позже положенного. Героя встретили овациями; каждому было лестно принять участие в судьбе ничтожного, совсем постороннего человека. Вдобавок, этому балованному зрителю была по вкусу терпкая, нарочитая провинциаль-

ность спектакля. Но юбиляр поверил, расчувствовался и уже со второго акта раскланивался с ужимками любимца публики... Вначале собирались сделать вступительное слово о сорокалетнем пути Закурдаева, но общественных заслуг у него не отыскалось, кое в чем получалось как будто даже наоборот, а приписывать ему особые творческие свершения посовестился даже Пахомов. К тому же прямая цель затеянного переполоха была уже достигнута. Новое пальто очень декоративно висело на гвозде в тесной закурдаевской уборной. В перерывах нескончаемая вереница гостей тянулась туда не столько ради удовольствия пожать потную руку юбиляра, сколько ради потехи обследовать качество хваленного воротника, и, кстати, накуриться вдолжь. Из неизвестных соображений курилку выстроили где-то в причердачном помещении, пронизанном множеством отопительных, в глиняной изоляции, труб.

Наверное, эти до несурзанности длинные антракты были самой существенной частью торжества. Стол, посреди, украшала подгорелая кулебяка, банка гортензии с цветочной коронкой как-то набекрень и невинного вида графинчик. Наиболее почетные гости, тузы и основная приманка спектакля, помещались на стульях. Они были в гриме, как сошли со сцены. Ребячливо чувствительные. как всякий старого закала актер, которого одинаково легко разжалобить или рассердить, они рады были помочь товарищу в беде, но сейчас стремились сохранять приличную дистанцию между ним и собою; в увлечении дружкой юбиляр именовал их попросту Васильями, Иванами, Николаями, а это было уже слишком!.. Остальные толклись где придется, и между ними ужасно деловитый, с отклевшейся бородой в руке, донельзя огульный, сновал сам Ксаверий. Он уже успел изрядно выпить. Всякого прибывающего новичка он немедленно потчевал водкой; разумеется, не обделял при этом и себя. Становилось ясно, что к концу спектакля он нахлещется окончательно.

— Рюмочку, золотице мое! — в упоении покрикивал он, и все укоризненно

дивились феноменальной громкости его голоса. — Ну-ка, ну-ка. Ух, прошло-о!

— Ты закуси, ты закуси, шут гороховый!.. — подсказывал Пахомов, не отлучавшийся ни на минуту.

Но старик отвергал всякую попытку насилия и опеки. Он наслаждался своим праздником. Он жаждал внимания, всеобщей любви, хвалебных рецензий, как будто только теперь зарождалась его слава. Он делал все, чтоб упрочить свой успех. Он появлялся одновременно в четырех местах сказать теплое слово кому следует, смачно целовал неосторожных, угощал театральных рабочих, заочно расхваливая их деток, руки пожимал дюжинами, расспрашивал о впечатлениях, которых не мог услышать, и публично, в самых сокровенных подробностях, повествовал о фортелях, что вытворял с Пахомовым тридцать два года назад на воронежских гастролях. Его уже ненавидели за такую чрезмерную живучесть и еще за то, что зря обманулись его внешней беспомощностью. Кто-то даже обозвал его свихнувшимся папильоном, а другой выразился в том смысле, что таких следует сажать на цепь... Наконец, фальшивая и утомительная суэта обрывалась звонком, и шумный поток посетителей возвращался в зрительный зал. Они исходили, как боги из облаков, из серых клубов табачного дыма.

Спектакль проходил, как большинство ему подобных. Вначале — пышный и скучноватый парад знаменитостей, которым было тесновато в столь малом пространстве; позже все немножко разошлось, но пьеса имела четыре длинных акта, и уже с начала третьего тузы играли так, чтоб выходило посмешней и чтобы не особенно утомляться. Один Ксаверий старался во всю мочь своего как бы подхлестнутого организма, сбивал партнеров своєю толчеей, и некоторые заметно сторонились, чтобы не зашиб в такой интенсивной творческой разрядке. Из-за глухоты не чувствуя самого ритма спектакля и наизусть играя пьесу, сыгранную, наверно, во всех второстепенных городах страны, он ревниво старался перекричать всех. Уморитель-

ные выверты его менее веселили публику, чем его рыдания, усиленные до степени животного мычания. Спектакль принимал видимость семейного развлечения; капельдинеры, взятые из хорошего театра напрокат, только головами покачивали. Кто-то из старых, видимо, собутыльников гаркнул ему посреди акта из ложи — выдыбай, Ксаверь и ще! (—и горлом издал крайне интересный звук, напоминавший откупориванье бутылки). И тот выдыбал, как умел, всеми стилями, так что пенилось все вокруг, и не его была вина, что судьба не сокрыла его своевременно в своих гнилых и радужных водах.

Лиза грустно созерцала печальную изнанку этого беспардонного гаерства. По существу, то были похороны посредственного и неумного актера. Покойник выступал на сцене в последний раз. Ему за то и аплодировали, что он умирал легко, весело, никого не обременяя жалостью. Он знал и сам, что завтра у него уже не останется ни друзей, ни славы, и, вот, обжирался своим мнимым успехом, как давится голодный, которому приснилась жирная похлебка... Минутами Лизе казалось, что сейчас его разобьет удар, и юбиляра понесут, накрыв с головою новым пальто, и шевиотовые рукава станут волочиться по ступенькам черной лестницы.

Для поздравления она выбрала удобную минуту, когда Закурдаев стремглав проносился по коридору с заветным графинчиком в руке. Она тронула его за рукав; он выжидательно и неожиданно трезво скосил в нее глаза.

— Я хотела только сказать, что рада за тебя, Ксаверий, — сказала она ему в самое ухо.

Он пугливо втянул голову в плечи, когда теплые ее кудряшки коснулись его щеки.

— Спасибо, дочка, спасибо, — и, хотя не очень верил, чтобы умный в эту минуту мог быть искренним, с чувством потискал ей руку. — Чепуха-то, дым-то какой! Вот, пальто выслужил. Веришь, тыщу раз играл пьесу и всегда выпимши. Первый раз — тверезый... и, вот, не выходит. Пожалуй, а? Ну, хорошо, хорошо!.. Ты что же, с доктором-то разо-



шлась? Я к нему как-то забежал, а он такой стра-анный, точно я резаться к нему пришел: «Садитесь да расскажите, да как вы себя чувствуете...» Не спроста, Лизушка, всегда я на смерть боялся моторов всяких и докторов.

В этом месте и подошел приветствовать Закурдаева тот высокий, грустный и, наверно, когда-то красивый человек, которого она заметила еще со сцены. Лизе показалось, что он должен быть непременно инженером разных, в особенности ответственных, сооружений. Он произнес несколько слов, какие в подобных случаях говорят старикам, смягчая их неискренность дружеской шутливостью. Ксаверий вопросительно поглядел, рванулся было облобызать поздравителя, чтобы и этот помнил его неделю, но рука сорвалась с шеи жертвы, и хамство не удалось... Его замешательство длилось, впрочем, недолго. Вдруг он с прихлынувшими силами схватил гостя за руку и поволок было за собою—

— Рюмочку на радостях, а?.. не угодно с инвалидом? Публика-то... и все как на подбор, всероссийские имена. Бомба упадет — никакой газеты на некролог нехватит. Вы знакомьтесь-ка: воспитанница моя и ученица, Лиза... (Какова закурдаевская школка!) — Он не смог отказать себе в удовольствии взглянуть на нее при этом. — Пока запросто Лизушкой-то зовут, заручайтесь согласием. В былое время — контрактец бы, не знаю — как теперь. Ну, спасибо, спасибо за честь. А народишко-то помнит Ксаверия, чтит его, а?.. что же насчет рюмочки-то со стариком?

Тут он стал немного запинаться; вообще, чем дальше шло, тем все меньше оставалось у него сознательных способностей. Вдобавок, стены были еще сыроваты; помещенье будущего клуба протопили особенно щедро на этот раз; парная духота стояла всюду. Старика развезло, разморило, и в зале уже поговаривали, что спектакль будут доигрывать как-нибудь в следующий раз. Новый знакомый Лизы воспользовался первым же поводом отойти от юбиляра. Она пошла вместе с ним.

— Тятенька захмелел маненько! — словами из пьесы, как бы извиняясь за Ксаверия, сказала Лиза.

Он поддержал ее—

— Да, грустный день. Старая история о паяце, только прочитанная на новый лад...

— Он все-таки сделал то, что было ему по силам, — уклончиво заметила Лиза. — Башенные часы тоже ломаются.

Ее спутник засмеялся—

— Не защищайте его, Лиза. Мертвые нуждаются только в справедливости. Вас ведь Лизой? — Они повернули назад по коридору. — Вы хорошо играли сегодня... отличная и свежая ясность. Кое-что не дотянуто, но по утрам и радуется, пожалуй, неполнота красок. У этого старика не было утра...

Она ответила не сразу. Она не знала сама, хорошо или плохо играла, но в этой роли она не каялась, а лишь утверждала свое право жить во что бы то ни стало. Она заметила потом:

— А вы тоже поздравляли его!

— Ну, значит, в самом себе еще не поборол старых актерских зачатков. Сам был плохим актером, но втянуло в революцию и... Где вы работаете теперь?

Ей хотелось закричать: нигде, нигде! Она сказала:

— Еду на периферию. Есть такой город, которого никто не слышал: Черемшанск.

— Жалею... я собирался приглашать вас к себе.

Лиза вздрогнула и покраснела.

— Простите, я не расслышала давеча вашей фамилии...

— Я Тютчев.

— А, вы тот самый... — Она выпрямилась, полузакрывает глаза, ей стало жарко. — Да, я слышала эту фамилию.

Им пришлось посторониться к сильно натолкнутой батарее. Мимо двигалась группа людей, и в центре действовал неугомонный Закурдаев. Графинчик, наполовину пустой, плясал над головой, а у очередной жертвы Ксаверия был озлобленный и сконфуженный вид. Дело близилось к явному скандалу, но тут случился звонок, и вся эта листопадная бесовская круговерть распалась.

— Да... я дала слово поехать в Черемшанск. — Она потянула руку. — Ну, мне пора на сцену, товарищ Тютчев!

Так вот каким трудом дается всякая победа над собою!.. Отказ почти истощил лизины силы. На мгновение показалось, что вся история с Черемшанском — головная, выдуманная, ненужная ей. Кому это нужно, чтобы счастье миновало ее? Ей хотелось догнать директора театра и повторять ему, повторять мною раз, что она согласна, согласна... Но искать его в гриме по всему зрительному залу было неудобно, а в четвертом акте она была занята с самого первого явления. Кроме того, вспомнилось беглое, и такое непонятное сперва, замечание Курилова о необходимости ежеминутно преодолевать себя, а ради его высокой похвалы она согласилась бы на еще большую горечь. Она доиграла акт в чрезвычайном возбуждении и тотчас ринулась в раздевалку.

Паяц попискивал в кармане, и люди вокруг улыбались на нее. В расстегнутой шубке она выбежала на улицу. Неслась быстрая поэмка, и снежок грязнел, едва касался пыльной мостовой. «Вот также хлебным мякишем приходится отчищать фетровые боты!» Как никогда, тянула к Алексею Никитичу — ребячливо похвастаться своей двойной удачей и услышать от него простое, умное, отеческое х о р о ш о... Она торопилась, и все-таки отправилась туда пешком; ей уже нравилось держать в руках свою ветреную, непостоянную, как птица, судьбу; это давало ей почти р а в е н с т в о с Куриловым. Была полная уверенность, что выходные дни до обеда Алексей Никитич проводит дома. В эту минуту дочернюю нежность испытывала она к первому на ее пути человеку, который был добрым к ней не для себя.

В лифте, пока скользили римские цифры этажей, она высвободила паяца из его ватного заточения. «Ты ничего не потерял, глупый, что не видел Ксаверия!» Игрушка успела заметно полинять за эти полдня, но голосу у ней как будто прибавилось. Итак, к Курилову они приходили вдвоем... Она позвонила у двери, держа паяца за спиной, но долго не отпирали, и она позвонила вторично.

Потом на пороге появился черненький, очень худощавый мальчик, с головой и под руки окутанный шалью. Следом вышла женщина, одетая гладко и надежно, по-дорожному. Она тащила с собою большую корзину, обвязанную ремнями. Дверь захлопнулась раньше, чем Лиза успела войти.

Большая, как всегда перед путешествиями, печаль исходила из глаз этой женщины. Лиза спросила, дома ли Алексей Никитич. Та отстранилась и осмотрела ее всю с горьким и недоверчивым сожаленьем.

— Нет, что вы! — сурово сказала женщина и покачала головой. — Алексей Никитич умер.

Лиза дико глядела на ее старомодные, из серого перламутра, разукрашенные звездочками, пуговицы. Ей казалось, что она ошиблась номером и позвонила не туда... Так почему же знала эта женщина?

— Он умер после операции... вы приклонитесь, вы упадете! — заботливо зашептала женщина, суетясь возле и не догадываясь в суматохе подставить корзинку, чтоб та присела. — Я его сестра...

— А-а... — с раскрытым ртом протянула Лиза, и всё — стены и двери стали оползать вокруг нее.

Ефросинья торопилась на поезд; это была ее последняя попытка снова начать жизнь. Наспех она стала объяснять подробности катастрофы. Это случилось четыре дня назад, от внезапного кровотечения. Рассветало, он лежал один, никто не смог притти к нему на помощь. В ее беглом рассказе крупное перемешивалось с мелочами, но Лизу ударила по сознанию только фамилия ее бывшего мужа, зачем-то упомянутая вскользь... Поезд отходил через сорок минут. На прощанье Фрося просто и как-то по-деревенски обняла Лизу и, незнакомую, крепко поцеловала в губы. Все это время мальчик Лука понуро сидел на корзинке и не сводил глаз с паяца, то и дело мелькавшего в мятущихся лизиних руках.

— Пойдем, Лука, — сказала Фрося.

Их шаги скоро стихли, и взамен где-то заиграло радио. С высоко поднятыми

бровями Лиза пошла прочь от куриловской квартиры. Ей вспомнилось, как, уходя из жизни, он призывал к ней всех, кого мог. Никакая утрата, ни матери, ни театра, не доставляла ей такого опустошения. Испуг перед зрелостью своей наступил несколько позже и длился, пока не подступил спасительный Черемшанск. И то, чем в особенности стал близок Курилов, ей предстояло теперь долгие годы растить и скапливать в себе самой... Через два шага что-то надоумило ее заглянуть в пролет лестницы. Мельчая и пропадая, спирально уходили вниз этажи. Где-то на последнем круге мелькнула прутяная корзинка куриловской сестры и исчезла. Лиза перегнулась через перила, потеряв волю итти. Далеко внизу горела лампочка в стеклянном тюльпане, и тускло блестел под нею желтоватый каменный квадрат. Она затыгивала в себя, эта громадная воронка с расплывчатой звездой на дне, и тело само клонилось туда, и никого не было рядом оттащить Лизу от пустоты. На мгновение сознание ее померкло...

Произошло, однако, нечто большее, потому что ей дано было наблюдать себя со стороны. Рука ли разжалась непроизвольно, или пустота вырвала его из намертво сомкнутых пальцев, — паяц мерно и сильно, как оторвавшаяся капля, скользнул вниз. Закусив губы, боком наваясь на перила, Лиза, не мигая, следила за его полетом. Он падал, уничтожаясь и как бы тая в перспективе лестничной клетки, и все падение заняло не больше времени, чем это потребно для одного глубокого вдоха. Она зажмурилась еще прежде, чем вещь коснулась камня, но толчок испытала одновременно с ней. И вдруг тяжелое и страшное любопытство охватило ее. Очень торопясь, через ступеньку (— хотя руки обжигало полированное дерево поручней—), она побежала вниз. Сломался каблук, прежде чем миновались все двенадцать этажей.

«Так вот как бывает это...»

Паяц лежал с расколотой головой. Один его стеклянный глаз, выскочив из глины, откатился на метр, а глазница другого была черна и густо обведена

мелкими трещинками. Голосу у него уже не было, — игрушка не была рассчитана для подобных испытаний. Лиза машинально опустила на колени и, как когда-то — протоклитовские часы, светливо собирала рассеянные осколки... Еще кружилась немножко голова, но трезвое ощущение действительности уже возвращалось. Лиза ощутила запах пыли и свежей масляной краски. Она подняла голову поискать оторвавшийся каблук и увидела много незнакомых людей вокруг себя. Никто из них не произносил ни слова.

— Видите... она упала сверху! — еще с колен, растерянно сказала им Лиза.

Потом поднялась, отряхнула платье и с опущенными руками вышла из круга. Люди расступились и, хотя никто не знал ничего, смотрели вослед ей, похрамывающей, с суровым и недобрим сочувствием, каким провожают неудавшихся самоубийц.

Так прошел день совершеннолетия Лизы.

### Пыль из-под метлы поднимается над Черемшанском

Начало века походило на грозный день. Горячее удушье повисло в воздухе, и злая тишина, и дымка мнимого благополучия; в такое время всякое рстет в особенности хорошо. Копились, зрели и распадались тучи, но каждая последующая была грознее своих предшественниц (— тем настойчивее угадывал разум позади них голубое, беспечальное небо будущего). Они могуче проходили над головой, приводя в движение все живое, что под ними. И мнилось, самые материки, срываясь со своих первичных мест, плывут, как льдины по реке, в прекрасную и страшную неизбежность... Все внимание моих современников было обращено туда. Поэтому даже на дороге известие о смерти Курилова не вызвало отклика, соответственного величине события. Газеты поместили на четвертой странице скромную и краткую заметку куриловских друзей. Только в самом тесном кругу несчастье было воспринято в полном его объеме.

Вот они все передо мною, спутники последних лет Алексея Никитича. — Скорбная и еще более сдержанная Клавдия; смятенная, с обгрызанными ногтями Лиза; Арсентич, — он приехал похвастаться орденом к бывшему ученику, опередившему своего учителя; надолго утративший свою обычную усмешку Тютчев; накрепко зажмурившийся Алеша Пересыпкин и, наконец, Марина. Утром четвертого, после операции, дня она по требованию Зямки отправилась навестить Курилова. Мальчик очень волновался, пока ехали на трамвае. Но больничный двор был оцеплен милицией, и не пропустили никого. Какая-то девочка высказала догадку, что снимают для кино. Они решили переждать, пока все кончится. Было много солнца на окраинах в этот день. Внимание Зямки привлекла подмерзшая лужица с тонкой, такую соблазнительной корочкой льда. Мороз выпил ее ночью; было бы интересно продавить ее ваденком!.. Но, вот, черный сапог наступил в эту крохотную выемку, и Зямка сбился со счета, сколько раз сряду он наступил в нее: полурота красноармейцев с примкнутыми штыками входила вовнутрь ограды.. Потом заиграла жалобная музыка, процессия двинулась наружу, и, хотя Марина не знала в лицо никого из куриловских друзей, она приняла эту встречу за дурной и неотвратимый признак. Истинное значение этого сурового красного ящика раскрылось получасом позже, когда ей с Зямкой удалось проникнуть в здание.

Почти одновременно с ними получил известие и Глеб Протоклитов. Казалось бы, тревогам его приходил конец: никаких слухов о Кормилицине не поступало. И если только в дороге не растратил пули на себя, может быть, где-то, в луже крови, уже валялась безвестная Зоська, расплатившаяся за все... Прямой радости не доставила ему победа. Он ощутил необъяснимое на первый взгляд не только чувство свободы, но и одиночества. Это сознание происходило от глубокого, умного удивления перед Алексеем Никитичем... Его тревоги росли по мере того, как приближалась чистка дорожной партийной организации. Впро-

чем, он не без пользы для себя употребил этот месяц.

Еле приметные изменения коснулись всего строя жизни на станции. Отыскались причины перевести Сайфуллу обратно в Черемшанск; это был ход в сторону Кати Решоткиной. Пересыпкина спешно вызвали в Москву, и вряд ли можно было рассчитывать на скорое его возвращенье. Секретарь ячейки, свидетель почти всех событий, был с повышением перекинут куда-то в Сибирь. Начиналась весенняя суета; по дороге двинулись основные массивы посевных грузов. И, прежде всего, комсомольский паровоз вторично и уже успешно вышел на линию. Самым деятельным участником Протоклитов помогал молодежи одержать эту запоздалую победу. Старая распря как будто забывалась, и ловкость Глеба заключалась в том, что примирению он сумел придать разумную и неторопливую постепенность. Все приходило в норму, и даже показатели деповской работы заметно повысились.

На виду у Глеба оставался только Гашин. Этот человек имел привычку прикидываться несчастным, а потом жалить словом свою жертву, обезоруженную жалостью. Тело его постоянно двигалось и содрогалось, точно во многих местах тлела на нем рубаха. Знание чужой тайны придавало ему храбрости и ума. Случилось, что слесарь этот попал под пустяковое взыскание за утерю гаечного ключа. Вычет полагался трехрублевый, но Гашин имел дерзость оспаривать прямую очевидность. «Тебе, Глеб Игнатьич, на копейку чернил, а мне полдня работы!» — жарко и униженно уговаривал он. Глеб не захотел вступаться и потому, что было противно, и потому, что пора было, наконец, проникнуть в секрет Гашина... Тот ушел с улыбкой, не предвещавшей добра—:

— Тогда держись, дружок!.. шуршит железная метелка. — И у Глеба не нашлось силы вернуть его и купить трехрублевой взяткой.

Стало известно, что комиссия уже два дня находится в Черемшанске. Никто не знал даже о ее составе, разве, кроме того, что во главе ее стоял наркомздрав одной из национальных республик. До-

тошный, неутомимый, несмотря на возраст, он много бродил по территории поселка, расспрашивал всех вплоть до домохозяек, приглашал подавать заявления, заходил в деповские цеха и, между прочим, все распространялся о санитарии, как о главном условии исправного железнодорожного движения. При этом он сохранял строгое инкогнито, но не прочь был, чтобы его узнавали украдкой. Протоклитов имел случай удостовериться, что председатель комиссии не очень грозный судья.

— Вот, путевое хозяйство у тебя вокруг депо в неряшливом виде, Протоклитов. А на поверку — частые сходы паровозов. Ай-ай, чего ж ты смотришь?

Тот отвечал по-военному четко:

— Но дорожный мастер подчинен начальнику дистанции, а не мне.

— Отговорочки! — и грозил пальцем. — Чем спихивать на других, послал бы людей. Лежит, скажем, отравленный человек, а ты проходишь мимо. Конечно, это дело врача!.. Но нехватает у нас врачей, а все хотят лечиться. Как же а?.. ведь он же брат твой, а? Лопаты у тебя найдутся? Дай мне сейчас же лопату!

— Хорошо, я пошлю.

... Заседания были назначены на вечернее время с тем расчетом, чтобы по крайней мере две смены могли принять участие в обсуждении. Чистка началась с депо, а третьим по списку числился Протоклитов. Народу собралось, как на судный день, и все ждали, что произойдет нечто неожиданное. У каждого запасен был камешек на Протоклитова, и всем было любопытно, что получится, если все их бросить одновременно. Кстати, и Гашин выразился кому-то доверительно и туманно: «Будем нынче миром один гнилой зуб рвать!» — Протоклитов вошел, когда заканчивался опрос одного из черемшанских парторгов. Был это очень простоватый человек, и немудрено, что он проморгал истинное значение истории с комсомольским паровозом.

— ... А занимал я такие должности, — говорил он, волнуясь. — Стекольный завод, работал по тасканию ящиков, потом каменщик на мартене, погружал а ш е л о н ы, секретарь вузовской ячей-

ки, воспитатель в детдоме, член бюро райпрофсожа и так далее, и так далее. Взысканий имел два: за самовольную отлучку — заболела жена и еще за неосторожную выпивку с футболистами...

— Это мы слышали, — кивал председатель. — Чем болели?

— В гражданскую войну пришлось маненько пострадать сыпным тифком.

Затем председатель задал несколько вопросов о решениях последнего съезда и социальных корнях правого уклона.. Эту кандидатуру обсуждали недолго; следующим по очереди был Протоклитов. И едва произнесли это слово, помещение клуба сразу наполнилось доотказу, и все стали привставать, точно никогда прежде не видали его, а Гашин неслышно пересел из заднего ряда на краешек клубной сцены, — там, накрытый свежим кумачом, находился стол проверочной комиссии. Глеб появился на трибуне, и все глядели зорко, как он взялся за графин; и ждали, что он расплещет воду (— и он не расплескал), и ждали, что выронит стакан (— и он его не выронил). Гашин привстал, покачал головою, и все слышали, как он произнес с восхищением ненависти: «Во, волк какой!»

— Я родился не в рабочей семье, хотя сытости особой не знал никогда, — очень тихо, и как бы сожалея об этом, начал Глеб. — Но мне тридцать девять лет. Это больше половины жизни. И будут правы те, кто скажет, что сделано слишком мало. Если же учесть условия моей среды, упрек этот в значительной степени ослабится...

В этом месте шапка его упала, скользнув с края стола. И пока поднял ее, все поспешили занять самое удобное положение, чтоб уже не двигаться потом. Дальше последовала биография, суховатая и слишком несытная для того любопытства, какое с некоторого времени вызывал в Черемшанске начальник депо. Повидимому, этот человек не желал хвастаться своим убогим детством; лишь иногда горечь воспоминанья пересиливала, и тогда одной подробностью, соответственно развитой, хватило бы на самую придиричивую анкету. Нужна была завидная смелость, чтобы в этой

аудитории, слишком чуткой к описанию всякой нищеты, пускаться в такое рискованное предприятие. Должно быть, за эти годы Глеб сам уверовал в правдивость своей выдумки и, больше того, почти полюбил свою новую мать, двухжилную, одичалую от нужды старуху, по признаку откровенности выбранную из грязной, презираемой им толпы.

Итак, Глеб рано осиротел. Отец его, незадачливый фельдшер, мнил себя непризнанным изобретателем. За винные излишества, но еще больше за попытки изобретать новые способы лечения его изгнали из земской больницы. Семья терпеливо несла невзгоды в надежде, что богу надоест, наконец, долбить бедой в одно и то же место. Последним творением этого опустившегося старца были какие-то сапоги на металлических спиральных пружинах под странным и заманчивым названием у н и в е р с а л. По его утверждению, этим достигалась огромная экономия сил при ходьбе и увеличивался размах шага на сто всемьдесят шесть процентов. Он предлагал царскому правительству широко внедрить в жизнь свою пружину, начиная от детских коньков до армейских пехотных частей и ломовых битюгов включительно. Ответа ему не последовало... Под конец он решил самолично отправиться в Петербург на этих самых сапогах-самоходах, чтобы продать изобретение и добиваться справедливости... Глебу было тогда четыре с половиной года.

— И что ж, нашел он в Санкт-Петербурге справедливость? — ядовито и с тонким агитационным сарказмом спросил один из членов комиссии, следя за настроением зала.

— Он не дошел до Петербурга. Его зарезало ночным поездом близ Саратова, — невесело ответил Глеб и пошутил, что это несчастье косвенно и до некоторой степени определило профессию сына. — Словом, допрыгался мой папая.

Он незаметно присмотрелся к тем, кто с затаенным дыханьем ловил каждое его слово. Снисходительная ирония к этому злополучному чудаку — со всеми, однако, внешними признаками сыновнего

почтения — понравилась простосердечной аудитории. Она одобряла также и умолчание Протоклитова об иных наклонностях его, хотя всем стало ясно, что родитель был выдающимся пьяницей. Притча о лошадях и солдатах на пружинах должна была привести ее в окончательно благодушное настроение. Спектакль удавался на-славу, и самые невероятные подробности, задрапированные предельной наглостью, приобретали полное житейское правдоподобие. В том же тоне необходимо было выдержать исповедь до конца... Глеб видел, как, пошептавшись с Катей, Сайфулла пошел к выходу, и вспомнил, что приближалось время отправки товарного на Пороженск. Все было на-руку, и только Гашин хранил усмешливое и неподкупное молчание.

... После смерти отца мать зарабатывала стиркой. Братьев и сестер у Глеба не было. Вдвоем со старухой они ютились на том незначительном клочке подвального пространства, какое оставалось от огромной, в беловатой коросте, лохани. Клиентура прачки была обширна, они не голодали. Зато широкая, смрадная река помоев протекала через детство Глеба; облака вонючего жавелевого пара отражались в ней. Так, с самых ранних лет Глеб узнал истинные запахи рождения человека на свет, его любви, его болезни, его старости... Только одно целостное воспоминанье об этой поре сохранилось в памяти Глеба. На рождество 1904 мать принесла откуда-то много варенья. Этот совместный дар народившегося бога и местного чиновника Честнокова находился в битой стеклянной банке. Варенье было завернуто в старые газеты со штабными сводками о русско-японской войне. (Глеб уже умел читать.) Честноков обожал именно барбарисовое, с косточками, и расстался с ним только из опасения порезать себе внутренность осколком. Варенья прачке хватило надолго...

— ... все прошло благополучно, но усердно мы выплывали на ладошку эти колкие льдинки! — заключил Глеб и сделал паузу, чтобы каждый в этом зале тоже ощутил на своем языке невидимое стеклянное жало.

Вот уже двадцать шесть минут стоял он на виду у всех и до сих пор не допустил ни промаха. Острый социальный смысл протоклитовской новеллы о рождественском вареньи захватил даже Гашина. Уже он не пытался изловить рассказчика на оговорке, сидел понурый, поглаживая свои лоснящиеся, твердые от впитавшегося мазута, колени. Начальник депо продолжал повествование; его беззлобные, но и не очень веселые интонации, когда повествовал о детстве, казалось, проникали в самые сердца. В одном месте Гашин даже вскричал взволнованно, что если «закрыть глаза — так и поверишь!» Не меньшей остроты детали имелись и в дальнейшей протоклитовской Одиссее, однажды уже опробованной на Курилове, — о бегстве из подвала, о трактирной жизни, о добродетельном иркутском чиновнике, — и выходило, что не люди, а только звери разных мастей, зубов и обличий попадались ему на пути... Наконец, точно освободясь от тягучего словесного наводнения, председатель спросил о деятельности Глеба в гражданскую войну. Глеб ответил уклончиво, но тот настаивал:

— Все-таки, до некоторой степени немножко непонятно: воевал ты или все варенье ел, или капусту стерег?.. волна революционного-то духа захватила тебя?

Глеб неторопливо смахнул испарину со лба. Это была высшая точка напряжения. С убедительностью крайнего отчаяния он называл какие-то полки, мгновенные фронты, не успевшие отпечатлеться в истории, кавалерийские рейды, и так необычно было все это, что даже шорохом дыхания не прервал его никто. На его удачу, в зале не оказалось никого участников упомянутых боев... Чистка приближалась к концу; пошел перекрестный опрос, но после получасового сверкания сабель и топота партизанских коней все эти вопросы казались мелочными придирками. Гашин подавленно молчал, внимая звукам, приходящим извне. Накурили, и кто-то догадался поднять верхнюю фрамугу рамы. Слышно было, как пьяный стрелочник идет по путям, наигрывая на рожке, — не значилось никакого смысла в этом беспардонном мычании. Да еще

где-то в отдалении сигналили о приходе семичасового пассажирского из Москвы. Поезд приходил, вернее, в семь двенадцать, и было ясно, что клубные часы опаздывают на пятнадцать минут. И оттого, что как бы притупилась недавняя враждебность к начальнику депо, говорить Гашин поднялся уже без всякого воодушевления—

— ... все стоят на подмостках, кричат пролетарский элемент, не что иное. У нас и про диспетчера в Куллэ кричали, что он герой освобожденного труда, а он на поверку муллой оказался. Вот и Протоклитов: рабочий-рабочий, а он чистойшей крови служащий! Что смотришь, Глеб Игнатьич?.. сотряхаешься?

И верно: крепко сжимая края стола, Глеб ждал завершительного удара, как ждали его и остальные. Всем памятно были таинственные намеки Гашина.

— ... и, вот, зашел я к нему, незваный, а у него книжка на столе... спрятать не успел. Иностранная, по электровозам. У меня глаз — видит все зараз! А скажи, откуда — если ты рабочий — можешь знать иностранный язык? Цельный день на работе, приходишь утром, уходишь ночью... обедаешь стоя, не разуваясь, спишь...

Последняя опасность миновала... Там, в первом ряду, сидела девочка лет пяти. Бабушка, чтоб не оставлять ребенка дома, повязала ей косенки розовой лентой и привела с собой. Этот увядший, из стираного шелка, бант придавал уютную нарядность и скрашивал общий сероватый и копотный цвет собрания. Внезапно девочка засмеялась на каком-то занятом движении Гашина, а следом за ребенком развеселились и взрослые. И когда не взорвалась его тайна, Гашин смутился, запутался и с позором бежал от красного стола.

— И выходит, зря я тебе слово давал, — шуточно гремел вдогонку председатель. — Невпопад пришлось! Больному, скажем, аспирин нужен по ноль пять, а ты его салом потчешь. Вреда не будет, да и время потеряно... Не-эт, родной, партия не запрещает своим членам иностранных языков. Эта вещь нам ши-ибко пригодится. Иностранным

народам есть о чем с нашим братом потолковать. Сядь, не смейся народ! — И ладонью энергично показал, как именно он должен проделать это.

Окончательно выравнивалась судьба Глеба. Он смущенно признавался, что, действительно, урывает время на самообразование, имея в виду самостоятельную конструкторскую работу; покойный Курилов, по его словам, неоднократно настаивал на его уходе с дороги, но внутренние обязательства перед нею, как матерью, вырастившей его, мешали ему покинуть депо. Председатель задал последний какой-то вопрос, и вдруг весь подался вперед, и тотчас же все стали привставать, и, как ни был переполнен зал, сразу образовался проход от входных дверей до самого красного стола. Гашин, пробиравшийся к выходу, снова перебежал поближе, давая всем понять, что вечер еще не потерян, а лишь близится к своему развороту.

Очень об'емный, с настороженным лицом и в громадной шубе, появился Илья Протоклитов, войти которому раньше помешало чрезвычайно неудобное расписание черемшанских поездов.

### Занавес опускается

Он вошел... и в переднем ряду немедленно нашлось для него место. Он оказался рядом с девочкой; ее бант приходился ему чуть выше локтя... Выступления продолжались, но уже одно присутствие этого слишком постороннего человека нарушало прежний стиль собрания. И прежде всего перемена коснулась самого председателя. Ни одной его шутки больше не услышал зал, и все старались сделать вид, будто появление даже и т а к о г о человека вполне естественно. В конце-концов, всякий может притти на чистку и высказаться по поводу партийца, подвергнутого проверке. Илью Игнатьича как бы не примечали. Ему становилось все более жарко и тесно, но дополнительного места на шубу не было, и он продолжал сидеть, в испарине, очень строгий, очень одинокий, с влажным платком в руке... Расспросы пошли по линии текущей политики; председатель собрался блеснуть

идейной направленностью собрания. Это заняло много времени и, конечно, было бы самой легкой частью испытания для Глеба, если бы не присутствие Ильи. Пробуя разгадать смысл его приезда, брат кивнул ему осторожно, и старший Протоклитов ничем не ответил на его приветствие...

Илья написал записку, и девочка отнесла ее за красный стол. «От дяденьки...» — и в тишине голосок ее прозвучал, как будто стеклянное блюдечко уронили на пол. С этой минуты никто не слушал Глеба; слова его пропадали, не доходили никуда, и, наконец, он остановился вовсе. Председатель сделал неуловимый знак Протоклитову, и тот поднялся, оставив шапку на своем стуле. (Все время, пока он говорил, девочка украдкой поглаживала его шапку, как чудесную и теплую киску.)

— Кратенько, совсем кратенько обозначьте, кто вы есть и кем работаете. Я-то знаю вас, а это для товарищей... И только не торопитесь! — предупредительно об'явил председатель и поглаживал усы, не смея скрыть нормального человеческого любопытства.

Какой-то спектакль готовился в клубе. Неубранная декорация в глубине сцены изображала купеческую моленную с массой икон, намалеванных на холсте. (Так, невеселая женщина с младенцем выглядывала из-за массивного председательского плеча.) Вначале все это резало глаз, потом привыкли, а как только Илья вступил на помост, их никто уже не замечал... Впрочем, этот заключительный эпизод, когда вдруг раскрылась темная и обильная злом деятельность Глеба, известен мне лишь в передаче Виктора Решоткина. Толковый и такой дельный паренек, когда речь шла о его паровозах, он оказался, по несчастью, совсем беспомощен изобразить в последовательности происшедший скандал. Вдобавок, сидел он в предпоследнем ряду и за шумом, хлынувшим тотчас после первых же слов Ильи Игнатьича, мог только догадываться о самом смысле последующих реплик. Кажется, старший Протоклитов передал только содержание своей ночной беседы с Кормилициным, воздерживаясь от каких-



либо дополнительных суждений. Таким образом, все то, что предназначалось для Курилова, поступало по назначению, минуя всякие промежуточные инстанции.

Однако, неожиданность открытия была столь велика, что не фальшивая биография Глеба, а именно сообщение Ильи было воспринято вначале как чудовищное нагромождение клеветы, обмана и лжи. В первую минуту переполоха Глебу как будто забыли все прежние обиды и ущемления лишь потому, что потрепанная, свойская куртка одного брата была ближе и понятнее аудитории, чем такая барская, на ценном и с хвостиками меху, шуба другого. Сам председатель поддался этому миру и подверг свидетеля самому обстоятельному допросу; и теперь это был уже не прежний шутник, строивший свою речь на всяких медицинских инсказаниях! Все спуталось в клубок, всем захотелось поглядеть вблизи на Глеба, вдруг ставшего понятным в самых незначительных мелочах поведения. (Решоткин помнил в точности, что имя Лизы не называлось. Положение Ильи Игнатъича тем и было затруднено, что, рисуя подлую роль Глеба в куриловском несчастии, он не желал называть имя своей бывшей жены.)

— Словом, ералаш на все сто! — рассказывал Виктор. — Девчонка ревет, правый член комиссии папирску в рот огнем вставил, Гашин кричит: на каком месте, дьяволы, глаза носили?.. всеобщий аврал! Этот, в шубе, стоит, как памятник. И только брови на нем... помнишь, я тебе манометр показывал? Так вот, как стрелки на манометре, бегают по нем брови. Начдепо, конечно, грустный очень; взял шапку со стола, надел на себя и сел... и так спокойно, точно собрался ехать куда! Народу толклось — и из смены-то все прибежали. Ну, тут уж не удерешь...

Все это были не те подробности, которых мне хотелось. Решоткин так и не объяснил, охотно ли расстался зал с искусным мифом о чудеке-родителе, о человечестве на пружинах и о вареньи со стеклянной начинкой. Зато у него нашлось достаточно точное определение

протоклитовского ухода. «Пошел к дверям... и уж не на шубу, а больше на лицо ему глядели. Продолговатое такое и... точно пчелы его покусали. А тишина, хозяйин!.. слышно, как у Федьки в депо напилек упал». И еще подробность, которой я сразу не смог подыскать никакого объяснения. Будто бы Скурятников пришел в этот вечер в депо и уселся в уголок и все играл на своей жестяной игрушке, как бы спрашивая совета. (И она, наверно, сказала ему, что все хорошо, а будет еще лучше!)

... У Ильи остается целых три с половиной часа до отхода поезда. Он идет в Черемшанск. Лихие санки перегоняют его, и седок-кооператор, отваяясь по ходу, долго всматривается в редкостную для тех мест фигуру... Смеркается, керосиновые огоньки множатся в окошках, когда Илья переступает городскую черту. Много сытного, огромного воздуха над головой. Морозит к вечеру, и дорога вкусно похрустывает. Великопостный звон по капле струится в тишину. Илья движется, и собаки собираются за ним гурьбою, опасаясь нападать в одиночку. Он справляется с адресом, что дал ему на прощанье Аркадий Гермогенович...

Домишко одноэтажный; занавесочки прилизаны набок, как причесываются мастеровые; вход со двора. Двое мальчишек прилаживают к дереву скворешню. Один просит дяденьку поддержать шест, пока сам с фанерным коробком лезет на дерево. В награду за помощь его ведут к флигельку в глубине. «Это он к новой жиличке пришел!» — вслух догадывается один. Илья тянет веревку железной щеколды и входит. Ушат с водой нарочно поставлен на дороге, чтоб незваные ломали себе шеи. Никто не выходит на шум... Вторая дверь очень похожа на отверстие в давешней скворешне. Коптит лампа, черная нитка сучится над стеклом. На садовом, дощатом диванчике, одетая, спит Лиза. Она прикрыта полушубком. Илья Игнатъич знает за ней привычку прикурнуть и наоборот, где придется.

Он привертывает фитиль, и нитка рвется. В этой комнате долго проживал тусклый и ленивый человек; Лиза еще

не успела наложить на нее своего отпечатка. Старинные открытки с молодоженами в фольговых рамках окружены житейским бордюром из гнусных коричневых запятых; пузатый комод со множеством флаконов, такой высокий, что к зеркалу надо тянуться с табуретки... Шорох будит Лизу. Она свешивает ноги и по-детски, кулачками, старательно протирает глаза.

— А, это опять вы! — Ни испуга, ни прежнего ожесточения в ее голосе, вялом и равнодушном спросонок.

Илья Игнатьич снимает шапку —

— Я очень боялся не застать вас дома.

— Разве уже прошло полгода?

— Я прихожу раньше срока, потому что люблю вас, Лиза.

Она щурится на него, закрывающего проходы, и с особой, виноватой тщательностью обдергивает платье на коленях.

— Хорошо, по крайней мере, что вы не предлагаете мне избавления от нищеты!

Эта женщина никогда его не любила. И хуже всего, что в свое время он и сам забыл справиться у нее об этом. Он видит стопку книжек на подоконнике и не смеет раскрыть хоть одну, чтоб понять, в каком направлении уходил от него Лиза.

— Ну, вот! Хорошо, что вы разбудили меня, Илья. Сейчас я должна уйти. У меня вечерние занятия.

— Вы учитесь... или учите сама?

— О, все вместе! Что делать, есть такие, которые знают еще меньше меня. А чем моложе, тем больше хочется сыграть и Гамлета, и Ромео, и даже мадам Стюарт...

— Если можно, я провожу вас, Лиза.

— Больные подождут на этот раз? — И у него нет оснований принимать ее спокойную шутку за упрек.

Лиза одевается... Оказывается, зеркало можно снимать и ставить на стол. Илье Игнатьичу пригодился его рост. Полушубок великоват Лизе, он свисает с плеч, но, подтянутый ремешком, очень идет к ней. В этой незнакомой оболочке она приобретает особую и таинственную привлекательность. Запах овчины ши-

рит его ноздри. Они выходят. Бездельные люди у ворот сторожки замолкают, пока Лиза со спутником проходят мимо.

— Итак, вы счастливы?

— А я не задумывалась об этом. Но, когда делаешь себя сама, то даже и ошибки приятны. Все, все находится в себе самом... и знаешь, Илья, сердце — это глубже всякой шахты на земле!

Этой уверенности в себе он не замечал у нее раньше, даже в самые хвастливые ее минуты. Было бы теперь бестактно предлагать ей деньги или навивно звать назад.

— Вы очень переменялись, Лиза.

— Да! — и смеется. — Раньше, например, я боялась щекотки, а теперь нет. Раньше мне хотелось сыграть Марию, а теперь нет. Должно быть, я узнала слишком много о ней. Кроме того, у меня было большое горе. — И он знает, что не утрату их ребенка она имеет в виду. — Расскажите, все-таки, как он умер?

Нотка приказания, которого нельзя слушаться, звучит в ее голосе. Она имеет великое право на это. В подробностях, точно читает по операционному журналу, Илья излагает обстоятельства несчастья, и мертвый, ноздреватый снег скрежещет под его ногами... Самая операция прошла благополучно, но через два дня, ночью, лигатура прорезала перевязанный сосуд. Кровотечение вызвало нарастающую слабость, коматозное состояние и конец. Лизе требуется особая точность, и он не скупится на медицинские термины, объясняющие бессилие врачей.

— ... но почему же она прорезала этот сосуд?

— Видите, ткань была разрушена патологическим процессом. Она утратила эластичность...

— Я верю вам, Илья.

— Вы были очень привязаны к этому человеку?

— Я не знаю... но он никогда не упрекал меня за молодость!

Они проходили длинными улицами, и ей казалось, это те же самые, где когда-то она бегала босоножкой. Провинциальные города точно с конвейера!.. В этом доме, где сапог гиганта на заборчике,

умерла мать. У тети Шуры огонек; наверно проверяет ребячьи диктанты, старенькая. На освещенном окне, у которого любил сидеть Закурдаев, стоит бутылка; видимо, этот номер по традиции занимают пьяницы. Собор налево стоит маленький и облезлый; около него идет сейчас приемка свиных кож. И, вот, наконец, тот, знаменитый овраг!.. Оползни подобралась к самой скамейке; Лиза останавливается у края. Молодой, рожками вверх, точно на спинку положенный, месяц придает всему пронзительную весеннюю новизну. Смутная гряда снега мерцает на дне лиловой бездны. Тишина — как льдинка, ее сломашь даже шопотом. И давняя горечь полузабытой репки внезапно обжигает лизин язык. Второй акт жизни закончен, и как хорошо, что главное еще впереди!

— Вот и все, Илья. Теперь нам надо проститься. Я не хочу, чтобы нас видели вместе там. Повидимому, еще не доросла до того, когда становится безразлично, что говорят о тебе люди... — И уходит навсегда, не пожав руки, очень легкая, прозрачная, не оглядываясь.

Илья Игнатич возвращается на станцию. Он вспоминает, как и сам он сначала не умел ничего. (Делал операции и мысленно засматривал в книжечку. Сперва на заводских здравпунктах, по вечерам: атерома, нарыв на пальце, а волновался... И только война доставила громадную и жестокую практику.) Он думает о себе и к самому концу пути начинает понимать, что прозевал самое ценное, что давалось ему в руки, — юность женщины.

### Послесловие

... Летним вечером однажды, после долгого перерыва, ко мне пришел Пересыпкин, и я обрадовался, как если бы сам Алексей Никитич, живой и помолодевший, навестил меня. Именно через Курилова произошло наше знакомство, и первое аleshно посещение относилось ко времени, когда он только приступал к изложению причин и обстоятельств возникновения его дороги. Он врывался ко мне торопливый, задиристый, весь в

шипях мальчишеских противоречий... На этот раз он заявился молчаливый, сосредоточенный в себе, и ничто не могло расшевелить его. Мне показалось, что он влюбился вторично.

— Меня перекидывают, кажется, на нефть! — сообщил, наконец, Алеша.

Если только не предстоящее расставанье с друзьями, значит, необходимо забросить свою добровольную работу огорчала его. Новая область деятельности неминуемо содержала в себе и новые заботы. Я напомнил ему, что реки нефти, как и вагоны Волго-Ревизанской, как и все потоки товаров, народов и идей, неизбежно текут туда же, на куриловский Океан. Мой намек был понят без дополнительных пояснений... да и самая работа над историей дороги оказалась для Алеши своеобразным университетом. Видимо, ему становилось уже тесно в пределах одной Волго-Ревизанской. Угадав механизм малых преступлений, он заохотился подарить людям развернутую эпопею о мировом железнодорожном деле, богато иллюстрированную вставными историями Спиридонов Маточкиных всех времен и народов.

— ... она должна называться — потомок оглядывается на прошлое! — признался он смущенно.

Я стал спрашивать его о спутниках Курилова, и он рассказал мне о вторичном, почти эпическом приезде Биби-Камал на свадьбу сына, о смешных превращениях Зямки, на которого уже последнюю свою привязанность перенесла Клавдия Никитична, о неудачном сватовстве долгового Шамина, об отказе Лизы и об аресте начальника Черемшанского депо... Речь шла также о Похвисневе, свидания с которым так давно добивался Алеша. Его рассказ ставит меня в затруднительное положение перед друзьями, согласившимися прослушать эту книгу до конца.

После возвращения из Черемшанская юный историк собрался, наконец, навестить своего свидетеля. Он не хотел уличать или допрашивать, а только взглянуть в линиялы его глаза, не сохранилось ли там на доньшке какого-нибудь отражения случая на Псне... Он

отыскал дом и вошел, и позвонил, и ему отпер жилец-водопроводчик с намыленной щекой. Алеша спросил о Похвисневеве, и тот отвечал, что никогда здесь такого и не числилось. Волнуясь, Алеша привел все его приметы, но жилец продолжал отрицательно качать головой. «Гулькин у нас есть, тоже пенсионер, но он бывший кассир. А такого, как вы назвали, не значится!» Номер дома и квартиры совпадали с записанными у Пересыпкина. Водопроводчик сердился, мыльная пена сохла у него на щеке. Потрясенный Алеша ушел ни с чем. Должно быть, незаметный старик так же незаметно и ушел из жизни в свое бесследное небытие...

Остаток времени мы потратили на прогулку, которую я неоднократно совершал в обществе Алексея Никитича. Мой юный гость также был склонен заглянуть иногда за эту плотно приспущенную занавеску, и мы вышли за пределы тесной, прокуренной комнаты и дождливой июльской ночи. По существу, мы вышли втроем; Алексей Никитич находился с нами, потому что его реальность была теперь не меньше нашей... Мы миновали сотни расплывчатых, еле нарисованных на будущем, событий; мы посетили в эту ночь десятки замечательных своей историей городов, которых еще нет на свете. Резвясь, как мальчишки, мы играли с Алешей в этом самом громадном просторе вселенной, и тень Курилова, подобно горе, возвышалась над нами. Мы поднимались на эскалаторах в высокую башню, где обитал со своим электронным телескопом седоволосый чудака. Мы мешали ему шарить своим пучком по безднам, расстраивая его волну, и он комично относил это за счет усиления космической радиации. Внезапным стуком в окно мы будили школьника, заснувшего над уроком о сражении при Шанхае; ему скучно было зубрить об эпохе капиталистов, которые в ту пору представля-

лись ребятам чем-то вроде человекообразных тригонов... Мы взбирались на надземную пристань, откуда как-раз отчаливало в Южное Полушарие летучее сооружение, не определяемое словами; оно не имело ни газовых колбас, ни несущих плоскостей, ни шумных воздушных винтов. Озабоченные деловые люди предполагались на ночлег, и мы постыдились шутить над ними. И, наконец, по молчаливому сговору, мы посетили нашу вторую родину, мать веселых земных городов, Океан.

Была непогодная ночь, когда мы вошли в него. Стояла пора дождей на этом побережье. Планета зябла. Над головой, в вершинах высоких деревьев, скреблись друг о дружку жесткие, как бы металлические, листья. Из гавани донесся вой сирены, адресованный ночным кораблям. Дыхание древнего века послышалось мне в соединенном шуме прибоя и ветра. Все спало... Внезапно дождь усилился, и мы принуждены были войти под сень деревьев. Где-то рядом с нами пряталась парочка; та же девушка, которую бесчисленное количество раз встречал Курилов, тянулась губами к кому-то в сумрак, и, вот, я различил на светящейся струе фонтана ее тонкий, напряженный и девственный силуэт...

Но, точно ощутив на себе наши ревнивые взоры, о них прервали шопот. Мы мешали им... Алеша сурово толкнул меня в бок, приглашая убираться отсюда. Я оглянулся в последний раз, и уже никого не увидел в тени. Влюбленные всегда владели волшебным свойством растворяться в шелесте деревьев, в лунном свете, в запахе ночных цветов, когда требуется укрыться от постороннего любопытства... И хотя наши москвошвеевские пиджаки промокли до самых плеч, мы выступили из-под укрытия и молча пошли по дороге, неминуемой для всех, кто выходит из дому в непогоду.

1933—1935

# Последний день Кирова

БОРИ КОРНИЛОВ

## I

Скоро девять, пожалуй.  
Утро.  
Весел и прост,  
он идет молодежавый  
через Троицкий мост.  
Хорошо и морозно —  
да, зимой холодней...  
Он совсем несерьезно  
относится к ней.  
Он идет, улыбаясь:  
лучше, если весна.  
Все же мелочь любая  
забавна весьма.  
Вон в небесной долине  
полусвет синевы,  
и хранят в нафталине  
равнину Невы.  
Он мурлычет:  
— Иду я,  
полегоньку иду...  
Люди греются, дую  
в кулаки на-ходу.  
Сколько разных попыток  
чтоб согреться, нашли?  
На огромных копытах  
першероны прошли.  
Торопясь, —  
не с того ли,  
что кормушка зовет? —  
повезли листовое  
на какой-то завод.  
Все дымит, индевея...  
Тянет к печке,  
домой, —  
нет, —  
не същешь новее

декораций зимой.  
Даже вымысла ради,  
красоты  
и ума...  
Но зима в Ленинграде —  
лучше всякой зима.  
Ты еще не воспета:  
зло морозных ночей,  
солнце красного цвета,  
совсем без лучей.  
Как на улицах ранних  
засыпают, дрожа  
в тулупах бараньих,  
домов сторожа.  
Все озябло.  
И что теперь —  
населенно беда?  
Неожиданно оттепель —  
и туман,  
и вода.  
Туча липкая плачет  
и на улицы льет.  
Люди падают, —  
значит, гололедица,  
лед.  
Макинтошами машем,  
держась за дома.  
Только в городе нашем  
столь смешная зима.  
Но сегодня иное —  
веселы облака,  
и светило дневное,  
и морозит слегка.  
Он скрипит, словно ржавый,  
под подошвами снег,  
и идет молодежавый  
через мост человек.

## II

Он идет, улыбаясь,  
как зимы торжество,  
и снежинка любая  
забавляет его.  
Площадь Жертв революции  
снегом полна —  
сколько горя и радости  
площадь таит,  
начинается сразу  
у моста она,  
где машина огромная  
«бьюик» стоит.  
Как летящее туловище орла,  
горделивая,  
ночи полярной темней,  
и готовы взмахнуть  
два орлиных крыла.  
Человек, улыбаясь,  
направляется к ней.  
Он садится в машину,  
легко, вымыт и брит...  
— Ну поехали, —  
шоферу говорит.  
Замечательным,  
зимним согретый огнем,  
гладит шофер  
пушистый каштановый ус.  
И смеется —  
до пояса бурки на нем,  
рукавицы оленьи,  
суконный картуз.  
— Утро доброе...  
Солнышко...  
Славно горит... —  
шофер Кирову радостно говорит.

## III

Как мне день этот горек  
и черен этот снег.  
Я поэт, — не историк,  
я простой человек.  
Но желанье имею,  
негодую,  
скорбя,  
рассказать, как умею,  
все, что знал про тебя.  
Про любовь  
и про разум,  
про невзгоды ночей,  
все, что знал про рассказам  
твоих вятичей.

Ты в рядах и в колоннах  
по России кружил,  
мест не столь отдаленных  
молодой старожил.  
Ночь тебя испытала  
и сказала: — Владей!  
Это сплав из металла,  
годов  
и людей...  
Сколько было тяжелых  
в стране непогод,  
как ошметки летели,  
и гибла страна, —  
кто тебя позабудет,  
девятнадцатый год.  
Украина,  
Каспийское море,  
война.  
На рыбачьих баркасах  
стоит пулемет,  
и скорее, скорее —  
ни сна, ни жилья.  
Кто меня понимает,  
конечно, поймет —  
это Киров на Каспии —  
песня моя.  
Нефти кровь животворная,  
жирная  
вновь  
на заводы,  
на фабрики  
в наши края...  
Это Кирова дело  
и Кирова кровь.  
Это только о Кирове  
песня моя.  
— То, что видно, то видно,  
дела велики, —  
говорили солидно  
о нем старики...  
Мне рассказывал как-то  
кузнец на-ходу:  
— Значит, так это было,  
дорогие мои.  
Это в августе было,  
в тридцатом году, —  
я сижу со старухой,  
гоняю чай.  
Дочка где-то в кино,  
сын читает к уроку,  
мухи сонные ползают по стене,  
и чего-то кричит,  
значит, радио сбоку.  
Открывается дверь —

и Миرونч ко мне.  
 Никогда не бывал.  
 Но, себя уважая,  
 я, конечно, и виду не подаю,  
 а в душе, понимаете,  
 радость большая.  
 Он мне руку свою,  
 я, понятно, свою.  
 Говорили мы с ним.  
 И соления были.  
 Посидел,  
 посоветовался со мной.  
 Мы Сергея Мирончыча  
 очень любили...  
 хоть и молод, а умный,  
 веселый, земной.

## IV

На роскошных моторах  
 и ночи, и дни  
 в пышных шубах матерых  
 раз'езжают они.  
 День такого не труден —  
 это видимый враг,  
 туняедец  
 и трутень,  
 и совсем не дурак.  
 Этим был ненавистен  
 Киров, знавший навек  
 много тягостных истин,  
 большевик,  
 человек.  
 И за то, что спокоен,  
 за улыбку твою,  
 победитель  
 и воин  
 в открытом бою.  
 Молят:  
 — Бог, помоги нам  
 и спаси нас, господь,  
 самого господина  
 и лакеев господ.  
 Мелким бисером вышит,  
 бог ни слова в ответ,  
 может, просто не слышит,  
 может, господа нет.  
 Что за гадкая свора?  
 Живут — благодать, —  
 от банкира до вора  
 рукою подать.  
 Так и ползают тучей,  
 забывши покой...  
 Был, товарищи, случай  
 забавный такой.

Случай тот достоверен,  
 проверен давно, —  
 рассказать вам намерен  
 про свиданье одно.

## V

По равнине пурга  
 порошит пушисто...  
 Сидит баба-яга  
 в гостях у фашиста.  
 У фашиста рога,  
 видимость свиная,  
 а у бабы нога,  
 нога костяная.  
 Злая ночь на носу,  
 и с лицом сварливым  
 ест фашист колбасу,  
 запивает пивом.  
 И красив, и не стар,  
 он сидит,  
 у бабы  
 кипятится навар  
 из могильной жабы.  
 И у бабы наряд —  
 одета по-вдовьи,  
 и они говорят  
 о средневековьи.  
 Поднялась, тяжела,  
 зашепгала слабо:  
 — Я в России жила, —  
 заявила баба, —  
 и глупа,  
 и темна,  
 и могилы тише,  
 и солому она  
 стелет на крыши.  
 Ночью ходит во двор,  
 покрытая тенью,  
 и не ест помидор  
 по предубеждению.  
 В кровь избита жена,  
 праздники,  
 сивуха,  
 волостной старшина  
 восклицает: — В ухо!  
 Сыро, словно в гробу,  
 я же, мой коханий,  
 вылетала в трубу  
 на метле поганой.  
 Под небесным огнем,  
 молодой и храброй,  
 как бы зверем-конем,  
 управляла шваброй.

Покидала кровать,  
 милый, по простору  
 я неслась танцевать  
 на Лысую гору.  
 Злые звезды горят,  
 плоть лихую тешим,  
 две недели под ряд  
 танцовала с лешим...  
 И захмыкала в нос  
 много слов соседних...  
 — Хорошо! —  
 произнес  
 мрачный собеседник.  
 Голова огня  
 высунула жало.  
 — Все боялись меня, —  
 баба продолжала, —  
 каждый русский — мой вассал,  
 темнота,  
 бессилье.  
 Гоголь про меня писал,  
 Николай Васильевич.  
 Собеседник встал, как тьма,  
 крик подобен лаю:  
 — Про писателей, кума,  
 вовсе не желаю...  
 Баба, слезы лия,  
 сразу стала красной...  
 — Про писателей я,  
 собственно, напрасно.  
 Ах, иванова ночь!..  
 Хорошо в России;  
 не губить  
 и помочь  
 все меня просили.  
 Золотое бытть,  
 молодое тело...  
 Ой, как время мое  
 быстро пролетело.  
 Дни мои далеки —  
 в том краю раскосом  
 всюду большевики  
 кроют хаты тесом.  
 Ни вина,  
 ни плетей...  
 Леший — медведь мой,  
 нынче даже детей  
 не пугают ведьмой.  
 Где прилечь?  
 Где присесть,  
 бесова невеста?  
 У тебя, может, есть  
 безработной место? —  
 И захмыкала в нос

много слов соседних.  
 — Я убью, — произнес  
 мрачный собеседник. —  
 Я меча не хочу,  
 речь скажу на тему,  
 как топор наточу,  
 как свастикку надену.  
 Нам не надо ума,  
 мы — средневековье,  
 оставайся, кума...  
 За твое здоровье!



Я писал не в бреду —  
 я не шизофреник, —  
 даже в дантовом аду  
 не считал ступенек.  
 Не фантазии запас —  
 злые тени эти, —  
 только сказка для вас,  
 взрослые дети.  
 Я устало дышу,  
 и перо сломалось...  
 Прочитайте — прошу,  
 подумайте малость.

## VI

До чего разозлила  
 господина беда!  
 Он лакеям трусливо  
 говорит: — Господа...  
 ждали многие годы,  
 что-то делать пора.  
 Вот пока на расходы,  
 так сказать, серебра.  
 Говорит — привечает,  
 жаден,  
 злобен,  
 поган,  
 и оружие вручает  
 системы «Наган».  
 Угостил у стола их  
 (он окупит расход).  
 Господин Николаев  
 в гостях у господ.  
 Господин Николаев  
 может сделать один  
 все, чего пожелает  
 его господин.  
 К револьверу-железу  
 идет, как в бреду...  
 — Прикажите — зарежу,



убью,  
 украду...  
 Буду преданным другом  
 и вашим слугой,  
 вечно к вашим услугам,  
 золотой,  
 дорогой.  
 План уже разработан  
 совсем, почитай...  
 Вы желаете?  
 Вот он,  
 прошу почитать.  
 Как сильней и ретивей  
 побеждать и творить,  
 на партийном активе  
 будет он говорить.  
 Как поход новый начат,  
 про Советский Союз...  
 Только... (Поняли.)  
 ... значит,  
 не расскажет, боюсь.  
 Мы подходим к решенью  
 смелее,  
 смелей, —  
 Киров будет мишенью  
 для пули моей...  
 И мерцает похожий  
 на роскошь уют...  
 Он встает.  
 Из прихожей  
 пальто подают.  
 Лихорадка и злора,  
 потом торжество —  
 оттопырены оба  
 кармана его.  
 И на каждой ступеньке  
 бьют по ногам —  
 в левом потные деньги,  
 а в правом — наган.

## VII

И дорожная лента  
 сходит на-нет,  
 это Смольный,  
 легенда,  
 областной комитет.  
 Полный шума и света,  
 легкой кровью согрет,  
 секретарь комитета  
 идет в комитет,  
 по-мальчишечьи, левой  
 портфель охватив.  
 Через час заседание —

партийный актив.  
 Лучший цвет Ленинграда,  
 весь Ленинград  
 будет слушать звенящий  
 и чистый доклад.  
 Слово будет, как птица,  
 и петь, и кружить.  
 Он им скажет:  
 — До чортиков  
 хочется жить...  
 Он идет, улыбаясь,  
 засмеяться готов, —  
 основатель заводов,  
 людей,  
 городов.  
 — Мы не то еще сделаем. —  
 скажет опять, —  
 где была только белая  
 заполярная гладь,  
 мы повсюду готовы,  
 где по шею снега,  
 где полярные совы  
 и баба-яга.  
 Все проклятое это  
 сыграет на-нет... —  
 Секретарь комитета  
 идет в кабинет.  
 Подлой смертью подуло,  
 и грохот летит,  
 вороненое дуло  
 в затылок глядит.  
 И упал секретарь,  
 и качнулась высоко  
 вековая России  
 тяжелая мгла.  
 Это нас убивают  
 в затылок и сбоку,  
 чтобы мы их не видели,  
 из-за угла.  
 Мы их знаем, продажных  
 и черных и белых,  
 и над ними огромная  
 наша гроза.  
 Секретарь, секретарь,  
 незабвенный и милый!  
 Я не знаю, куда мне  
 тоску положить...  
 Вьется песня моя  
 над твоею могилой,  
 потому что «до чортиков  
 хочется жить».  
 Я гляжу, задыхаясь,  
 в могильную пропасть.  
 буду вечно, как ты,

чтоб догнать не могла  
ни меня,  
ни товарищей  
подлость  
и робость,  
ни тоска  
и ни пуля из-за угла.

## VIII

Песня вьется живая,  
вечер весел и прост,  
я иду, напевая,  
через Кировский мост.  
И веселого снова,  
и любя, и скорбя,  
молодого,  
живого,  
вспоминаю тебя.

Я даю обещанье  
провалам морей —  
будет наше прощанье  
возле смерти моей.  
Я повсюду, где вырос  
в полный рост  
город Киров,  
и Кировск,  
и Кировский мост.  
Ты могилу не вырыла,  
пуля.  
Живет  
имени Кирова,  
дышит завод.  
Это жизнь боевая,  
которой рад.  
Я иду, напевая...  
Зима.  
Ленинград.

---

# Созревание плодов

Роман

**БОР. ПИЛЬНЯК**

(Окончание<sup>1</sup>)

## Рассказ Романа Архиповича о раскорчеванных мозгах

### Эпиграф

«... наш суровый, боевой пролетарский век... умением, сказкой...»

**С**ергей Иванович слушал Романа Архиповича в день, когда он получил письмо от Павла Павловича Калашникова.

Роман Архипович рассказывал:

— Ты правильно заметил, — по старой жизни все тогда мечтали, а не все, так многие, — выйти в Сафонова, стать богагым, собственником, хозяином самому себе и мастерам, — мечтали о богатстве. Тогда был такой строй, и я тебе расскажу о раскорчеванных мозгах и о том, как меня убивали. Родились мы с Антоном вместе, в слободе, теперь на улице Голикова, пятьдесят семь лет тому назад, по году учились грамоте, а затем пошли в мастерские к Сафонову, учились шесть лет...

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«...конец восьмидесятых, начало девяностых годов, эпоха «мелких дел», Чехов и только-что введенные земские начальники. Палех. Иконописцы. Водка. Изба, рассвет, печка. Лучина только-только сменена керосином, который то-

гда назывался «фотоген». Глиняный умывальник. Хлеб, намоченный в квасе, лук. Отцовские валенки. Мальчик бежит по глубочайшим, синим в рассвете, снегам. В мастерской пахнет олифой и махоркой. В мастерской темно и страшно, и каждая рука старшего может миловать и бить. На стенах мастерской снаружи — громадные золоченые орлы. Первый урок — христова «голичка». На третий год — «бецатала»... Посадить бы на эту «бецаталу» Павла Павловича Калашникова...»

Роман Архипович рассказывал:

— Окончили обучение вместе, в один год, каждому не было еще шестнадцати лет, написали по «выходной», положил нам Сафонов по пятнадцать рублей жалованья, работали мы у него не в мастерской, а на кирпичном заводе, глину месили вместо иконного дела, работали целый сезон. А осенью приехал, к Николе-зимнему, наш дядя на побывку, Платон Афанасьевич. Дядя наш, надо сказать, от Сафонова отбился, — работал у хозяйчика Панкрышева, в Моиске. Панкрышев тоже наш, палехский, только поменьше Сафонова. Дядя сказал: — «чего, мол, ребята у Сафонова глину месят, я их к Панкрышеву определю» — и взялся нас отвезти. Вышли мы в три часа ночи, дядя наш, я да всежизненный друг мой и убийца Антон Иванович. Было это на третий день по-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 10 и 11 с. г.

сле Николы, а с самого вечера замела метелица. Матери проводили нас до Красного. Шли мы пешком до Шуи, тридцать верст. Вещей у нас было по котомке, по паре портянок, рубаха, грешок, сапоги на сменку валенкам, аржаные ватрушки с картофельной пюре в подарок от матерей, и все, — подштанников в то время нам не полагалось. Снег глаза лепит, ветер под лопатки забирается, снег под ногами, как пески зыбучие. Дядя наш, Платон Афанасьевич, с вечера выпивал с родителями на прощание, он отчаялся, говорит — «Волки, гляди, не напали бы» — и, слышать, дрожит дядя. Ночь померкла, день рассвел, а мы все идем и идем, как волки, след в след, и чудится, что на самом деле воют волки... Я тебе скажу, Сергей Иванович, про себя, как я понимаю, — нет слаще человеку встретить человека, — пришли мы в Шую, сидели в трактире, я Шую впервые видел, разглагольствованиями поражаюсь, — а в трактире я человеческие слова слушаю, и они мне теплее тепла были. А про ту ночь я сейчас вспомнил потому, что до сих пор боюсь волков и всякой волчьей породы, — и нет для меня приятней встретить человека, человека я не боюсь и люблю человека, а Антон человека боялся и не любил, как я теперь понимаю... Сели мы в поезд, опять впервые за нашу жизнь, в вагон третьего класса, и показалось мне после деревни, что попал я в княжеские хоромы — после нашей деревни, после нашей избы, где жил я на печке, под печкой жили куры, а за печкой — теленок с поросятами, я впервые тогда видел окна без рам и — чтобы стенки поднимались. А в Москве в первый же день я о цивилизацию — морду расшиб. Дядя наш, Платон Афанасьевич, передал нас хозяину Панкрышеву, Панкрышев положил нам жалованья на его харчах восемь рублей в месяц и дал нам три дня отпуска, чтобы посмотреть Москву. Земляк повел нас к Филиппову в булочную, — знали, куда сводить! Этот музей надо понять. Жили мы в деревне, хоть и с иконами, а все же на хлебе и при скотинке, при муке, при молоке, при масле, плохие, а все же хлебобобы, — а пришли к Филип-

пову, я, — теперешний колхозник, а тогдашний мужик, — поглядел я на плюшки-ватрушки, на калачи, на ромовые бабы, на сахарные баранки, на пирожные безе и наполеоны, не перечесть, — и не узнал я, мужик, ни сала, ни масла, ни муки-матушки!.. Были мы втроем, провожал нас малец чуть нас постарше, у дверей стоял министр в золотых нашивках, двери господам открывал. Надо быть, министр увидел, как мы слюни распустили, цыкнул на нас, землячок крикнул, — «бегите!» — я со страху от министра к людям, а людей было много. Вижу, один бежит вроде меня ко мне наискосок, я от него хотел увернуться и — две недели с синяком ходил по всей личности, — в зеркало я врезался вместо людей, морду разбил о цивилизацию. Я ведь допрежь представить себе не мог и не слышал, что такие зеркала бывают.

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«... да, от Палеха до Москвы... Палех, перепутавший семнадцатый век с крепостною деревней графов Бутурлиных, поднятый и разоренный сафоновским и панкрышевским капитализмом... Деревенский парень в шестнадцать лет — и Москва. Надо полагать, что парню было бы не более странно, если бы его вместо Москвы занесло в Нью-Йорк. Действительно, зеркало филипповской цивилизации отражало действительность совсем не так, как видел ее Роман Архипович... Но Павел Павлович Калашников не растерялся б около калачей Филиппова».

Роман Архипович рассказывал:

— Люди тогда мечтали о богатстве. Богатство было единым светом в окошке. Богатство — сыт. Богатство — одет и обут. Богатство — от тебя зависят. Богатство — власть. Иконники у Панкрышева — почитай, все мечтали о богатстве и лезли в него, как рыба в вефтерь, — а не выходило — пили... А богатство, я тебе скажу, Сергей Иванович, пословицами — не пойманный не вор, а стыд не дым, глаза не выест, — а трудом праведным не наживешь палат каменных, — ну, и с поклонов шея не болит, — национально-православные по-

словницы... А ведь, по совести сказать, земским начальником да Сафоновым каждый палешанин, да и всякий мужик, так был поставлен, что ему мерин иной раз дороже жены, дороже сына, особенно, если сын малолеток и не поротый, — за битого двух небитых дают. Почему мы тогда поехали по шестнадцатому году в Москву? — тогда говорилось — «от нужды» мужик работает, а правильнее сказать — от голоду. Мужик, между прочим, для крестьянина, а теперь для колхозника еще более слово обидное... На самом деле — от трудов праведных не наживешь палат каменных, — откуда Сафонов пошел? — из бурмистров, — барина на мужиках обманывал, мужиков на барине!.. — и послушать все истории богатства — тот купца придавил, тот вдову окрутил, тот обманул, этот ограбил, а сей — обворовал!.. И все богом прикрыто и нашими иконами, а как иконы делаются — мы знаем, сами их пишем. Капитализм, в книгах пишут, в первое свое время положительную роль играл, — этого мы за свою жизнь не видели, это раньше нас было. Старый мастер пьет, в нищету сваливается, — значит, неудачник, сам виноват. Человек богатеет, — значит, хороший человек, удачник. А что он, может, жулик, это ему прощалось. И самое главное — темнота, — ух, какая темнота! — в двух шагах не видно и непонятно, и узнать нигде невозможно!.. что советская власть знаменито сделала — это глаза развязала, если не я сам, то мой сын все узнать может по своей воле. Молодость — всегда знать хочет, а мы... Стало быть, жили, писали у Панкряшева в мастерской, у Рогожской заставы.

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«... Рааасссия!.. Павел Павлович!..»

Роман Архипович рассказывал:

— Пути было для нашего брата, как я понимал по темноте мозгов, как в сказке, — направо поедешь — смерть, налево — тоже. Я тебе, Сергей Иванович, не об Антоне рассказываю, а о себе, как мне, а не ему глаза и мозги раскорчевывали. Мастер я был средний, и работа моя была средняя. Я свое отра-

батывал — и все. Революция, между прочим не сама пришла, а сделали ее люди, пролетарии. Если сказку обернуть, — направо ехать — в богатство к Сафонову и Панкряшеву, налево — в революцию, а я, палехский богомаз с крестьянским паспортом на год сроком, жил посерединке, за камень не заезжал. Любил читать книжки, стихи любил, ходил в воскресную школу, ну, и жил. Теперь скажу об Антоне, о моем убийце. Женились тогда в определенное время, так скажем, распределяли рабочую силу. Самые хорошие свадьбы были перед покровом да в рождественский мясоед, — мы женились после петрова дня, и женились-то в один день, батюшка на сенокосе был занят. После женитьбы и обозначились наши с Антоном Ивановичем жизненные пути. Антон говаривал мне, — «толку из тебя не выйдет, Роман, проживешь ты жизнь зазря, ты все хахи да хихи, а жизнью не пользуешься!» — я на самом деле был веселым человеком, и был я очень смешливый, ну, и озорковат был по молодости лет, — я и сам иной раз думал, что Антон Иванович имеет резон против меня. Я любил газетку почитать, любил ходить в театры, особенно к дедушке Коршу, — ну, и в трактор Егорова, в Охотном, где теперь небоскреб, захаживал послушать орган. Был у нас кружок самообразования, в него Маркичев и Иван Зиновьев захаживали, — палехская молодежь складывалась процентами от заработка, покупали книги и сообща читали по вечерам потихоньку от хозяина. Антон Иванович не состоял в этом кружке, — а надо правду сказать, — он меня покрывал перед хозяином, иначе мне не сдобровать бы. К женитьбе жалованья мы получали уже по тридцать рублей, не плохое жалованье по тогдашним деньгам. Женитьба по тогдашнему быту, — женился — остепенился. А ко мне степенства не пришло. Антон свою жену в деревне оставил, а я свою с собою повез, снял комнагу по соседству с нашей мастерской, — «пушай, думаю, живет при мне, пушай подивится!..» — Просыпаемся утром в нашей каморке — смеемся, нам весело вместе. В мастерскую мы прихо-

дили в шесть часов утра, — у Антона Ивановича краски растворены, все в порядке, а у меня краски так-себе, ну, и работа — тоже... Песенку пою. Через год после женитьбы у меня жалованья — все те же тридцать, а у Антона Ивановича — тридцать пять. У меня соберется монета, я раньше срока удеру из мастерской, накажу Антону, — «если, мол, хозяин зайдет, то так, мол, и так, только-только вышел, надо полагать, до ветру», — я заберу мою супругу и туды-сюды, — тогда кино объявилось, я все картинки осматривал. Антон Иванович — сидит. Чтобы сказать про него — скупой человек, — нельзя. Он аккуратный был. Все у него в порядке, но лишнего гривенника он не тратил. Детишки появились. Мои у меня со мною в Москве, а у Антона Ивановича — в деревне, на вольном воздухе... Лет через пять, как мы стали к Панкрышеву на работу, Антон Иванович в деревне новый дом поставил, пятистенку, с резными наличниками, — через семь купил богородскую телку горбатовского красного рогатого скота породы, — купил полукровного жеребенка. Его жена к праздникам, на масленую, в Москву приезжала, жила в моей комнате, — пава, городское пальто с лисьим воротником. А у меня, как родители померли, изба стоит заколоченная, еще родительского строения. А у меня, как была у жены в приданом суконная борчатка, так она в этой борчатке и щеголяла по Москве, ходила со мной на галерку к дедушке Коршу. Только — разве что моя жена грамоте научилась и вроде меня газетку читала...

Поколение Арбекова не застало России до Пятого года, эпохи капиталистического разраста, строительства железных дорог и заводов, догнивания феодалов, разбиравшихся о Пятый год и о Цусиму, — эпохи, когда назревал Пятый год, когда крепили первые ручки пролетарского сознания, ища свои русла к Красной Талке и к Красной Пресне еще задолго до Талки и Пресни, когда и Роман Архипович, и Антон Иванович на самом деле жили в дремучем мраке сознания, каждый по-своему, — этот Роман Архипович, человек из пе-

реулка истории. Для поколения Арбекова та эпоха прошла сквозь их детство: Роман Архипович рассказывал:

— Любил я людей, и люди меня любили, — сколько хороших людей мимо меня прошло!.. — а вот Антон оказался всежизненным спутником. Я самолюбивый был и, — сознаюсь, — завидовал иной раз Антону Ивановичу. Я ведь видел, как он восходит, как его все за это уважают. Ну, знал я, что он и на сторону работал хозяйскими красками, и золотицо можно было через него из мастерской достать, и редкие краски, — так ведь — то хозяйское было, а кто хозяину не враг?.. Ведь таких, как я, — почитай, весь Палех, и Вакуровы, и Маркичевы, и Котухины, и Зубковы, вся наша тогдашняя молодежь, — а Антон — один, гнет и гнет свою линию, — глядишь, поклонится хозяину в пояс и скажет, — «покорно, мол, благодарю. не извольте поминать лихом, открываю от сегодняшнего числа свое собственное дело!..» — Между прочим, у Антона Ивановича другие мечты были, он по-другому рассуждение имел. Он иконное дело мечтал бросить, — «не хочу, говорил, заниматься надувательством, а желаю я ни от кого не зависеть, желаю сам себе быть хозяином, — подкоплю еще денег до нормы, как я себе задумал, и поставлю у себя в Палехе на берегу Палешки льнотрепалку и льномаслобойку, налажу сельское хозяйство и буду жить сам по себе!..» Бывало, разговоримся с ним, и я размечаюсь, — дом у меня будет в слободе, лошадь лучше, чем у Антона, — что, мол, я хуже его мастер, что ли, и не могу как следует разных спасов разрисовывать? — с вечера говорю моей Фиме, — «разбуди меня завтра чем свет, остепеняться надо, зайди в полдень в мастерскую, когда все обедать будут, я тебе доску дам залевкашенную, краску, — буду дома по вечерам писать, — весною ты в деревню поедешь, — должны мы копить, как Антон!» — Работая, не разгибая спины, до рези в глазах, а день на третий вдруг задумаюсь, — на кой леший мне лошадь, ежели я в Москве нахожусь!? — и почему мне мучиться без Фимы в молодые годы!? — загрузу, выпью, уго-

щу Антона Ивановича, и пошло все по старому... Надо сказать, Пятый год мне помог, а также наш кружок самообразования. Антон Иванович Пятый год сторонкой прошел, а я был со всеми, с товарищами. Помните, книжечка такая была «Пауки и мухи»? — я ее раз двадцать перечитал, — замечательная книжечка!.. Началась русско-японская война, затем революция, слышим, в Палехе Сафонова и Коровайкова сожгли. Страшно тогда было и весело, — на этукую силу, на царя, рабочие руку подняли, а я еще от деревни не обсох. Я всем сердцем революции помочь хотел, — а как — не знал. Царь революцию задавил, в Москве революцию разгромили семеновцы, — и я затаился, как все. — «Ну, раз ты победил вместе с Сафоновым и Панкрышевым, — твоя сила, только отсюда никак не вытекает, что твоя правда, и никак не выходит, что должен я на Панкрышева работать не покладая рук, силу его против нас укреплять, пропади он пропадом!..» — Я вам сказал, Сергей Иванович, что я — как в сказке: направо поедешь — к Панкрышеву попадешь, налево — в революцию. Я за камень очень не заезжал, я тогда еще от деревни не обсох, и опять же — Зубковы, Маркичев, Хохлов, они пограмотней были, а я — ох, как я темен был!.. А Антон — работает, надеется, старается, он от сказочного камня вправо свернул, революцию он не одобрил, — «не дело, говорит, хочешь хорошо жить — работай, никто тебе не мешает, разбогатеешь, будет тебе почет!» — Работай!.. — а как так работать, чтобы мне мои труды вернуть, а не Панкрышева растить!? — Раздумаюсь об этом, бутылку куплю. Мы оба платичниками были, доличниками, вроде портных, святых в одежды наряжали, скука, а не работа, а работаем на людскую темноту и на надувательство. Произошла реакция после Пятого года, все притихло, царь в силе, празднует свое трехсотлетие. Вокруг тринадцатого года нам, иконникам, громадная работа была, — трехсотлетие дома Романовых. Года за три, почитай, был составлен царский маршрут, и везде обновлялись по этому маршруту церкви, в Москве, в Костроме, в Сузда-

ле, в Нижнем-Новгороде. Антон Иванович в отъезды ездил приказчиком, большие деньги зарабатывал, — весной четырнадцатого года заложил на Палехе льномаслобойку, в силе человек, в почете, все ему кланяются. А я в Москве, борчатка на моей жене совсем износилась, дети до школы досрости, рты о себе сказывают, к Коршу я уж перестал ходить, гривенники на карандаши и на тетрадки пошли детям, дело на россчет наклонялось...

Это Сергей Иванович знал. Все было б совершенно ясным, если б это было эпоху тому назад, если б не было революции. Антон поставил бы маслобойку. Роман Архипович похоронен был бы на Рогожском кладбище, быть может, спился б. Рядом с ним полегла б его жена. В Москве остались бы трое парней, быть может, иконописцев, быть может, ломовых извозчиков, быть может, рабочих с фабрики Гужона. Это был постыдный труд, нечестный труд — иконописание. Люди, конечно, не уважали своего труда. А это самое страшное — не уважать свой труд, то-есть, по существу говоря, не уважать своей жизни. Роман Архипович был и жил перекати-полем. Антон... — происходило трехсотлетие дома Романовых, торжество империи! Антон расписывал церкви по луту империи от Ипатьевского монастыря до Москвы. Антон был в режиме. Конечно, Антон был бы в почете. Роман был бы похоронен, как жил, перекати-полем, крест на его могиле сгнил бы в два года, и все было бы «честь по чести» забыто... А жизнь, когда человек — не человек, а вобла, а икринка от воблы в потоке «империи»...

Роман Архипович рассказывал:

— В четырнадцатом году началась война. В пятнадцатом нас, бородачей, белобилетников, взяли в сто восемьдесят второй пехотный запасный полк, воевать за царя-батюшку. Махнуло меня в армию с пятнадцатого по двадцатый год. Из царской армии в Красную перешел я добровольным, хоть и непартийным, большевиком, — вещь понятная, — я самого себя открыл. Когда я в Палех приехал, по осени двадцатого

года, после ранения, Фима моя жила в избе, совсем в землю зарывшейся, точно шапка набекрень на голове у казака, и, кроме мерзлой картошки, ничего у Фимы в доме не было, — куда там корова или поросенок, тараканы не жили!.. А рядом с моим домом стоит дом Антона Ивановича — полная чаша. Антон раньше меня от солдатчины отделился, вышел в возраст с царского фронта и поселился на скопленную жизнь. Сейчас я вернусь разговором к Антону Ивановичу, а пока сообщу вам революционные мои мысли. Я, оказывается, и самолюбивый был, и место имел себе в жизни. Не уважал я в старой России трудиться, и не то, что трудом праведным не наживешь палат каменных, а сами посудите — иконы!.. Началась революция, батюшки мои, прозрение глазам!.. — и понял я — вовсе я не был бездельником и ветродуем, а не хотел в очередь под ярмо становиться, не гнался за грошом, грош ему ломаный цена! — Это мне революция объяснила. И не один я был такой, у которого с глаз повязку сняли, а миллионы и миллионы русских людей. Какие чудеса наделала революция для миллионов людей трудового народа!.. — Антон Иванович до революции — это, да, авторитет, — и вдруг после революции понял я — ничего подобного!.. И суди сам, Сергей Иванович, я ведь на самом деле был до революции вроде ветродуя, — а, как началась революция, я работаю и работаю не покладая рук. И чего я не боюсь — это работы. И от чего я страдаю и чего больше всего боюсь — это, если плохо работают сейчас у нас, и не только у нас, в Палехе, а во всем Союзе, — я теперь государственно думаю!.. Вождем, вроде Вицина, я не стал, — не стал даже партийным, вроде Колесова, — я сочувствующий бедняк. Богатым я тоже не стал, — а спусти со всех мужиков по нашим местам штаны — под штанами подштанники, лаптей больше не носят, все колхозницы одеколоном мажут... Работа!.. мне пятьдесят седьмой годок идет, старик, подагра, раны, — а я на рысях живу и все в работе, и в удовольствии. И вот, что еще оказалось, — правильно, оказывается, я жил до револю-

ции, справедливо, — вот что чуднее всего оказалось!.. — конечно, можно было бы и лучше жить, итти на драку с царем еще с Пятого года, — но тогда я был бы героем, а не богомазом, а я простой человек и бывший иконник. Я весело газетку прожил! — я по театрам ходил, газетки читал, книжечки, — любимая жена не мучилась от меня в одиночестве в молодые наши любовные годы, мы проснемся с ней утром и хохочем, нам весело и беззаботно!.. Не будь революции, — что бы со мною было? — я бы под детьми сдохнул бы, — а теперь мой старший сын — дорожный техник. Но я до раскорчевывания мозгов еще не досказал. Этому дело впереди. Приехал я домой — беспартийный большевик, пошел я ко всежизненному моему другу Антону Ивановичу, поцеловались троекратно, по порядку, сели за стол. Дом у него — хоромы, хозяйство — полная чаша. Не вышло у нас разговора. Антон спрашивает меня, — «кто же ты будешь теперь?» — я ему отвечаю радостно, — «я за большевиков!» — Он крикнул, сказал недовольно, — «таак»... — «А ты кто будешь?» — спрашиваю я. — «Эсер», — говорит и крикнул. Я говорю на радостях, — «карта твоя бита, Антон, зазря лучшую половину жизни прожил, зазря копил!» — Антон Иванович отвечает не весело, — «выходит, что и зазря, было у меня в банке восемьсот рублей на текущем счету, я их получил обратно, когда пуд муки миллион стоил». — Я ему, — «революцией» стало быть, не доволен?» — «Просчитался». — Я ему, — «надо заново жить, ты ведь в обществе живешь, стихия против тебя попрет, тебе дальше еще труднее будет, Сафонова раскорчевали, Юрова, Парилова, Белоусова, Солоутина, Шалагина ликвидировали, нашего Панкрышева похерили, — ты, говорят, с Панкрышевым дружбу ведешь. — Ты льномаслобойку зазря завел, ты ее лучше обществу отдай, а то отберут». — Он, — «всю жизнь я во всем сам себе отказывал, людей не обижал!» — Я ему: — «ну, насчет того, обижали мы или не обижали людей, — помолчим, — иконы-то мы ведь вместе с тобой писали», — и



добавляю, — «Антон Иванович, всежизненный друг, чтобы ты меня понял справедливо, первое и последнее тебе слово скажу — я с тобой, как с братом, разговариваю. Ну, прожили вместе жизнь, знаю я ум твой, ну, и темноту нашу общую знаю, ну, и Пятый год помню, как ты его стороной обходил, — не об этом речь, — винить я тебя не собираюсь. Решим, что ни в чем ты не виноват, — да жизнь до революции была виновата, а ты опирался на тот жизненный строй, и он тебя обманул, а не революция, пойми ты мою философию!.. — другие тебя не так знают, как я, видят — водится с Панкрышевым, видят — богатый, стало быть, жулик, вор непойманый, если хорошо поспел в богатстве!.. Ты говоришь, просчитался с революцией, — пересчитывай заново, жизнь дороже твоих богатств, — супротив новой жизни не становись!.. — ты с пуда на маслобойке берешь два с половиною (фунта, — как же ты не кулак? — у тебя рысак для праздников, а я от Шуи пешком драл, раненый. Отдай маслобойку обществу, — приди, поклонись, поклонившись, скажи, — жертвую маслобойку революции, — и будешь ты, как все, — не отдашь, силком отберут, — и будешь ты, как Панкрышев, последним человеком!» — Уперся Антон, спрашивает: — «был я жуликом или нет?» — «Ну, был немножко, говорю, скажем, что — нет!» — «Своим бережением я добро накапливал?» — «Своим-то своим, да иконным, — ну, скажем, — своим». — «Значит, все это мое и, если у меня что отберут, значит — ограбят, значит — грабители, значит — и ты грабителям помогаешь, а говоришь, что друг. Маслобойка моя, — на свои деньги ее делаю, не хотят, пусть не ездят на мою маслобойку!..» — Я ему, — «Антон Иванович, не ездить же революционному народу в другую волость за двадцать километров! — а с другой стороны, у тебя есть маслобойка, а у других нет, потому что ты в темной воде рыбу ловил!..» — Не вышло у нас разговора. Ушел я от него в сердцах, — жизнь с человеком прожил, другим человек был, — а второй раз к человеку пододвинуться трудно.

Сергей Иванович вместе со своим поколением отлично помнил ту замечательную эпоху перестроения правд, убеждений и верований, эпоху, когда все земли теперешнего Союза доказывали свою правоту всем, и в частности винтовкою и топором в руках, когда в метели событий все тверже и крепче вычерчивалась рука пролетария, бравшая в себя и правду, и время, и земли, и людей.

Роман Архипович рассказывал:

— Теперь я расскажу тебе, Сергей Иванович, о Панкрышеве. Был он лет на двадцать нас старше. Ну, был полный буржуй. Старший сын его и теперь в Москве адвокат, двое других сыновей в белой эмиграции, дочь в Ленинграде замужем за инженером. В отличие от Сафонова, Панкрышев был вполне грамотный человек, хоть и богомаз, — ему грамота против Сафонова помогала. Дача у него для детей в Малаховке была, а сам летом всегда в Палех приезжал, рыбу удил в Люлехе, с раннего утра чаи гонял, к чаю к нему могли все, кому не лень, приходиться. Он сидел, как венгерец, в пиджаке под названием пиджам, лаковые туфли на босу ногу, — и рассказывал перед всеми про свои капиталы, про дома, про детей, как они учатся, какие у него приятели графы Уваровы, археологи. У нас так и говорили, — «пойдем к Панкрышеву чай пить, слушать, как хвастает!» — И так целое лето, пока всего не выбалтывал. Со стороны поглядеть — добрый человек Панкрышев. Пришла революция. Разорили Панкрышева во моргновение ока. Он подался в Палех, и — то ли сам сжег, то ли подпалили его — сгорел его дом. Исчез Панкрышев. Новое лето пришло — появился Панкрышев. И не узнать человека. Бородатый, в бороде крошки, босой, в портках, надо поискать рванее, да негде, рубаха до пупка разорвана, а на груди оловянный крест! Жить ему негде, ночевал в разоренном кирпичном берлине, в Заводах. Целые дни ходил по Палеху под окнами и предлагал календари, а календари прошлогодние. Вместо икон календарями торговал. И — совсем ненормальный человек. Предложит календарь, его, конечно, не

купят, а он привяжется к человеку и расскажет ему, какой он был богатый и знаменитый, и что у него было, а теперь пропало. Не дай бог спросить его, — «неужто уж так жизнь обернулась, что опорок ты не можешь достать себе или рубашку зашить?», — целый день будет рассказывать, как его зорили. Были наши в Москве, слышали — Панкрышев и в Москве по трактирам, где больше богомазы бывают, с прошлогодними календарями ходит, зимой босиком. — «Дети-то, что ж смотрят?» — спрашивали. — «Дети, говорят, от него мучаются, ничего поделать не могут с ним, сын сколько раз его обувал-одевал, — а он свое». — «Где ж он живет-то?» — спрашивали. У сына, говорят. Чудно, — сын адвокат и такое допускает. Были наши опять в Москве, зимой. Один наш зашел к Панкрышеву. Позвонил в квартиру сына. Отперла незнакомая женщина, — «вам, говорит, Егора Парфентьевича? пожалуйте в его комнату!» — Входит, картины висят фряжского стиля, ковер, диван, господский порядок, и выходит к нему Егор Парфеныч — в сером костюме, в желтых баретках, барин-барин, от дореволюционного обличия только одна борода, да и та чистая и причесанная, не то, что у нас в деревне, в крошках. Диву дался наш парень, спрашивает, — «как же это, мол, Егор Парфеныч, какое у вас обличие-то в Палехе, у нас, мол, на вашего сына пеняли!»... — А он ему, — «сын у меня — не нахваляюсь, сам видишь, как я живу дома у сына, — а хожу я босой назло, чтобы в рыло людям тыкать, до чего людей в революции доводят, что от революции с людьми получается, — нате, мол, мерзавцы, любуйтесь наглядно, что от революции с хорошими людьми получается!»... — А вечером в тот день его видели в пивной — входит с календарями, на голой груди крест, борода клочьями, в крошках, ноги босые, а зима. Все в Палехе от Панкрышева — в сторону, — и появился у него друг — мой всежизненный спутник Антон, время вместе проводили. Умер Панкрышев за лето до коллективизации у нас в Заводах, в разваленном берлине, в яме, босой, вонючий, со крестом на груди, — его

никто хоронить не хотел. насилу схоронили, — а в гашнике у него золото и бриллианты зашиты. Мальчишки после его смерти в берлине играли и нашли там в обжижной яме секретный склад: копченую колбасу, печенье, две бутылки портвейна!.. Вот тебе, Сергей Иванович, какая сверхъестественная сволочь этот Панкрышев! — а первый друг Панкрышева — Антон Иванович.

Сергей Иванович подумал, сопоставляя иконника Панкрышева с иконником Калашниковым:

«... ну, да, — эти были бы вместе. Павел Павлович сидел бы за геранями на стульчике у Панкрышева, смотрел бы во мрак угла святыми своими глазами и говорил бы только, — «святые, святые, таинственные, таинственные дела творились в великом городе Угличе, в одном из трех древнейших русских городов... святые дела творились со святым царевичем Дмитрием!...»

Роман Архипович рассказывал:

— А первый друг Панкрышева — Антон Иванович. Непонятно и горестно за человека... Теперь я расскажу о покушении на убийство и о пожаре, а затем о раскорчевывании мозгов. Революция идет своим чередом. Я прибилсь к комитету бедноты. Антон ко мне ни ногой, я к нему тоже, — решил, кланяться дураку не буду. И началось с избы, — дом у Антона — пятистенка, четыре комнаты, кухня, полутеплый сортир. Кроме всего прочего и самым первым делом — революция есть народное образование и коллективный труд, и дело не ждет. У нас артели обговариваются, — художественная строчевая, сапожная, валенщиков, — мы школы делаем. В комитете бедноты говорят, — основных буржуев мы раскулачили, а кое-кто еще остался. Антона поминают, — не дело ребятам в закутках учиться, да и старикам пора ликвидировать необразованность, а денег нету, а матерьялов нету, а ждать некогда, революция в самом разгаре, — и дорожка ведет к антоновому дому. Решили поставить вопрос на пленуме сельсовета, чтобы всенародно было решено, а пока что молчок, ни мур-мур, — Антон Иванович один сам-три, а детишек — по сорок человек в классе. Несправедливости

я не чувствовал, потому что сам себя подставлял на место Антона, я б не задумывался, отдал бы, — ведь жил же я в каморке и имел смысл жизни, а у Антона при маслобойке сторожка из двух комнат с русской печкой. Это значит так, а с другой стороны — прожил ведь я с дураком жизнь рядом, знаю человека. И надоумился я сдуру, — пойду к дураку, последний раз пойду, скажу ему, как другу, — сам отдай, в строю будешь, — все одно, раз решили, значит, отберут, охолостят, ославят. — Сейчас хорошо знаю, — сделал по нераскорчеванности моих мозгов, а тогда не знал, — к тому и клоню рассказ. Не вытерпел, — пошел к Антону. И пошел к вечеру, с задов, незаметно. И было это, надо полагать, не больше пяти минут. Встретил меня Антон Иванович на кухне, никого дома не было, он один. Теперь я знаю, Танька за Маньку, Манька за Ваньку, — были у Антона в комитете бедноты уши, шила в мешке не утаишь, знал он про наше решение. И вижу — не человек передо мною, а волк. И вижу — нет у Антона Ивановича глаз, провалились, дырочки вместо глаз. И вижу, в руке у Антона Ивановича топор, и поднимается медленно рука... Я тебе говорил, Сергей Иванович, я пять лет на войне воевал, — как я хряпну Антона Ивановича по морде изо всей силы, он с ног долой, а я повернулся и вышел. Иду и думаю, — «это чтобы за народную идею топором рубать, — маком эти шутики! — волков я всю жизнь не любил и на фронте научился, как с топориками обращаться, эти шутики бросьте, Антон Иванович!.. Что же это получается, думаю, из-за избы, из-за дерева, стекла да железа на друга топор поднимать? — и что же это такое, где же справедливость? — я ведь к тебе, адиуту, как к старому другу, а ты сам себя губишь!» — А потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо быть, сам себе вслух сказал, — «ну, а я-то? ах, дурак, дурак!.. Я-то что же провокаторм революции оказываюсь, — ведь если пойти другим кому сказать, — мне не то только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпиёном оказываюсь, я к кулаку ходил

наши революционные карты открывать, я кулацкую руку держу, — тебя, шпиёна, мало, что кулак хотел зарубать, тебя еще советская власть наказать должна за измену пролетарскому делу!»... — Теперь признаюсь, я даже струсил, — и решил про себя, — молчок, конец, больше — ни к Антону, ни в антоновы дела! Точка! Молчу. Теперь знаю, что опять сопортюнил по нераскорчеванности мозгов. Никому ничего я не сказал. Когда дом у него отбирали, я в сторонке, маслобойку, рысака, я в сторонке, — когда при мне говорили о нем, молчал. А иной раз я даже думал и даже ждал, — придет, скажет, переломится, покается, станет на народную сторону, в ноги мне поклонится. Трудно человеку было, — отобрали дом, отобрали маслобойку, отобрали лошадей, — и он тоже молчал. Ездил куда-то на заработки, приезжал обратно, — молчал... А потом пришла коллективизация сельского хозяйства, и когда она начиналась, Антон Иванович в одну ночь спалил — прежнюю свою пятистенку, маслобойку свою — и спалил заодно мой дом... Это и есть опортюнизм, что я кулака на воле оставил!.. Сергей Иванович, не об Антоне надо разговаривать, — о живой жизни надо говорить и о труде, о миллионах и миллионах людей, которые до революции в нетях жили, а теперь являются замечательными гражданами и трудовиками!.. я в колхозное дело с головою ушел, я для общества работаю, я гражданин государства. Мои мозги теперь раскорчеваны. И об этом теперь прямой мой рассказ. Я говорил тебе, с декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытьи Большой Волги канала, рассказывал я тебе историю с красным знаменем и о разговоре моем с ссыльным бригадиром. Так вот этим самым ихним бригадиром и оказался мой всежизненный друг Антон Иванович.

Роман Архипович помолчал, покурил, сказал:

— А я спрашиваю Антона про красное знамя — ну, и как, мол, ты теперь проживаешь?

«... — Не тебя, Роман, — он говорит мне, — я сжег, не старый мой дом, не

маслобойку мою, а сжег я — самого себя, старую мою жизнь, старый мой жизненный смысл»...

— Ты вот на знамя работаешь, — ты что же, в сам-деле коммунистом стал? — так и прешь со своей бригадой...

«... — Нет, мы не коммунисты, — обернись дело»...

— Ну, и не кашься ты?

«... — Нет»...

— Ну, а обернись дело, — убил бы меня?

«... — Обязательно убил бы! — самый большой у меня праздник был, когда я твой дом палил! — обернись дело, я и с тебя, и с Зубковых, и с Маркичевых, и с Котухина, и с Вицина, и с Колесова — шкуру своими руками сдеру, освежую вас и плакать не позволю!»...

— Вот я тебе, Сергей Иванович, и рассказал об окончательном раскорчевывании моих мозгов. Класс на класс — все равно, что с глазу на глаз, — никакого опортюнизма, начистоту. И это есть окончательное пролетарское сознание. Об иконках надо окончательно забыть и не поминать!... Он мне всю свою жизнь рассказал, я тебе передам, Сергей Иванович, ты опиши кулака. Сели мы вечером в тихом месте, на плотине, и проговорили всю ночь. Он мне говорит:

«... в деревне — мрак, вонь, нищета, голод, мы все олифой пропахли, — а Москва — что ни дом — заглядение, наряды, пища, роскошь. Я лежу на нарах в мастерской, слушаю про богатство, — чудеса! Я иду к Панкрышеву на квартиру с праздником поздравлять, — пол у него воском натерт, в прихожей фигуры растут, дочка его за дверями ходит в кисейном платии, как херувим, — сам Егор Парфентьевич выйдет в сером пиджаке и в желтых полсапожках, — красота!.. И мне от этого никак не весело, останусь один, думаю, завидую, — «почему же моя такая разнесчастная доля, что я хуже других, что ли?» — И дело наше — иконы, знаю — жульничество, народ обманываем, тоже не весело. Я людей боялся, — я от них мало добра видел, — я так понимал, что, — если я с дорожки не столкну, меня столкнут. И

решил я, — неужели я хуже других?.. — возлелеял я в себе мечту, — буду каждую копейку беречь, буду копить, — дом себе построю за забором, собаку у ворот привяжу, цепь на калитку пристегну, от людей спрячусь, буду землю пахать, на маслобойке работать, ни от кого не зависеть. Я ведь почему от иконы хотел уйти? — хотел отстраниться от жульничества! — я все справедливо понимал. Думаю, — обязательно добыю своего. Думаю, — каждую копейку считать стану, — не может того быть, чтобы правды на земле не было, — добыю правды!.. Наказал я себе урок, — дом поставить, пятистенку, лошадей, коров, овец довести до полной нормы, маслобойку справить, а сверх того скопить тысячу рублей, — и тогда — в деревню, жить по совести. Ну, своего труда я не жалел... ну, и хозяйского добра — тоже, — я ведь видел, как хозяин работает, — золотице там, краска, кипарисовое дерево... Ты думаешь, меня завидки не брали, когда ты с Фимой в театр ходил, а я сидел, на сторону работал потихоньку от хозяина? — или не стыдно мне было, когда ты кликнешь меня, поднесешь мне стаканчик, — а я и богаче тебя, а только и подношу тебе, что спасибочки?.. Это верно, завидовал я тебе, я всем завидовал, но мечта моя и характер брали верх, — я, мол, зато избу новую поставил, богородку купил... И — как я мечтал! — лягу у себя в мастерской на нарах, свет пригасят, а я вижу в темноте, наяву, как я дом отстраиваю новый, какие в нем будут рамы, — думаю про рамы, а они наяву передо мною в темном помещении около потолка, как я нетеля в свои ворота ввожу, как нетель упирается у подворотни, дурашка, как я ее глажу за ушами и кусочек сахара ей сую, а губы у ней теплые, мягкие, сырые... как баба моя на крыльчке стоит, руки скрестила, груди подперла... эх, что говорить!.. Страшное дело — мечта! — просыпался я до света, жил в общежитии от всех в стороне, кроме хозяина, никуда не ходил. Боялся, если позовут, — потому отвечать надо на угощение. Сажу над иконой, расписываю полаты, а сам думаю, — «сегодня Але

ксей божий человек, телегу, телегу надо налаживать!»...—сiju сверх времени, а сам думаю, — «время к полночи, не за-была ли Ариша коровку подоить, не за-спала ли?»... и сержусь на нее. На две жизни жил, — и не год, не два, а два десятка лет. Надо сказать верно, — меня уважали, а еще больше того боялись, — Панкрышев меня «приказчиком сделал, у нас с ним рука в руку. И в деревне все мне кланялись, — тогда такой строй был... Это все верно, Роман. Девятнадцатого июля девятьсот четырнадцатого года мне осталось копить до полной моей мечты сто восемьдесят три рубля, а скопленные восемьсот двадцать семь рублей я получил из банка, — и то обманом, в девятнадцатом году, когда мог купить на них пуд муки... Эх, и страшная для меня началась жизнь! С фронта в деревню я волком приехал, тайком, дезертировал. Какое рушение происходило, как я понимал, — земля на дыбки становилась. Таких, как ты, больше при царе было, чем таких, как я. Вам все нипочем было, войну—долой, царя — долой, усадьбы — жги!.. Вы рушили все со зла на империю, я так понимал, и потому, что сами ничего не копили. А писем из деревни нету, что там делается, — может, и там рушение, я записался в эсеры, а потом бросил винтовку, не стерпел от тоски по дому, три дня по ночам кустами с фронта утекал, сел на крышу на теплушку и поехал на вольном воздухе с юго-западного фронта через всю Украину. Разное, конечно, было, а что я вижу? — под'езжаем к одной станции, к теплушкам женщины бегут безо всякого страха, — «родимые, говорят, у нас тут сахарный завод мужики делили, на душу пришлось по двадцать четыре пуда, — не надо ли кому сахарку?» — под'езжаем к другой станции, к теплушкам старики и подростки, — «братишки, говорят, тут мы спиртовой завод делили, спирту не требуется?» — на третьей делили мельницу, — на одной станции старичок вышел — не старичок, а иконостас, весь малыми в золотых кружочках помещичьими портретиками увешан. На крышке у нас от скуки в три листика

австрийские винтовки проигрывали. Я ведь знал, что такое копить, — я и вижу только одно рушение, — сiju на крыше и думаю, — «неужели и меня порушили?» — А тут идет разговор, — на месте обязательно дезертиров ловят, — неужли и я в разбойники попал!?. — «Скорей бы домой, думаю, там иконники меня знают, скорей бы об'яснить, что я свой!» — и на грех ко всему — иконы, — ведь сказать на крыше, что я богомаз, с крыши выкинут, как жандарма какого!.. Всю жизнь уважаемо жил, все ко мне с почтением и страхом, и — на-ко вот, как оборачивается, на крыше жуликом еду. На фронте я не боялся, два «георгия» имел, —сiju на крыше, то спрячу «георгиев», то опять нацеплю. И ничего не понимаю, и спать не могу, душа болит, беспокойство, страх. Слез в Шуге, к Палеху ночью подошел, темно у Люлеха в кустах прятался. Иду к своей избе — руки потеют, сундучок в руках не держится. Допрежь того, как поступать, дом кругом обошел, беспорядку ждал. Собака залаяла, я голос узнал, я ее еще щенком из Ипатьевского монастыря привез, порода — дог. Услышал лай, — обрадовался. Стучу. Отперла жена. Дезертиров, говорит, не ловят, почитай, вся округа в дизиках. Я вздохнул полной грудью. Всю ту ночь не спал. Всю ночь осматривал хозяйство, дом, двор, руками щупал, на крышу лазил, в подвал к картошке спускался троекратно, — с телушками, с овцами, с лошадьми — без малого, что не расцеловался, а обниматься — обнимался. Мое! хозяин! — достиг мечты! — никому ничего не обязан и ничего больше не желаю!.. — На рассвете велел баню истопить, а до бани усадьбу три раза обошел кругом и на Палешку, на маслобойку бегал. Выпарился, лег спать. Проснулся ввечеру, Ариша говорит, — «соседи, родственники приходили здороваться, спрыснуть возвращение в целости и невредимости», — а мне видеть никого не хочется, — мне бы маслобойку наладить, мне бы лошадь новым скребком — с фронта привез, австрийский — вычистить. Сказал жене, — «раньше завтрашнего вечера никого ко мне не пускай, запри ворота, а к вечеру купи са-

могону!» — А на другой-то день вечером собрание какое-то было, никто ко мне не пришел, я этому порадовался, — не требовалось мне людей. Через неделю Ариша говорит мне, — «прозвание тебе на селе дали — Бирюк», — и я сам выду на улицу, поговорю с соседом, чувствую — нету ко мне прельней приветливости и почтения. — «С чего бы?» — думаю и — без внимания. Пришла весна, я в поле. Иконное дело кончено, все за лошадей хватаются, а у меня — пожалуйста, все приготовлено, работаю и наслаждаюсь, все у меня хорошо, а кругом у иконников голод, недостача. С лошадьми они обращаться не обучены. Я никуда, ко мне никто. Мне чуть-чуть обидно, однако, все без внимания... Это верно. А спокойствия нет. Нету спокойствия. Еще собаку завел. С вечера дом обойду, все запоры проверю. Ночью просыпаюсь, иду с топором маслобойку проверить. Просыпаюсь от сердечного укола, вскакиваю, сердце бьется, сам мокрый, страшно, — прислушиваюсь, — тихо, — «что же это, думаю, достиг жизненного счастья и опять страшно, — кого боюсь? — к чему бы?» — Беру топор, иду хозяйство осматривать, а на двор выйти боязно, а еще георгиевский кавалер. Днем иду по слободе, соседи, родственники навстречу, а у меня вроде шапка к голове прилипла и язык лыковый. По ночам думаю, — «Панкрышева боялся и ему завидовал, теперь народа и революции боюсь и им завидую, — где же справедливость? — что же это будет? — хозяйство в порядке, все есть, все в исправности, живу, как хотел, от людей освободился, а покоя нет и вроде как первый товарищ топор, — как же это так получается? — почему у меня с народом неполадки? — го почетный человек, а то шапку от головы отодрать трудно, Бирюком прозвали!»... — Часто я тогда поминал тебя, Роман, — ветродуй ты, но мозги у тебя попроворней моих были, и ты к людям липнул, — я и думал, — «эх, где теперь нечистая сила Романа носит, — я бы с ним по сердцам поговорил бы, спросил бы его, как и что, откуда какой ветер дует и что несет, ты бы шутку мне сказал, мы бы посмеялись вместе и, гля-

дишь, сообща бы что-нибудь и наду-мали!»... — Прошел так полностью девятнадцатый год, прошло время до октября двадцатого, революция полыхает, — что Сафонова — Парилова, и того раскулачили, я уж о себе остерегаться начал, — а революции не видать конца-краю... И приехал ты. Очень я тебя ждал, Роман, и радовался тебе. А ты мне, — «карга твоя бита, Антон, зазря лучшую половину жизни прожил, ты маслобойку лучше отдай обществу, и так уж тебя Бирюком прозывают, говорил я тебе об этом еще до революции!» — О почтении ко мне и помина нет. Не то, что у нас разговора не вышло, а ушел ты от меня лютым врагом не на жизнь, а на смерть. Что я просчитался, я и сам видел, зазря лучшую половину жизни прожил, покоя не приобрел, — и не то, что не приобрел покоя, а с топором стал спать, от жены отмалчиваюсь, ночью, как Каин, в поту вскакиваю, — но ведь маслобойку-то, ведь каждую раму-то в окне, ведь скобу-то на пороге, ведь последние мои портки я копеейкой, своим бережением нажил — ведь в каждой камушке, в каждой тесинке на маслобойке и бережение мое сокрыто, и соесть, — ты думаешь, не страшно мне было у Панкрышева на носу — на его досках, его краской на сторону писать?.. — ведь я тебя-то, Роман, для поддержки ожидал, для помощи, как брата, может, я твоей защиты искал, — а ты... Несправедливо, разбой, — и разбой этот прикрывает мой извечный друг, то-есть ты, Роман, — ведь это все равно, как если ты руку или ногу у меня отрезать собирался, — ведь это есть мой жизненный смысл! — «Был я жуликом?» — сам я себя спрашиваю, — нет, — «Своим бережением я добро скопил?» — своим. — «Значит, все это мое, значит, ежели отберут, — ограбят, значит, — грабители! и первый грабитель — ты, Роман!»... — Ночей не спал, работать не мог, есть не мог, позеленел, руки все время в поту. Решил про себя, — «ничего не отдам, через тело мое в маслобойку впущу». — Ясное дело, я никуда, ко мне никто. Однако — дочка в клуб, дочка матери, мать — мне, — собираются мой дом отбирать

под открытие новой школы, решили в комбед, а в комбед, между прочим, и ты. Нельзя сказать, что я тут пережил, даже, если верно сказать, у меня мозги отшибло, я, как чумовой, был, я даже не помню, что я думал, что я делал и как время прошло, — только знаю — больше всех тебя, Роман, ненавидел, — решил, ты всему делу закваска!.. И вдруг вижу в окошко — идешь ты ко мне. Жена была вместе со мною на кухне, дочка в горнице шила. Цыкнул я на жену с дочерью, — надо быть, вид у меня был страшный, у жены из рук ухват повалился, и покорились они обе мне беспрекословно, на цыпочках ушли в дальнюю горницу и замерли бесслышно, хоть и видели и тебя, и то, как я топор на лавку положил... Ловкий ты, Роман, оказался... а иначе я убил бы тебя, обязательно убил бы, и до сего часа не могу сказать, раскаиваюсь я или нет... Встал я с полу. Тишина в доме, как в гробу. Сколько времени прошло, не знаю. Только вижу на пороге, как тени, без единого шороха, жена с дочерью, в обнимку, прижались друг ко другу, и лица у них белые, как у мертвцов, мертвые лица, без единой кровинки, а глаза, как фонари... Тут мой рассказ, Роман, под горку пойдет — или на гору, как тебе покажется, Роман Архипович. Решил я, — донесешь ты, — стал ждать, как меня придут арестовывать. Раскаивания во мне никакого не было, а был страх, — эх, в погреб, что ли, спрятаться или под лавку залезть, мешками прикрыться?! насилие удерживался, чтобы на самом деле не прятаться. Я себя кругом правым считал, а всех — разбойниками. Ждали две ночи и два дня, жена и дочь со мною дома, вечером огня не зажигали. На третий день ввечеру послал жену к соседям, вроде углей горячих попросить, спичек тогда не было, — дескать, сплосшали с огнем, — а дочь погнал в соцкультуру, в клуб, в бывшие сафоновские мастерские. Жена с дочерью вернулись, — ничего не слыхать, ты в комитете пропадаешь, налаживаешь революцию со всеми безлошадными, о нас никакого разговора нет. Говорю, раскаивания во мне не было. Прошел страх за убийство, — опять вернулся страх за

владения, опять не сплю, обратно в памяти все рамы и переборки перебираю. Дочка сказала, — назначен сход, приедут из уезда, будут решать про нас, — еще больше мучаюсь, ух, как мучаюсь!.. — Темное дело — собственность, страшное, я тебе скажу, дело. Собрался сход, я, конечно, на нем не был, дали мне три дня сроку сложиться и выехать на маслобойку. Эти три денечка я рукой не двинул, женщины все укладывали и ворочали. Я лютее волка был, свет и мир людской ненавидел. И яснее ясного мне было, что происходит денной грабеж, и самым большим грабителем я считал тебя, Роман, — ну, что, мол, разжился я от Панкрышева кое-какими золотами, — тебе-то зачем об этом болтать? — тебе-то мешали, что ли, то же делать? — и я думал, ты потому на грабеж не приходишь, что тебе стыдно в глаза мне глядеть. И тоже надо сказать — боялся я на самом деле, как волк, которого живьем изловили, людей боялся, своих собственных соседей и родственников. Где мое почтение, где мое бережение, — тью-тью!.. Женщины скотину вывели со двора, — сено, овес, муку, сундуки, столы, шкаф свезли, — спросили меня, как с собаками быть? — одну я оставил, а другую велел вести на новое жительство. И пришло время, жена сказала, — «прибежали из совета, велели сказать, через полчаса новые владельцы придут!» Насилу з..... я оторвал от скамейки. Думаю, сейчас весь мир порушится, а он стоит себе невредимо. Поднялся, глаза в землю, вышел на зады и пошел на новое жительство, как есть волк и еще лютее волка. — «Погоди, Роман!»... — думаю. Пришел. Женщины уж кое-какой порядок навели. Лег я на кровать и — сразу заснул, как убитый. Вот я и говорю, что рассказ мой под горку пошел и темное дело собственность. Проснулся, — светло, мороз на окне играет в солнышке, женщины на кухне возятся, пахнет из печки хлебом. И чувствую в себе — чудное дело — покой!.. — чудно, разве это статочное дело, а — покой! — не сравнивать с тем, что было, пока я из дома собирался. Встал, помылся, помог кое в чем женщинам, — покой! — Спать лег спозаранку.

ночью ни разу не просыпался и никаких снов не видел. Чувствую этот покой и сам себе удивляюсь. Ненависть осталась, этого не надо забывать, — и месть осталась, — «погоди, Роман, и на нашей улице будет праздник!»... А про жалость надо сказать, — до тех пор, пока я не отдал дома, пока я только ждал, как его отберут, — жалость была во сто раз больше, чем как перестал я быть владельцем. Ночью сплю без снов. Хоть бы и другую собаку в старом доме оставить. А, кроме этого, работы стало меньше, дом меньше, грязь меньше. И совсем уж не так плоха была моя сторожка, многие у нас в деревне, и тебя, к примеру, взять, хуже жили. А злорада, а ненависть — ух! — ко всему человеческому роду. И особенно ненавидел я эти самые разговоры про классовую борьбу. Через два месяца у меня маслобойку отобрали. Опять неделю мучился, пока собирались отбирать, опять ночами не спал, жена меня за руки держала вместе с дочерью, — собирался маслобойку палить. Отобрали, повесили свой замок, разгородили двор, — опять лег спозаранку, спал до бела дня, и опять проснулся — покой! — чудеса!.. — А кроме покоя, — досуг, дела, почитай, совсем никакого не осталось, — какое там дело: лошадь убрать, за дровишками с'ездить. Свели коня со двора — опять еще покойней. Жалости уж нет никакой — пропадай все пропадом к чортовой матери вместе с Россией! — Я так понимал, что со мной вместе весь мир рухнет, — думал иной раз, — «не может того быть, станет все попрежнему, тогда и дом, и маслобойку, и лошадь мне с лихвой отдадут, — мы тогда покажем, как грабить!» — я своими руками с тебя, Роман, шкуру содрал бы и плакать не велел бы!.. Ты понимаешь, Роман, если меня охолостили, — значит, все позволено, — дай старому вернуться!.. А ежели все на самом деле пропало, то, значит, нету никакого смысла жизни... Почему я сказал, что мой рассказ под горку пойдет? — потому, что самое страшное время было промеж того, как я тебя убивать собирался и как меня из большого моего дома выгнали. Сначала, как я приехал с фронта, я на людей

сверху вниз поглядывал, я сам к ним итти не хотел, я хотел один жить, без людей. Охолостили меня. И я уж поклонился бы тому и другому, поговорил бы, спросил, да вижу, — на меня уж и не глядят, не принимают во мне человека. В то самое время пришел ко мне Панкрышев с прошлогодними календарями и спрашивает, — «ограбили?» — «Ограбили», — говорю. И получилось так, что Панкрышев один-единственный мне посочувствовал, расспросил все по порядку и сердечно, без придури. Знал я цену этому Панкрышеву, но понимал — у нас с ним одна песня. Он все дурака валял, а со мною говорил, как человек, и доказывал мне, что и на нашей улице будет праздник. Я ему рассказал, как я у него золото подметал, — «наплевать, говорит, не то пропало и не то вернем, дай срок!» — Он один-единственный меня за вора не считал, оценил мои дела. Во мне надежда от его разговоров получалась. Охолостили меня. До революции я газет не читал, разве возьму у соседа, посмотрю происшествия, политика мне была без интересу, — а тут — стал Катюшку в соцкультуру посылать за московскими газетками. Вычитываю газетки до мозолей на глазах. Читаю и злобствую, выискиваю плохие места. Стал страшным политиком. Весна пришла, — выехал в поле, работал до осени. Все село вместе, а я один, молчу, работаю, — молодежь песни поет, а Катюша моя от своего стада отбилась. Одна я спросил ее, — «чего дома сидишь?», — она сначала стмалчивалась, а девка на выданьи, у нее своя судьба, мне понятно, — как заплачет она, как запричитает, — «тятенька, говорит, никуда я от вас не уйду, вместе с вами пойду в Сибирь!»... — Она первая про это заговорила. Яблоко от яблони недалеко падает, — пословица говорит. Мне никак не весело и злобно. Читаю газетки, нет для меня интересней политики, во всем вижу прореху. И злобствую. И жду, как сказал Панкрышев и как сам понимаю, когда нам придется действовать. Читаю газетки, — вся Россия все равно как наш сельсовет, заодно по газеткам получается. Весь мир против меня стал.



Скучно мне. Нету жизненного смысла. Несправедливость. А мужик я здоровый, надел мой обработать, малое мое хозяйство — плевое дело. А, кроме того, я ведь в Москве прежде, чем богородку купить, о всех коровьих породах книжечку прочел, про удобрения знаю, про корма. Прожил два года я в деревне, ждал перемены, — дела не делай, от дела не бегай. Смыслу в жизни нет, один против всех, — хочу работать, а к чему? — не знаю. И все ненавижу. Поехал в Москву, поискал кое-каких знакомых, — там все то же, что и в Палехе, — скучно, нет смысла. Из Москвы подавался в Крым на малярное дело. Скучно. Вернулся домой на весну. Лето отработал, поехал в Ленинград. Разговариваю про политику назло. Один раз меня по этому случаю в вагоне гражданин с верхней полки за бороду таскал, — и в вагонах, значит, молчать надо. В Ленинграде — опять скучно, подался на Волховстрой маляром. Каждое лето езжу на родину. Время идет, старею, а перевороту нет. Забытый я человек, вроде волк. И мне уж понятно было — маслобойка, скотина, дом, — не на них я работал, не их я потерял, — а потерял я цель жизни и существования, — у меня смысл жизни раскулачили, а не маслобойку. А революция полыхает, конца-краю нет. А газетки я читаю, капля по капле камень точит. Вот я и рассказал тебе, Роман, как я с горы скатился... Панкрышев все обещал да обещал перемены режиму и вдруг помер, не дождавшись мести, — а умер вонючий, вшивый, грязный. Ко мне пришли, говорят, — «твой дружок скончался, вашему иконописному богу представлялся, аки Симеон - столпник, иди, хорони друга!»... — Стыд посмотреть на человека. До какого унижения, до какого юродства дошел человек в несправедливости на революцию, — что же и мне ему вслед итти? — Не наоборот ли получается, — не то, что вся Россия вместе с Палехом против меня и Панкрышева, — а я против всех, против России и против народа себя поставил? — газетки правильно пишут — для народа, а не для Панкрышева. О тебе, Роман, вспоминаю, — выходит, не вра-

гом ты ко мне приходил, действительно, просчитался я молодой жизнью. Выходит, не в вещах вся суть заключалась, — только вот без них нету цели жизни. Ну, был я полужуликом, а теперь становлюсь в полной мере заодно с Панкрышевым, — однако, старому-то миру я кланялся, Панкрышева дяденькой смолода называл, на праздниках в прихожей у него стопку пил с умильной харей, — почему теперь миру не поклониться, какая тут гордость, панкрышевская, что ли? — Умер Панкрышев, — «это что же, думаю, Панкрышеву вслед итти приходится?!» — И думаю, — вдруг открывается дверь и входишь ты, Роман, и я тебе говорю, — «твоя правда выходит, Романушко, ведь не жулик же я на самом деле, ну, согрешил, ну, ошибся, — ну, прости меня, я в ножки поклонюсь, я сознаю свои ошибки... Дом отобрали — пропади он пропадом, из-за барахла до революции горб гнул а после революции в волчье состояние попал, — будь оно трижды проклято, это барахло!.. В моем доме школа, — так разве это неразумное дело, что ли? — или обществом, без межей и наделов, по государственному плану, землю пахать, дорогие машины купить, — разве это не резон?! — разве я не понимаю, что большевики, ну, и ты заодно с ними, народу добра желают? — ясное дело, добра, а я?.. — прости меня, Романушко!»... — Так я сам про себя рассуждал. Рассуждение, казалось бы, правильное... А получилось совсем иначе... Умер Панкрышев, — грязный, вшивый, вонючий, — юрод, а не человек, — а юродом-то совсем не был, хотел революцию переюрродствовать, а революция его не послушала. Пришла жена ввечеру, говорит, — «у сельсовета объявление повешено, призывают в колхоз!»... — И я понял, — конец! конец навсегда! никогда не вернется наше, не будет у меня на улице масленой, не смогу я содрать с тебя, Роман, шкуру! — кончено! ничего не вернуть! Панкрышевым вонять не намерен!.. — Я ору жене и даже весело, — «Ариша, беги за литрием, селедки приготовь, огурцов достань, которые лучше, а я схожу пока к извечному моему

дружку Роману Архиповичу, поздравлю его с колхозом, надо sprыснуть колхоз и нашу дружбу... беги за литрием!» — Жена оторопела, не знает, верить своим ушам или нет. Я еще раз крикнул, — «делай, что велют!» — Взял я в сенцах бутылку с керосином, пошел к твоему дому, Роман, шел, не крадучись и не прячась, вошел во двор, плеснул в сенцах керосинцу, кинул сенца, поджег и пошел к школе, поджег конюшни и пошел на маслобойку, вылил остатний керосин, поджег и вернулся к жене и выпил весь литрий, как воду, никакого вкуса не чувствовал и никакого опьянения. Сижу, ем закуску, смотрю на зарево — покой. Пришли арестовать меня — покой. Мне отвечать больше за Панкрышева и за всю мою жизнь не перед кем и воли своей у меня нет»...

Сергей Иванович знал, — он слушал повесть о социалистической революции. Доказательством «от противного» вскрывалась история палехского пролетарского сознания, — такая ж, как законы обратной перспективы палехских миниатюр. Рассказ Романа Архиповича о социалистической переделке бывшего богомаза превращался в повесть никак не только палехских дел и мечтаний, этот рассказ созревания классовых и пролетарских инстинктов, доказанных «от противного». Пролетарии выковывали свое сознание задолго еще до Пятого года, — и какие пролетарии палехские «богомазы», колхозник Роман Архипович, милейший человек, в частности! — Нет, не они делали революцию. Революция сделала их, — и, как должно, поэтому наш суровый, боевой пролетарский век сумел загореться и изумительностью, и сказкой, — на палехском лаке, в частности, — шире Палеха, не только для Палеха. Повесть рассказывала о социалистической реконструкции сознания, и повесть рассказывала о том, что иконнику Павлу Павловичу Калашникову — нет места среди иконников Палеха и среди палехских колхозников, бывших иконников. Павлу Павловичу на самом деле надо спрятаться в Углич, как в Кигеж.

Дмитрий Николаевич Буторин, фламандец и певец зари туманной юности, собирался писать пушкинского Балду по

предложению книгоиздательства «Academia» и ездил в книгоиздательство для переговоров и для подписания договора. Он приехал в Москву и отправился на Большую Калужскую улицу, угодил в Академию Наук СССР, сначала беседовал со швейцаром, сказав ему, что он, мол, — Буторин, из Палеха, приехал в связи с Балдой, — затем беседовал с неким делопроизводителем. И отправился на Ленинградское шоссе, угодил в Академию воздухоплавания. Побывал Дмитрий Николаевич также в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. И только на второй день к вечеру, замученный, добрался до книгоиздательства и уже несмело сказал там швейцару, — «я, мол, Буторин, из Палеха, в связи с Балдой». — В издательстве «Academia» Дмитрия Николаевича очень ждали и встретили высокой честью.

Езживали художники в Москву с женами на свои торжества. Их водили по театрам. Их записывали на звук. Жили они в гостинице «Метрополь». С женами — по дороге с вокзала до гостиницы — художники выдержали целый бой; художники требовали, чтобы жены переоборудовали свои головные уборы, предлагали захватить в шляпный магазин для закупки беретов; жены наотрез отказывались сменить на головах своих извечные свои платки на непотребные беретки. Гостиница «Метрополь» угнетала художников, — «мы не цари, чтобы эдак-то... нам бы Дом крестьянина, где внизу трактир, чтобы чайку попить, а здесь и чаю пить негде, все кофе!» — и соглашались на «Метрополь» с условием, что помещены они будут все вместе в одном номере, — «а то в одиночку нам неудобно»... — И больше всего тратили времени художники на ожидание друг друга, ибо они категорически отказывались ходить иначе, как скопом, семеро ждали одного опоздавшего с женой и двигались по улицам, держась друг за друга, сразу все товарищество.

Громадный,

громадный,

трудный,

труднейший

пройден путь палешанами — —

— — и замечательный путь! — —

**Эпиграф:**

«... Они механически перенесены... из классического русского романа»...

«... образ не только весом, перспективен, матерьялен, историчен, он обязательно социален и классов»...

Роман Архипович рассказывал о своих раздумьях по дороге после топора Антона, он рассказал:

«— ... а потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо быть, сам себе вслух сказал, — «ну, а я-то? ах, дурак, дурак!.. я-то, что же, провокатором революции оказываюсь, — ведь если пойти другим кому сказать, — мне не только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпиёном оказываюсь, я к кулаку ходил наши революционные карты открывать, я кулацкую руку держу»...

Арбеков месяца за три до поездки в Палех, еще зимою, но много позже смертного беспокойства, то-есть тогда, когда он слышал уже гул миллионов и знал, что он в классе и с классом, — Арбеков написал рассказ о стариках, не похожих на Романа и Антона, выводами своими совпадавший с рассуждениями Романа Архиповича о предательстве, написанный именно для этих выводов.

Этот рассказ гласил следующее:

«Российское место оседлости, именно — место оседлости и — российское. При царях Иванах здесь была вспольная крепость, при императорах — помещался уезд, перед самым Семнадцатым сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла, советское межевание поместило в городе рик. В начале века у города возникла была некая необыкновенность и погибла с революцией: наладились было в городе покупать дома с садами отставные генералы и помещаться в этих домах на по-

койную старость. До станции от города — семьдесят один километр. Базар и собор на горе, — собор, впрочем, заключен. Вокруг базара двухэтажные каменные места жительства бывших почетно-потомственных, с каменными воротами и глухими конюшнями, с собачьими будками и с переросшими в одичание садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных местожительств этой оседлости — одноэтажные деревянные за заборами сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо.

«Рик — в бывшей управе. Общежитие ответственных работников — в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном постоялом дворе в конюшнях и в двухэтажном камне — ветеринарная амбулатория, в верхнем этаже — старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза и там же аптека, — младший ветеринар Климов, Николай Сергеевич, — на дворе во флигеле. Через улицу, как-раз окна в окна, также на втором этаже, жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный генеральским красным деревом. Врачей в городе — пять человек, ветеринаров — двое, учителей человек тридцать. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы.

«Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции и, встретившись, не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины. Некогда, еще до Пятого года, Гроза и Не-

вельский служили в калязинском земстве. От Пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений, это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в калязинском земстве оказался князь Феодор Расторов, местный феодал и улан ее величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему и пригласил двух врачей помимо санитарного совета и без стажа на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. «Демократы» предлагали «демократические» меры. Было решено собраться вновь и на собрание пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено с этими двумя врачами переговорить товарищески и убедить их в том, чтоб они сами отказались от предложений князя и подчинились бы традициям. Было решено, — в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений, — не подавать этим двум врачам руки, бойкотирова их. Члены

санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь, он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил, и он предупредил, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции путем неподдачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Феодор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт, экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег и, буде некоторые не подадут им руки, не подавшие руки будут уволены из земства. И врачи — подали руку!.. — кроме двоих, — кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский, — узнав о проектах князя, — за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Калязина, от неподдачи руки уклонившись тем самым, и перешел работать в новый уезд. А Гроза, Иван Авдеевич, который и не имел особенно прямого отношения к медицинскому санитарному совету, пришел на заседание и, когда князь широким и дружеским жестом представлял новых коллег, Иван Авдеевич спрятал руки за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал, — «извините, князь, но с этими господами знакомым быть я не желаю!» — и был уволен из калязинского земства в двадцать четыре часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыва-

тели, которые подали руку. Недели через две тогда Лавр Феодосович Невельский приехал в Калязин ликвидировать свою квартиру, об'ехал с полулегальными прощальными визитами своих коллег, ему сделан был полулегальный прощальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича Грозы, то пять раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по нерастелам, по ящурам, по сибирке, сапу и мыту. И уже под занавес империи, в год начала мировой войны, в зное и отдыхе феодальной реакции, в успехах второвского капитализма и фон-мэкковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можайском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его. — «Господа члены санитарного совета! — торжественно сказал Гроза. — Практика и опыт всей моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных

явлений, имеющихся в можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей, — имени его я не буду называть, я надеюсь, он сам признается в ошибочности своих поступков, — один из наших врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах, как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно, как и некоторые другие, раз'езжает по участкам на вызовы — на племенных земских жеребцах, — раз'езжает, ни копейки не тратя, но в раз'ездных отчетах проставляет за каждую версту двенадцать копеек, якобы он раз'езжает на наемных лошадях!»... — Гроза, Иван Авдеевич, сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары, ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами, — доклад был встречен гробовым молчанием, принят был «к сведению». А летом Семнадцатого года, при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами и эмиссарами временного правительства, — именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше, один, старый холостяк, без вещей, старый хрыч. В заштате приемами он начал в восемь утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке пятьдесят грамм ректифико-

ванного спирта, ел, пил, ложился спать до трех, в три ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационаров, опять разводил пятьдесят грамм, пил их в аптеке без закуски, харкая и крикая, в девять поджаривал яичницу и ложился на диван, под одеяло из романовской овчины, в сотый раз перечитывал майн-ридовские романы, пока не засыпал. По осеням над заштатом дули ветры и лили дожди. Драная крыша над Грозой гремела преисподней ветров, и в дожди казалось, что по крыше шествует, обутое в ичиги, мамаево полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате ни зги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозой в Калязине, Лавр Феодосович Невельский Семнадцатый год встретил губернским санитарным врачом и от марта до октября, сначала от эн-эсов, а затем от эсеров, занимался государственным строительством, недели две был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, затем взял на себя здравоохранение губернии, захирел сейчас же после Октября, дважды был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале двадцати семи пудов крупчатки в восемнадцатом году и перевелся в заштат, ехал со станции в заштат на семи

возах хозяйственной утвари. В заштате он приобрел себе лучший генеральский этаж, накопил генеральского красного дерева. Вместе с ним приехала его жена, неизмеримо дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерница и, по истине, знаток и начетчик всей мировой классической литературы, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его, и глаза Лавра Феодосовича были даже приветливы. Товарищ Трубачев, предрайисполкома, сказал:

«— Иван Авдеч, — новый санитар приехал, товарищ Невельской, познакомься!

«И Иван Авдеевич Гроза, так же, как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад, низко и качая головой из стороны в сторону, раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал:

«— Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю!

«Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще ж Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел старостуденческую, народовольческую, ходил в крылатке и шляпе, носил длинные волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке, был худощав и подвижен.

«Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому:

«— Ты, товарищ Невельский, на него не серчай... Ветеринар он хороший, а человек чумовой, водку, гово-

рят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы...

«Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу:

«— Ты, товарищ Гроза,— чего ж это ты, здорово-живешь, встаешь на дыбки? — или что знаешь? — ежели знаешь — скажи!

«Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо:

«— Ничего я не знаю! и я не желаю говорить о Невельском!

«В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли в ичигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в креслах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал журналы, вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателям исключительно иронически. По крыше и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала общество краеведения и краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушки и где развешены были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Весною Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигент-

ско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к шести он был дома, обедал, и священность вечера и вечернего отдыха он строжайше хранил, по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно, за город, куда-нибудь к оврагу или к холму летом, или к разбитой мельнице весною и осенью, где, несмотря на стареющее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу и где рассуждал он о вечности, к чему жена его Полина Исидоровна относилась иронически. Лавр Феодосович был популярен в заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям частная практика запрещена, да и не это являлось специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в заштате врачом и, не занимаясь принципиально частной практикой, он принимал участие лишь в консилиумах. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им, как живую современную, от калязинской молодости до заштатной мудрости, — о том, что-де на той неделе он подслушал из окошка разговор прохожих у его подезда, — один прохожий спрашивает второго: — «Здесь, что ли, живет доктор?». — «Здесь». — «И ничего доктор, хороший?» — «Доктор очень хороший, только он специальный доктор — не по живым, а по мертвым. Живых он не лечит!..» — А Гроза

жил один, одиноко, злобно, в гости не ходил, и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климов, Николай Сергеевич, — и то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от пятидесяти грамм до ста и поджаривал яичницу из восьми яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич Гроза никак не принадлежал. По летам в заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада, по летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование — до восьми, до амбулаторного приема, — с громом на расвете выезжая с бывшего постоянного двора на улицу, верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой с овсом, — полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева, Павла Егоровича, то его товарищи давно работали в крае иль даже в Москве, — местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством и в местном городском училище Положения 77-го года, шестнадцати лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в двадцать первом, демобилизовавшись, ни учиться не поехал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой заштат, женился на учительнице, остался жить под горой на

огороде, народил детей и был бессменным предом рика, хороший человек, хороший товарщик. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену — учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорила о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она — Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович, отмалчиваясь от жены, на второе приглашение заявил жене строго, — «не пойду, ну их к чорту, — интеллигенты!.. — и тебя прощу — не ходи... тоже, Завалишина — словами завалила! галстуки носят!..» — А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу, — лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши.

«И наступил порог первого Великого Пятилетнего Плана. В заштат на автомобиле из края приехала комиссия, — заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографистка-секретарша. Заведующий краевым земельным управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек с походкой моряка и бывший моряк, матрос, поместился вместе с шофером в общегитити ответственных работников — в бывшей чайной с номерами Павла Тютиня. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра



Феодосовича Невельского, и он, вместе со стенографисткой-секретаршей, устроился у Невельских. Заседания комиссии и множества подкомиссий происходили в краеведческом музее, где расставлены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все перетряхивалось, и Лавр Феодосович был всюду. Им увлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить, если не металлургический, то цементный или азотно-калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался им вопрос об аэро-электрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осьмаки, клинья, подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплочивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов, — этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседании собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад, он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения. Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях, приносимых ими, о способах борьбы с этими бедствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу

пятилетия не только эпизоотии повального распространения, сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез — исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устал. Заговорили записавшиеся в прениях о медицине и ветеринарии, все соглашались с докладчиком и, восхищаясь его талантами, так строили свои речи о ветеринарии в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайца, лисицы, волка, медведя, по стенам висели кукушки, тетерева, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию. И тогда затребовал себе слова Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат.

«— Господа, — сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился, — то-есть товарищи! Я принципиально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины, но что касается вопросов ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут происходит. Я служу в земстве, — и опять смутился, обозлел еще больше, поправился, — то-есть сначала в земстве, а потом при советской власти — двадцать семь лет в общей сложности, — опять смутился и окончательно обозлел. — То-есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. У Германии соседями

являются Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей, — и тем не менее в Германии до сих пор имеется эпизоотия. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казакстан, Средняя Азия, которые в свою очередь граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в пять лет мы от эпизоотий не освободимся, для этого нам понадобится несколько десятилетий.

«Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующим крайзу. Речь его была вежливейша и академичнейша. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед с'ездом, усматривая в речи Грозы оскорбление с'езда, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в гермаофильстве и в недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы «господа» и «в земстве» были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения.

«Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы:

«— Однако, товарищи, человек ведь, действительно, указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить... Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом?

«Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на

том, чтобы Гроза принес извинение с'езду. Взял слово Лавр Феодосович Невельский и заговорил тоном, указывающим, что событий не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция написана им и он от нее не отказывается. Он единственный на с'езде называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески:

«— Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем.

«Тогда вскочил с места Гроза, Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не просил слова у председателя. Он заорал чрезвычайно несвязно:

«— Имею заявить!.. Требую обсуждений!.. Принципиально не желая иметь дела с гражданином Невельским, имею заявить, что, работая, как землец, то-есть, как врач, двадцать семь лет, я никогда ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии, — правильно, но я принципиально уклоняюсь, ибо тут происходит явное передергивание фактов!.. А поэтому имею заявить — извиняться я ни перед кем не намерен и с'езд покидаю.

«Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился весь летний зной заштата, и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучела волка, зайца, лисицы, сороки, и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский, Лавр Феодосович,

предложил проголосовать резолюцию и пожал лавры, — было постановлено о ветеринарии в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат.

«Съезд был заключен товарищеским ужином в доме ответственных работников, в бывшей чайной Тютютина. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели «Дубинушку», марш Буденного, «Кирпичики». Председатель, завкрайзу, оказался веселым товарищем, простым человеком, он плясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее некогда на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидорова, организовавшая бал. Разошлись к рассвету. И на рассвете заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший, как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться, в тумане лугов, спросил у товарища Трубачева:

«— А кто этой твой Гроза? — и добавил, думая вслух, — чорт их знает, интеллигенты!.. на самом деле, — заштат, степь, — беги по этой степи бешеная собака, на тысячу верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике!.. а с другой стороны — большинство ведь не дети ж, не в шашки играют, — ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят, — ведь учились не меньше, чем этот старик!.. — как его, — Гроза? — такая фамилия?

«— Именно такая фамилия, — ответил Трубачев. —

Работник отличный, а человек... Скандальный человек. Прямо незаметно, но надо полагать, что человек чужой, — ведь сбежал же из московского земства к нам сюда!..

«— А Невельский? — спросил крайзу, — очень поспешный, чорт, вроде эсеров! Кто он у тебя?

«— Работает, старается, — ответил Трубачев и начал думать вслух, — чорт их знает, говоришь, — интеллигенты!.. на самом деле, — галстуки на них на всех одинаковые, пойдй, разбери... Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь, классового контакта нет никакого и нет общпх интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости, — так его жена меня ученостью завалила... Работает, старается. Я, признаться, избегаю с ними по душам говорить, — стараюсь, полегче, конечно, понезаметней, приказывать и следить за выполнением, — сами того требуют... Ты же правильно говоришь, что не дети, ты ж им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают, — ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение, как специалистов. Я и им повторил. Приходится верить... галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые!..

«— То-то — верить!.. — так же вслух начал думать крайзу. — Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь: ведь в Москве на материалах республик, краев, областей Союза, — ведь в Москве в расчетах Пятилетнего Плана в разделе «животноводство», в главе «ветеринария», в параграфе «борьба с эпизоотия-

ми» напишут и примут в расчет, — мероприятиями советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки!.. Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам.

«— Своих надо, — невесело сказал Трубачев, — своих, партийных... Я этим приказываю, они стараются... и — не могу тебе как следует объяснить — верить им мне никак не желательно. А приходится верить. Я же не доктор!.. А приказ — я не могу тебе как следует объяснить — тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встанет... Приходится верить большинству, а то с одним чумовым Грозой останешься.

«Партийцы помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на китайского своего мерседеса, как прозываются у шоферов вдребезги разбитые автомобили, и поехал в край. Степь легла довспольным простором.

«Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ответственных работников. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель, Николай Сергеевич Климков, был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете. Иван Авдеевич подждал его

шаги на улице, он окликнул в окно, сказал: «зайдите!», — отпер дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемного рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот взял поспешно, но закуривал очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу:

«— И зачем вы только это, Иван Авдеевич...

«— Что зачем!? — крикнул Гроза.

«— Зачем вы на съезде вообще выступали?.. а, уж если выступали, почему не отстаивали свою позицию, не боролись и ушли со скандалом... уважаемый врач, старый практик и...

«Гроза перебил вопросом:

«— Какую резолюцию приняли?

«— Резолюцию Невельского, почти единогласно.

«— Вы голосовали за?

«Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, — заговорил:

«— Вы ведь Невельского давно знаете? — надо было начинать с этого, надо было разоблачить врага. Раз вы пошли против него, надо было драться всеми способами, до конца, а не уходить со скандалом... да и не это главное...

«— А что главное? — строго спросил Гроза, сел на постели, крикнул, заворчал: — Невельского я знаю четверть века, принципиально

считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать... — Глаза старика стали печальными. — Вы голосовали — за? — но скажите мне сейчас здесь, наедине, начистоту, — разве я сказал неправду? — разве мы справимся с эпизоотиями в пять лет?

«— Конечно, правду!.. если не все, то большинство это понимает...

«— Так в чем же дело!? в чем дело! — радостно крикнул Гроза. — Ведь я говорил ради нашего дела! я ветеринарному делу помогал и помогал стране!.. И вы — голосовали!..

«Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и радостные одновременно глаза старика, — заговорил невесело:

«— Иван Авдеевич! не мне учить вас!.. — какое дело? — если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи, — ну, разве можно к ним обращаться за поддержкой в честности? — судите сами, разве можно так говорить, как вы?.. Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить, думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из подхалимства и от любви играть главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать... Учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему под'ему, силам революции, — а с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через пять лет, — быть может, на самом деле пятилетка сделает чудеса, — кто знает? Вера в успех — это одно. Малое зна-

ние — это другое. Ну, а вдруг большевики возьмут да и построят вокруг всех наших границ каменные стены, граница будет крепче немецкой, и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сапных лошадей, — кто тогда будет прав, — вы или Невельский?..

«Николай Сергеевич помолчал, неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу, — опять заговорил невесело и горько:

«— Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. Шкура человеческая — страшная вещь!.. Ну, скажите мне, — говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам? — а ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг!.. Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете, — и не надо, не надо было выступать!.. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и прикрашивают, — а вы это сказали вслух, вы правду вслух сказали. Именно поэтому мы и стали на сторону Невельского, — это я о себе говорю. Можно даже говорить, что товарищи оклеветали вас, сделал из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент, — но в том-то и дело, что, если человек сделает гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем — даже не своим сознанием, а всем своим организмом — будет находить оправдание своей гадости, обязательно его найдет и

обязательно обвинит в гадо-сти того самого, кому она была сделана... Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. делу вы не помогли, не отстояли себя, и скажу правду, — если бы вы не окликнули меня в окошко, если бы не дали так по-хорошему папироски, — и я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили...

«— И пожалуйста! — не прошу, не нуждаюсь! — не заорал, а заревел Иван Авдеевич Гроза, так, что задребезжали стекла в рамах.— Циников и предателей — в друзьях не держу! — чести своей никому не продавал! — предателем не был! — не прошу! не прошу-с!!

«Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского, Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шопотом:

«— Иван Авдеевич,—Невельский подслушает, умоляю, потише, умоляю, не надо!..— я вам, как друг, говорил, по душам, — умоляю, — подслушивает!..

«Старик лег на постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внимательно, взгляд стал очень далеким, и старик слушал себя, и старик сказал тихо:

«— Стар! не понимаю!..

«Николай Сергеевич молвил очень невесело:

«— Ээх, Иван Авдеевич!..

«Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь. Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу, окно в

окно, из ветеринарной амбулатории понесся крик Грозы. Оба, и Лавр Феодосович, и Полина Исидоровна, поспешно окно распахнули. Крик затих.

«— Это совершенный идиот, этот Гроза, фамилияка тоже! — сказал Лавр Феодосович.

«— И он так и заявил, что не верит в уничтожение эпизоотий и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? — вот идиот! — так и сказал? — в двадцатый раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: — Но у тебя, Лавр, нет опасений? — ты не думаешь, что это чересчур и край потребует пересмотра?

«Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдающе сказал:

«— Нет, конечно, — но если бы ты знала, как они мне надоели!..

«— Кто, — Гроза?

«— Нет, большевики, конечно, — весь этот сивый бред, все это скудоумие! — если бы ты знала, как все это надоело мне, как меня тошнит от них!.. Что касается Грозы, то завтра я подам протест по профсоюзной линии...

«— О, да, конечно!.. — сказала Полина Исидоровна.

«Окончательно в рассвет у дома ответработников прохрипел китайский мерседес, и вскоре за ним загремели дрожжи Ивана Авдеевича Грозы, выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с

овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядна. На спуске от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича повстречал товарищ Трубачев. Трубачев окликнул Ивана Авдеевича:

«— Слышь, Иван Авдеевич, чего ты бузу трешь? — ты скажи по сердцам про эти самые эпизоотии, интеллигенты вы, черти, галстуки носите!.. — напутал Невельский — ты скажи по сердцам!..»

«Гроза ответил очень спокойно:

«— Ну, сам посуди, ведь семьдесят процентов наших коров больны вагинитом, — в Голландии, в коровьей стране, и то и вагинит, и туберкулез рогатого скота в громадном проценте, — возьми датскую статистнику, если не веришь германской!..»

«— Ты подожди наукой сыпать, — ты скажи кратко — останутся или не останутся? — и скажи про Невельского, — молвил Трубачев. — На, закури, Иван Авдеевич!

«— Останутся, — твердо сказал Гроза и твердо добавил: — А о Невельском говорить ниже моего достоинства. До свиданья.

«Иван Авдеевич перебрал вожжи.

«— Ты постой, погоди. Ты куда едешь-то? — ты, может, что знаешь про Невельского? — ты, что же, ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? Почему тебе верить должен?

«— До свиданья, — сказал Гроза, — глупости говоришь. Еду на страховку.

«В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу

туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах бывшее вспольною крепостью и сданное затем в заштат, базар и заключенный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням в дожди по заштатной этой местности шествовали обутые в ичиги. мамаевы кочевья ночи и дождей, над заштатом дули ветры и метели... И, как подбает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила, советское межевание помещало в городе рик. Снимали в городе в начале пятилетки с церкви колокола, — заштатцы говорили, — ничего не выйдет, народ взбунтуется за колокола, — но колокола сняли и забыли о них. Не по воле заштатцев, а по ветру, который прошел над страной, всколыхнулись деревни вокруг заштата, валом пошли в колхозы, — заштатцы говорили, — ничего не выйдет, — но единоличник исчез, вокруг ложились новые дела. За коллективизацией однажды весь заштат не спал ночи, мальчишки висели на заборах, а молодежь уходила на встречу, — встречали трактора со станции, никогда не виденные здесь. Трактора въехали в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатцы шли за тракторами до собора с восхищением, дня три ходили переосматривать их, и в поле ходили смотреть, как они пахут, — и не заметили за тракторами, как от станции до заштата вместо

большака легло шоссе и по шоссе попер автобус. За колхозами в сумятице от тракторов заштатцы не заметили, как под горой на месте разбитой мельницы зарыкала электростанция, и как должное затребовал заштатец в рике к себе по домам провода. Многие заштатцы смылись из заштата по-добру, по-здорову. Многие новые поселились в заштате.

«Так прошло четыре года.

«В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог второго Пятилетия, был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотии в заштатных землях есть. Дом Грозы, окна в окна, стоял против дома Невельского. И совсем под новый год по новому шоссе пришли в заштат два новеньких автомобиля. Из одного из них вылез — в овчине, в треухе, в валенках — бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп — там заседала комиссия, которая проверяла сделанное в пятилетке. Старик-матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился, стоя, товарищ Трубачев.

«— Эх, ты, — галстуки!.. не дети же!..

«Последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу, сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения. В музейном зале от лампы под зеленым колпаком навстре-

чу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал:

«— Не узнаешь меня, Иван Авдеевич!?—здравствуй, как поживаешь? — Мы вот тут стенограммы читаем, — это, вот, помнишь, когда, мы составляли первый пятилетний план, — ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?»

«— Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил.

«— Ты нам посоветуй, что можешь сказать в свое оправдание? Ведь Невельский нам очки втирал — его ведь арестовать следовало бы...

«— Арестовать? — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими волосами.

— Арестовать, — ответил моряк. — Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? — ведь, если бы ты о Невельском четыре года тому назад рассказал, может, его б тогда прогнали — для пользы дела. Ты как думаешь, к тебе-то за укрывательство негодяев с уважением относиться ай нет?.. — Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил!.. тебе верить можно?

«— Можно.

«— Тогда — зачем негодяев покрываешь?..

«В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, заштат. В довспольные времена здесь ходили Мамай, была здесь впольная крепость. Впрочем, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили, — ничего не выйдет, Гроза взбунтовался, не говоря уже о Лавре Феодосовиче Невельском, —



но колокола сняли, забыли о них, и собор в просторечии стал называться тракторным парком».

В рассказе повторялась та же примерно ситуация, что и в рассказе Романа Архиповича: Невельский—Антон, Гроза — Роман. В рассказ были перенесены традиции «классического романа» и «классического мышления», те, когда можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя. Арбеков взял *верную* мысль, — мысль о том, что *революции мать* и быть нейтральным в революции — *нельзя*, — но он описал такую революцию, таких большевиков, такую «композицию» (палехское слово!) отношений Невельского с Грозой и с партийцами, *которых не было, не могло быть*. — Палех и Роман Архипович, реконструкция пролетарского мышления, — тому свидетели. В революции была *вся страна*, революцию решал для себя *каждый человек*. *Заштатов, где*

— «революция планами своими обходила заштат»,

*где*

— «заштатцы говорили»

и ничего *не делали*, — таких заштатов не было, они остались только в *литературных приемах*, перенесенных на социалистические дни от классиков. Коммунистическая партия не была и *не могла быть* «сама собою», — она была в стране, она была со страной. Тому свидетели — сын Романа Архиповича, дорожный техник, — дети Вакурова, Дыдыкина, Зубкова, второго Зубкова, Чекурина, племянницы Буторина, — инженеры, врачи, агрономы, учителя. Племянницы Буторина не пойдут на свидание с Лавром Феодосовичем. Сын Чекурина — врач — не только насмех поднимет разговоры об эпизоотиях, но и протолкует предварительно их в комсомоле. Статистик из края за проект аэро-электрификации... Дети Чекурина, Дыдыкина, Ватагина, — они сами отлично скажут, что им надо для Палеха. И дорога от станции до «заштата» — не может пройти «незамеченной», ибо дорожный техник, сын Романа Архиповича, поднимет весь «за-

штат» и все окружные деревни во главе с отцом, Романом Архиповичем, на строительство дороги, на коно-часы. Казалось бы, — что может быть заштатнее заштата богомазства!? — нет, товарищ Трубачев, председатель райсовета, женатый на местной дочери дьякона, боящийся галстука, — нет, он не может существовать в реальности, застрявший в классической «композиции». Партия никак не — «сама по себе»!.. В Палехе, кроме предисполкома Василия Васильевича Зимина, живет секретарь райкома Шестернин, живут комсомольцы, — и живет даже начальник милиции, который однажды (палехским законом «обратной перспективы») — однажды — — в Палехе есть драматический кружок самодеятельности, который ставит пьесы в Доме соцкультуры (ну, ясно, что — Полина Исидоровна была б «душой» этого кружка), — этот кружок однажды назначил день спектакля, вывесил рукописные афиши, а потом спектакля не сыграл по недобору актеров — а местный начальник милиции в два часа ночи собрал у себя в отделении всех «артистов» (— ну, ясно, в том числе позвал бы и Полину Исидоровну), — собрал со строгим вопросом — почему актеры нарушили пролетарскую дисциплину, крутили вола и надули собравшихся на наслаждение зрителей!? (Полине Исидоровне не перед кем было бы цитировать современную советскую литературу, издеваясь над нею!..)

*То-есть Палех и Роман Архипович, уча, доучивая, на практике указали, как надо писать, избегая классиков, — и они же оставили в заштате портфеля рассказ Арбекова, неверный рассказ, хоть и написанный по поводу верной мысли о неллицемерии перед революцией, о гибельности «нейтралитета», которого в существе вещей не может быть.*

Сергей Иванович слушал страну, свою родину, родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории и человеческого сознания, рождения людей из небытия, рождения из небытия городов, индустрии, искусства. Палехские папье-маше и лак, палехская индустрия

стрия, искусство палехской миниатюры, город Палех, — они были построены законами «обратной перспективы» — они доказывали «от противного» наши дни. Проходили судьбы миллионов, прекрасные карьеры, как карьера Романа, рывшая, кроме всего прочего, карьеры для новой реки, небывалой реки Волги-Москвы-канал, той самой, которая «оки-тежит» Углич в Ивановской области вместе с угличанами, авторами писем из-за гроба времен. Сергей Иванович ощущал путь ледокола истории — путь партии российских большевиков — ледокола, разламывающего глетчеры веков. Все это было чудесно. Разве не чудесно жить — и разве не вдвойне чудесно быть — ну, хотя бы каменщиком, хотя бы карьерщиком эпохи!?. Как из тысячи опилок и пыли виденного и слышанного магнит образа отбирает только то, что созвучит сознанию и ощущениям, как образ эпохи —

Ефим Вихрев, рыцарь и поэт-коммунист, приехав в Палех на организацию палехских юбилейных торжеств, захворал смертельной болезнью и похоронен в Палехе около Архитектурно-Фрескового музея, в том месте, где сейчас проектируется Палехский парк, — в том месте, откуда идет новое архитектурное строительство Палеха, то, которое скрестит прошлые века с настоящим и будущим. На могиле Ефима написаны стихи Пушкина:

«В темной могиле почил художников друг  
и советник.  
Как бы он обнял тебя, как бы гордился  
тобой!..»

Ефим умирал страшною смертью — общим заражением крови. Он хворал в доме Алексея Ивановича Ватагина. Захворав, он сразу заговорил о смерти, сразу ощутил смерть. Он быстро покрывался трупными пятнами. И он забредил. В бреду он разговаривал с палешанами. И в бреду он разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Он рапортовал вождю о Палехе. Он благодарил за Палех. Он просил вождя защитить Палех, когда он, Ефим, умрет.

Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, — пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, ветра, солнца, польни, васильков, колокольчиков, ромашки. Сергей Иванович помногу лежал у ржаных межей, на нескошенных травах, перед закатом, после заката, когда особенно сильно пахли цветы. Он возвращался домой с венками ромашек, васильков, чертополохов, татарника, щавеля. Считается, что эти цветы не имеют запаха, — и это неверно. По ночам от них исходит тот запах, который надо назвать запахом лета и зноя, и пыли, и отдыха, рассветов и закатов. Сны в запахах этих цветов смешивают явь с действительностью, спутывают десятилетия с тем, чего никогда не было, что было вчера. Во сне — Арбеков и Иван, Петр, Сидор, — конечно, все тот же Арбеков, — но во сне иной раз Иван говорит Арбекову истины, которых Арбеков не подозревал, и Сидор чинит хитрости против Арбекова, также Арбековым не подозреваемые, — то-есть, сознание во сне расщепливается так, как никогда в яви, — как в яви только при болезнях. Но сны — определяют реальную жизнь и реальное сознание человека.

А сны...

#### Эпиграф:

«... советская русская литература имеет уже свою историю... Когда человек, класс, эпоха приходит на новые места...»

... На Кавказе, в ущелье Труссо, Арбекова заставала гроза. Над горами вверху, в небе, горели звезды. Гроза была внизу, гремели громы и громами кидались под ногами горы, под ногами металась молнии. Над грозой у горных вершин можно было думать о космосе. Лошади шли шагом, вниз, к долинам. И в отсветах молний направо и налево, впереди, мимо, снизу вверх к ледникам, к Казбеку пошла облака. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долин. Их становилось все больше. Они прятали в себя коней и скалы. И вдруг рядом, в деся-

ти шагах, разорвав тучи, так, что лошади прыгнули друг к другу, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрезала мрак в ослепительный свет. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалы. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже сверху, громы падали сверху. Люди были уже не в космосе, но на земле. Через несколько дней тогда Арбеков просиживал утро за арифметическими расчетами, требующими интегрального исчисления, — вычислял относительность времени, — ту относительность, которая через два года дала ему у ивановского безымянного озера и в первую палехскую соловьино-ландышевую ночь размышления о гибели Максима, размышления, направившие мысли Арбекова на Красную Талку... А через несколько дней тогда же на Кавказе, после арифметических интегралов долголетия в удушьи Алазанской долины и ночи, в крошечном мраке, Арбеков слушал странные чавкания и крики, идущие с полей. В полях, на табачных плантациях, колхозники-грузины ломали созревшие табачные листья и подбадривали себя ночными криками. Они кричали нечто, похожее на «гхам-гхо! гхам-гхо!», — и это гхам-гхо, на разные лады, разными тональностями, перекатывалось с плантации на плантацию, ободряя колхозников в коллективном ночном труде. Табачные листья, чтобы табак был хорош, надо рвать в ночи, и надо до рассвета повесить эти листья на сушилках. Табачные листья похожи на ястребиные крылья. Во мраке скрипели арбы. За арбами к сушильным сараям ползли огоньки фонарей, которые называются «летучая мышь». Табак, когда его листья созревают, надо убрать в несколько дней, прятав работы над табаком в ночную темень. И раз пять за ночь встречался Арбекову бессонный, веселый, активнейший человек, — он поощрял, он не соглашался, он брал на буксир, он хвалил, он говорил шопотом, и он по-орлиному всклекотывал приказом, — он, секретарь лагодзского районного комитета пар-

тии большевиков, — он все намеревался видеть своими глазами, он был всюду, он не спал и не дремал, — сейчас он был командиром табачных полей, его армией были колхозники, он был — как на войне, — его врагами были табак, растяпость, время (которое надо было обогнать). В ту ночь в Алазанской долине партия большевиков собирала табак, побеждая его.

... Много севернее Кавказа, на русском северо-западе, на реке Сяси, за Ладожским озером, в девятьсот двадцать восьмом году был построен Сяский бумажный комбинат, давший Леониду Леонову основание написать роман «Соть». Земли новгородских памятей, Обонежская пятина, Ладога, — Таежная область, Озерный край, — Тихвинская система, — Мурманская дорога. История Петра, Санкт-Петербурга, петровские вотчины. Раньше, до всего этого, до человека, — силлурийская, кембрийская, девоская эпохи, оставившие здесь свои камни. Студеная река Сясь. Пейзаж понур: дерево, камень, вода, леса, леса, озера, реки, валуны, пороги. Былинная, студеная Ладога, похожая на море. В лесах — карелы, обрусевшие финны, великороссы. Сясь впадает в Ладогу. В четырех километрах от Ладоги в Сясь впадает река Валгома. В десяти верстах Мурманская дорога. В июне месяце 1925 года здесь, в белые безнебесные озерные ночи были — сосны, песок, река, озеро, валуны, тишина, белое небо, понурые песни крестьян из деревни Носки, прозванной при строительстве Дуракиным, крестьян, где женщины косили луга, садили лен и пасли скотину, а мужчины плавали с плотами по Тихвинской, по Маринской, озерами, Невою — летами, чтобы зимами и мужчинам, и женщинам уходить в леса, на сотни километров от человеческих жилищ, рубить леса, готовить сплавы. Деревня Носки стояла на самом носу, где сливались Сясь и Валгома. Деревни Носков теперь нет.

В осень 1925 года сюда пришли люди. Люди мерили землю теодолитами, жгли костры и сказали носкинцам, что здесь будут — завод, громадный завод и город. Пришедшие предложили пере-

нести деревню Носки на новое место. Конечно, носковцы не соглашались. Конечно, люди от завода победили. Конечно, носковцы решили, что они надудли городских: горожане договорились, что деревня будет перенесена, что новые земли выкорчуют горожане, что горожане построят школу носковцам и купят трактор. Горожане предложили носковцам построить европейскую деревню, образцовый поселок, — конечно, носковцы не согласились: они потребовали, чтобы деревня была перенесена и поставлена точь-в-точь, как было, — целое лето «мужики» и «бабочки» бегали с новых мест на старые места, отмеривали веревочками, узелком примечая ширину и высоту дверей, окон, пазов, чтобы примеривать узелочками точность размеров и требовать от строителей точности точь-в-точь по узелкам...

Вчера, сегодня, третьего дня, всю зиму двадцать восьмого года в лесах вокруг Ладоги и Онежского озера, на реках, на сплавах, работало четыре с половиною тысячи лошадей и шесть тысяч крестьян, примерно таких же, как носковские, — работали для завода, который возник в устье Сяси, по обеим сторонам Валгомы, около Ладоги, — готовили сырье для завода, чтобы завод начал работать этим летом. Носковцы помнили за два года строительства: хотя бы потому, что завод выкидывал в эти места ежемесячно полтораста тысяч рублей жалованьем. Над льдами Сяси склонились колоссальные краны, стальные конструкции, много более высокие, чем местная носковская колокольня, такие, про которые местный батюшка молвил носковцам, — «смотрите, мол, вон какие строения вам, дураки, виселицы, вместо божьих церковочек!» — Эти краны переносят, перекидывают — уже не европейскому, не американскому, но — советскому гиганту десятки миллионов бревен. В лесах, на песке, на валунах Сяси, возник завод, похожий на корабль, на грандиозный морской корабль, который пошел в океан лесов и варочный цех которого, одиннадцатитажное здание, где стоят котлы в добрые двадцать метров вышиною, — центральное здание завода, — варочный цех которого есть

спардек судна, а крыша — капитанский мостик, откуда на сотню километров кругом видны леса, леса, Ладога, реки, безлюдье, таежность. Люди работали на заводе день и ночь. Около завода вырос город рабочих, построенный так, как предлагали выстроить деревню носковцам, строгим планом, лицом к солнцу. Там, где раньше рыскали волки и карелы пели понурые песни, гремит железо и гудят гудки. Механики и монтеры от трубочного дыма еще внимательнее прищуривали глаза около машин, которые они заканчивали сборкой. Вдруг нет гвоздей, вдруг не дослан цемент, администрация не сладилась с завкомом: завод, город в лесах, в Обоженской пятине уже приготовил себе сырье.

Поезд из Ленинграда на север уходит в десять, Мурманской железной дорогой, в Озерный край, в петровские, Петра Первого, вотчины, к Петрозаводску. В ночи отгорел Ижорский завод. В вагоне — тесно, обрусевшие финны, окарелившиеся великороссы, карелы, люди с белыми глазами и с финками на головах, впереди — Ладога, Онежское озеро. За окнами вагона — звезды и щетина лесов. Будят глубокой полночью. Полустанок Лунгачи, возникший два года тому назад. Рядом Ладога. Ночное удушье вагона сменяется звонким морозом ночи, мраком, снегом. Станция уползла во мрак. Спутники шутят. Их волею возник этот полустанок, но начальник полустанка — враг, не говорит, на сколько опаздывает поезд, он выходит на перрон в подштанниках и кричит пассажирам, — «эй, бездельники, покупайте билеты!» — спутники идут во мрак. Там ждет автодрезина. Автодрезина уходит в лес. Небо, мрак, ели, сосны, снег, первобытность. И через какие-то километры — огни завода, лязг железа, шелест заводской ночи, там, где два года тому назад также была первобытность. Спутники идут по шпалам, мимо темных корпусов, около канав и рвов человеческой воли и новыхстроек. Мост через Валгому проскрипел морозом. — За мостом поселок, город, построенный строжайшим планом, поэтому не похожий на российские. Улицы горят огнями в этот предрассветный час. Мо-

роз колок, ночной, мартовский. В доме для приезжающих очень тепло, бодр электрический свет. В нижнем этаже и в соседнем доме — спят немцы, приехавшие собирать машины. Немцами называются — и немцы, и шведы, и бельгийцы.

Ночь. Сон. Утро.

Да, за окнами город, кварталы домов. Да, за окнами Обонежская, новгородцев, пятина, сосны и ели подошли к самым домам, — или улицы уперлись в сосны, — лес, снег, валуны, Озерный край. Да, за окнами завод, возникающий волею социалистов. Два года назад здесь были только — Таежная область, Озерный край, Новгородские земли. Спутники идут на стройку завода. Земля взрыта траншеями водопроводных линий. Земля завалена цементными бочками, кирпичом, лесом, бревнами — всем тем, из чего возникли вон те корпуса, построенные кораблем, похожие на громадное судно, где капитанским мостиком одиннадцать этажей центрального здания. Человеческий труд взял эту землю и эти леса под уздцы. Около моста через Валгому перекинута конструкция, циклопическая постройка, которая будет выкидывать отработанную воду в Ладогу. Водопроводная станция будет давать заводу воды, завод будет брать воды — больше, чем весь Ленинград. Отработанную воду завод будет выкидывать в Ладогу, чтобы не отравить Сяси, реки немногим менее плодородной, чем Волга у Калинина. День пасмурен. Леса суровы. Спутники идут к берегам Сяси, туда, где над гранитом берегов склонились краны, те, что будут кидать заводу миллионы бревен. Рабочий-немец, в треухе, в овчинной куртке, в валенках, немец, который собирает краны, приветствует спутников, русских большевиков и инженеров, строящих завод, просьбою дать третью смену рабочих, чтобы он мог к первому мая закончить работы. Краны повисли над Сясью и придавили ее. На конструкциях повисли вагонетки, высоко в воздухе, на тросах, которые кажутся толщиной в палец, но свернутые кольца коего, лежащие около, для второй и третьей пары конструкций, указывают, что тросы толщины боль-

шей, чем человеческая рука около кисти. Небо серо. Снег синь. Этот пейзаж совершенно не похож на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге, но люди, за которыми идут спутники, обдуваемые ветром, — идут петровским шагом. От кранов спутники проходят тем путем, к которым машины понесут сырье, миллионы бревен, к цехам, к заводу. Спутники приходят в цех, где эти миллионы бревен будут превращаться в древесную труху. Около машин приветствует швед. Спутники идут лестницами, переходами, через навороченный камень, под и над лесами, мимо частей несоборных машин, пахнущих маслом и в рогажах. Миллионы бревен, отданные этим машинам, выйдут с завода к железнодорожным шпалам, пройдя десяток цехов волею машин, — бумагою, газетными ролами, оберткою, целлюлозой, миллионами пудов фабриката. Новыми траншеями земляных работ, железнодорожных шпал, временных сараев с матерьялами, кранов и подвешенных спутники заходят в цех, где печи из медного колчедана будут делать азотную кислоту и прочие кислоты. Древесная масса, промытая водою в таком количестве, что воды требуется больше, чем всему Ленинграду, отсортированная, смешанная с азотной кислотой, придет в котлы, которые называются варочными. Варочные котлы накрыты одиннадцатизатяжным коллаком капитанского мостика. Их шесть, варочных котлов, каждый из них в двадцать метров вышиною, эти куполообразные котлы, средневековые башни, церковные колокольни. Древесная масса, чтобы попасть в эти котлы, забрасывается насосами на крышу их одиннадцатизатяжного колпака. Котлы, где каждый котел больше пятикомнатной кооперативной квартиры, сварят дерево, как хозяйки манную кашу. Котлы отдадут древесную кашу огромным бассейнам воды, чтобы вновь вымыть кашу, отмыть азотную кислоту, выщелочить (отработанную, ядовитую воду выкинут громадными трубами за пять километров от завода, в студеную Ладогу). Чистую кашу — или пошлют под пресс, где возникает целлюлоза, — или пошлют в машины, где древесная жид-

кость рекой втечет в машину и вытечет из машины газетными ролами, готовыми в печатный станок. Спутники ходят час, два, три, четыре, переходами, лестницами, лесами, вверх и вниз, из корпуса в корпус. Спутники поднимаются на крышу одиннадцатого этажа. На капитанском мостике завода ветер дует простором. Под спутниками леса и Ладога, Сясь ушла в туманы далее. Может показаться, что спутники пересмотрели все лондонские картинные галереи — так притупился мозг. Ноги и плечи налиты свинцом. Один цех в сознании налезает на другой. Спутников ведут дальше и дальше. В Европе есть только один равновеликий этому заводу — завод Вольгоф в Швеции. Инженеры идут в контору, чтобы покурить и просмотреть планы. Контора не отстроена окончательно, деревянный барак, — это существенно, что сначала строятся машины, затем все, что около машин. Инженеры идут в механический цех, он закончен постройкой, потолки его уже закончены работой. На силовой станции, в турбинной, у сердца завода, собраны две турбины на восемь тысяч киловатт, и на три этажа разместились распределительный щит. Голова налита свинцом больше, чем ноги.

Когда спутники идут обратно, у моста через Валгому, около водонапорной станции, их окликает мужичок карельского типа. Он залихватски натягивает вожжи, его бодрая вятка запряжена в кибитку, в сани с крышей.

— Прикажете прокатить!? — кричит он.

Два года тому назад здесь были камни, леса, вода и небо, да носковские, дуракинские тож, крестьяне обрабатывали землю подзольной системой. Носковцы деревню свою перенесли системой веревочных узелков. Шесть тысяч носковцев режут сейчас в таегах леса, четыре с половиною тысячи лошадей связят леса — для этого завода. Мужичок карельского типа, сидя на козлах кибитки, залихватски задрал голову своей финки, гаркнул залихватски:

— Прикажете прокатить!?

Спрос — предложение. Предложение — спрос. Два года тому назад —

таега. Утром, когда спутники шли на завод, они видели против главной конторы, против кооператива и кооперативной столовой, на главной улице, — базар. Им объяснили, что сюда перешла ярмарка из Сясьских Рядков. Бородатый полубок разложил на снегу глиняное свое производство — корчаги, горшки, свистульки в виде петушков, где полагается дуть в петушьи хвосты. Бабочка разложилась холстинками. Тулуп ковырял в раздумьи кнутом снег. Девушка размеров и антуража Бориса Кустодиева смущалась от «тэжэ» вежливостей паренька в сапогах и в куртке: паренек совал ей конфетину размером в четверть аршина с кистями на обоих концах. Спутники купили себе свистулек.

Вечером, после заседания, где все «увязывалось», как требуется, после ужина в заводской столовой, спутники пошли пройтись по улицам. «Немца» сразу узнаешь по походке и по тому, как он кладет руки в карманы. «Немцы» гуляли по большаку — с русскими барышнями. Барышни были в шляпах. Наши — тоже гуляли с барышнями, со своими — с нашими: у наших были на ногах сапоги, на головах платочки. Мужчина, сопротивляющийся пространствам, уперся любовно в грудь, дохнул бутылкой водки, любовно сказал:

— Выходной, выпили.

Клуб, освещенный празднично, через стены в мороз улицы бросал слова радиоговорителя. Местный работник рассказывает о героизме работ зимою, в таежные морозы, когда галки падали с неба от мороза. Завод строился круглые сутки. Спутник осызал свистульку в кармане и думал — о чудесности человеческой жизни, о силе человеческой жизни. Две девушки проходят мимо, прошли, рассмеялись! — Жизнь начата! — начата жизнь не узелковых измерений, а вот этих домов рабочих, жилых корпусов, выстроенных линейкой, подчинивших себе Дуракино, перестроенных волей большевиков в два года.

В Доме приезжающих спутники внимательно осматривали стены, хотелось найти таракана, — таракана они не нашли. Дуракинцы обернулись к заводу свистулками. Завод двинулся на нос-

ковцев капитанским мостиком варочного цеха. Все ясно без комментариев. Чудесная жизнь!

Очень трудно вставать ночами, когда человек заснул час тому назад. Небо светило ущербной луной, луна цепляла за вершины елей. Во мраке пересвистывались сторожа. Траншеями строек спутники пошли к дрэзине. Окликнул милиционер. Жизнь этого дня, вырванная из ночи, начата. Станция Лунгачи, возникшая вместе с заводом, имеет начальника свирепой субстанции, полагающего, что все бездельничают около него. Рассвет идет упорно. Спутники в безделии говорят об Америке, о Соединенных Штатах, о том, что тридцать лет тому назад Штаты были экстенсивнейшей сельскохозяйственной страной. Это — продолжение дневного разговора о калькуляции целлюлозы, о том, что завод окупит себя в три года, о том, что капиталы социалистического накопления должны расти геометрической прогрессией и через десять лет этот завод должен иметь пять таких же братьев. Большевики говорят о пафосе творчества. Мозги перепутаны ночью и впечатлениями. Одного из спутников надо назвать — Мартимиан Петрович Шевченко, внук Тараса Шевченко, украинский крестьянин, ныне председатель Ленинградского бумажного треста. Это — не случайно для рассвета. Тарас Шевченко был крепостным. Окна станции Лунгачи краснеют рассветом. Мартимиан Шевченко говорит об Америке, где он только-что был.

В лесах, на песке, на валунах Сяси стоит завод. Все созданное человеческим гением записано на бумаге, весь человеческий мозг за все тысячелетия человечества всегда проливался на бумагу, все созданное и сделанное человеком, все достойное в человечестве, его истории и строительстве. Завод предназначен к тому, чтобы делать целлюлозу, то, из чего образуется бумага, и делать бумагу. Этот завод производит пятьдесят тысяч тонн, три миллиона пудов целлюлозы, идущей на бумажные фабрики. Этот завод производит пятьдесят тысяч тонн газетной бумаги, rolls которой расходятся по всему Союзу

Республик. Этот завод делает миллион триста пятьдесят тысяч пудов древесной массы, той, ради которой в лесных землянках зимою двадцать седьмого — восьмого зимовали шесть тысяч человек и четыре с половиною тысячи лошадей. Из отбросов целлюлозы оберточнубумажный цех производит двести семьдесят тысяч пудов оберточной бумаги.

Этот завод, этот город возникли в лесах, чтобы делать бумагу, делать величайший двигатель культуры, где записывается человеческая мысль, — этот завод, похожий на громадный океанский корабль, где капитанским мостиком — крыша одиннадцатизэтажного варочного цеха. У этого судна, что бы там ни было, путь один — в социализм.

... На северо-восток от Лагодэх, на юго-восток от Сяси, в Азии, в Казахстане строилась Туркестано-Сибирская железная дорога, Турксиб. В тот день, когда из Москвы ушел поезд торжествовать открытие Туркестано-Сибирской железной дороги, около Айна-Булака, то-есть около места смычки Северного и Южного путей Турксиба, сколачивались последние километры Северного пути. Правительственный поезд, понесший из Москвы представителей правительства, рабочие делегации, советских журналистов и литераторов от американских до японских, уходил в степенность ночи степенностью людей, отобранных из тысяч своими именами, положениями и делами. Вагоны поезда, в притушенных сиреневых рожках сна, засыпали отдыхающими людьми. Поезд шел в Азию, в первобытность, в пустыни песков. Это было в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля 1930.

Под самым Айна-Булаком к двадцатым числам апреля южный укладочный городок уперся в скалу, догнав каменоломов, и укладчики, сменив свои костыльные молоты на лопаты, пошли помогать каменоломам, работая круглые сутки. Наступала ночь на двадцать первое. В закат гремел аммонал, разворачивая скалы, вдвигая пути в горы. Днем лил дождь. Закат багровел древностью, в пустыне, в колоссальных тысячах километров, отовсюду, где — за зноем и песками — почти не ступала нога чело-

века последние сотни лет, — закат грохотал аммоналом. И вслед аммоналу пошли люди. Ночь наступила черным мраком. И в ночи было небывалое. Меж развороченных аммоналом скал повисли газовые фонари, тепловозы залили ущелье белым светом прожекторов. Сверху лил дождь, огни индустрии реза́ли мрак, оставляя на свету скалы, ущелья, человеческие спины, шпалы, кирки, молоты, ломы, лица, усмешки, бодрость, усталость. Из мрака возникали вагонетки, скрипели, уходили во мрак. Огни меняли свои направления, и видными становились новые ноги, головы, лица казаков и русских, склоненных над кирками и над гранитами. Вагонетки и тепловозы спешили, уходя, приходя, звеня по рельсам, посвистывая, без сигналов, мешая свои звуки и звуки работы с русско-казацкой «Дубинушкой»:

«Ой, раз! — взяли!  
Ошшо двинем!»

Перекликались люди, гремел камень, звенели сигнальные колокола, стрелял пневматический бур. И было понятно в этом смешении камня, машин, людей, света и звуков, что здесь командует и двигает — индустрия. В ста шагах направо, в ста шагах налево — были пустыня, мрак, тысячекilометровые пространства песков и безлюдья. В ста шагах впереди — была скала, гранит, отвес, который надо пробить, чтобы проложить рельсы. По этим рельсам первый пройдет тот поезд, который в этот день вышел из Москвы. 22-го апреля, когда литерный московский поезд спал перед Оренбургом, в семь часов утра укладчики вместе с каменоломами убрали из ущелья последние глыбы гранита, а в час дня, когда литерный поезд завтракал, эти укладчики шагали по шпалам с костыльными молотами, чтобы укладывать рельсы. За скалою, рядом, был Айна-Булак. Оставался еще один мост перед самым Айна-Булаком. К южанам навстречу пришли северяне-укладчики, чтобы познакомиться с товарищами, которых они никогда не видели, но навстречу к которым — навстречу друг к другу — шли два года.

За эти два года многое было... На Чокпарском перевале, у реки Или укладочную партию заметали метели в морозах пятидесяти градусов. Партия шла поездом теплушек и табором юрт. В морозах и метелях дохли собаки, но работали люди. В этих тысячах километров мороза, снегов и пустыни не всегда вовремя привозились — хлеб, топливо, инструменты. Днями в морозах горного перевала работали над путями, а по ночам тащили вперед обоз поезда и табор жилищ, чтобы оставлять дни для работы. Однажды свалился с рельс, в метели, в ночи, вагон-кузница. Надо было ночью ж поднять вагон, чтобы с утра работать. Был такой буран, когда не видно было собственной протянутой руки. Для под'ема вагона надо было подвезти шпалы, чтобы из шпал сделать домкрат. И за шпалами во мрак метели уехал казак Султан Бастылбаев. Бастылбаев провалился в вой ветра. Бастылбаев пропал в метели. Тогда оставшаяся, раскинувшись цепью, переключаясь, пошла искать погибающего. Бастылбаева нашли свалившимся вместе с лошадью под отвес, откуда он не мог выбраться, тонущий в снегу. Через какие-то часы тогда промороженный отряд двинулся вперед на свои рекордные километры, одновременно очень короткие и колоссальные, *ибо эти два-три километра метелей суть рекордные, обогнавшие Америку, прокладочные километры.* У Балхаша и по всем пространствам этой степи-пустыни кочуют барханы песков, превращая степь в пустыню. Там, где идут пески, там нет воды, там ничто не растет, кроме саксаула, и ничто не живет, кроме ящериц и черепах. И уже не пятидесятиградусные морозы, а семидесятиградусные знои были над балхашскими песками. И бывали ветры. В ветры песок поднимается, как снег, дуют песчаные метели, песок слепит глаза, вместе с дыханием летит в легкие, скрипит на зубах и в пище. Песчаные сугробы идут с места на место, все заметая и путая. В таком песке не пройдет автомобиль и застрянет арба. По этим пескам, по этим зноям, по этим песчаным буранам — шли укладчики, прокладывая рельсы. В этой пустыне не



было воды. Воду привозили из-за далеких километров. И воду, в этом отчаянном зное, люди пили по пайку, по литру на человека в сутки. У людей болели глаза, избитые песком. Песок раз'едал раны. В песке и безводьи отказывались у грабарей работать лошади. Люди шли вперед, часы досуга отдавая тому, чтобы убивать тарангулов, фаланг, скорпионов, ядовитых змей. Люди проходили эти пустыни, индустрия, строившая железные пути в пустыне. А веснами, когда бесились реки, гонимые горными потоками, люди работали на солончаках по колено в соленой воде, которая с'едала кожу. Нежданые, негаданные воды бросались иной раз на шпалы, размывали насыпи, грозили уничтожить сделанное. Люди боролись с водой, с той самой, которой так нехватало летами, боролись без расписаний часов труда, круглые сутки без сна, оторванные иной раз от других людей. И это было, когда неделями укладочные партии не видели ничего, кроме горизонта и кроме неба, не слышали ничего, кроме песен своих машин да ветра, да птиц, да писка ящериц.

За Оренбургом для литерного поезда сразу настала пустыня, катастрофически просторная, катастрофически нищая, желтая, беспредельная, в апреле уже выжженная солнцем и знойная, как Сахара. Эта казакская Азия засыпала песками и жгла зноем весь путь до Арыси, до Аулие-Аты, Алма-Аты, Айна-Булака. Днем были зной и морозы ночью. Пустыни барханов, сметенных так же, как сметаются снега метелями, саксаул, польнь, камень, пески, пески, барханы, саксаул, соленые озера, где соль лежит на берегах белым снегом. Изредка юрты. Изредка верблюды. Изредка скачущий казак: казаки, завидев поезд, из-за десятка километров мчали ему наперерез, состязая в беге коней и паровоз. Аральское море лужей упиралось в пустыню, море, как пустыня. Пустыня, желтая, как шерсть верблюда, и пространства, обоженные солнцем, как лица монгол. Путь поезда обогнал московское время на три часа: на три часа отстало московское время. За Аральским морем на горизонте возникли снеговые верши-

ны отрогов Тянь-Шаня, за Тянь-Шанем, совсем рядом, — Китай. Солнце палило пятьюдесятью градусами. Поезд скрипел шпалами и песком. Поезд шел шпалами Турксиба: скинуть с горизонта эти две змеи, и пейзаж будет таким, каким он был тысячелетия. Всадники-казаки обгоняли, стремились обогнать те два паровоза, которые тащили вагоны литерного поезда.

#### Пустыня.

Но вот: с гор идет ручей, этот ручей взят в ватерпасный расчет, каждая капля его воды учтена. Это: ирригация древностей, арычная система, — мюрабы, которые жили у головных арыков, командовали течениями рек. Ныне арыками командуют инженеры, и здесь, около этих арыков, около плоскокрышных домов, выставивших наружу только глухие стены, здесь — субтропическая растительность, цветет урюк, грецкие орехи, миндаль. На полях, вымеренных ватерпасом, хлопок, рис; богары принесут пшеницу. Город Алма-Ата, столица Казакстана, точный перевод с казакского — Отец Яблок. Ирригации древностей могут перестраиваться, и могут строиться новые ирригации. В Среднюю Азию приехали американские инженеры. Инженер Дэвис, который у себя на родине в США был директором правительственного ирригационного департамента, говорил людям литерного поезда, что он в ближайшие пять лет намерен в Средней Азии переоборудовать такое количество водного расхода и оросить такое количество ныне мертвых земель (например, Голодную степь), — такие количества, какие в США он ирригировал в течение двадцати лет. Работы уже ведутся, и эти новые воды изменят пейзаж пустыни. Пустыня, зной. По откосам кое-где растет хондрилла, жирные зеленые лопухи, растение, содержащее в себе каучук. По Балхашу, у Иссык-Куля, по тальвегам Или растет дикий кендырь. На горизонте с востока величествуют горные хребты, минералы, металлы. Катастрофический простор! В Азию, удостоверить открытие Турксиба, в литерном поезде ехали иностранные корреспонденты. Их телеграммы и радио из Айна-Булака пошли

во все концы земного шара. Путешествовали иностранцы, подобно бабушкам, везли с собою по свиной ноге, по ящику с вином, по ящику с нарзаном, бидоны консервов, кофейники, чайники, хотя в вагоне-ресторане кормили отлично. Имелись у иностранцев два граммофона с фоксами, коктейлевые справочники, фотографические аппараты, даже киноаппарат. Ели иностранцы за бабушек, пили за дедушек, по американскому чину играли в поккер, отдыхали фоксами и неграми, на станциях стреляли фото и кино в просто верблюдов, в себя с верблюдами, в казаков, в казачьи юрты, от фотографического утомления восстанавливаясь коктейлями. По новому мосту через реку Или, по которому поезд проходил впервые (первый поезд впервые по мосту), некоторые иностранцы боялись ехать, как некогда бабушки, и обходили мост пешком.

На горизонте виден одинокий дом у шпала да три-четыре юрты, — это полустанок, разезд. Дома еще недостроены. Поезд шел к станции, и по пустыне простора к станции мчали джигиты, казаки-всадники, их кони стлались по земле в карьере. На станции казаки становились в тесный табун. Лица их были первобытны. В зное казаки были одеты в овчинные халаты, в овчинные штаны (но иные босы, неглижательно подерживая стремя одним большим лишь пальцем!). Треухи их шапок были также овчинны. Кони необыкновенно малы и необыкновенно быстры. На седлах казаков лежали одеяла, и седла выкрашены в красную краску. Казаки охотно давали своих коней прокатиться, — моквичи падали с этих бессильных, казалась бы, кляч. В юртах у казаков стоят сундуки, по земле разостланы ковры, посреди юрты — камелек. Казаки, кажется, не знают еще потребности умываться, от них пахнет конским потом и кумысом. Не на одной, а на нескольких станциях казаки спрашивали: — Ленин едет с вами? Покажите его, — они не знали, что Ленин умер.

Казаки залезли в поезд, щупали, трогали, ухмылялись, — в этот первый поезд, который они видели впервые на своей земле. Два казака пришли в ва-

гон-ресторан, и — их лица изобразили ужас. Они со страхом глянули друг на друга. Они протянули руки вперед. Они увидели себя в зеркале. Они показывали в зеркале друг на друга. Они корчили страшные рожи. Они хохотали. Они со страхком тыкали пальцами и нагайками в стекло зеркала. Эти два казака впервые в жизни увидели себя в зеркале, каждый самого себя рассматривал в зеркале впервые, знакомился с собою. Иностранцы стреляли в казаков кино и фото. Казаков можно было угощать папиросами. Они приветливо улыбались. Их можно было попросить спеть. Тогда два казака сажались друг против друга на шпалы, смотрели внимательно в глаза друг другу, сдвигали на затылки свои треухи. И возникали звуки пустыни, длинные, как пески, сухие, как зной. Эти песни были коротки, в одну фразу:

— «Казаки пасли свои стада в степи, но в степь пришла железная телега», —

или:

— «Царь называл казаков собаками, но пришла советская власть, и казаки стали — казаками», —

или:

— «Казак пас свои стада, но прошла железная телега, и казак поступил на строительство рабочим».

Была ночь, когда поезд пришел в Айна-Булак. И в ночи возникли — древность, неповторимое, единственное. Станция Айна-Булак лежит в долине, развернувшей свои склоны на десятки квадратных километров, проваливаясь в пустыню на западе, упираясь в горы на востоке. Все холмы и все долины светились кострами кочевья. Поезд стоял, остановив свои шумы, и из мрака, с десятка километров шли звуки орды, ржанье коней, рев верблюдов, гортанные людские крики. Пахло дымом, кизяком, конским потом. Рассвет открыл становище, которое было таким же, как оно было при Батые, Тимуре, хромце-Тамерлане. Все холмы были усыпаны всадниками. Всадники ехали одиночками, толпами, полчищами. Столбы пыли, взметаемые конями, уходили в небо. Казаки приехали на торжества из-за

пятисот, семисот километров. (Казакстан ведь больше Европы!) На конях, кроме мужчин, были и женщины, и дети. Трехлетние детишки сидели в седлах-люльках. Семидесятилетние старухи дремали на кованных серебром седлах. Головы женщин белели белыми чалмами. В долине, где три недели тому назад ничего не было, кроме весенних тюльпанов да полыни, на шпалах стояло несколько составов литерных поездов, привезших людей со всего мира. Поезда стояли паровозами друг к другу, ибо между ними не были достроены шпалы — всего несколько метров, которые достраивались в день торжества, в день открытия дороги. Казаки приехали торжествовать и видеть невиданное. В тридцати местах над пустыней холмов дымили фабрики-кухни. Управление Турксиба угощало пиром всю собравшуюся степь. На этих пирах, под навесами из теса, в пятидесяти градусах жары, в овчинных халатах, казаки ели руками плов и пили нарзан, как водку, сидя на кошмах с подогнутыми под себя ногами, пир Батыя, ловившийся киноаппаратами. В заплывенный зной конные казаки с пира поехали за холмы к степи, несколько десятков тысяч конников, ликовать по-своему — праздновать байгу, козлодрание. Там, в степи, эти тысячи построились каре вокруг кургана. Рыскулов, зампред Совнаркома РСФСР, казак, командовал на коне около кургана. Десяток тысяч коней казаков стал вокруг кургана. В середину, на пустое место, к кургану выезжали батыри, единоборцы. Таким образом выбирался совет старшин: два батыря должны были бороться друг с другом, один из них должен был вылететь из седла, — победители составляли совет и получали призы. Противники нападали друг на друга, тащили друг друга из седла, их кони ржали враждебно и кусали друг друга. Затем старшины начали байгу — козлодрание. Бросался живой козел. Каждый имел право схватить этого козла, вскинуть на седло и нести. Победителем был тот, кто привозил этого козла к кургану. Каждый имел право отнять козла. В борьбе одному казаку вывихнули руку, он упал

в обмороке, его рука небывало изогнулась. Сейчас же, тут же, казацким способом этого вывихнутого взвалили на коня, тут же вправили ему кости в суставы, он очнулся от обморока и — бросился в единоборство. Несравненный, небывалый вой покатился по степи, когда пустили козла. Пыль, более густая, чем лондонские туманы, поднялась над ордами, визг, вой, тысячи глоток. Конные орды бросились в одну сторону на десяток километров, свернули вправо, помчали обратно. Тот, кто победит, будет героем на тысячу километров вокруг, — эти тысячи пытавших свое счастье, карьером, вопреки стихиям держась на конях, мчали по степи. Столбами пыли и косами коней в вое орд мчалась байга. Древность! Куликово поле!.. Так открывалась казаками дорога — не только дорога Казакстана, Сибири, Средней Азии, СССР — но и дорога земного шара.

На одной из станций Турксиба в вагон-ресторан литерного поезда вошли четверо: двое рабочих и молодой инженер с женщиной, должно быть, с женой. Был вечер; вошедшие сели в стороне и заказали себе ужин из европейских блюд. Жена инженера раскладывала поданное на тарелки. Мужчины были бодрые, здесь, в пустыне Чингиз-хана, гуннов и казаков. Поезд нес в себе быт и обычаи не только Москвы, РСФСР, но и Европы, и заокеанских стран. В вагоне, кроме русских, кроме европейцев континента, сидели новосветные американцы и древнесветные японцы. Коридоры поезда пахнули «верджиния». Вагон-ресторан блестел крахмалами скатертей, как люди — воротничками. Поезд стоял под знойными песками саксаулов и барханов, — в вагоне-ресторане был ледяной нарзан. Станция, на которой в вагон-ресторан приходили ужинать четверо, была такой, где начальник станции командовал путями, стрелками и телеграфом из временного тесового сарая. Вокруг станции толпилось шесть юрт. Около станции протекал арык. За арыком, за юртами на юг, запад и север шла пустыня степи, — на востоке леденели вершины Тянь-Шаня, по хребту которого проходит граница Китая. На

этой станции литерный поезд был встречен криками «ура», казаки на своих конях под'езжали под самые окна поезда. Сен Катаяма, член президиума Исполкома Коминтерна, говорил речь на английском языке. Зной спадал в мороз. Заря на западе долго горела и смеркла. Пустыня ушла во мрак, запахло пылью. Люди в поезде отдыхали, утомленные зноем дня и перед днем торжеств Турксиба. Паровоз в темноте медленно набирал воду. Эти четверо сели за крайний столик. Мужчины были одеты по-походному: в высоких сапогах, в гимнастерках. Им было весело. Они шутили между собою и чокались стаканами. Они заказали замысловатые кушанья и не спешили. Вагон-ресторан блистал электричеством. За соседним столиком американцы устало пили вино, утверждая англосаксонскую истину вежливости, когда даже Азия не может менять быта. Подошел паровоз, толкнул поездной состав. Официант предупредил, что поезд отправляется.

— Ничего, — сказал инженер, — мы сойдем с поезда на под'еме.

Поезд ушел во мрак. Через полчаса поезд замедлил ход, стал взбираться в горы. Инженер расплатился по счету. Все четверо встали. Американцы увидели, что и на женщине были смазные сапоги. Гости вышли из вагона-ресторана на площадку. Паровоз сипел, трудясь на под'еме.

— Куда это вы собираетесь? — спросил проводник.

— А обратно на станцию, — весело ответил инженер.

Первым соскочил с поезда старший рабочий. За ним спрыгнула женщина. Дракон поезда, сопя паровозами, в тщательно спущенных занавесках, поскрипывая под'емом, прошел мимо оставшихся, завернул на скалу, растворился во мраке, — ушел, унес людей торжествовать открытие Турксиба. Эти же четверо шли холмами, без тропинок, привыкшие к степям и бездорожьям. Они шли, бодрые и веселые. Через час пути далеко внизу во мраке загорелся чуть видный огонек станции. Всю дорогу четверо пели русские песни. Еще через час пути вокруг станции в степи

стали видны огни костров: это казаки, приезжавшие встречать поезд, устраивались на ночлег, кипятили каменный свой чай и жарили баранину. А еще через час путники были на станции. С пригорка все сразу они крикнули темноте станции:

— Идем! — возвращаемся!

Из землянок, из юрт вышли люди, собрались у костра.

— Ну-с, сообщайте про ваш выгрыш.

На станции, мимо которой прошел литерный поезд, стояла гидроэлектрическая изыскательная партия, на склонах холмов паслись верблюды, в юртах отдыхали люди, у юрт, задрав вверх дышла, стояли арбы с шурфовальными и буровыми инструментами, с химической лабораторией, с несложным скарбом изыскателей. Эта партия уже два года шла по пустыне, отыскивая и проверяя воду, ее количества, ее месячные расходы, ее горизонты, ее состав, — ту воду, которая дает жизнь Туркестано-Сибирской. В составе партии было человек семьдесят рабочих, инженеры-гидрологи, геологи, межевики, были три женщины-химички. Этот изыскательный табор шел от увала к увалу, от булака к булаку, от реки к реке, искал воду и на земле, и на сотни метров под землею. В памяти у отряда были и нестерпимые зной лет, и снежные метели на перевалах, когда ветер в клочья разметал юрты и заносил снегами верблюдов. Вся дорога этого табора прошла около кочевых костров ночами, в героическом подвиге дней, — этого табора, который должен был принести Турксибу воду, а вместе с нею — жизнь. Этот отряд еще долго будет итти по пустыне, ползти арбами, на которых свалены аппараты, юрты, скарб, стоять юртами и задранными в небо дышлами, отдыхать кострами, работать зноями. Люди в отряде сжились братьями. Ночи у костров рассказали все о каждом от детства. Те четверо, что были в вагоне-ресторане, были: рабочий-горняк из Баку, землекоп-черниговец, молодой инженер, окончивший два года тому назад Московскую горную академию, молодой коммунист, сын коломенского рабочего, чет-

вертой была его жена, химичка в изыскательной партии, приехавшая на строительство Турксиба из Томска. Так были собраны и все остальные работники партии. Мир был отрезан от изыскателей, — лишь радио, которое изыскатели таскали за собою, прикрепляя антенны к юртам, говорило о том, что творилось в мире. В тот день, когда проходил литерный поезд, партия отдыхала. Поезд, который шел из Москвы, ожидали, как радость. Поезд опаздывал. Люди поднимались на холм, чтобы увидеть этот первый поезд, который пройдет по местам, где три месяца назад не было ничего, кроме пустыни. Один из рабочих тогда удивился самому себе:

— А ведь странное дело, — сказал он удивленно, — в поезде будет вагон-ресторан! Я уже два года не был в ресторане!

Через полчаса тогда партия собралась для лотереи, в шутках, веселии и озорстве. Всем пойти в вагон-ресторан возможности не было. Розыгрышем выбрали четырех счастливых.

— Ну-с, рассказывайте про ваш выигрыш, — сказал старший инженер.

— Ели, — ответил рабочий из Баку, сдвинув фуражку на затылок, — с салфетками, на скатерти.

— Нарзан пили!

— Подождите. По порядку. Кто докладчик? — сказал старший инженер. — Говорите по порядку. Влезли в вагон. Сели. Заказали. Что заказали?

— Чего у нас нету, все сразу. Я салфетку под бороду засунул, как американец! — сказал землекоп-черниговец.

У юрты в котле варилась баранина. Над юртами в небе, в широчайшем просторе степного неба, горели соленые звезды. После зноя на пустыню наступал мороз. У костра, стоя на корточках и лежа, изыскатели спрашивали счастливых и хохотали после каждого ответа, спрашивая обо всем до мелочей, начиная от качества салфеток, кончая американскими очками. И только поздно ночью изыскатели разошлись по своим юртам спать. Молодой инженер залез за занавеску на кошму своей юрты, заложил руку за голову. Он вспоминал Москву, студенчество, — он

думал о том, что завтра произойдет соединение Северного и Южного путей Турксиба, Сибирь соединится с Средней Азией, на открытие соберутся люди. Журналисты всего земного шара, приехавшие на открытие Турксиба, пошлют телеграммы и радио, которые в сутки опояшут земной шар. Он думал о том, что вслед за этим первым правительственным литерным поездом пойдут многие сотни поездов, — и он совсем не думал о том, что он — в этой безводной пустыне, где вода предрешает все, — что он и его товарищи дали дороге самое главное, решающее главное — воду, воду! За эти два года он увидел, как у пустыни отнимается пустыня, как в пустыню идут железные рельсы, неся за собою все, что они могут принести. В зной лет были видны на горизонтах миражи несуществующих городов, — и в реальности возникали города. Место, где ныне станция Аягуз, было пустыней, заселенной пятью мазанками и четырьмя юртами. Место, где была пустыня, ныне есть город Аягуз. По августу тысяча девятьсот двадцать восьмого года там, на холмах, шумел ветер да текла под обрывом речка Ботань. В сентябре того года там появились колышки изыскателей да на бумаге был распланирован поселок. А в мае двадцать девятого там возникал город. Там возникли — и просторный клуб, и светлая столовая, и починочные мастерские, телеграф, телефон, больница, кузницы у железнодорожного моста. Починочные мастерские выросли в завод. Там строились, достраивались, достроены — крупнейшее на Турксибе паровозное депо, хлопкопрессовальный завод, мясохладобойня, электростанция — и город, город домов, палисадников, улиц, скамеечек у домов, вывесок у кооперативных лавок, радио, гуда мотоциклов и автомобилей, где живут люди, работают, отдыхают, рождаются. Неподалеку от Аягуза был старый город военных казарм, построенный при императорах для солдат, которые должны были хранить монархию в пустыне, — город Сергиополь. И город Сергиополь, живые в этом городе ушли на Аягуз. То-есть на Турксибе не только рождались города, но и умира-

ли, — множество таких местечек, станций, раз'ездов, аулов. В начале своего пути партия видела, как по пустыне — из Китая и в Китай, в Монголию, по Казакстану, из Киргизии и в Киргизию, в Узбекистан и из Узбекистана — шли караваны, верблюды. Эти «корабли пустыни» отмеривали мертвым шагом тысячи километров с товарами пустыни, с хлопком, с рисом, с кожами, с русскими ситцами и мелкими металлическими поделками, с хлебом, с лесом, с шерстью, с пушниной. Это степное сырье и ресефесерские фабрикаты шли тысячи километров от и до Ташкента, Семипалатинска, Алма-Аты. И партия видела, как Ташкент и Семипалатинск идут друг другу навстречу, чтобы сократить, сдвинуть тысячи километров пустыни, пододвинуть Западный Китай к Айна-Булаку так близко, как не был он никогда за все десятилетия существования этих пустынь. Караваны меняли свои дороги. Партии шли степями казаков. Партии видели юрты казаков, их коней, их стада, колоссальную, ни с чем не сравнимую бедность и лень, созданную бедностью, мир и быт, ограниченный пустыней, юртою, кобыльим молоком, шароварами жены (или нескольких жен), болезнями овец, да ветрами, да морозами, от которых казаки прятались так же, как от зноя, — в овчины, никогда не сменяемые. Партии видели первобытность жизни казаков, когда их быт нельзя было назвать даже средневековым. Партии видели сначала, как испуганно смотрели казаки на их колышки и работы. Партии видели, как казаки пошли затем к ним работать, ратать землю, рыть и отвозить ее, чтобы строить ложе путей. И в конце своих работ партии видели, что на многих станциях и полустанках Турксиба, почти на каждой, — стрелочником, смазчиком, кондуктором, весовщиком, сторожем, — служат казаки, а на узловых станциях Турксиба построены школы и курсы для казаков, где казаков учат быть машинистами, слесарями, начальниками станций, телеграфистами, конторщиками, бухгалтерами!.. Железные пути перестраивают природу. Железные пути перестраивают пространство. Пути

перестраивают человека. Пути перестраивают хлеб и право на хлеб. Вдоль путей пошли ирригации, которые зальют десятки миллионов га под рис, хлопок, кенаф, кендырь, рами. Сколько песен было пропето о великом пути — ночами у степных костров из кизяка — и партиями, и казаками!..

Двадцатого из Москвы вышел правительственный литерный поезд праздновать открытие Турксиба. Сизым блеском вагонов Пульмана поезд прошел по шпалам Турксиба к Айна-Булаку. Поезд к Айна-Булаку пришел в ночь и стал на главном пути. Горы вокруг Айна-Булака горели огнями древнего становища, ибо праздновать открытие Турксиба собрались казаки из-за сотен километров вокруг. Горы Айна-Булака и казаки на холмах около костров имели вид такой же, как при Батые.

... И Сясь, и Турксиб — в обиходе, в жизни, в порядке вещей, — в истории, родящей новые пространства и новое время, и новых — из небытия — людей.

... В избе у Арбекова цвели и вянули снопы и веники васильков, ромашки, мяты, щавеля, полыни.

Растет по болотам под Палехом страшная трава багун. Охотники боятся этой травы. Запах багуна почти незаметен, — но, если пробыть в местах, где растет багун, не больше даже полчаса, — человек падает в обморок, у него заходится сердце, у него звенит в ушах, его тошнит. Если друзья не унесут отравленного багуном, если не уползет человек, если он одинок, — человеку смерть от багуна. Ни зверь, ни человек не живет около багуна. Но багун исчезает вместе с болотами. Болота же уничтожает человек.

## Глава пятая

Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, — она пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, ветра, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ромашки. Если лежать во ржи и смотреть сквозь ржаные стрелки в небо, — день должен быть обязательно солнечен и синь,

должен быть бездонен небесный простор, — а вечером сквозь высокие стрелки ржи должна пробираться луна, и тогда кажется, что месяц в небе — хрустальный — звенит. — Рожь — хлеб, — какая громадная человеческая культура! — гро-мад-ная, — от тех времен, когда человек по колосьям отбирал рожь среди сорняков и посеял ее, от сорняков охранив!.. И рядом с рожью — изумрудные коробочки льна, только-только отцветшие голубыми своими колокольчиками, — не менее громадная человеческая культура ткани, одежды, украшения, платья.

Уже цвела липа, отходили первые ягоды, земляника и гонобобель. Созревала в лесах малина. Четырнадцатого июля, в день взятия Бастилии французским революционным народом, художники ушли в отпуск, на сенокос. От каждого двора в Палехе понеслись кузнечные шумы, — художники отбивали косы. Собирались к художникам приехать дорогие гости — Сергей Петрович Аггеев, Яков Станиславович Ганецкий, Михаил Осипович Лифшиц. Заслуженные присмотрели на базаре «на ногах» барана, сложились деньгами, купили его, пустили до времени в свое стадо. На базаре продавались громадным изобилием ягоды, яйца, молоко и масло. Продавались бараны, телята и свиньи. Продавались куры. Заслуженнейший и мудрец Иван Михайлович Баканов всегда все на базаре покупал самолично и был на базаре все базарные часы, степенный, медленный, внимательный.

На базаре были куплены две курицы. Связанными их понесли домой, несла Александра Михайловна, рядом с ней шел Сергей Иванович. И Сергей Иванович впервые в жизни видел зрелище, которому никак не удивлялась Александра Михайловна. Все петухи от базара до дома Александры Михайловны, мирно покоившиеся со своими курами в придорожных пыли и бурьянах, видя в руках Александры Михайловны связанных кур, становились свирепыми и бросались на Александру Михайловну, свирепые, страшные, клевали, царапали когтями, били крыльями, грозно кричали, призывая петушиных товарищей на

помощь. Александра Михайловна прятала связанных кур под фартук и отбивалась от петухов. Совершенно естественно, петухи не умели взять в свои когти дубину (ту самую, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от зверя), — иначе б они били Александру Михайловну дубинами. Перед казнью к обеду куры были положены в садике на скамейку. В садике на ковре сидел сын Сергея Ивановича, который уже стоял однажды самостоятельно, который сделал еще одно замечательное дело, а именно, никем не поддерживаемый, по своей инициативе, вполз с земли на крылечко дома Александры Михайловны, прополз целых пять ступенек! — сын сидел на ковре: в руках у него был стебелек василька с тремя цветками, около сына лежали игрушки; он благодумствовал и занимался еще одним новым своим делом, также только-что открытым, и именно орал во всю свою восьмимесячную глотку, что — совершенно точно — считалось у него пением, — совершенно точно, так как стоило сказать: — «Ну, Воробушек, спой!», — как он начинал это свое оранье; куры лежали на скамейке покойно; вдруг на заборе появился петух, он прокукарекал и заклекотал повелителем; одна из куриц откликнулась ему, она затрепыхала связанными крыльями, она истерически закудаhtала, она упала со скамейки в сторону ковра; сын на ковре прекратил свое пение, он затих и затаился, как жучок; курица кудаhtала, она еще раз трепыхнула связанными крыльями, она стала еще ближе к ковру; сын окончательно затаился, неподвижный и сжавшийся в комочек, — Сергей Иванович впервые видел в глазенках у сына страх, — сын смотрел на курицу затаенными глазами; курица опять трепыхнулась и еще приблизилась к ковру; затаившийся сын бесслышно переменял позу, он стал на колени; он готовился к обороне; отец крикнул сыну:

— Воробушек! — ты это что же, брат, трусишь?

Сын на момент глянул в сторону отца, он не видел отца до этого; и этого момента было достаточно, чтобы все пере-

менилось; лицо сына изобразило угрозу, он грозно крикнул:

— Ких! ких! —

и он со скоростью четвероногого жука, ползком и грозно бросился на противника, навстречу врагу; он нападал на врага; в руках его был васильковый стебелек; совершенно по-боевому он замахнулся васильком на курицу; он был грозен, уверенный в победе и в том, что его защитит отец; он делал грозный вид, чтобы запугать врага; *в руках у него была дубина* (та самая, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от зверя), дубиной служил стебелек василька; дубина была взята *сознательно*. В саду над сыном и над курицей цвели липы и цвело солнце. Сын, кусочек человеческого мяса, *созрел в человека*. Отцу и эпохе надо было позаботиться, чтобы человек вырос в гражданина бесклассового общества, для того, чтобы социализмом вытравить тот древний — и страшный — инстинкт, который прошел через все века человечества до социализма, — инстинкт дубины.

Восемнадцатого июля к художникам прибыли дорогие гости — на автомобиле с женою приехал из Иванова Сергей Петрович Аггеев, на аэроплане из Москвы прилетел с женою и дочерью заместитель всесоюзного автодорожного мастера Цудортранса (того самого, которого часто поминал Яков Андреевич Синицын), прилетел Михаил Осипович Лифшиц. Их ждали, и все же они приехали неожиданно, — во всяком случае баран «на ногах», которого должны были художники на берегу Люлеха за рыбную ловлей превратить в шашлык по рецептам, вывезенным с Кавказа Котухиным и Маркичевым, — баран оказался в стаде, а стада на полдни не пригоняли, а стада в лесу не нашли, — и дорогие гости были встречены не шашлыком, но традиционным холодцом, капустой, соевыми огурцами, яичницей с зеленым луком, и дорогие гости ходили из дома в дом знатнейших художников, чтобы никого не обидеть, ходили окруженные художниками и песнями, смотрели работы художников, выслушивали легенды и истины об охоте и о сенокосе, и все это

было точь-в-точь, как на миниатюрах гулянок и демонстраций.

Гости уехали ввечеру. Художники были возбуждены. В возбуждении изумленный народ пел чарочку серебряную, на золотом блюде поставленную, — «всем, всем, всем!»...

Ввечеру пригнали стадо, вместе со стадом пришел баран, купленный «на ногах», — и художники, пусть без гостей — («уж как жаль, что вот так-то получилось, без дорогих гостей приходится, конечно, да... да, это уж да!»), — художники отправились на Люлах жарить барана, слушать берендеев лес и есть кавказское кушанье шашлык. Когда стемнел лес и пошли туманы полночи, когда прогорел маркичевский костер, Дмитрий Николаевич Буторин пел свою биографию:

«На заре туманной юности  
Всей душою любил я девушку.  
... С ней зима — весна, ночь — ясный день...  
Не забыть мне, как последний раз  
Я сказал ей, — прости, милая!..»

А совсем уже полночь, когда были одни только дыдыкинские звезды во мраке, когда деревья пододвинулись к кострищу, подернувшись пеплом, художники, поговорив о сенокосе, который начинался с понедельника, заговорили — о *кладе* от Пятого года. Он был зарыт под окнами, под третьим окном со двора около маркичевской избы. И художники решили наутро же откапывать клад.

Это было воскресенье. В три часа дня художники пришли с лопатами к дому Ивана Васильевича Маркичева. Была вырыта яма аршина в три глубиной против третьего окна. Рыли под вторым окном. Рыли ближе к первому. Перекопали весь двор Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелого, заслуженного деятеля искусств.

*И клада не нашли, не выкопали.*

— Да... конечно, это уж да...

— Пистон, как же ты не помнишь, где ж ты его закапывал?

— Да, ишь, тридцать лет прошло... Я его ночью копал, действительно, вот на этом месте и не так глубоко. А копать — копал — на этом самом месте!..



*Клада не нашли, не отнесли его в Музей, как собирались. Решили клад искать заново. Клад остался в жизни, бывший, как Красная Талка, от которой также ничего не осталось на ее месте; в начале революции, в годы восемнадцатый-девятнадцатый, когда ивановцы трудно голодали и мерзнули, лес на Красной Талке был сведен ивановскими рабочими на дрова; поле около Талки, где собирались рабочие, за тридцать лет застроено рабочими поселками; около моста, который сейчас проведен через Талку, как-раз на той излучине, где была лесная сторожка, стоит цементный памятник — на том месте, где в Пятом году был убит и растоптан сапогами черносотенной сволочи Федор Афанасьевич Афанасьев, по кличке Отец, один из руководителей большевистской рабочей ивановской организации Пятого года; на горе за памятником, где тридцать лет тому назад рос дремучий лес, сейчас разместились огороды... Талка навсегда останется заповедником революционных памятей, пусть от нее ничего не осталось. Какая жизнь, какая жизнь начиналась на этих берегах дремучей лесной реки!.. — пусть нет уже этого леса, пусть туда наступил город, — все же Талка — заповедник...*

А в понедельник, в три часа утра, художники пошли на сенокос. Травы уже созрели. Впереди шли мужчины с косами на плечах, рядами, — женщины за ними ворошили травы. Под косами падали на землю созревшие пыреи, ромашки, кашки, щавели, иваны-да-марьи. Художники заботливо обходили косами осоку, мордву, чертополох, полынку. Под косами падали благородные травы. На полях происходили события, сошедшие с лаков Баканова, Ватагина, Зубкова. Траву косили художники и колхозники вместе, те и другие — артельщики.

А двадцать первого июля, часов в двенадцать ночи, когда свет был уже погашен и из-за открытого окна тянуло запахом свежего сена, запахом, которым пропахнул весь Палех, — у избы Арбекова рывкнул автомобиль. Постучали. Арбеков спросил:

— Кто там?

— А это я приехал за вами, — Сергей Иванович услышал голос Якова Ан-

дреевича. — У меня вчера отпуск начался, и сегодня утром я выехал из Москвы. Я за вами заехал, Сергей Иванович. Чего вам тут второй месяц с богемами сидеть? — небось, замучились. как с тем монахом, который с нами из Москвы до Суздали ехал!.. Я составил маршрут, — осмотри Ярославский автозавод, на Горьковский заедем. Можно Ивановский текстиль обследовать. Ознакомимся с нашей сощпромышленностью. На Балахне побываем. Я в автомобиле усовершенствование сделал, — пристроил к потолку походную люльку, как у американцев, на пружинах. Воробушек будет в ней спать, как дома, ни на одном ухабе не тряхнет. Также сделал походную керосинку. Заехал за всем вашим семейством. Имеется палатка. Ознакомимся с промышленностью. У меня отпуск со вчерашнего дня.

— Вы чего же телеграммы не прислали? — спросил Сергей Иванович.

Яков Андреевич ответил:

— Н-ну, телеграммы... это к чему ж бумагу марать? — мне заехать удобней. У меня все предусмотрено, ночлег, питание. Спать будем в лесу, умываться по рекам, — ознакомимся с социалистической промышленностью. А телеграмма — зря деньги тратить!..

## Глава последняя

Палех — Иваново — Ярославль — Иваново — Горький — Суздаль — Владимир — Балахна.

Лагодэхская заготовка табака — Сясь, — Турксиб — Палех — Иваново — «№ 504. Iswestia ZIKS. Jemen Sanaa. Аравия» — «Урумчи. Западн Китай» — Sydney. N. S. W. Австралия» — «Pretoria. Южн. Америка» — СССР — CCC — СССР —

За окнами на тесном дворе зисы грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов, с Сяси и из Балахны. Газетные тюки шли на вокзалы — семь вагонов бумаги и полторы тысячи килограмм типографской краски в каждом ежедневном выпуске газеты. На парадном «Известий» работал лифт, как термометр, поднимаясь от ноля первого до температур шестого этажа, до

редакционных кабинетов, до мозга газеты. Лифт ходил по этажам температур страны. В одном из номеров «Известий», — то-есть на семи вагонах бумаги и полутора тысячами килограмм типографской краски, — был напечатан подвал Арбекова о Палехе. Это было осенью. Роман Архипович работал в лесу, промерз, и затемно возвращался домой, сидя в полуметровом расстоянии от лошадиного хвоста. На колхозной конюшне он распрягал голиковского коня.

На пороге дома он соскреб грязь с сапог, вошел в избу, промокший и усталый. Подросток-сын, ученик живописного техникума, протянул газету, сказал весело:

— О нас! — о нас написано!..

Глаза Романа Архиповича сделались веселыми и испуганными одновременно, никак не усталыми.

Палех,

11 июня — 28 июля 1935.



# Два стихотворения

МАРИАННА ТОЛСТАЯ

## I. ДЕТСТВО

О память, солнцем налитая,  
В ребячем путаном плену...  
И нас коснулись, пролетая,  
Года, взрывавшие страну.

И нам, тогда еще незрячим,  
Черед громовый их знаком...  
Но жизнь врывается в мир ребячий  
Пустычным, пестрым коломком.

В голодном отсвете вокзалов,  
Больниц, теплушек и квартир  
Встает он — милый, небывалый,  
Прикрытый выдумкою мир.

Богатством камушков и склянок  
Лоскутной, радужной цепи...  
Пути, пути... и — полустанок  
В самарской выжженной степи.

И год, приветливый, как пристань, —  
Простор, медовый запах трав,  
Степные шорохи и свисты,  
Степные гулкие ветра...

О было ль, не было ль когда-то,  
Но память весело полна

Румяной свежестью томата  
И сладким хрустом кавуна...

Зимой — сугробы ровень с крышей,  
Глазок, продышанный в окне,  
И наспех струганные лыжи,  
И первый путь по целине...

Немые сумерки в поселке,  
В степи бродяжий волчий вой,  
А в трубах ветер, сонный, долгий,  
Ворчливый — ветер-домовой...

И все, уложенное в свитки,  
В тепло машинных уголков,—  
Все сказки собраны по нитке  
С простых житейских пустыков.

А дальше... мир привычно сдвинут,  
Людей и мест забытый строй...  
И вот, над детской сердцевиной  
Ложатся годы кожурой.

И нынче взгляд мой — взрослый, но-  
вый

И зрячий взгляд, — давно пора.  
Но где-то — запах трав медовых,  
И сны, и тени, и ветра...

## II. О ЛЮБВИ

Ты поздний час считаешь ранью,  
Тыходишь в комнату мою, —  
Я это быстрое дыханье  
Еще за дверью узнаю...

Пускай вослед по глади пола  
Летит морозная струя, —

Тыходишь, жаркий и веселый,  
Как жизнь, как молодость моя.

Любовь... любовь.. но в слове старом  
Я привкус чувствую не тот...  
Мне память детская не даром  
Не детский перечень плетет.

По бороздам еще разрытой,  
Еще трепещущей земли  
Мы в черепках семьи и быта  
С такой натугою росли...

Так всю накопленную силу,  
Уже прилаженную кладь,  
Могу ли я, товарищ милый,  
Теперь единому отдать?

В рабочий час под крышей зданья,  
Где дрожь моторов, плеск и гул,  
Не та ли радость ожиданья  
Встает в привычный караул...

Когда ж ночного ветра взлеты  
Тряхнут оконный переплет,  
Когда меня озноб работы  
До самой кости проберет, —

Расчетов путаные строки,  
Как ты, — понятны и близки.  
И тот же жар румянит щеки  
И рвет дыханье на куски.

Любовь.. Любовь... Какие звенья  
Скрепила молодость над ней...  
Но бескорыстное волнение,  
Пожалуй, чище и сильнее.

Там все — от подвига до вздора:  
Наш день, набитый, как сума,  
Друзья, собрания и споры,  
Тепло неожиданного письма...

И каждый час, — простой и новый,  
В любой изменчивой коре, —  
Закат над городом лиловый,  
Иль птичьи свисты на заре

И речь газет, еще сырая,  
О людях воздуха и дна,  
И вся — от края и до края —  
Моя цветущая страна...

Все это, все — неотделимо  
От нас с тобой, от нас двоих,  
Но ты, мой ясный, мой любимый,  
Как сердце радостей моих.



# Удел сильных

Пьеса<sup>1)</sup>

С. МСТИСЛАВСКИЙ

Часть первая

РУБЕЖ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ВАСИЛИЙ  
АЛЕКСЕЙ  
ТАНЯ  
НИКОЛАЙ  
ЗАЙКА  
ГЛЕБ  
ВАЛЬКОВ  
СЕДОЙ  
БИРЮКОВ  
ЛЕВАН — начальник грузин-  
ской дружины

МАРФА  
ПЧЕЛКА  
ЧЕЛОВЕК С МАЛИНО-  
ВЫМИ ВОЛОСАМИ  
ЛЮСЯ.

ЕГОРОВ  
МАКСИМ  
МИХАЙЛА  
ГАЛАКТИОНОВ } рабочие.  
МАШИНИСТ  
1-й РАБОЧИЙ  
2-й РАБОЧИЙ  
1-й ДРУЖИННИК.  
2-й ДРУЖИННИК.

ГЕОРГИЙ ГАПОН — священник  
КРАСИВСКИЙ — гапоновец.

ПАНКРАТ  
ИНВАЛИД  
1-й КРЕСТЬЯНИН  
2-й КРЕСТЬЯНИН  
ПАРЕНЬ В БЕСКОЗЫРКЕ  
КАРЛ } крестьяне  
ДОРРЕН } «лесные братья».

МИУСОВ — меньшевик.

КЕДРОВА — артистка.

АСТОР — поэт.

ВАЛЕНТИНА.

ДОКТОР.

1-й ПРОФЕССОР.

2-й ПРОФЕССОР.

ЧЛЕН «СОЮЗА СОЮЗОВ».

ВОЛОШИНОВ — студент.

} большевики,  
партийные  
работники.

МАРГАРИТА — курсистка.  
БУДБЕРГ — правовед.  
МАРГАНЦИУС — адвокат, радикал.  
СВЕРБЕЕВ — репортер.

1-й ФИНАНСИСТ.

2-й ФИНАНСИСТ.

НИКОЛАЙ II.

ВИТТЕ.

ТРЕПОВ.

ГОРЕМЫКИН.

ЕПИСКОП АНТОНИЙ

ПОП.

1-й САНОВНИК.

2-й САНОВНИК.

3-й САНОВНИК.

ОЗЕРОВ — жандармский полковник.

ЛИСЬЕМОРДЫЙ — охранник.

НЕПОЧУК — жандармский вахмистр.

ШПИК.

ЖИГМОНТ — князь, капитан л.-гв. Семеновского полка.

МЕРТВАГО — капитан л.-гв. Семеновского полка.

КОННО-ГРЕНАДЕР  
АРТИЛЛЕРИСТ } офицеры  
1-й ГРЕНАДЕР  
2-й ГРЕНАДЕР  
ГЕНЕРАЛ.

КОМЕНДАНТ ДВОРЦА

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ

ЕФРЕЙТОР.

САМОКАТЧИК.

ПОГРАНИЧНИК-ЧАСОВОЙ.

ПОГРАНИЧНИК-УНТЕР-ОФИЦЕР.

ХОЗЯИН ТИПОГРАФИИ.

ЕГО ЖЕНА.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ.

АКТЕР, играющий Марата.

АДМИНИСТРАТОР ТЕАТРА.

ПОМРЕЖИССЕРА ТЕАТРА

ПЕЛАГЕЯ — старуха, мать Михайлы.

СТАРУХА.

1-й МАЛЬЧИК.

2-й МАЛЬЧИК.

Рабочие, дружинники, манифестанты, солдаты, дети, «лесные братья», грузинская дружина, пограничники, крестьяне, пассажиры, актеры.

<sup>1)</sup> Литературный вариант. Право первой постановки сценического варианта предоставлено Гос. театру им. Мейерхольда.

## ПРОЛОГ

## Картина 1-я

*Летний сад. Аллея, прилегающая к Лебяжьей канавке. Яркий майский день. На Марсовом поле кончается парад. Гремят удаляющиеся оркестры. На аллее и выводящих к ней от главной аллеи боковых дорожках — элегантная публика; много с дешевым шиком, подозрительно одинаково одетых молодых людей. Монументальный городской — на главной аллее.*

*У мраморной группы «Амур и Психея» стоят, глядя на Марсово поле, Кедрова, Астор и правовед (в треуголке и при шпаге). В стороне, на скамейке, Люся с книжкой в руках: она читает, изредка осматриваясь небрежным и скучающим взглядом.*

1-я БАРЫШНЯ (смотрит по направлению к набережной). Гусары! Гусары по набережной проехали! (Устремляется в ту сторону, почти бегом.)

2-я БАРЫШНЯ (удерживает ее). Да ведь на набережную не пускают, пока парад не кончится...

1-я БАРЫШНЯ. Он же кончился! МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (услужливо). Никак нет: еще артиллерия проходит...

БАРЫШНЯ (презрительно). А... кому она нужна, артиллерия... Пойдем, хоть сквозь решетку посмотрим, Надя... (Уходят.)

(Проходят полковник Озеров в штатском и Лисьемордый.)

ОЗЕРОВ (очень раздражен, усы дыбятся). Довольно нахально с его стороны. Доложил, что объект будет в час, а сейчас уже два... Долго еще я буду дурака валять?

ЛИСЬЕМОРДЫЙ. За агента поручусь: первой категории, высшей исполнительности... Не в нем, очевидно, дело. Да вы идите, господин полковник, мы и так управимся.

ОЗЕРОВ. Нет-с, уж я сам! Ежели это, действительно, Зарубин, вы понимаете, какой мы нос московскому охранному наклею. У них ветеран, можно

сказать, смуты орудует, а они ворон считают... Нет-с, уж я сам. У меня сквозь пальцы не проскочит, атанде!

(Проходят. Оркестры все удаляются, музыка уже еле слышна.)

КЕДРОВА (повертывается прочь от Марсова поля. С легким вздохом). Вот и конец... А все-таки красиво... (Отходит, садится на ближайшую скамейку.)

ПРАВОВЕД. Почему «все-таки»? Pardon, это не очень патриотично звучит, Лидия Васильевна... Конечно, вы — артистка, вы... так сказать... (Подняв руки, ладони зареяли в воздухе.) над миром, но... тем не менее... Сам Пушкин воспел Марсово поле... (С пафосом.) «Сиянье шапок этих медных»...

КЕДРОВА. У Пушкина «медных» рифмовало с «победных»... Наши полководцы на Дальнем Востоке подыскивают, кажется, другую рифму: японцы уже под Порт-Артуром. Как вы думаете, чем все это кончится, Астор?

АСТОР (слегка развел руками). Игра еще только началась.

И в упоении и страхе,  
Мы, современники, следим,  
Как вьется кость, в крови и прахе.  
Чтоб выпасть жребьем роковым...

КЕДРОВА. Экспромт? Во всяком случае, это — хророшо. Я люблю ваши стихи, Астор.

АСТОР. Я предпочел бы, чтобы вы любили поэта.

КЕДРОВА. Переменим тему, не правда ли?

ПРАВОВЕД. Господа! Я... решительно протестую... Вы все время так разговариваете, как будто меня и нет.

АСТОР (кивнул). Так оно и есть. Вы же учащийся. Учащиеся — не в счет. Через месяц, когда вы кончите ваше Правоведение, и будете... Кстати, чем вы будете, Будберг? (Покривился.) Бу-бу... какой неприятный консонанс...

ПРАВОВЕД. Товарищем прокурора. Я выбрал прокуратуру.

АСТОР. Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra... Одобряю.

КЕДРОВА. Почему?

АСТОР. Самая легкая и приятная в нашем мире профессия: доказывать, что все ваши так называемые «ближние» —

убийцы и мошенники. Беспроигрышная лотерея.

**ПРАВОВЕД.** Я специализируюсь на политических делах. Опсле говорит, что нарастает... comment dit-on... социальное беспокойство: на политических процессах легче всего будет сделать карьеру.

(*Проходят Озеров и Лисьмордый.*)

**ОЗЕРОВ.** Нет и нет! Чорт знает, что такое!

**МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК** (*с тросточкой, подходит к Лисьмордому*). Виноват, разрешите подкурить. (*Тихо.*) Их величества изволили отбыть с парада. Снимать охрану? (*Лисьмордый кивнул, молодой человек отходит, дымя папироской.* По аллее, к скамейке, на которой сидят Кедрова, Астор и правовед, приближается Валентина, очень оживленная и радостная. Астор делает ей знак, она подходит. Астор и правовед встают.)

**АСТОР.** Лидия Васильевна, разрешите представить юную тургеневскую дсвицу, обязанную вам жизнью.

**КЕДРОВА.** Жизнью? Мне?

**ВАЛЕНТИНА** (*восторженно*). Да, да... именно так... Я начала жить... только с того дня, как увидела вас... Гильдой в «Строителе Сольнесе»... Вы мне сразу открыли, в чем смысл жизни... Нашей жизни... женской! И теперь я знаю, как жить!

**КЕДРОВА.** Знаете? Вы счастливей меня.

(*Подходят двое солидных, сильно жестикулируя. Рядом с ними, бочком, семенит, колыша брюшко, Марганциус.*)

**ПЕРВЫЙ.** Тут... пятьсот процентов на капитал в три месяца взять можно... Я вам говорю, идите к Балетà...

**ВТОРОЙ.** Это что?.. Француженка из Михайловского?

**ПЕРВЫЙ.** Актриса, да... первоклассная. Плечи, бюст (*пояснил для убедительности жестом, закруглив, далеко вперед перед собою, руки*)... словом, богатство! Алексеев уступил ее великому князю Алексею, — за это получил наместничество на Дальнем... Для поставок на армию она — первый, я вам говорю, человек... Недешево берет, зато с гарантией...

**ВТОРОЙ.** А под суд не попадем (*Марганциусу*), господин юрисконсульт?

**МАРГАНЦИУС.** Будьте спокойны. Юридически мы оформим так (*успокоительно помахал ладошкой*), — никакой прокурор носа не подточит. А ход, действительно, верный...

**ВТОРОЙ** (*со вздохом*). Все женщины, женщины — во всем и всегда. (*Проходят.*)

(*По аллее, к «Амуру и Психее» подходит Гапон. Он в белой чесучевой рясе, резко оттеняющей его смуглое лицо, черную бороду и волосы. Голова низко опущена на грудь: он как будто погружен в глубокое раздумье.*)

**КЕДРОВА** (*вполголоса*). Какой странный священник.

**ВАЛЕНТИНА** (*взволнованно*). У него глаза, как у Савонаролы. Таких жгли за веру на кострах.

(*Гапон подошел к «Амуру и Психее», остановился, пристально рассматривая.*)

**КЕДРОВА.** Вы не думаете, что это — переодетый?

**АСТОР.** Ничего нет легче установить. Вот человек, который знает все. (*Окликает человека, шикарно, но безвкусно одетого, быстро идущего по аллее.*) Свербеев!

**СВЕРБЕЕВ** (*обернулся, почтительно снял шляпу, подходит*).

**АСТОР.** С парада? (*Свербеев кивает, подтвердительно.*) Сколько строк?

**СВЕРБЕЕВ** (*оскалил, улыбкою, желтые зубы*). Не меньше пятисот. На патриотические темы газета наша не жалует расходов. Изумительное зрелище непоколебимой мощи! (*Жест в сторону Марсова поля.*)

**АСТОР.** Лидия Васильевна, это — Свербеев. Король репортеров.

**СВЕРБЕЕВ.** Всегдашний раб вашего несравненного таланта. Имел счастье быть на премьере «Строителя Сольнеса». (*С пафосом.*) «Вы — юность, Гильда! Бож-же мой, до чего вы прекрасны! Особенно эта фраза. (*Закрыв глаза.*) «Могу ли я быть чем-нибудь вам на пользу, Строитель?»

**АСТОР** (*нахмурился*). Я сейчас заверил Лидию Васильевну, что для вас

нет в Санкт-Петербурге тайн. (Свербеев кланяется, польщенно.) Вы видите (движением головы указывает на «Амура и Психею»): белый мрамор, над ним — черноклювый ворон.

ПРАВОВЕД. Вернее: белая ворона. (Возмущенное движение Валентины; она отвернулась от Будберга.)

АСТОР. Мы заинтригованы: кто это?

СВЕРБЕЕВ (взглянул, белло). Гапон. Отец Георгий. Священник Пересыльной тюрьмы.

ВАЛЕНТИНА. Тюрьмы? Быть не может.

СВЕРБЕЕВ (веско). Простите: у меня всегда точные сведения... А в данном случае я имел даже специальную беседу с ним, по поручению редакции...

КЕДРОВА. О чем?

СВЕРБЕЕВ. Вы не иволили разве читать?.. Отец Гапон, так сказать, вождь рабочих масс... Он организует рабочих.

ВАЛЕНТИНА (радно). Вот! Я же знала! Как отец Жан?

СВЕРБЕЕВ (растерянно). К-какой отец Жан?

АСТОР. Не смущайтесь... Это — архивное старье. Не Буренин, не Чириков, не Суворин, не Арцыбашев, а какой-то там... Проспер Мериме... Отец Жан — руководитель крестьянского восстания в пьесе «Жакерия» означенного Мериме.

СВЕРБЕЕВ (уже с прежним апломбом). Ах, этот?.. В голову не пришло, потому что отец Гапон — не только не бунтарь, но... совершенно наоборот.

КЕДРОВА (улыбнулась). Наоборот? Стало быть, охранник?

СВЕРБЕЕВ (поднял ладони вверх, в ужасе). Лидия Васильевна! Ужели, по вашему мнению, каждый благоразумный человек, стремящийся оградить прогресс человечества от кровавых потрясений, — гнусный охранник? (Поперхнулся словом, так как мимо проходят Озеров и Лисьямордый.) Отец Гапон, создавая «Собрание русских рабочих», ставит себе целью — строить работу (Валентина вздрогнула, она, не отрываясь, смотрит вслед удаляющемуся Гапону) царства божия на земле мирным порядком.

АСТОР. Мирным? (Зевнул, нарочито, прикрыв рот двумя пальцами.) В таком случае — *requiescat in pace!* Мир праху его! (Смотрит на главную аллею, на которой появилась группа адмиралов). *Tête Dieu!* Целый броненосный флот! Я и не предполагал, что в России еще столько непопленных моряков.

СВЕРБЕЕВ (качает головою). Маэстро! (Кедровой.) Лидия Васильевна... с душевным прискорбием вынужден откланяться... Общественный долг... (Вприпрыжку он бежит за адмиралами, на ходу вынимая блокнот.)

ОЗЕРОВ (вынырнул с боковой дорожки. Хищно). Он! Будь я трижды проклят... он самый!

(По дорожке небрежной походкой, в летнем пальто, мягкой шляпе, подходит Алексей, в некотором отдалении за ним — Зайка. Алексей присаживается на скамейку рядом с Люсей, достает из кармана «Новое время», развертывает. Зайка обходом выбирается на боковую дорожку, за спиной Алексея, садится, наблюдая за окружающими.)

ЛЮСЯ (не отрываясь от книжки). Наконец! Я уж стала бояться... не случилось ли чего-нибудь...

АЛЕКСЕЙ (уткнув нос в газету). Путлял по городу... Похоже, будто была слежка... За явку ручаешься?..

ЛЮСЯ (с расстановкой). Не совсем. Последние провалы на размышления наводят...

АЛЕКСЕЙ. В каком смысле?

ЛЮСЯ (медленно). В самом тяжелом... Может быть, даже и провокация...

АЛЕКСЕЙ. Нет!.. Есть основания?

ЛЮСЯ (уклончиво). Есть... Во всяком случае предупредите, в Женеве, центр. Пусть не пишут, пока я новые адреса не пришлю...

АЛЕКСЕЙ. Паспорт и билеты?

ЛЮСЯ (попрежнему глаза в книгу). В пакете, на скамейке, рядом со мной. Будете уходить, возьмите. И отчет питерского комитета там же: заделан в переплет книги. Как у вас в Москве?

АЛЕКСЕЙ. Снимайся с якоря. Говорить здесь неудобно.

ЛЮСЯ. Удобнее, чем где-либо... Кругом барышни и кавалеры... И какие мо-



гут быть подозрения, если соседи по скамейке разговорятся... Отложите газету, придвигайтесь. (*Алексей осматрелся, незаметно придвинулся. Люся громко.*) Вы правы, грандиозный парад. (*Он придвинулся еще, они разговаривают тихо.*)

ОЗЕРОВ (*на задней дорожке, волнуясь, Лисьемордому*). Фотограф... действует?

ЛИСЬЕМОРДЫЙ (*тоже в азарте*). Так точно... На вокзале прикажете взять?

ОЗЕРОВ. В вагоне... Как только взойдет... Раньше... чорт его знает! Он — кусачий. Не ушел бы... Ежели упустите...

ЛИСЬЕМОРДЫЙ. Будьте спокойны, господин полковник: вашей школы-с. (*Скрываются.*)

(*На скамье разговор между Люсей и Алексеем разгорелся: кругом — никого. Алексей говорит горячо, почти не сдерживаясь.*)

ЛЮСЯ. Я же не спорю... как я могу с вами спорить... Да, да, конечно, бойкот постановлений Второго с'езда меньшинством вконец срывает работу: по заводам они такую склоку развели — не продохнуть. В районах, где у них большинство в комитете, они попросту вышибают наших...

АЛЕКСЕЙ. Ну, так в чем дело? Ленин правильно пишет... у вас тоже было его письмо?... «Когда болезнь дошла до того, что организм начинает гнить заживо, совестно бояться серьезной операции».

ЛЮСЯ. По-вашему, значит, итти на раскол?

АЛЕКСЕЙ. И чем скорее, тем лучше! Сама же видишь, что делается... Движение нарастает, с войной его так ованет вверх... не на дни, — на часы считать будем... Революция идет, Люся... И нам нужна стальная партия... с единой мыслью, единой волей... или история пройдет мимо нас, стихийным взрывом... (*Резко оборвал, так как по аллее, со стороны набережной, гремя шпорами и оружием, подходит группа гвардейской молодежи. Среди нее — Жигмонт.*)

КОННО-ГРЕНАДЕР. Спорь, не спорь, кавалерия прошла лучше пехоты. ЖИГМОНТ (*иронически*). Ну, конечно! Оружие богов!

Артиллерист. Смирись, Жигмонт. Первенство кавалерии доказано самим генералом Драгомировым, а его, как известно, прочат в министры народного просвещения: венец культуры стало быть. Он сказал...

ЖИГМОНТ (*отмахнулся*). Похабщина, как всегда?

Артиллерист. Напротив. Первый приличный афоризм генерала, специально для институток: кавалерия — вдвое ценнее пехоты, ибо, чтобы иметь пехоту, надо только бабу и мужика, а для кавалерии надо, кроме того...

КОННО-ГРЕНАДЕР. Кобылу и жеребца (*заржал*).

ЖИГМОНТ. Тише... Кедрова. (*Поспешно идет к Кедровой, направляющейся к выходу из сада, с Астором, правоведом и Валентиной. Офицеры переглянулись, усмехавсь.*)

КОННО-ГРЕНАДЕР (*подмигнул*). Расчет или страсть? — как барышни говорят в котильоне.

Артиллерист. У него губа не дура: не говоря о том, что она классная женщина, он заставит ее сделать ему карьеру, если добьется своего... Артистка с таким именем... Ей стоит только шепнуть... любому из высочайших...

КОННО-ГРЕНАДЕР. Пока она что-то не шепчет... Держит репутацию.

Артиллерист. Цену набивает... Все они так... до времени... А в случае чего Жигмонт и сам ее подсунет кому надо, будьте уверены....

СЕМЕНОВЕЦ. Тем более, что дела его плохи. Если не придумаем трюк, — придется уходить из полка...

КОННО-ГРЕНАДЕР. Нашалил? СЕМЕНОВЕЦ. Какое! Просто... финансы.

КОННО-ГРЕНАДЕР. Чорт! Если так дальше пойдет, гвардию скоро придется комплектовать из купеческих сынков и содержателей ссудных касс... Родовому дворянству это становится не по карману.

КЕДРОВА. Тиенс, Жигмонт? Отчего вы не в строю?

ЖИГМОНТ (*почтительно целует руку Кедровой*). Я рас-строился.

ПРАВОВЕД. Но, и рас-строенный, князь остался стройным...

КЕДРОВА (*поднесла ладони к ушам*). Пощадите, господа... И не нарушайте правил Летнего сада (*указывает на надпись на столбе*).

ПРАВОВЕД (*читает*). «Собакам и нижним чинам вход воспрещается, равно и в картузах...»

КЕДРОВА. Ниже. «Запрещено бросать мусор». (*Жигмонту*). Чем же вы расстроены? (*Проходит, он идет рядом*.) Победы японцев? Действительно, они бьют жестоко.

ЖИГМОНТ (*не сразу понял*). Что? (*Пренебрежительно*.) Нет... Чем тут расстраиваться? К тому же все русские войны всегда начинались с поражений... Это — в самой природе нашей серой святой скотинки... Она не сразу раскачивается... Нет. Мои волнения — более глубокого, интимного характера. И только вы... одно ваше слово...

КЕДРОВА. Переменим тему, не правда ли?

ЖИГМОНТ (*закусил губу, взял под озырек*). Как прикажете... (*Приостанавливается, уступая место Астору*.)

АСТОР (*Кедровой, негромко*). Всегда удивляюсь вашему долготерпению, когда вокруг вас... толкутся... Жигмонты и Будберги... Зачем вы пускаете их в свою жизнь?

КЕДРОВА (*медленно*). Жизнь? Жить в жизни нельзя же. Можно жить только на сцене, Астор... Вы не удивляетесь, что у меня в кабинете стоят китайские фарфоровые болванчики? Чем Жигмонт хуже? Другой стиль, но — стиль. (*Уходят; следом, несколько отступя, — Валентина, Жигмонт, Будберг*.)

(*На скамье разговор разгорается снова*.)

ЛЮСЯ. Для меня каждое ваше слово — все равно, что директива... Но все-таки, товарищ Алексей, страшно. Ведь у меньшинства все. Денежные средства — у них, имена — у них.

АЛЕКСЕЙ. У нас — Ленин.

ЛЮСЯ. У них — Плеханов, Аксельрод, Засулич... Это же все — тузы. Со-

вет партии — в их руках, «Искра» — в их руках...

АЛЕКСЕЙ (*вспылил*). Об «Искре» ты мне не напоминай! Из-за этого одного надо рвать без пощады! От «Искры» — начало партии, а они умудрились ее опоганить... Из революционного слова сделали помойную яму... Этого я им никогда не прощу. Рвать! (*Пауза*.) Ну, баста... Иди. Меня и то совесть гложет... Старый конспиратор, а разболтался на самом юру...

ЛЮСЯ. Должны же вы были дать указания... И опасности меньше здесь, чем на любой квартире. Шпика тут за две версты видно: (*Обернулась и вздрогнула*.) Зайка? Он зачем здесь?

АЛЕКСЕЙ (*оглянулся следом за Люсей, но движением незаметным*). Его Зайкой зовут? Он на явке предложил проверить, не будет ли за мной наблюдения... А что?

ЛЮСЯ (*отвела глаза*). Да ничего, собственно... определенного. Но... (*после паузы, порывом*) отмените вашу поездку в Женеву, товарищ Алексей... А уж если не можете, во всяком случае — не сегодня... не отсюда. Уходите скорей. И надежно затрите след. Так, как вы один только умеете. (*Встала очень взволнованная*.) Я пойду.

(*Уходит, Почти тотчас подошел Зайка. Поровнявшись со скамейкой Алексея, он роняет пакет, из которого рассыпаются по песку орехи. Зайка наклоняется, подбирает их у самых ног Алексея*.)

ЗАЙКА (*тихо и быстро. Сильно заикается*). Б-б-б-е-регитесь. С-слежка.

АЛЕКСЕЙ (*не глядя, не разжимая губ*). Приму к сведению.

ЗАЙКА (*подбирает орехи*). Ф-фотографировали.

АЛЕКСЕЙ. Польщен. (*Пауза*.) А на вокзал вы не едите. (*Зайка поднял на него недоумевающие глаза*.) И вообще, оставайтесь на месте, пока я выйду. (*Встает, берет лежавший на скамье пакет, уходит. Навстречу ему — быстрыми шагами — Валентина. Осмотревшись, она идет к сидящему одиноко, на дальней скамье Гапону*.)

ВАЛЕНТИНА. Отец Георгий... можно мне у вас отысповедаться? Когда? и где?

## АКТ ПЕРВЫЙ

### Картина 2-я

*Явочная партийная квартира. Очень скромно убранная комната. Зайка и Марфа, — перед ними стоит немолодой уже, исхудалый человек. с роскошными, вздыбленными малиновыми волосами. Из соседней комнаты выходят: Василий и Вальков. Оба останавливаются в недоумении.*

ЗАЙКА (*развел руками, усмехаясь*). В-вот, товарищ Василий... Из П-пскова товарищ приехал. Был арестован, бежал из участка. Гимназисты взяли ему волосы выкрасить, а в-вот что вышло...

МАРФА (*успокоительно*). У меня машинка есть... Зайка его сейчас...

ЗАЙКА. С удовольствием. А то у меня все работы нет.

ЧЕЛОВЕК С МАЛИНОВЫМИ ВОЛОСАМИ. Как и доехал — не знаю... В парикмахерскую не пойти, заберут... Замотал полотенцем, и — в поезд... На риск...

ВАСИЛИЙ. Ну, главный риск впереди: когда тебя Зайка стричь будет... Смотри, как бы без головы не остаться...

МАРФА (*озабоченно*). Только вот... машинка у нас... под ноль-ноль. Сейчас зима, не вышло бы холодно.

ЧЕЛОВЕК С МАЛИНОВЫМИ ВОЛОСАМИ. В Сибири — и с волосами холодней будет. (*Зайке, с сомнением*.) Ты, однако, в самом деле ухо не отстриги. (*Выходит с Зайкой, вслед за Марфой.*)

ВАСИЛИЙ (*Валькову*). Стало быть, так? Уговорились? Сейчас же езжай назад, в Николаев свой, бери комитет в руки. (*Вальков чешет затылок.*) Нечего затылок чесать... Меншевики надо вышибать оттуда незамедлительно.

ВАЛЬКОВ. Это-то я понимаю... Это безусловно, что комитет от них брать. Да как возьмешь, когда и так с работой не управляешься. Придешь со сме-ны — газеты прочесть некогда, ей-бо-

гу. А ежели по всему Николаеву партийную работу брать...

ВАСИЛИЙ. Бросай завод: на партийную целиком переходи. Холостой? (*Вальков кивнул.*) Холостым по десять целковых в месяц даем на прожитие: больше финансы не позволяют. Незнаменито, конечно, да ребята ничего, оборачиваются.

ВАЛЬКОВ. Деньги что! Я не о том... А вот как без производства... Правильная ли для пролетария жизнь, ежели без фабрики? Без профессии, я разумею...

ВАСИЛИЙ. Я, брат, сам из рабочих. Металлист. И скажу тебе крепко, от собственной жизни. Для пролетария, настоящего, — пока старый строй стоит, — правильной профессии, как революция, нет.

ВАЛЬКОВ (*покачал головой*). Подумать надо, товарищ. Это ж всю жизнь. значит, повертывать.

ВАСИЛИЙ (*нахмурился*). Революция всей жизни и требует, а не так, чтобы вечером часок урвать, за самоварчиком... Мир перестраивать будем, — это тебе не раков ловить.

ВАЛЬКОВ (*пауза*). Так-то так, а все ж подумать надо... Вас завтра как найти?

ВАСИЛИЙ. Заходи сюда. (*Вошла Марфа.*) Ежели меня не будет, вот хозяйку здешнюю, Марфу Григорьевну, спроси: она нас сведет... А я все же не ждал, что ты... думать будешь.

ВАЛЬКОВ. Подумавши-то, крепче, товарищ Василий. Так до завтра. (*Вышел.*)

ВАСИЛИЙ (*Марфе*). Проверяла квартиру? Слежки нет?

МАРФА. Нет, не видно. Хотя (*усмехнулась*)... может быть, и надобности в слежке нет...

ВАСИЛИЙ. То-есть?

МАРФА. Провокатора ведь все еще не нащупали... Как вечер сегодняшней? Вместе?

ВАСИЛИЙ. Соображусь... Только что с поезда... Сейчас время еще не считать... (*Входит Таня.*)

ВАСИЛИЙ. Здравствуй... Давно не видались. Что это ты... как туча? На себя не похожа.

ТАНЯ. Да... скверно. Ты вот все в раз'ездах: сегодня — здесь, завтра — в Харькове, месяц целый не был... а мы тут такое дело проворонили... Послезавтра, девятого, Гапон рабочих ведет петицию царю подавать...

ВАСИЛИЙ. Пстой, пстой... каких рабочих?.. Я у него в «Отделе» был в прошлом году, присматривался. Ерунда. Танцулечка. Парни девок, простите за грубость, шиплют... Да и народу там — кот наплакал.

ТАНЯ. Навзрыд, значит, плакал твой кот... Гапон сейчас — на десятки тысяч считает, ежели не на сотни. *(Входят Люся и Николай.)*

ВАСИЛИЙ. Слушай, секретарь... Вы тут что за Гапоном недосмотрели?

НИКОЛАЙ. В голову не приходило, что он сможет так за заставами кадило раздуть... И не думалось, что в рабочих еще так сильна вера в «царя-батюшку». «Отец» — да и только! Другого разговора нет... Я, было, сунулся на собрании — рот мигом закрыли. Ведь наших на заводах еще всего только кучка.

ЛЮСЯ. А сейчас — уже ничего не поделаешь... За заставами Гапон, прямо сказать, царь и бог...

НИКОЛАЙ. Не мы одни... Меньшевики тоже просмотрели.

ВАСИЛИЙ. Утешил! Ты бы еще... на эсеров сослался.

ТАНЯ. Эсеры-то — тут как тут... Почуяли своего... Мартын их, — знаешь такого? *(Василий кивнул)* — прямо под руки попка водит. Не разнять!

ВАСИЛИЙ *(помолчал)*. Та-ак... А вы, стало быть, молчком? Ни за, ни против? Срам! Что у попа в петиции? *(Таня протягивает ему листок, он читает, с нарастающим удивлением.)* Уравнение в гражданских правах... неприкосновенность личности и жилища... свобода слова, собраний, союзов... амнистия... прекращение войны... всеобщее, прямое, равное и тайное голосование... Позвольте... так ведь это ж... наша программа-минимум...

ТАНЯ. Гапон петицию не от себя... Он на собраниях под диктовку рабочих писал.

ВАСИЛИЙ. Рабочие — сами? Десятки тысяч, ты говоришь? Поняли, стало быть, что без политической борьбы...

НИКОЛАЙ. Какая борьба, если они — за попом... И — лбом в землю!

ВАСИЛИЙ. Вот это и надо было им раз'яснить... впрочем, царь им — раз'яснит лучше нашего... На что он рассчитывает, поп? За такие требования — не то что нагайками расхлещут, а как бы крови не было.

ТАНЯ. Обязательно будет, в этом же весь и ужас. И остановить нельзя, и лозунг бросить — итти с оружием и на удар ответить ударом — тоже нельзя... у нас какой-нибудь десяток револьверов...

ВАСИЛИЙ. Остановить — нельзя, предупредить — можно. Как у вас с техникой, Люся? На завтра листовку можем тиснуть?

ЛЮСЯ. Если сейчас отдать — к утру поспеем... Я сегодня как-раз усиливаю типографию, даю еще одного хорошего наборщика.

ВАСИЛИЙ. Так ладно. Я сейчас пишу. *(Садится, быстро пишет.)*

ТАНЯ *(тихо Люсе)*. Об Алексее новостей нет?

ЛЮСЯ. Из Петропавловки перевезли в Москву. Москвичи сообщили: он в Таганке уже.

ТАНЯ. Никак я все-таки понять не могу, как он дал себя взять! Такой опытный...

ЛЮСЯ *(развела руками)*. Провокатор, очевидно, тоже... соответственный.

НИКОЛАЙ. Где ты наборщика достала для типографии, Люся?

ЛЮСЯ *(усмехнулась)*. Мы ж Зайку с районной работы сняли: я его думаю послать. *(Сильное движение Николая и Тани.)*

НИКОЛАЙ. Зайку? В типографию? В самое тайное тайных? Ты что... в своем уме? Ведь ты же сама, первая...

ЛЮСЯ. Да. И раскаиваюсь. Я все время за ним наблюдала — и сейчас готова за него поручиться: он честный парень. *(Таня порывисто протягивает руку Люсе, та отвечает крепким пожатием.)*

ВАСИЛИЙ. Готово. *(Встает, передает Люсе листки.)*

НИКОЛАЙ. Товарищ Василий... Люся собирается Зайку в типографию направить.

ВАСИЛИЙ (нахмурился). Что такое?

ЛЮСЯ. Я только-что сказала товарищам: я в Зайке уверена... Впрочем, даже если бы я и ошиблась... для партии и в таком случае — это лучшее, что можно придумать, пока мы докопаемся до правды. Ведь из типографии он ни с кем сноситься не сможет: никто из помещения не выходит. Он будет, стало быть, самым настоящим образом — замурован.

ВАСИЛИЙ (улыбнулся). В самом деле: на оба случая — гладко. Ты — уминица, Люся!

(Дверь неожиданно отворяется: Зайка и остриженный человек.)

ЗАЙКА. В-вот и готово... (Остановился, увидя лица присутствующих, их быстро изменившееся выражение.) В-вы... что? Об-бо мне г-говорили?

ТАНЯ (подошла, обняла за плечи). О тебе, Зайка.

### Картина 3-я

В отделе гапоновского «Собрания русских рабочих».

Большой, низкий, темный зал, скупо освещенный. Царский портрет на стене. Икона с лампадою. В глубине — ряд столов, около которых толпятся рабочие и работницы, подписывая разложенные на столах листы петиции. Зал полон сдержанным, но непрерывным глухой говор. В стороне, тесно прижавшись к стене, — Валентина. Неподалеку от нее, замешавшись в толпу, Таня, в полушубке, голова повязана ковровым платком, тихо разговаривает с рабочими. У входа Свербеев, с блокнотом в руках, опрашивает Егорова — худощавого, невысокого роста рабочего. Подходит, протискиваясь от столов, Красивский, плотный, грузный, бородатый, — лицом и складом напоминающий Александра III.

ЕГОРОВ (Красивскому). Сколько? Красивский. На пятнадцатую тысячу пошло.

СВЕРБЕЕВ (кивает восторженно, пишет). Сколько ж тогда по всем районам?

ЕГОРОВ (усмехнулся, самодовольно). А вот считайте. Всех отделов у отца Георгия одиннадцать... наш еще не из особо больших.

СВЕРБЕЕВ. Тысяч полтора-двести можно считать?

КРАСИВСКИЙ. Верных!

СВЕРБЕЕВ (качает головой). А по спискам и шести тысяч не числилось...

ЕГОРОВ. То — числилось, а то — для дела есть. В том она и есть — организация!

СВЕРБЕЕВ. Золотые слова. Разрешите записать. Товарищ Егоров, председатель, так...

(У столов — сильное движение, шум; буравя толпу, к выходу выпирается группа оборванных людей, с изможденными, заросшими жестким волосом лицами. Впереди Максим.)

МАКСИМ. Председатель который — где?

ЕГОРОВ. Я председатель.

МАКСИМ. Это что ж у тебя там на бумажке, едрена вошь, писано?

ЕГОРОВ. Ты что... пьян?

МАКСИМ. Ты, что ль, подносил? Я толком спрашиваю: отчего писанина долгая, а сути нет?

КРАСИВСКИЙ. Да ты... кто такой?

МАКСИМ. Мы? Ковалетчики. Не слышали про таких... булку, небось, жрешь... ишь, жиру наел... Хожалый?.. Тебя б в нашу шкуру... в сырость, в известку... понял бы, какая она из себя, кузькина мать... Руки видал? Во... до кости раз'едены, перчаток хозяин не дает, как они резиновые, три рубли пара... Работы — шестнадцать часов в день, а жалованья восемь целковых... Дыху в грудях нет (дохнул тяжелым, взлаивающим кашлем)... слышишь, хрип один... Отчего в бумаге твоей слова всякие есть, а о нас, о ковалетчиках, не вписано, ежели жизни круче нашей, — землю обойди, — не найдешь?

(Толпа повернула от столов: со всех сторон обступили ковалетчиков, жутким, тяжелым кругом, — такие же изможденные, тощие, истомленные люди с впалыми глазами, из'язвленными руками

и лицами. Валентина, тяжело переводя дух, еще теснее прижалась к стене, не сводя широко раскрытых, застывших глаз с толпы.)

**ГОЛОСА.** Круче не найдешь? Расквастался! Брось! У всех одна доля, собачья... Тебя б в сушильную — шестьдесят градусов жару!.. Мы не шестнадцать часов работаем?.. Восьми целковых ему мало... а по пятиалтынному не кочешь, да на своих харчах?.. Вся поденщина по пятиалтынному в день работает... А на плюсовых...

**РАБОЧИЙ** (высунулся в самый перед, широко раскрыл рот: ни одного зуба). Видал?.. Прессовщик я... весь цех эдак-то... от царской водки пар...

**ЕГОРОВ.** Тише! Благодичине блюдите! В бумаге обо всех вообще писано. Разве рабочую долю на лист уписать? Со всей империи листы собери, — и то всей нашей страды и нищеты не упишешь.

**ГОЛОС ТАНИ.** И страду, и нищету эту — всю! — вы, товарищи, думаете поклоном царю с плеч стряхнуть?.. Берегитесь... Он вам еще свинца из солдатских ружей прибавит.

**КРАСИВСКИЙ.** Братцы! Держи ее! Эресдеерпееровская! Слышал голосок! Давно по заставе мутишь. Твои нынче по заводам бумажки?.. Бери ее! (Рванулся к Тане, но на плечо легла тяжелая рука Максима.)

**МАКСИМ.** Легче, ты, Аника-воин... Тебя, видать, городской по морде не бил?

**ЕГОРОВ** (Красивскому). Плоха та правда, что за полицию прчется... Я за нашу, за гапоновскую, правду не боюсь... Верую: с народом царь, только беды наши до него не доходят... Завтра донесем... И будет народу от царя милость. А злого твоего слова против царя, девушка, слушать не хотим.

**ГОЛОСА** (криком). Не желаем...

**ГОЛОС ТАНИ** (упрямо). Товарищи!

**ЕГОРОВ** (повысил голос). Не желаем, сказано. Иди от нас... Не будет тебе слова...

(Кто-то в толпе запекает: «Царю небесный, утешителю душе истинный...»)

**ТОЛПА** (подхватывает, поет бесстройно и надрывно).

Иже везде сый и вся исполняй.  
Сокровище благих и жизни подателю...

Кучка молодых рабочих, стороной. выводит Таню, окружив ее плотным кольцом.

**РАБОЧИЙ.** Иди... чего тут... Сама видишь... как в церкви, в заутреню... Нипочем слушать не будут... А Красивский, глядя, шарить пошел. (Выходит.) (Валентина, бледная, заплаканная, идет к выходу. Егоров окликает ее.)

**ЕГОРОВ.** Вы что ж, Валентина Георгиевна... расстроились...

**ВАЛЕНТИНА.** Страшно, Егоров... Как отец Георгий с ними... сможет... Они же такие... такие... слабые! (Заплакала.)

**ЕГОРОВ** (нахмурился). Слабые, ты говоришь?

#### Картина 4-я

Угол Александровского сада и Дворцовой площади. За решеткой, в саду, теснится публика. На ветки деревьев, сытая с них иней, карабкаются дети. Перекрестный разговор среди зрителей.

— Солдат-то, солдат нагнали, господи!

— Как на японцев!

— Полегче, господин. За такие слова, знаешь...

— Не будет никого... И ждать нечего. Рабочих у самых застав застопорили.

— Убили, говорят, Гапона. Расстрел был...

— Врут, не будет солдат в своих стрелять.

**ДЕТСКИЙ ГОЛОС** (с дерева). Мама... все видно. И на дворце — флаг желтый. С орлом!

**ГОЛОСА.** Флаг? Стало быть, во дворце царь-то.

— Уехал... В Царском он: верные люди говорили.

— Раз штандарт поднят, значит, во дворце царь: это знак верный.

— А, може, нарочно? На пустое место навести.

— Болтай! Что он — в прятки, что ли, играть будет... Народ морочить?

— А ты что думаешь? Очень просто.

(Дошел гул шагов, церковный напев. Зрители, у решетки, вытянули шеи.)

— Идут... С Гороховой...

— И нам, что ли, шапки снять?..

— Народу-то... Мать честна... Конца краю не видно...

— Ребят на руках несут, гляди...

(Топот лошадей.)

ОКРИК. Стой! Назад!

ГОЛОСА. Застанови, поди... Как ле- доход, идут! Во всю улицу...

— Ага... Повернули, драгуны. Дали дорогу... Ура-а-а!

(Слышен далекий раскат «ура». Гимн. Поют бесстройно, сбиваясь с так- та и с ноги:

Сильный, державный...

Резкий, дребезжащий звук горна.)

МАЛЬЧИК (на дереве, в восторге).  
Мама! Солдат на трубе играет!  
ХОР (приближаясь).

Царствуй на славу нам...

(Залп. Дети падают дождем с деревь- ев. Дикий вопль матери. Второй залп. Топот мчащихся ног и громкая, растя- жистая команда.)

— Ша-шки к бою! Эскадрон, равне- ние на середину, — середина за мной — марш-марш!

(Труба. Топот коней на галопе.)

ГОЛОС (за решеткой, отчаянно).  
Господи... да что ж они делают...

МЕРТВАГО (с шашкой наголо, у решетки, кричит назад, солдатам). На- лево разомкнись! В цепь! Бегом марш! (Толпившиеся у решетки разбегают- ся врассыпную. Решетка оголилась: на цоколе, просовывая дула винтовок меж высоких железных прутьев ограда, — солдаты.)

На опустевшей площадке, на снегу — труп убитого ребенка; мать в стороне, сев на землю, застывшая, неотрывно смотрит на него.)

МАРГАРИТА (очень красивая, с огромными «васнецовскими» глазами де- вушка, бросилась, встала во весь рост

на цоколь решетки). Убийцы! Оприч- ники!

### Картина 5-я

Наборная небольшой типографии на Васильевском острове. Реалы. В сторо- не — «американка».

У окна хозяин типографии с женой осторожно следят за тем, что делается на улице. Гул близкой толпы. Отдель- ные голоса и выкрики.

ЖЕНА (полная, рыхлая, охает еже- секундно; в сильнейшей агитации). Гос- поди! бегут... Что творится-то... Смотри, смотри... столб валят... ей-богу! Григо- рий Семенович...

ХОЗЯИН (солидно). Баррикада это называется... Вообще—бунт... Слава те, христе... не против нашего дому, а то бы еще отвечать пришлось, чего добро- го...

ЖЕНА. Галактионов! С места не сойти, он... Во-он, смотри... где ворота снимают...

ХОЗЯИН. Где? Галактионов этот давно у меня на примете... Не иначе, как социал... Сколько раз хотел расчи- тать, да уж больно хорош наборщик. (Откинулся от окна.) Сюда идет никак- Отойди, Марья. (Резкий звонок. Хозя- ин сразу теряет солидность.) Не отпи- рай! (Второй звонок, и почти тотчас же — тяжелые удары в дверь.)

ЖЕНА (приседает от страха). Разне- сут... Гриша, беги. (Дверь трещит. Хо- зяин мечется.) В ванну, в ванну лезь... доскою прикройся. (Дверь трещит. Го- лос: «Во-во! Давай-ка его сюда, топор».) Жена вопит истошным голосом.) Отпи- раю... (Выбегает, слышны голоса, шум шагов, гурьбою вламываются рабочие. Впереди — Егоров, Максим, Галактио- нов. Среди рабочих — Таня, в полушуб- ке и платке.)

ГАЛАКТИОНОВ (хозяйке). Ключ от кладовки — бумагу взять... стопы че- тыре... Ребята, подсобите. (Егорову.) Пиши пока... Духом отпечатаем. (Ухо- дит с хозяйкой и двумя рабочими.)

ЕГОРОВ (очень возбужден, одежда растрепана). Сейчас мы... свое слово... оповестим! Кто за писаря может?

ТАНЯ. Давай я, что ли.

ЕГОРОВ. Грамотная? Скажи на милость. От Лаферма? Табачница? Определенно я тебя где-то видел.

ТАНЯ. Ладно, после припомнишь. (Садится к столу.) Ну, как писать?

МАКСИМ (смотрит в окно). Что народу загубили... едрена палка... Так и пиши: дескать, вот те икона (показывает на образ в углу), вот те царь (показывает на портрет), а вот (сжал кулак)... матерно слово. Не знаю, как его печатать...

ЕГОРОВ. Легче! Манифест рабочий пишем... Тут слов ни-ни... Ребята, вали сюда — общим разумом... Пиши, табачница. «Ко всем рабочим». Товарищи... (Запнулся. Дверь раскрылась, вбежал рабочий.)

РАБОЧИЙ. Егоров, ты это что?.. Мы тебя за старшого, а ты куда спрятался...

ЕГОРОВ. Постой, не мешай... Тут дело — первостепенное.

РАБОЧИЙ. Улицу завалили. Народ без дела...

ЕГОРОВ. Дальше заваливай. Сади до самого проспекта, чтоб ни конному, ни пешему... Мы сейчас... только вот манифест тиснем — в руководство. Иди ты, я говорю! (Рабочий выходит.) Пиши. «Пала завеса с наших глаз. Поняли, что можно ждать от самодержавного...»

МАКСИМ. От сукиного сына, пиши...

ЕГОРОВ. Отсунься. Сказано: без слов. «Рабочие еще раз узнали царскую милость и царскую правду...»

(Входят двое рабочих.)

РАБОЧИЙ. Солдаты идут... от Невы...

ЕГОРОВ. Ах ты, будь они!.. Не дают сроку. (Рабочему.) Слухай, по улице, видал, против 35-го номера дом строится... Бери ребят... на леса, да повыше... Там кирпичу — на полк хватит. Как с домом поравняются, — понял? — бей! Сейчас и мы подойдем.

РАБОЧИЙ. Эх! Оружия нет. Кирпичом много ли настреляешь?..

(Таня, подождав, начинает писать, переговариваясь с наклонившимися к ней, по ее знаку, ближайшими рабочими.)

2-й РАБОЧИЙ. Шафовскую фабрику, что на 18-й линии, мы, безусловно, разбили. Сабель там!.. Но, конечное дело, без рукоятки... (Показывает клинок, который держит в руке: концы обмотаны тряпкой.)

(Входит студент в башлыке.)

СТУДЕНТ. Штаб здесь, говорят?

ЕГОРОВ (ухмыльнулся, невольно). Вона, как у нас пошло... Штаб? Здесь...

СТУДЕНТ. Нас тут пятеро студентов... с револьверами. Куда итти?

ЕГОРОВ. С револьверами? Вот что значит ученые! (Хлопнул студента по плечу.) Мы там навалили... видал? Со стройки... кирпичами будут садить по солдатам, — ты, стало быть, сообразуйся... А там я команду приму. (Студент выходит. Егоров обращается к Тане.) Ты чего пишешь?

ТАНЯ. Вас ждать — никогда не кончим. Мы тут с ребятами... (Читает.)

«Мы не рабы, мы люди, нас не утратят пули и штыки, не заставят отступить... Мы не будем работать на своих убийц... Не задымится ни одна фабричная труба, не завертится ни один станок, прежде чем мы не будем уверены в том, что царь и министры...»

ЕГОРОВ. Здорово! Пиши дальше! «Министры, генералы и придворная сволочь...»

МАКСИМ. Егоров! Ты что, в самодель начальство? Сам ругаешься, а мне не даешь...

ЕГОРОВ. Отсунься, я говорю... Это не ругань, а настоящее слово. (Диктует.) «К оружию, товарищи!»

РАБОЧИЙ. «Захватывайте арсеналы!»

2-й РАБОЧИЙ. «... и которые оружейные склады...»

(На улице далекий сигнал на рожке.)

ЕГОРОВ. Э-эх!.. Не поспеет. А студент чего нахвастал?.. Не палят...

РАБОЧИЙ. Это — сигнал «все»... Я на воинской был, знаю... Опосля еще три должно быть, потом огонь. Офицер правильный, командует по уставу... Поспеем: крой.

ЕГОРОВ. «Разносите, товарищи, тюрьмы, освобождайте борцов за свободу...»



ГАЛАКТИОНОВ (Тане). Не пиши. Я с голосу набираю; «за свободу»... (Второй наборщик взял у Тани листок, быстро начинает набирать.)

РАБОЧИЙ. «Разбивайте жандармские и полицейские управления...»

МАКСИМ (махнул рукой). «...и все казенные места, как есть...»

(Сигнал на рожке.)

РАБОЧИЕ. Первый...

ЕГОРОВ (скороговоркой). «Свергнем царское правительство...»

ГАЛАКТИОНОВ. Погоди. Заспешил, не поспеваю: «правитель-ство».. Есть.

ЕГОРОВ. «И поставим свое... Да здравствует революция!» Ясно, ребята?

РАБОЧИЕ. Ясно.

(Сигнал.)

РАБОЧИЕ. Второй! Ходу, товарищи! Теперь и без нас управятся типографские.

ГАЛАКТИОНОВ. Стой. Подпись. (Молчание, рабочие переглядываются.)

От чьего имени, говорю?..

ЕГОРОВ. Подпись? (Нерешительно.) От штабу, что ли?

РАБОЧИЕ. Не годится. Какой штаб? Надо, чтобы для рабочих твердо было...

МАКСИМ. Пиши: ковалетчики. Как хуже нашей жизни...

РАБОЧИЕ. Куда!.. Надо, чтоб... с уважением читали.

(Сигнал.)

ГАЛАКТИОНОВ. Подпись давай, живо!

ЕГОРОВ. Ставь (взмахнул рукой) РСДРП.

РАБОЧИЙ. Стой... Мы ж не партийные?

ЕГОРОВ. А кто? Чья вышла правда? Как у них в листовке про царя и попа... чтоб в один их мешок... Ставь, я говорю, РСДРП.

ТАНЯ. Правильно. Но только в заголовок тогда надо еще... (Галактионову.) Курсив бери, на кегль 10. Набирай: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

(Залп за окнами, на улице. Рабочие бросаются к выходу.)

ЕГОРОВ. Ходу! Ходу! (Галактионову.) Пока тиснешь — я пришло, забе-

рем. Сейчас мы солдатом, безусловно, назад осадим. (Револьверные выстрелы.) Наши... С нами, что ли, табачница? (Таня кивнула и вынула из кармана два револьвера, один протянула Егорову. Он опешил в первую минуту, потом схватил оружие.) Ах, ты!.. Где ж у меня глаза были! (Выходит.)

ГАЛАКТИОНОВ (набирает, под звуки перестрелки). «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

## АКТ ВТОРОЙ

### Картина 6-я

Кабинет полковника Озерова в охранным отделении. Роскошно отделанная, но загаженная комната. Портрет Николая II во весь рост, в гусарском мундире.

За письменным столом — Озеров, в жандармском сюртуке, «Владимир» в петлице. Перед ним — Лисьемордый. В стороне — второй письменный стол, около которого, перебирая дела, стоит товарищ прокурора барон Будберг.

ОЗЕРОВ (встряхивает переданную ему Лисьемордым пачку дел). Чорт... сколько еще! И откуда они людей берут? В четыре руки придется, барон, а то мы в неделю не управимся. (Будберг кивнул, роется в делах.) Вы мне оставьте, что посложнее. Там мелкоты много... Из студентов — одного только, что в Технологическом на сходке председательствовал (Лисьемордому). Агенту двадцать семь — поручение передали?

ЛИСЬЕМОРДЫЙ. Насчет большевистского съезда? Так точно. Говорит — абсолютно невозможно.

ОЗЕРОВ. Обязан! Деньги платим? Двести пятьдесят: генеральский оклад. На съезде нам свой человек обязательно нужен: посмотреть с подкладочки — за кулисами, так сказать, что там ихний Ленин готовит...

ЛИСЬЕМОРДЫЙ. Это все совершенно правильно, господин полковник, но... в данном случае я за агента двадцать семь заступаюсь: действительно невозможно: у них на съезд делегатов прямо сквозь сито процеживают, такой отбор... нипочем не попасть.

ОЗЕРОВ. Ну, не в делегаты. Хоть около с'езда чтобы потерся, пошупал, понюхал... Он же у вас ловкий. Какие дела делал...

ЛИСЬЕМОРДЫЙ. Делать-то делал. А теперь уж не знаю. Как типографию взяли, указание, собственно, прямо на него: больше выдать некому было. Он так и ждет: вот-вот суд назначат. Сам не свой ходит: чувствую, говорит, доверия нет...

ОЗЕРОВ. Ерунда... Типографию дольше терпеть никак нельзя было... А насчет доверия это дело мы как-нибудь сварганим. (*Лисьемордый и Будберг недоверчиво качают головой.*)

ЛИСЬЕМОРДЫЙ. Не столь просто, Василий Карпович... У них там тоже (*стукнул себя по лбу*) котелки варят...

ОЗЕРОВ (*усмехнулся*). Раз я сказал, стало быть, сделаю: будет чист, как младенец. Пусть чемоданы укладывает. Прогонных, скажите, не пожалеем, с комфортом с'ездит — отсыплем в доллар: он дополнительно на обмене выручит. Я ему, кстати, еще порученьице дам — за границей. Так действуйте. (*Лисьемордый идет.*) Да... Надо еще к госпоже Кедровой... кого-нибудь из особых поручений послать: сообщите, что пьесу этого самого... господина Горького «*Дети Солнца*» градоначальник распорядился с афиши снять.

БУДБЕРГ. Целесообразно ли, Василий Карпович? Опять разговоры будут. Горького высылкой и так разрекламировали — выше итти некуда. А теперь еще пьесу снимать? Опять реклама.

ОЗЕРОВ. Не выйдет. Раньше посадим. Он с большевиками путается. Запускаем с поличным и — фью... (*Лисьемордому.*) Так распорядитесь. (*Будберг подходит с пачкою дел.*) Отобрали? (*Смотрит, нажимает кнопку звонка. Появляется жандармский вахмистр.*) Дай мне Волошинова. Из Пересыльской.

БУДБЕРГ. А мне потом Коронину.

ОЗЕРОВ (*насторожился*). Какая такая?

БУДБЕРГ (*небрежно*). Так... пустяковое дело... 9 января офицера обругала.

ОЗЕРОВ (*считает по пальцам*). Январь, февраль, март, апрель... четыре месяца уже отсидела, стало быть, в пред-

варительном порядке. Можно и на выписку. Под надзорчик.

БУДБЕРГ (*поджал губы*). Я затем: и пригласил... побеседовать на прощанье...

(*Жандармы вводят Волошинова—студента-технолога в форменной тужурке. По знаку Озерова он садится на стул, против него.*)

ОЗЕРОВ. Волошинов Михаил Васильевич. Студент 5-го курса. Социал-демократ.

ВОЛОШИНОВ. Почему предполагаете?

ОЗЕРОВ. Не предполагаем, а знаем. Председательствовали на февральской общениститутской сходке? Предложили резолюцию (*смотрит листок*) прекратить занятия до осени в знак солидарности с рабочим классом. Это вы — сами писали?

ВОЛОШИНОВ. Сам.

ОЗЕРОВ. Так-с. За резолюцию 750 человек голосовало, против 53... благо-разумных. Ответственность — на вас, как председателе, в первую очередь.

ВОЛОШИНОВ. От ответственности не отказываюсь.

ОЗЕРОВ. Похвально. А вот, что выучиться не хотите, — это не похвально. Мы на двести лет отстали от Европы, — на четыреста отстанем, если будущие инженеры бастовать будут вместо учения.

ВОЛОШИНОВ. Ничего: в свое время нагоним.

ОЗЕРОВ (*сощурился*). Это в какое же... свое время?.. Ай, молодой человек, нехорошо вы разговариваете... Разрешите мне, все-таки... по-отечески... подумать, подробно с вами в этом деле разобраться...

(*Жандармы вводят Маргариту. Будберг ожидает у порога, с раскрытым делом в руках.*)

БУДБЕРГ (*очень галантно*). Маргарита Евсеевна? Пожалуйста в эту комнату. (*Жандармам.*) Можете итти. (*Выходит, пропустив Маргариту вперед, в соседнюю комнату.*)

ОЗЕРОВ (*проводил их долгим взглядом, заерзал в кресле*). Так вот, да... (*Оглядывается на дверь.*) Ну-с, разговаривать нам с вами, я вижу, не о чем:

Не желаете учиться — поедете эскимосов изучать, в Якутскую, на три года. Вахмистр! (*Вахмистр шагнул к столу.*) В Пересыльную, на старое место!.. (*Вахмистр выводит Волошинова, Озеров поспешно подходит к двери, в которую вышел Будберг, открывает ее.*) Господин прокурор, пожалуйста сюда с обвиняемой... (*Будберг и Маргарита входят, Озеров указывает Маргарите на стул около своего стола, садится. Будберг, хмурый, становится рядом.*) Ну, как? (*Принимает от Будберга дело, перелистывает.*)

БУДБЕРГ (*торопливо*). Поскольку нет никаких указаний на принадлежность госпожи Коропиной к какому-либо преступному сообществу, допрашивать еще, я полагал бы...

ОЗЕРОВ. Допрашивать и не предполагаю... А вот попросить некоторой услуги я себе позволю.

МАРГАРИТА (*сдвинула круто брови*). Услуги? Вам?

ОЗЕРОВ (*спокойно и мягко*). Не мне... правосудию. Видите ли, я веду дело некоего Викентьева: партийная кличка — Виктор.

МАРГАРИТА. Я сказала уже: ни к какой организации я не принадлежу и никакого Виктора не знаю.

ОЗЕРОВ (*останавливает ее жестом*). Дело, в сущности, пустое. Пропаганда. Ну, скажите мне на милость: кто нынче не пропагандирует? Я уже было резолюцию поставил: высылка в ближайшие местности на год... пустыки сущие, как вы видите. И вдруг сообщение, будто бы убийство агента охранного отделения в Териоках в прошлом году, — изволите помнить?..

МАРГАРИТА. Почему я буду помнить?

ОЗЕРОВ. Помилуйте, сенсация была. Так вот, убийство будто бы совершено им, Виктором... Это совершенно меняет ситуацию. Это уже не выслочкой пахнет, а петлей-с. (*Пауза.*) Вы понимаете?

МАРГАРИТА (*сдержанно*). Я ничего не понимаю.

ОЗЕРОВ. Охотно раз'ясню. Сообщение это, в сущности, бездоказательно: ну, скажем, просто донос. Но не дать

ему хода я, вы сами понимаете, не могу, поскольку я не могу его опровергнуть. Убийца-то ведь не обнаружен. Так вот... Мы, должен сказать, по самой своей профессии — физиономисты. Мы сразу видим человека. Когда я вас увидел, я оценил сразу. У вас — чистая душа, Маргарита Евсеевна; вы скорее пойдете на любую пытку, чем поступите против своей совести. На ваше слово можно положиться: поэтому я и решился обратиться к вам. Ведь дело о смертной казни... А вдруг он невинен? Я этого на свою совесть взять не хочу. Скажите одно только слово — и кончено: обвинение снято. Даю слово: вы можете быть какого угодно мнения о нашей тяжелой обязанности — охранять государство от потрясений, — но, я полагаю, и вы знаете: мы честно держим слово. (*Достал дело, развернул, взял перо.*) Судьба Виктора — в ваших руках...

МАРГАРИТА (*после некоторого колебания, глухо*). Он в этом не виновен.

ОЗЕРОВ. Ну, вот и решено. (*Пишет.*) Видите, четко: «Опровергнуто следствием». И у вас на совести — доброе дело... А при желании, может быть, двадцать, тридцать... не знаю, сколько... (*Маргарита нахмурилась.*) Говоря откровенно, мы же захлебываемся в доносах. Не-ве-ро-ятное количество! И разобратесь — где правда, где ложь... (*разводит руками*). Помочь в этом — великое дело. Вот вам живой пример: ваш Виктор, от которого вы было отказались (*грозит шутливо - укоризненно пальцем*)... и это могло стоить ему жизни. Разрешите надеяться, что и в будущем на такого рода вопросы...

МАРГАРИТА (*вспыхнула*). Я...

ОЗЕРОВ (*перебивает*). Опять вы... торопитесь. Неужели, вы думаете, мне могло бы в голову притти предлагать вам... в а м... что-нибудь нам сообщать... Что я, слепой или идиот? Не вы нам, а мы вам будем сообщать. (*Маргарита подняла голову, слушает внимательно.*) Моя просьба — именно в этом: позволить время от времени ставить на разрешение ваше сомнительные для нас вопросы: вот, как сегодня. Не будете знать или не захотите ответить, скажете: «не знаю». Никаких обязательств.

(Маргарита хочет сказать, он не дает.) Я не тороплю ответом — думайте, сколько угодно. Хотя, конечно, я был бы счастлив сейчас же дать вам возможность вернуться на волю, к вашей матушке... может быть, жениху? К... товарищам, работе. И, во всяком случае, очень прошу, Маргарита Евсеевна, верьте в мою искренность и в то, что я никогда не злоупотреблю вашим доверием, если вы сделаете мне честь его оказать: никаких лишних вопросов. Честь имею! Вахмистр! (Вахмистр входит.) Проводите арестованную.

МАРГАРИТА (очень взволнована, хочет что-то сказать, но быстро поворачивается и идет к выходу).

ОЗЕРОВ (вдогонку). Непочук! Дай того, что из крепости доставлен. (Вахмистр выходит, следом за Маргаритой. Озеров поворачивается к Будбергу.) Видали?

Ах, попалась, птичка, стой,  
Не уйдешь из сети,  
Не расстанемся с тобой  
Ни за что на свете.

Слышали такую детскую песенку, барон? Очень я люблю детские песенки.

БУДБЕРГ. Вы, действительно, мастер, Василий Карпович... Ведь на Викентьева никакого доноса не было?

ОЗЕРОВ. Само собой. (Легкая пауза.) Я-то мастер, а вот вы... знаете кто? (Грозит пальцем.) Ферлакур! Как красивое личико, так к себе в производство тянете.

БУДБЕРГ (меланхолично). Ведь платонически все это, полковник. Только, что смотришь...

ОЗЕРОВ. Смотришь — и... воображаешь: все-таки приятно... А то с этими... каторжниками... (Вводит Зайку, в ручных кандалах.) Вот, например, экземпляр. Полюбуйтесь! В чем душа держится, а — вооруженное сопротивление. Чуть-чуть лучшего моего вахмистра на тот свет не отправил: грудь — на вылет! (Вахмистру.) Непочук! Стань ближе, на случай. (Вахмистр становится у стола, между Зайкой и полковником.) Ну-с, господин, по протоколу, «неизвестный». Соболагодите отвечать? Имя, отчество, фамилия? Национальность не

спрашиваю, вижу: жид. (Зайка молчит.) Не угодно? (Зайка молчит.) Сохраняете печать молчания? (Зайка молчит.) Непочук! Распечатай! (Вахмистр неожиданным, быстрым и тяжелым ударом бьет Зайку подложечку. Зайка согнулся. Озеров — со смешком.) Называется — джину-джитсу. По японскому образцу.

ЗАЙКА (распрявился с трудом). То-то вас японцы и бьют.

ОЗЕРОВ. Заговорил! Слава богу! А то я испугался было: вдруг большевики в типографию глухонемых для верности назначают... как турки евнухов в гаремы, ха! Значит, побеседовать можно. Нас, видите ли, интересует главным образом вопрос о второй вашей типографии. После вашего ареста прокламации все же продолжают выходить регулярно: умозаключаю логически — имеется вторая. По специальности вашей местопребывание оной вам, конечно, известно. Для сокращения переписки, как говорится, ставлю вопрос прямым. За стрельбу и прочее имеете быть повешены. Но возможно смягчение участи. Где вторая типография? (Пауза.) Вы что-то хотите сказать?

ЗАЙКА. П-п-прохвост!

ОЗЕРОВ (хладнокровно). Коротко и ясно. Считаю долгом предупредить: очень худо будет. Хуже, чем вы думаете. (Пауза.) Слушаю.

ЗАЙКА. В-вы что? Х-хотите, чтобы я вам морду побил? (Движение вахмистра.)

ОЗЕРОВ. Непочук, смирно. Все в свое время. (Зайке.) По вашему прошлому и всему иному-прочему на возможность душевной беседы и не рассчитывал, господин товарищ Зайка. Удивлены? Нет? Могу дополнить: меццанин города Гомель-Гомеля, Арон Мовшевич Арштейн. Опять не удивлены? Обладаете характером. Может быть, интересуетесь, откуда сведения о вас... кстати и о типографии?

ЗАЙКА. С-сам знаю. Но знаю и то, что т-теперь — конец в-вашему провокатору.

ОЗЕРОВ. Совершенно правильно изволите судить: конец. И какой конец! Мы же знаем: с нашими агента-

ми у вас вообще — без миндаля. А с провокатором?.. Действительно же, мерзавец! Пробраться в организацию, к чистейшим людям... Что вы за свою работу, кроме каторги, получаете?.. героизм!.. И предавать!.. За это же любой казни мало... И раз уж теперь известно... *(Пишет на бланке.)* Непочук, сними с господина браслетки. *(Вахмистр вскинул глаза на полковника, недоуменно, но исполняет приказание. Озеров кончает писать, прикладывает печать, протягивает листок вахмистру. Зайке.)* Ну-с, вы свободны.

ЗАЙКА *(усмехнулся брезгливо).* М-могу домой ехать?..

ОЗЕРОВ *(с величайшей предупредительностью).* Прикажете — за извозчиком пошлю... Не верите? Непочук, пред'яви им ордер. Осторожно! На расстоянии. Убедились? Идите на все четыре стороны. К своим.

БУДБЕРГ *(совершенно опешивший сначала, заржал, в восторге ударил себя по бедрам).* Вот это — ход!

ЗАЙКА *(все еще не понимая).* С-свободен? А... остальные?

ОЗЕРОВ. Да что вы... мальчик маленький... Себя с ними равняете! Они при чем? Они — на каторгу пойдут, своим порядком. Шуточное дело! Типография, вооруженное сопротивление! У них же нету... заслуги. Непочук, выведи его на улицу.

ЗАЙКА *(понял, наконец, рванулся к полковнику, но Непочук перехватил, скрутил руки назад).*

ОЗЕРОВ. Непочук, деликатно. Они же свободны.

ЗАЙКА. Не смеете! Не пойду! Обязаны повесить!..

ОЗЕРОВ *(кратко).* Сами повеситесь, дорогой... Только... провокатором повеситесь... Или — товарищи распорядятся... Эх, дорого бы дал послушать, как вы будете комитету объяснять, как это вы, — смертник, закандаленный, из каземата, — и вдруг... по проспекту свободно разгуливаете. То-то обрадуются, товарищи, когда узнают: жив, здоров, свободен... Вахмистр, выкинь его на мостовую! *(Непочук, при помощи других жандармов, вошедших на звонок полковника, выволакивают Зайку.)*

БУДБЕРГ. Вы — гений, Василий Карпович. Ведь без проигрыша! И этот трикончен... ему ж, в самом деле, кроме петли, некуда, а по суду получил бы только срочную каторгу... И агент двадцать семь — чист, как стеклышко. Без жабр в воде задышит. И до чего просто!

ОЗЕРОВ. Гениальное всегда просто. Непочук! Давай, кто там еще, из типографских.

### Картина 7-я

*Окраина Александровского парка. Ночь. Полнолуние. Таня и Василий остановились. Таня протянула руку.*

ТАНЯ. Ну, прощаться надо: мне — налево.

ВАСИЛИЙ. Через Александровский парк? В ночь? Не страшно?

ТАНЯ *(засмеялась).* Уж-жасно страшно! Счастливым ты все-таки, Василий... На с'езд! Всех увидишь! И с'езд какой! Первый настоящий, ленинский... большевистский без примеси. *(Замолчала и внезапно припала ему на грудь.)*

ВАСИЛИЙ *(дрогнувшим голосом).* Таня... *(Нерешительно еще занес руку, обнял за плечи.)*

ТАНЯ *(быстрым шопотом).* Крепче... крепче... Целуй же! Шпик!

*(В самом деле скользнула тень: неслышными шагами вышел из глубины парка, из потемнелого человека. Быстро отвернулся, увидев обнявшуюся пару. Фыркнул, прошел стороной, мурлыча под нос — явно по адресу Тани и Василия:*

*Сердце красавицы  
Склонно к измене...*

*Еще раз фыркнул и скрылся. Таня, не подымая головы с груди Василия, проследила глазами за удаляющимся шпиком и высвободилась.)*

ТАНЯ. Проехало! Совсем насквозь прошипован стал Питер... Ночью, и то шляются... И луна эта — ни к селу, ни к городу...

ВАСИЛИЙ. Ну, ты сразу уж и луно — по тому же департаменту полиции.

ТАНЯ (засмеялась). Нет. Это только в данном случае... А так я луну люблю. (Закинула руки за голову, запрокинула ее назад.)

... Дымятся синие туманы,  
И всходит месяц золотой...

Теперь бы на взморье... Красота сейчас на море. (Резко меняет тон.) Ну, счастливо! Надежде Константиновне кланяйся в пояс, Ленину—до земли. И смотри, не задерживайся—без тебя революцию сделаем: будешь потом локти кусать.

(Он пошел, она помахала рукой вдогонку и свернула в парк. В парке, пройдя несколько шагов, круто остановилась и стала пристально всматриваться под тень деревьев, в темноту: на скамейке, скрючившись, низко опустив голову,— маленький, кривенький человек. Таня вздрогнула, провела рукой по глазам.)

ТАНЯ (шопотом. Горло перехватило—голоса не узнать). Зайка? (Зайка затрясся, поднял голову, судорожно сжал руки.) Зайка... Ты?

ЗАЙКА (усмехнулся криво; ощупал себя руками). Кажется, я...

ТАНЯ (все еще задыхаясь). Значит, неверно было в газетах, что тебя взяли... что ты стрелял, ранил... Ты ушел до ареста? Где ты был? (Садится на скамейку, рядом.)

ЗАЙКА (ответил не сразу. Глухо). В каземате.

ТАНЯ (откинулась назад). В Трубецком? В крепости? Нет... Как же ты вышел?

ЗАЙКА (оскалил зубы). Как оттуда выйти? Отпустили.

ТАНЯ. Тебя? Смертника?.. Ты бредишь! (Пауза.) Не молчи, Зайка. Говори же скорей. Как отпустили? Почему?..

ЗАЙКА (продолжает скалить зубы). Догадайся.

ТАНЯ (вздрогнула вся и отодвинулась, молча).

ЗАЙКА. Вот. Да, да, так, так... Теперь встань и уйди... Встань и уйди. Теперь все равно: ты уже подумала.

ТАНЯ (поднялась, бледная). Зайка, я ни минуты, когда про тебя говорили...

ЗАЙКА (взялся за голову). А-а! Уже говорили? Раньше? До типографии? Зачем ты стоишь? Иди! Оставь! Я же все равно знаю: конец. Мне нельзя к вам. Мне никуда нельзя. (Пауза. Таня стоит неподвижно. Зайка внезапно весь затрясся от тихого, надрывного плача.) Таня, Таня... Что они со мной сделали...

ТАНЯ (рванулась, обняла Зайку за плечи). Зайчик, родной...

ЗАЙКА (быстро, захлебываясь. Но постепенно голос крепнет; он почти не заикается). Провокатор, да! Как я скажу «нет», когда он есть... провокатор! Мы знали еще, когда провалился районный за Невской... И когда взяли склад, было тоже ясно... А теперь, когда типографию взяли, типографию, которую берегли, как глаз... Кто? Зайчик был в районном, Зайчик был в складе, Зайчик был в типографии... стрелял, он стал смертник, Зайка, и вот—на воле... Кто? Разве надо искать? Только агент может выйти из каземата. О чем тут думать! О Зайке? Кто такой Зайка, чтоб о нем думать революции? Еврейский мальчик, которого портной бил десять лет по щекам, пока не пришло подполье и не распрямил его во весь рост. (Выпрямился.) Вот его рост, ха! (Засмеялся.) Большой рост! (Пауза.) И вот больше я не живу. Потому что больше жить я не могу... И умереть не могу, потому что я, Арон Арштейн, — большевик, и не хочу умереть, не могу умереть, как Иуда... Так что же мне делать, Таня?.. Я же хочу жить... жить... Ты понимаешь, Таня, — никто в мире не хочет так жить, как мы, как большевики, — потому что никто не умеет так жить, как мы! Скажи!.. ты самый хороший из нас всех человек, у тебя душа, как огонь! Скажи!.. Я... не знаю. Потому что, если б я даже пошел сейчас и убил полковника, — ничто не переменится. Разве не скажут: он просто раскаялся, провокатор... Или полковник недоплатил ему чего-то за кровь, а-а! (Ударил себя по голове.) И скажут все равно: он никогда не был большевиком.

ТАНЯ. Зайка...

**ЗАЙКА.** Не был большевиком? Ого! Они меня могли замазать охранной своей грязью от подошвы до глаз, — они же меня держали за руки, они меня держали за горло... что я мог сделать?.. Но я остался, как был... И самое страшное, Таня... Он же есть, он же есть, провокатор, и теперь, когда все скажут: Арон! и все успокоятся, — он будет смеяться в кулак и опять, и опять подтачивать нашу силу, как червь, и менять кровь на деньги...

**ТАНЯ.** Нет! Мы не успокоимся, Зайка... Если б на полчаса раньше! Теперь Василия уже не найти. А без него... Ведь комитет распустили, пока все выясним о провалах... Нельзя же было дольше так работать. *(Пауза.)* За тобою следят?

**ЗАЙКА.** Может быть. Наверно... Потому что мне было все равно, чтоб следили.

**ТАНЯ.** Завтра, в два часа дня, сбей слезку и приезжай на Удельную... Подожди у стены сумасшедшего дома, той, что выходит в парк.

**ЗАЙКА** *(бледно улыбнулся)*. Сумасшедшего... Ты всегда хорошо выбираешь, Таня...

**ТАНЯ.** У тебя деньги есть? *(Зайка отрицательно покачал головой.)* Ты... с тех пор... не ел? *(Достает кошелек, дает деньги.)* Я привезу паспорт и адрес, куда уехать, пока мы здесь... кончим.

**ЗАЙКА** *(дрогнувшим голосом)*. Но... в организацию, но работать... мне же все равно нельзя, Таня. Ты думаешь, они не сделают так, чтобы вся партия знала: Зайчик, Арон — провокатор? Я приеду, ну... Как я буду отвечать — кто и откуда?

**ТАНЯ.** Это же не надолго, Зайка.

**ЗАЙКА.** Теперь день — как год. Мне он будет — как целая жизнь.

**ТАНЯ** *(помолчав)*. Спрашивать не будут. Я сама поеду с тобой.

**ЗАЙКА** *(дрогнув)*. Ты?

**ТАНЯ.** Со мной никто не спросит. Довольно будет, если я скажу: наш.

**ЗАЙКА** *(в сильном волнении)*. И ты... могла бы... ради меня бросить здесь... своих?

**ТАНЯ.** Бросить? Своих? Разве в Харькове, на Дону, в Вильне, на Ура-

ле, на Кавказе — не свои? И разве мы — не товарищи, Зайчик? Не крепко любим друг друга? *(Зайка потянулся к ней и опять тихо заплакал. Она осторожно погладила его по голове.)* Ну, не надо же... Как они тебя измотали... Все обойдется, все хорошо, все светло будет, Зайка! Мы же в партии.

## Картина 8-я

*Берлин. Зал ресторана, арендуемого рабочим союзом строителей под клуб: на стенах — эмблемы союза. Столики, частью занятые. В соседнем, аркою от столовой отделенном, зале идут гимнастические упражнения. За одним из столиков — Гапон, в модном костюме, с безвкусным, кричащим галстуком, и Люся — за кружками пива.*

**ГАПОН** *(слегка пьян)*. Чего лениво пьешь, — пиво здесь легкое. Чокнулись! *(Чокаются.)* Рад свидеться: приятная ты девица, я скажу... А по делу этому подумать все-таки надо: как бы маху не дать. *(Поманил кельнершу.)* Битте, нох цвей! *(Показал два пальца.)* Я, как ни верти, революции народной — признанный вождь. По всем газетам портреты печатали, видала? Партии здесь за мной, не хвастаясь скажу, — наперегонки. «Георгий Аполлонович, Георгий Аполлонович...» С кем только не разговаривал... И с вашими, социал-демократами, и с Плехановым, и с Лениным.

**ЛЮСЯ.** Ну и что? Сговорились?

**ГАПОН.** *(Качнул головой.)* Разве с ними сговоришься... Я конференцию всех партий созывал, — слышала, небось?..

**ЛЮСЯ.** Кто же был?

**ГАПОН.** Я ж говорю: эсеры были.

**ЛЮСЯ.** Нет. Вы поименно. И тех, что ушли, — тоже.

**ГАПОН** *(усмехаясь, погрозил пальцем)*. Ишь, хитрая. Ну, да ладно... Что мне — жалко? Не нужны они мне. Из латышей эсдеков — Розин был, от Бунда — Гельфин....

**ЛЮСЯ** *(достала записную книжку)*. Пишите лучше. А то неудобно... фамилии вслух. У вас тем более голос...

ГАПОН. Голос у меня, действительно, амвонный. Давай, запишу. Думаешь, так конспиративнее? *(Оба засмеялись.)* А, ей-богу, хорошая ты девица: умницы, что прислали.

ЛЮСЯ. Хорошая, хорошая, а ответа вы все же не дали.

ГАПОН. Да что ответ... Нету мне, по существу, расчета. Я и так в гору иду. *(Гапон дернул головой, уставился в одну точку. Люся повернула голову в направлении его взгляда. У входа в гимнастический зал стоит, наблюдая, Валентина.)*

ЛЮСЯ. Что вы?

ГАПОН. Да вот... юница эта, — как бы сказать, — подойдет сейчас... как мы с нею...

ЛЮСЯ. Жена?

ГАПОН. Нет... Жена у меня для обихода другая. Простая у меня жена, тихая, как надо. Придешь, вышимши, — она сапоги снимет. А эта — как сказать, — по любви, что ли... *(Валентина повернулась, медленно идет к столу.)*

ЛЮСЯ. Пишите скорее. Ведь много не надо: два слова.

*(Валентина подошла, остановилась, недоуменно оглядывая Люсю.)*

ГАПОН *(заискивающе)*. Садись, садись, Валентиночка. Познакомьтесь: это товарищ Люся, из Питера, большевичка — бо-ольшой человек... Мы тут — о делах. Я сейчас... Только вот запишу. *(Валентина и Люся пожали друг другу руки. Валентина села.)*

ГАПОН *(кончил писать, расчеркнулся.)* Я, извините, отлучусь на минуту. *(Встает, отходит, останавливает кельнершу. Она не поняла сначала, он пельнил жестом. Она шокирована, показала влево, в коридор. Гапон выходит.)*

ВАЛЕНТИНА *(Люсе)*. Вы... действительно, большевичка?

ЛЮСЯ. Да. Конечно.

ВАЛЕНТИНА. Зачем же вы — с Гапоном? Он же — только о себе... И он на все способен, на всякую мерзость. *(Закрыла глаза.)*

ЛЮСЯ. Моя очередь спросить: зачем же вы — с Гапоном?

ВАЛЕНТИНА. Я в него поверила, когда он царя проклял, пошла с ним.

Я думала: жизнь отдаю революции. А вышло... *(Закусила губы.)*

ЛЮСЯ *(внимательно следит за Валентиной)*. Вы не по той дороге пошли...

ВАЛЕНТИНА. А по какой надо было итти?

ЛЮСЯ *(смотрит на Валентину, сообщая)*. Вы могли бы вернуться в Петербург?

ВАЛЕНТИНА. Конечно. Я ж ничего политического не делала. Никто там не знает даже, что я за границей: я с Гапоном уехала, нелегально...

ЛЮСЯ *(подумала, потом — быстро)*. Хотите работать со мной?

ВАЛЕНТИНА. С вами? Разве это возможно?

ЛЮСЯ. Почему нет? Я введу вас... к нам.

ВАЛЕНТИНА. «К нам»? У вас... от этого слова даже лицо изменилось. Вы так любите вашу партию? Она совсем какая-то особая, да?

ЛЮСЯ *(прищурясь, смотрит прямо перед собой)*. Особая? Да. Ее травят неистово... Никого правительство не преследует так люто, как ее. Ее рвут изнутри на части, ее подтачивают предатели, а она все-таки живет! И с каждым месяцем — сильнее! За три года, что я в партии, — сколько раз аресты срезали организацию под самый корень. Я думала, наловал! Нет! *(Пауза. Люся залом выпила стоявшую перед ней кружку, тряхнула головой.)* Так что ж, едем?

ВАЛЕНТИНА. Это — как сказка!.. Но... вы же не знаете меня совсем.

ЛЮСЯ *(засмеялась)*. Мы по самой профессии нашей — физиономисты. Я на свой глаз полагаюсь совершенно. Вы — честная и хорошая. Больше ничего и не надо. *(Переходит на деловой тон.)* Я уезжаю вечером. Забирайте вещи и — сейчас же ко мне, чтобы Гапон сразу след потерял. Потсдаммерштрассе, Отель «Англетер», № 81; я там под фамилией Домановой.

ВАЛЕНТИНА *(опустив голову)*. Но у меня — ни паспорта, ни денег.

ЛЮСЯ. И не надо: границу мы перейдем и так, а насчет денег... *(Вынула из сумочки и показала толстую пачку)*



кредиток.) Хватит... и не на двоих! Скорее, Гапон идет. *(Валентина быстро уходит. Почти тотчас подходит Гапон.)*

ГАПОН *(беспокойно)*. А Валя где?

ЛЮСЯ. Ушла. Покупки, что ли. Слушай, а она к тебе не подослана?

ГАПОН. Охранная? Что ты! Она ж *(покрутил рукою)*... в мечтах...

ЛЮСЯ. С мечтами-то как-раз легче всего в охранниках оказаться. Не с ней первой... Ну, ладно. И мне итти пора. Написал? *(Берет книжку.)* В Питере, стало быть, свидимся? *(Прощается, идет, у выхода сталкивается с Василием.)*

ВАСИЛИЙ. Ого! Какими судьбами!... Я думал, ты уже давно дома.

ЛЮСЯ *(смешалась в первую минуту, но тотчас оправилась)*. Захворала, только сегодня еду. Забежала позавтракать. Но это, пожалуй, лучше, что я задержалась. Особо предупрежу Доррена, что ты будешь завтра переходить. Ведь завтра? Срок ты не переменял?

ВАСИЛИЙ. Нет. Но... Доррен за день не успеет обернуться.

ЛЮСЯ. Я его и не буду брать: пусть тебя дожидается. Я и без него перейду.

ВАСИЛИЙ. Смотри, не напорись на кордон.

ЛЮСЯ. Еще чего! Слава богу, не в первый раз... А ты зачем сюда?

ВАСИЛИЙ. С немцами социал-демократами разговор у меня. Ленин поручил — проездом — поругаться: чего они меньшевистскую руку держат.

ЛЮСЯ. Посредничество предлагают — мирить нас с меньшевиками? Слышала.

ВАСИЛИЙ. Вот-вот... Белыми нитками шито. С Лениным иисусикам не справиться, — хотят Интернационал на него навалить...

ЛЮСЯ. Могильным камнем... Не плохо задумано.

ВАСИЛИЙ. Не плохо? На свою шею! Ежели что — Ленин им весь Интернационал разворотит, только и всего... Ну, давай свою благородную лапу, я пошел. *(Показал рукой на дверь, в ту сторону зала.)* Тут кабинетик отдельный: геноссы ждут, мы созвонились. *(Двинулся было и остановился, смор-*

*шил нос.)* Гапон, чорт бы его... еще привяжется...

ЛЮСЯ. Гапон? Где?

ВАСИЛИЙ. Вон... черный. Ты его разве не знаешь?

ЛЮСЯ. Откуда?.. Противное лицо. Да он еще, кажется, пьян. До Питера, стало быть. *(Жмет руку, выходит; Василий проходит через зал.)*

## Картина 9-я

*Граница. Редкий березняк. Пограничный столб, с государственным гербом. Солдат-пограничник, уютно устроившись под деревом, прислонив к нему винтовку, сидит, охватив руками колени, и мурлычет песню.*

*Ночь — перед рассветом.*

ЧАСОВОЙ *(напевает)*:

А и стелется, расстилается польнь-трава,  
А и нет тебя горчее во чистом поле,  
А еще горчее служба царская...

*(Послышался мерный шаг патруля. Часовой встал, взял винтовку, подтянулся. Подходит патруль. Старший, став перед часовым, подставил ладонь.)*

ЧАСОВОЙ. Чего?

СТАРШИЙ. Клади, клади, не жуль. На твоём участке контрабанда прошла. Все ребята видели, — свидетели. Клади пятерку, по положению. Меньше ж десятки не взял.

ЧАСОВОЙ *(оправил фуражку)*. Ни чего я не взял.

СТАРШИЙ. Ошалел? Задарма?

ЧАСОВОЙ. Задарма.

СТАРШИЙ *(принял начальственный вид)*. Это ты что ж... так государственную границу бережешь?

ЧАСОВОЙ *(сплюнул)*. А на чорта ее беречь?

*(Патрульные сочувственно фыркнули.)*

СТАРШИЙ *(стал совсем грозным)*. Но-но!.. Ты, однако, мне таких слов не смей. Присягу принимал, престол-отечеству? А отечество — оно... во! *(Ткнул пальцем в орла на столбе.)*

ЧАСОВОЙ *(миролюбиво)*. Брось, Савельич, в начальство играть. Земляки, небось, одним лаптем воду хлебали. На кой оно нам дерьмо, престол-отече-

ство?.. У тебя земли — сажень, а у меня и вовсе нет, а между прочим гонют защищать отечество... Это — отечество, ежели меня только по морде бьют? А мне за него — человека убить?

СТАРШИЙ (*попыхтел, закуривает*). Я ж не говорю, убить. Взял, сколько причитається...

ЧАСОВОЙ. Была б контрабанда — взял бы, безусловно. (*Тихо.*) Политический шел. С «лесным».

СТАРШИЙ (*оглянулся — в темноту, в ночь*). С «лесным»?.. Разве они опять здесь, «лесные»?

ЧАСОВОЙ. «Братья»-то? Здесь. Я вчера на кордоне слышал — командир по телефону говорил: Тихенхаузена, что ли, барона пожгли... Он драгун вызывал...

СТАРШИЙ (*покрутил головой*). С «лесными братьями» ссориться тоже резону нет. Народ отчетливый: латыши. (*Отдулся.*) Пожгли, говоришь? Что за время пошло, ей-богу... У нас в уезде — баба отписала — тоже панов жгут. (*Присмотрелся.*) Поручика несет. Бросай курить, ребята. Не знаете, что ль, на границе не полагается.

### Картина 10-я

Глухая лесная полянка. Одинокий костер. У костра Валентина, Карл и вооруженный латвиец. Рядом, завернувшись в одеяло, спит Люся: ее нельзя разглядеть, — в темноте видны лишь очертания лежащего человека. На окраине полянки, в кустах, — фигура часового. Под деревьями, группами, — вооруженные люди: часть спит, часть беседует вполголоса. Тихая песня.

ВАЛЕНТИНА (*Карлу*). И они... сгорели все в этом доме, где вы их окружили?.. Это страшно. Это очень страшно. (*Зябко кутает руки.*)

КАРЛ (*говорит с акцентом*). Им, баронам, — смерть страшно, народу — жизнь страшно; это — больше. (*Помолчал.*) Для немецкий барон латвиец — другой народ — есть скот; латвиец не смеет даже немецки говорить, потому это есть господски язык: господскому языку будет стыд, если им будет говорить латыш. Барону, когда здороваться, латвиец должен руку целовать.

Нет. Теперь больше не будет так. Мы прогнали баронов, и у нас, в уезд, был свой крестьянский комитет, власть была наша — и каждый скажет: это была справедливая власть. На нас послали драгунов, но мы их стреляли у Леневадена и брали плен. Тогда послали много солдат и пушки. И мы ушли в лес, и стали «лесные братья», потому что мы все — как братья, а дом наш теперь — лес. Но назад — целовать руку — никто не пойдет. Кто ушел из старого дома, назад не придет: это есть революция.

ВАЛЕНТИНА (*повторяет, закрыв глаза*). Это и есть революция. И вы... так и будете — в лесу?

КАРЛ (*усмехнулся, жестко*). Раньше мы в лес ходили на охоту. Теперь мы ходим на охоту — из леса.

ВАЛЕНТИНА. В замки баронов? Да, да, я знаю: еще вчера вы убили барона Тизенгаузена.

КАРЛ (*нахмурился. Латвиец, у костра, повернул голову к Валентине*). Кто сказал?

ВАЛЕНТИНА (*несколько удивленно*). Офицер, на кордоне. Он при нас вызывал драгун из города.

КАРЛ (*сдвинул еще круче брови, но голос ровен попрежнему*). Вы были на кордоне? (*Валентина еще больше удивилась*.) Ну да, конечно. Как же иначе? Мы ведь пошли прямо на кордон: надо же было сказать, чтобы нас пропустили.

КАРЛ (*в голосе прорвалась хриплая нотка*). Кто говорил с офицером?

ВАЛЕНТИНА. Люся, конечно. Я же — в первый раз: я не знаю пограничных правил.

(*Далекий, резкий крик ночной птицы. Сторожевой, в кустах, быстро прыгнул и стал невидим. Карл отдал короткое приказание латвийцу, но люди под деревом уже сами зашевелились, стали подыматься, быстро и бесшумно, осматривая оружие.*)

Крик повторился, но уже — другим звучанием.)

КАРЛ (*успокоенно*). Это есть свой. (*Присматривается, в темноту.*) Доррен.

(*Из предраассветной полумлы показался высокий латвиец, в крестьянской одежде, и следом за ним Василий. Оба*

посмотрели на сидящую у костра Валентину, перекинулись несколькими тихими словами. Подошел Карл, пожал руку Василию. Доррен заговорил нервно и быстро, — и по полянке прошло движение. Латвийцы, подтягивая пояса, качая винтовки, собрались вокруг Доррена и Карла, часто оглядываясь на костер. Василий подошел к костру и, молча, откинул платок с волос Валентины.)

ВАЛЕНТИНА (с улыбкой смотревшая на приближающегося Василия, изумленно подняла брови). Что вы?

ВАСИЛИЙ (не отвечая, повернулся к Карлу). Где вторая? (Карл дулом винтовки показал на лежащую у костра Люсю. Василий тронул одеяло. Люся подняла голову.) Люся?

ЛЮСЯ (спросонья испуганно) Ты? (Быстро села).

ВАСИЛИЙ (усмехнулся). Нет. Оборотень. Почему ты задержалась? Ты ведь благополучно прошла?

ЛЮСЯ. Благополучно, как видишь. Что мне дается?.. А здесь я — из-за нее застряла. (Показывает на Валентину.) Познакомьтесь: попутчица. Она повредила ногу, когда мы шли через лес. Пришлось приютиться у «братьев». (Валентине.) Как нога?

ВАЛЕНТИНА. Больно еще. Но, если надо, я могу уже идти.

ВАСИЛИЙ (присаживается у костра. Латвийцы, с Дорреном и Карлом во главе, обступили костер). Так... Благополучно, значит? (Валентина, вслед за Люсей, тоже кивнула, улыбаясь.) А мы вот с Дорреном чуть не влипли.

ЛЮСЯ. То-есть как?

ВАСИЛИЙ. Да так... Пограничники были предупреждены о моем переходе. Донос. Меня ждали.

ЛЮСЯ. Не может быть... Откуда ты знаешь?

ВАСИЛИЙ. Солдат-пограничник сказал: на счастье попался свойский парень. А то бы — крышка.

ЛЮСЯ. Он так и сказал: донос?

ВАСИЛИЙ. Он сказал больше: он сказал, кто донес. Он видел вчера утром на кордоне (движение Валентины — она посмотрела на Люсю)... да, да... именно вас. Белоголовая такая, говорит, красавица.

ВАЛЕНТИНА (вскрикнула, дико). Я? (Говор в толпе латвийцев. Они сдвинулись теснее.)

ВАСИЛИЙ (Люсе). Что это за женщина?

ЛЮСЯ. Мы познакомились в Берлине, случайно... Это — любовница Гапона.

ВАЛЕНТИНА. Не надо... не надо же так...

ЛЮСЯ. Она давно хотела уйти. Он, по ее словам, совершенный мерзавец. Наверно, так и есть. Но у нее не было документов и денег. Мне стало жалко, и я согласилась ее перевести... помочь ее бегству... Теперь я и сама понимаю, что очень, очень виновата.

ВАСИЛИЙ. Откуда она узнала обо мне?

ЛЮСЯ. В этом моя вина главная и есть. Я ей сказала.

ВАСИЛИЙ. Зачем?

ЛЮСЯ (очень взволнованно). Василий, не заставляй меня говорить... при всех. Тебе одному — я скажу.

ВАСИЛИЙ. Здесь не может быть тайн от товарищей. Мы бьемся за одно дело, и в суде над предателем они такие же судьи, как я. Говори.

ЛЮСЯ. Ты должен был бы сам давно догадаться... Я уже год почти молчу. (Смотрит ему пристально в глаза. Голос дрогнул.) Теперь... ты понял? Мне безумно захотелось... хоть день, хоть... ночь одну побыть с тобою — без работы, без дел, в лесу... Я сказала ей, что буду ждать тебя, что ты перейдешь границу днем позже... Мне казалось, ей — можно. Какая опасность? Она же — случайная, на два дня, попутчица... Завтра мы разойдемся, и никогда больше не встретимся... А говорить, даже только говорить — о... любимом... радость. Глупая, женская радость... в ней стыдно сознаться партийцу. Но я — девушка, Василий... и (очень взволнованно) жестоко с твоей стороны было заставлять меня... раскрывать свою душу... при всех... (Карлу.) Дайте мне провожатого, я пойду сейчас же... Мне трудно оставаться здесь.

ВАЛЕНТИНА (неподвижная, смотрит на Люсю. широко раскрытыми глазами).

ВАСИЛИЙ (*помолчал, отвел глаза; хмуро*). Она привела на кордон?

ЛЮСЯ. Нет... Это я ошиблась дорогой. (*Слабо улыбнулась.*) Ты мне словно напороочил, помнишь? Я обещала тебе, что Доррен будет ждать, и рискнула пойти одна. Он указал тропу, но я сбилась... И нарвалась.

ВАСИЛИЙ. Почему же ты сказала: благополучно?

ЛЮСЯ (*грустно улыбнулась*). Бог мой... в том смысле, что все кончилось благополучно. Подробно я не хотела рассказывать... при ней.

ВАСИЛИЙ. Значит, она говорила с офицером? (*Люся кивнула.*) И вас отпустили? Ты спросила ее, почему?

ЛЮСЯ. Нет. Не спросила.

ВАСИЛИЙ. Почему?

ЛЮСЯ. Опять... Где твоя всегдашняя чуткость?! Мне было неудобно спрашивать... Ну... она ушла с офицером в его комнату... и была там... долго. Так как у нее совсем не было денег... а мои — мне вернули... да и были-то у меня гроши... еле-еле на проезд хватит... я только одно и могла найти объяснение...

ВАСИЛИЙ (*Валентине. Она сидит попрежнему неподвижно*). Может быть, вы найдете другое объяснение? (*Валентина молчит.*) Вам нечего сказать? Говорите. Вы ж понимаете, о чем здесь дело идет.

ВАЛЕНТИНА (*подняла голову, глаза вспыхнули*). Убейте... Я не хочу... слышите... я не хочу жить, если в жизни может быть такое...

(*В ее голосе — такая страстная тоска, что Василий по-новому, пристально посмотрел на нее. Опять заговорили тихими голосами латвийцы.*)

КАРЛ (*выступил вперед*). Теперь меня спрашивай. Я тоже свидетель.

ВАСИЛИЙ (*удивленно*). Свидетель?

КАРЛ. Белая сама мне сказала, что была на кордоне.

ВАСИЛИЙ. Сама?

КАРЛ. Она мне сказала: они прямо пошли на кордон. Зачем сказала? Я не спрашивал. А та говорила долго-долго, как шли до границы, как через лес; а об офицере — нет. Она скрыла! (*И вдруг бешено взмахнул рукой, крикнул*

слово, — ближайший к Люсе латвиец схватил ее за плечи, опрокинул сильным и ловким движением на землю. Василий вскочил на ноги, но Карл остановил его.) Если я буду виновен, я отвечу. Пусть обыщут. Тут один человек — мертв. Надо твердо знать: кто?

ЛЮСЯ (*отчаянно бьется в руках латвийцев*). Пустите! Вы... с ума сошли!

(*Быстрые руки обшарили платье Люси. Записная книжка, бумажник, какие-то записки перешли в руки Карла. Карл тряхнул бумажник неосторожно, из него выпала толстая пачка кредиток.*)

ВАСИЛИЙ (*нагнулся, поднял. Хрипло*). Откуда столько?.. у тебя ж, ты сказала, гроши...

ЛЮСЯ (*латвийцы выпустили ее. Они стоят рядом, не спуская с нее глаз*). Я о своих деньгах говорила. Это — партийные.

ВАСИЛИЙ. В долларах?

ЛЮСЯ Гапон дал — на оружие.

ВАСИЛИЙ. Ты же не знаешь Гапона.

ЛЮСЯ. Он передал через нее.

ВАСИЛИЙ. Вы же ушли тайком?

ЛЮСЯ. Так что ж... Он передал, не зная, что мы едем вместе. (*Пауза.*)

(*Василий взял записную книжку. Люся задышала быстро и часто. Латвиец, рядом, понял—опять опустил тяжелую руку на плечо. Василий стал перелистывать — страницу за страницей, низко нагнувшись к потухающему костру. Кто-то подбросил охапку веток, огонь вспыхнул.*)

ВАСИЛИЙ (*смотрит в книжку*). Конференция? Где вас учили конспирации? Знакомые все лица... Ленин, Розин, Гельфин, Лерр, ваш покорный слуга... (*Перелистнул страницу. Люся закрыла глаза и застыла. Василий дрогнул плечами. Медленно.*) Полковнику Озерову? Помощнику начальника охранного, насколько я знаю... Чья это закорючка вместо подписи?

ЛЮСЯ (*задыхаясь*). Озерову? Не может быть... Это ж не моя книжка... Это Гапона. Она мне дала — на сохранение. Я не знала, я не могла думать, что в ней...

ВАСИЛИЙ (очень медленно). А это? Мне помнится, я по вашей, а не Гаюна просьбе и в вашу, а не его книжку записал эту штуку, когда мы встретились с вами так неожиданно в Лондоне (повернул книжку разворотом к Люсе):

Как я ни бьюся,  
Как я ни выюся,  
На дороге всегда — Люся!

Свою-то руку я знаю. (Закрыв книжку, опустил в карман.)

(Карл отдал приказание, по-латвийски. Несколько «братьев» отошли в сторону. Один пошарил в кустах, достал веревку, завивает петлю; другие разошлись по поляне, закинув головы, осматривая деревья.)

ЛЮСЯ (поняла, рванулась). Нет. Не имеете права... Если есть подозрения...

ВАСИЛИЙ. Улики.

ЛЮСЯ. Вы обязаны проверить. В условиях подпольной работы... всегда может случиться... несчастное стечение обстоятельств. Я требую суда!

КАРЛ. Суд был.

ЛЮСЯ. Не вашего! Партийного!

КАРЛ. «Лесные братья» подчиняются центральному комитету латышской социал-демократической партии. (Дал знак. Люсю ведут.)

ЛЮСЯ (отчаянно). Василий! вели им... Я тебе все расскажу... Ты поймешь. Это случай, только случай... (Ей закрутили рот платком.)

ВАСИЛИЙ (Карлу). Пустите ее. Дай мне револьвер.

КАРЛ (жестко). Нет. Не ты судил, — мы судим. У «левых братьев» — свой закон: предателю — собачья смерть.

ВАСИЛИЙ (закусив губу, брезгливо). Она — женщина...

ДОРРЕН. Тебе как? Есть разница — бешеный кобель или бешеная собака? Почему разный суд? Мы не человека вешаем, — его вред.

(Люсю увели. Полянка опустела, только попрежнему стоит в кустах сторожевой. Василий шагает мрачно по полянке, потом подходит к Валентине, застыло сидящей у потухающего костра.)

ВАСИЛИЙ. Отчего вы не ответили на мой вопрос?

ВАЛЕНТИНА (безразличным голосом). Зачем? Я искренно сказала... Я еще раз повторю, если хотите. Я пошла в революцию с раскрытой душой. У меня не было другой любви, кроме революции. И вдруг... кровь, грязь, предательство (закрывает глаза), казнь... И вы не понимаете, что после сегодняшнего я не хочу жить?

ВАСИЛИЙ (досадливо). Я не о том спрашиваю! Как вы смели молчать, когда ясно было: если она наговаривает на вас, значит, она — провокатор.

ВАЛЕНТИНА. Есть гнусности, опровергать которые ниже человеческого достоинства. Даже если это стоит жизни.

ВАСИЛИЙ. А оставлять провокатора партии — это выше достоинства? Прикрыть его своим чистоплюйством...

ВАЛЕНТИНА (вздрыгнула). Как вы можете...

ВАСИЛИЙ (вспылил). А что?.. Вы думали — «высокие чувства»? Сор, обывательские сюсю! Она жить, видите ли, не может, потому что ей на первом шагу к революции подвернулся под ноги провокатор. Предатель? Чудесное дело. Вы думаете, он один? Их десятки. Их будут сотни, когда врагу станет не под силу стоять лицом к лицу с нами. Разлюбить из-за них революцию? Вы смысла не понимаете слов. Это ж все равно, что «разлюбить» человека за то, что в грязной ночлежке, на тюремном этапе, — что такое царская Россия, как не трясный, вонючий этап, тюрьма, катажка! — на него всползла вошь. И когда эту вошь бьют, вы за голову хватаетесь. «Казнь»!.. «Я не могу любить»!.. Скажите на милость! Вы понятия не имеете, стало быть, что это значит — любить. Тогда бы вы умели и ненавидеть. И не говорили бы пошлостей о революции.

ВАЛЕНТИНА (слушала, закрыв глаза). Как вы жестоки! Но в этой жестокости — сила. Я всю жизнь тосковала о сильных. И не знала, где их найти.

ВАСИЛИЙ. Найти сильного? Вам?..

Пойдите в цирк, возьмите себе борца тяжелого веса. (Валентина вздрогнула,

как от удара хлыста. Василий закусил губу.) Мне не надо было так резко говорить. Но вы были искренни: я ответил тем же. И вы понимаете: эта ночь и для меня тяжела.

(Карл и латвийцы возвращаются.)

КАРЛ. Надо итти. (Показал на Валентину.) Как девушка?

ВАСИЛИЙ. Вы... из Петербурга? У вас там свои? (Валентина кивнула.) Вас доведут до станции. Она сказала — у вас нет денег доехать. Возьмите: этого хватит до дому.

ВАЛЕНТИНА (берет деньги. Холодно). Благодарю вас. (Подходит к Карлу, протягивает ему руку.) Я не знаю еще, нужно ли вам сказать спасибо. Но я буду помнить всегда: я живу только потому, что здесь были вы.

ДОРРЕН. Какие вещи? (Берет по указанию Валентины небольшой саквояж у костра.) Идем. (Идет, Валентина, слегка прихрамывая, за ним.)

КАРЛ (смотрит вслед). Это честная девушка, ты знаешь?

ВАСИЛИЙ. Знаю. Но пусть она лучше идет стороною от нас... Рыба не может жить на горах, так?

КАРЛ. Так. Мы пойдем до болот вместе. Оттуда тебя проведут тропой в Ригмундсдорф.

ВАСИЛИЙ. Ригмундсдорф? Вы же сожгли его.

КАРЛ. Замок. Станцию — нет. Слушай. В лес, к нам, плохо доходят вести. Правда, что не мы одни, — вся Россия встает? Правда, что нам есть с кем перекликнуться? Ты — со с'езда, там были люди со всех концов: они ж знают. Расскажи.

(Латвийцы окружили Василия. Он говорит тихо, Карл повторяет по-латвийски. «Лесные братья» слушают, пристально глядя в лесную чащу. Перед их глазами в рассказе Василия, быстро сменяясь (экран), проходят картины естающей России: Батум, Тифлис, шахты Донбасса, текстильщицы Подмоковья, Урал, Ташкент, «Потемкин» — на волнах Черного моря, перелесок у Сестры-реки, где вокруг костра толпятся выехавшие из Питера к финской границе дружинники.)

## Картина 11-я

Перелесок. В глубине—высокая белая песчаная гора. У костра—Максим, Николай, пятеро дружинников. Подходят Таня и Егоров.

ЕГОРОВ (на-ходу, тихо). Ты уж не сомневайся... Лучше того места по всей финской границе нет. Сколько тут транспортов оружия прошло, — чтоб хоть один раз сорвалось...

ТАНЯ (волнуется). Смотри, ежели случится что... я себе места потом на земле не найду. Дружинникам ты не сказал, зачем вызвали?

ЕГОРОВ. Пока не говорил. Чего раньше времени народ волновать. (Таня смотрит на часы.) Срок-то еще не вышел? Что? Подсаживайся. (Садится к костру.) О чем беседа?

МАКСИМ. Да насчет стачки... До чего дружно взялась! Кабы дальше так, скоро все заставы станут.

1-й ДРУЖИНИК. Наша уже как есть вся стоит.

2-й ДРУЖИНИК. Нет... Речкин еще работает... и Озолинг...

1-й ДРУЖИНИК. Ну, это что... мелкота. А по другим городам тоже будто началось... а, товарищ Даша? Эдак... делов наделать можно. Как ежели все застановится...

2-й ДРУЖИНИК. Не дадут застановить... Уж и сейчас солдат на заводы ставить стали. Как бы драться не пришлось!

ЕГОРОВ. А ты как думаешь? Он те без бою сдаст?.. Мы на что оружие через Сестру-реку таскаем? А ежели он не пойдет, самим надо будет от стачки к восстанию итти. Стачкой одной его ни-почем не возьмешь, самодержавие... (Пауза.)

МАКСИМ. Тебя что нынче не видать было, товарищ Даша, когда в стачечный комитет выбирали?

ТАНЯ. За городом была. Хорошо выборы прошли?

ЕГОРОВ. Не то, чтобы очень... Беспартийных много проходит.

ТАНЯ. Ну, это еще не беда. Ты не на то смотри, партийным пишется или нет, — ты смотри, революционер ли.

ЕГОРОВ. Ты что этс... за беспартийных? Ежели б тебя да товарищ Ленин слышал...

ТАНЯ (*засмеялась*). Так это ж его слова и есть: одно дело — беспартийный, другое — беспартийный революционер. Наши-то все прошли?

1-й ДРУЖИННИК. Которые по списку—прошли, да что... и всех-то собрать — больно нас мало, товарищ Даша. Особенно, которые ученые. А меньшевика сбить—тоже дело, я скажу, не простое. Главное, он—начетчик, понимаешь? Его по здравому смыслу прижмешь, а он тебе, как хорек вонючий, из книжки какой жиганет, по-ученому... А мне крыть нечем—чорт его знает, врет или нет, ежели я книжки такой не читал.

МАКСИМ. А ты его, плута, матерным крой.

ЕГОРОВ. Максим! Сто раз тебе говорено: отвыкай от слова.

(*Таня взглянула на часы, быстро поднялась.*)

ЕГОРОВ. Пора, что ли? А ну, Максим, Саша... к берегу, знаешь?

МАКСИМ. На всегдашнее? (*Уходит с Таней и 2-м дружинником. Пауза.*)

1-й ДРУЖИННИК. Очень все же по нынешнему времени без учения трудно. А где было учиться?

НИКОЛАЙ. Теперь пойдет, товарищи. Жизнь сама учить будет, а учить она может только по-нашему, потому что только мы ее правду знаем. И стачечный комитет — хорошая будет школа.

1-й ДРУЖИННИК. Комитет? Он же только стачке в руководство...

НИКОЛАЙ. Да стачка-то нынче — совсем особая... Мы нынче не за то бастуем, чтобы лишнюю копейку на заработную плату набить и даже не за восьмичасовой рабочий день, — за слом всей старой жизни боремся. И комитету все дела, о всей жизни рабочей придется решать.

ЕГОРОВ. Это что ж, стало быть, вроде как правительство? (*Прислушался.*) Идут, будто.

1-й ДРУЖИННИК. Опять оружие?

ЕГОРОВ. Нет. Нынче... поважнее дело. Из-за границы товарищ... Под-

брось-ка валежничка—на костер выводить будут... через болото...

1-й ДРУЖИННИК. Товарищ?.. Это нас, что ж, на охрану? Кто такой?

(*Быстрым, неслышимым шагом выскользнул из темноты Максим.*)

МАКСИМ. Идет.

ЕГОРОВ. Николка, Карп, Митя, — по тропке, что к Поклонной... Смотри в оба, и ежели что на дороге, знак дай. А мы тут, сзади, в замок. (*Трое дружинников уходят бегом, друг за другом. Егоров и Максим ждут.*)

## Часть вторая

### ГЕНЕРАЛЬНАЯ

#### АКТ ТРЕТИЙ

Картина 12-я

Очень яркий, хотя и октябрьский, день. Захолустная станция. Платформа, угол станционного здания. На заднем плане паровоз и часть поездного состава. По платформе снуют, собираясь в кучки и снова расходясь, встревоженные пассажиры. Около паровоза машинист, помощник машиниста, кочегар, веселые, «митингуют» в толпе обступивших их «третьеклассных» пассажиров. Группа пассажиров I и II классов столпилась вокруг начальника станции, худощавого, заморенного человечка в красной фуражке, перед которым кипятится, дыбя седые бакенбарды, толстый, багроволицый генерал.

Гул перекрестных вопросов и выкриков.

ГЕНЕРАЛ. Кто остановил? Чья телеграмма, я спрашиваю?

НАЧ. СТАНЦИИ. Я же докладывал, ваше превосходительство... Стачечный комитет... Всеобщая железнодорожная стачка объявлена.

ГЕНЕРАЛ. Бунт! А вы — потакаете! Под суд!

НАЧ. СТАНЦИИ (*беспомощно разводит руками*).

(*Подходят от поезда Кедрова, Василий, в заграничном костюме, мягкой шляпе, и Жигмонт.*)

МИУСОВ (в очках, воротник пальто поднят. Около него — небольшая группа слушателей). Я не скрываю своих убеждений: я — социал-демократ, но стачку эту считаю вредной. Да, вредной!! Она совершенно не сообразна с экономическими условиями и даже нуждается самих рабочих... Она готовит им поражение, и из этих поражений может со стихийной силой вырасти у самих рабочих антиреволюционное настроение...

ЖИГМОНТ (очень нервно). Вот... В каких-нибудь трех часах от Петербурга... Извольте угадать... сколько мы простои́м!

КЕДРОВА. Да. Вы к тому же уехали на охоту без разрешения... кажется, вы так говорили? Порок наказан.

ЖИГМОНТ. Но и добродетель не торжествует... Для вас тоже не очень приятное окончание гастролей...

КЕДРОВА. Для меня? Напротив. Это ж гораздо больше волнует, чем если бы поезд просто слетел под откос... Не правда ли, monsieur... (Вопросительно смотрит на Василия.)

ВАСИЛИЙ (договаривает, слегка прикоснувшись к шляпе). Дорохов.

КЕДРОВА. A la bonne heure! Мы начинаем, наконец, знакомиться... Вы не думаете, что вам следовало представиться мне раньше, уважаемый сосед по купе... Бог мой, папиросы! Моя сумочка осталась там.

ЖИГМОНТ (kozyрнул). Разрешите, я принесу.

КЕДРОВА. Вы же в другом вагоне... Наш проводник не откроет вам купе... Monsieur Дорохов, можно вас попросить? (Василий с полупоклоном уходит к поезду.)

ЖИГМОНТ. Лидия Васильевна, у меня начинает... являться желание поставить этого господина к барьеру... Ваше отношение к нему...

КЕДРОВА (холодно). А вам до этого какое, собственно, дело? (Пауза.) Он, действительно, очень интересен... Посмотрите, какая уверенная походка... Какой торс! Посадка головы!.. И он очень образован... Мы едем с ним от Пскова, и я его проэкзаменовала буквально по всему.

ЖИГМОНТ (скривил губы. С ударением). По всему?

КЕДРОВА. Я вас прогоню, капитан, если вы еще раз посмеете сказать пошлость. (Отвернулась, идет вдоль платформы. Жигмонт догоняет ее.)

ЖИГМОНТ. Простите, ради бога... Но — слово чести! — кровь бросается в голову, когда я вижу, что... случайный встречный... неведомо кто...

(Василия, подошедшего к поезду, останавливает опознавший его машинист. После короткого разговора Василий входит в вагон, машинист идет в станционное здание.)

КЕДРОВА. В самом деле... Как вы думаете, кто он? Я никак не могу определить. Он знает языки, литературу... Он мне цитировал Шекспира в подлиннике... Много путешествовал, очевидно, и по Европе, и по России... Даже в Сибири был.

ЖИГМОНТ (неуверенно). Писатель?

КЕДРОВА (сделала гримасу). Нет... Писателя я узнаю с первого взгляда... Он меньше всего... «словесник». Явно, это человек дела... Может быть, инженер? Одно для меня странно: он никогда не бывает в театре. (Засмеялась.) Он мне сказал, что не смог выбраться посмотреть даже Гильду, хотя «Сольнеца» читал и о Кедровой так трубят газеты...

ЖИГМОНТ. Он не видал вас на сцене? И вы говорите о культурности...

(Проходят на край платформы, скрываются. Василий с сумочкой Кедровой и небольшим свертком вышел из вагона и отошел к паровозу. Снова говорит с машинистом.)

К генералу подошел другой бакенбардист, штатский, очень сановного вида.)

САНОВНИК. Дожили, ваше превосходительство... Эдак, скоро в Петергоф, на доклад государю императору, вплавь придется доставляться.

ГЕНЕРАЛ (хмыкнул, неопределенно). Да, знаете... с рабочими...

САНОВНИК. С рабочими еще можно было ладить... Но теперь же у нас — пролетариат... Это совсем другое... Тут только пулеметом... На июльском сове-



щании у его величества... вы изволили слышать?..

ГЕНЕРАЛ (*хмыкнул еще неопределеннее*).

САНОВНИК. Единогласно пришли к выводу, что опору престола необходимо искать исключительно в стомиллионном нашем крестьянстве, поскольку только мужички в политической жизни руководятся религиозным началом, а стало быть, искренно чтут святыню самодержавия...

ГЕНЕРАЛ (*отдулся*). Но ведь и пейзаже тоже... по весне... фейерверки жгли... как называется: аграрный вопрос.

САНОВНИК. Ну, это пустяки... Никакого же аграрного вопроса на деле нет, его революционеры выдумали.

ПАРЕНЬ (*в солдатской бескозырке без кокарды, в полувоенном костюме, очевидно, из уволенных запасных, запевает, подыгрывая себе на гармошке и подмигнув соседям на проходящего генерала*):

От Артура до Телина  
Отступали мы толпой,  
Провозилась Акулина  
И ни с чем пришла домой.

САНОВНИК. Изволите слышать? Буквально все основы расшатаны. Вы бы его цукнули, ваше превосходительство.

ГЕНЕРАЛ (*отвел глаза*). Н-не цукнешь... Он теперь уже по гражданскому ведомству...

(*Кедрова и Жигмонт возвращаются.*)

ЖИГМОНТ. Однако, этот господин не торопится.

КЕДРОВА. В самом деле... Где же он? Я хочу курить.

ЖИГМОНТ. Прикажете поторопить? (*Не дожидаясь ответа, идет к вагонам.*)

ГЕНЕРАЛ (*прищелкивая шпорой, подходит к Кедровой*). Разрешите... выразиться... Пылкий поклонник несравненного вашего таланта.

КЕДРОВА (*небрежно*). Вы меня знаете?

ГЕНЕРАЛ. Помилуйте. Кто же вас не знает!

КЕДРОВА (*нервно*). Представьте... есть такие...

(*Проходит начальник станции. Пассажиры бросаются к нему.*)

ПАССАЖИР. Телеграмма?

НАЧ. СТАНЦИИ (*торопливо*). Да нет же, нет, господа... не извольте беспокоиться...

САНОВНИК. Это ж форменное издевательство!.. Не беспокоиться... Они, может быть, год бастовать будут.

ПАССАЖИР. А в городе... Вон машинист говорит: революция. А у меня там... дети остались.

ЖИГМОНТ (*возвращается почти бегом, очень веселый*). Лидия Васильевна... идемте скорей... Надо проверить вещи...

КЕДРОВА (*сдвинула брови*). В чем дело?

ЖИГМОНТ. Он сбежал... ваш интересный знакомый... с вашей сумочкой... Забрал свои вещи — и фью... В сумочке были деньги?

КЕДРОВА. Что вы говорите такое?

ЖИГМОНТ. Я сразу чутьем почувал: бандит. Хорошо еще, что он вас не отравил и не зарезал.

КЕДРОВА (*холодно*). Может быть, еще и зарежет: время не ушло. Вон он идет.

(*Василий подходит, с сумочкой. Свой сверток он отдал машинисту.*)

ВАСИЛИЙ. Я очень прошу извинения. Меня задержали.

ГОЛОС (*с края платформы, пронзительный*). Скачет ктой-то... Тройка! Смотри!..

(*Топот подъезжающей во весь опор тройки. На платформу кубарем выкатывается помещик — низенький, кругленький человечек, в дворянской, с красным околышем, фуражке, за ним взбирается грузная, рыхлая, растрепанная дама. Оба тащат узлы и чемоданы.*)

ПОМЕЩИК (*еще с края платформы кричит внадрыв*). Задержите поезд!

(*Хохот среди «третьеклассников».*)

ГОЛОС. Ванька! Крепче за хвост держи... уйдет...

ПОМЕЩИК (*тяжело переводит дух*). Ну, Манюорочка... слава богу, поспели.

**ЖЕНА** (зло). Молчи, сглазишь еще! Всегда глазишь. Тащи в вагон... Билеты потом... (Тащат, сломя голову, вещи. Новый взрыв хохота.)

**НАЧ. СТАНЦИИ.** Викентий Викентьевич... куда? Не идет поезд.

**ПОМЕЩИК** (пошатнулся, сел на узел). То-есть... как... Иван Дементьевич... Отправьте... Убьют!

**ЖЕНА** (взвизгнула, диким голосом).

**ГЕНЕРАЛ.** Убьют? (Пассажиры теснятся к помещику.) Кто? Кого?

**ПОМЕЩИК** (слов нет, только руками машет).

**ГОЛОС.** Горит... Гляди, из-за лесу... Во, полыхает...

**ЖЕНА** (плачет навзрыд). На-а-ше! Ро-до-вое... при царице Екатерине жалованное-е-е. Завод ви-и-инный!

**ГОЛОСА.** Добрались! Не век у мужика на горбу сидеть.

**ГЕНЕРАЛ** (наступает на помещика, перепуганный). Кто, я вас спрашиваю?

**ПОМЕЩИК.** Мужики... сеньявинские... Как еще самих бог спас... Мы только из парка успели, а они... на подводах... двадцать... тридцать... не сосчитать... (Волнение среди пассажиров. Говор.)

**САНОВНИК.** Далеко отсюда?

**НАЧ. СТАНЦИИ.** Какое... версты три... (Волнение усиливается.) Как бы в самом деле... (Быстро идет к машинисту; за ним валит часть пассажиров. Машинист на уговоры качает отрицательно головой.)

**ПОМЕЩИК** (вытаскивает дрожащими руками деньги из бумажника). Вези! Озолочу!

**МАШИНИСТ** (резко). Ты себе золоти... знаешь, какое место...

**ГОЛОС** (с платформы). Едут! (Толпа метнулась к краю, смотрит.) С гармошкой, ей-же-бог... Отсель слышно.

**ПАРЕНЬ В БЕСКОЗЫРКЕ.** Стронулся мир! А ну-ка-сь и мы. (Растянул мех гармоники.) Э-эх, жги!

**ГОЛОСА.** Бросьте... Что вы делаете! Еще наведете...

(Паника на платформе.)

**ПАРЕНЬ** (злорадно). Свернули! Сюда держат.

(Женский визг, пассажиры I и II классов бросаются к вагонам, часть — к

станционному зданию. Визжит придавленная чьей-то ногой собачонка. Третье-классная публика столпилась у края платформы. Машинист смотрит, смеясь, с паровоза: к паровозной будке кочегар прилаживает красный флажок.)

**ГЕНЕРАЛ.** Лидия Васильевна, вашу руку...

**КЕДРОВА** (отрицательно качает головой). Я останусь. Жакерия... Это не каждый день бывает...

**ГЕНЕРАЛ.** Ну, это, простите, донкишотство. Смотреть...

**КЕДРОВА.** Я не для того, чтоб... «смотреть», а для того, чтобы «видеть».

**ГЕНЕРАЛ** (топчется на месте). Они... знаете, что могут... Стихия... Долг рыцарского служения женщине обязывает... настоять. Идемте... Капитан... вам тоже нельзя оставаться... Мундир для них, как... красное для быка... (Увидел красный флажок на паровозе, затрясся.) Мерзавцы! Смотрите... красный!

**КЕДРОВА.** Капитан может итти, — он мне вовсе не нужен. (Василию.) А вы что же? (Василий повел плечами.) Ну, видите, господа... Ваша рыцарская совесть может быть совершенно спокойна... Идите, Жигмонт. Я — под надежной охраной...

**ЖИГМОНТ** (закусил губу). Охрана? Quand je suis là, veuillez, madame, quoiqu'il advienne, ne réclamer jamais autre aide, que la mienne!

**КЕДРОВА.** Holà! Каким чудом вы знаете доброго, старого Гюго?.. Да... ведь «Эрнани» шел в Михайловском... Все понятно.

(Постепенно надвигается топот, стук колес, песня, взвизги гармоники.)

**ГЕНЕРАЛ.** Лидия Васильевна, умоляю... Пока не совсем поздно. (Сильнее затопотал ногами.) Я вынужден буду... по долгу присяги (гул подвезающих подвод совсем близко. Голоса) ... для пользы службы... Капитан! Приказываю следовать. (Оборвал на полуслове, бежит, пугаясь шпорами.)

**КЕДРОВА** (с вызовом). Вы слышали приказ? Идите... Вы в самом деле рискуете, капитан гвардии, князь Жигмонт.

**ЖИГМОНТ** (*сквозь зубы. Положил руку на эфес шашки*). Простите, я не нуждаюсь в напоминаниях, кто я!

(*Наигрыш гармонии оборвался, резко. Лязгая косами и вилами, поднимаются на платформу крестьяне. Впереди — Панкрат, немолодой уже крестьянин, в бурке, обшитой золотым галуном и в папаче.*)

**ПАНКРАТ**. Тройка здесь, а хозяин где? В какую щель залез, песья лодыга?.. Ну-ко-ся, православные...

**НАЧ. СТАНЦИИ**. Вам... что, собственно, господа?..

**ГОЛОС**. Слышь, Панкрат? Как топоры взяли, сразу господами заделались.

**ПАНКРАТ**. Ладно. Ты нам тута тени не наводи. Куды его запрятал, прода. Червем округу об'ел... Мы ему — с процентом. (*Смотрит на Кедрову, Жигмонта и Василия, резко выделяющихся на фоне оставшейся на платформе третьеклассной публики.*) А это что за гуси-лебеди?

**НАЧ. СТАНЦИИ**. Очень прошу, господа, без убийства.

**ИНВАЛИД** (*в солдатской фуражке, на деревянной ноге, протискивается сквозь толпу*). О чем разговор? Чего стали? Навались, братцы... Стеганем по вагончикам, то-то слизи распустится... Ась, красавица? (*Подмигнул Кедровой. Жигмонт вспыхнул, выдвинулся вперед. Инвалид оксалбился, злорадно и вызывающе. С издевкой, стукнул деревяшкой, стал, выкатив глаза, во фронт.*) Виноват, ваше благородие, не заметил.

**ЖИГМОНТ** (*негромко*). Пойдемте, Лидия Васильевна...

**ИНВАЛИД**. Куда? Нет... Ты стой... Мужичьего разговору не захотел?.. А ежели мы хочим? Ежели у меня к тебе вопрос?

**КЕДРОВА** (*бледная, но очень спокойная*). Жигмонт, ради бога, спокойно...

**ИНВАЛИД** (*подступил ближе. Следом за ним ближе надвигается, взблескивая косами и топорами, толпа*). Стой-постой... Ты мне вот что скажи... Почему я тебя на фронте не видал, ась? И еще: мне вот ногу попортило... пулей... так сестра милосердная в палате морду от меня воротила! «Фу, от

него пахнет!» Так и загноили ногу, пропала... А офицеру, в отдельной комнатке, — грудки... (*Подставил грудь.*) Ты мне вот и скажи: это — порядок? Почему ты о двух ногах, а я — об одной? (*Оскалбился.*) А что, ежели я сейчас тебе ногу за чертям собачьим, а цацку твою — за грудки? (*Василий повернулся к инвалиду, раздвигая обступившую Кедрову и Жигмонта толпу. В толпе на слова инвалида — гогот. Жигмонт отступил шаг назад и взялся за шашку.*)

**ИНВАЛИД** (*захохотал*). Испугал... А ну, посторонись, народ... Дай-ка ко-су. Я ему покажу... следкой махать... Даром, что калека... (*Крестьяне расступаются широким кругом, очищая место. Кто-то подал инвалиду косу. Жигмонт вырвал из ножен шашку. Кедрова хочет что-то сказать, но губы шевелятся без звука.*)

**ВАСИЛИЙ** (*ровным и сильным голосом*). Стой! (*Отодвинул за плечо загораживавшего ему дорогу крестьянина.*)

**КРЕСТЬЯНИН** (*занес косым взмахом топор. Кедрова подняла руки к голове*). Ты что... о двух головах, барин?

**МАШИНИСТ** (*с паровоза, раскатом голоса покрывая гул толпы*). Не тронь, ребята. Свой! (*Сильное движение Кедровой.*)

**ПАНКРАТ**. Свой? То-есть как? (*Смотрит внимательно на Василия. Василий кивнул, улыбаясь. Панкрат почитительно.*) Стюдент, что ли?

**МАШИНИСТ** (*засмеялся*). Куда? Подымай выше.

**ВАСИЛИЙ** (*подходит к Жигмонту*). Сдайте оружие — и можете итти.

**ЖИГМОНТ** (*хрипло*). Оружие? Я?

**КЕДРОВА** (*быстро кладет руки на руку Жигмонта*). Отдайте, Жигмонт. Это же... не в бою. В самом деле, стихия... (*Жигмонт колеблется. Крестьяне следят, злорадные улыбки на лицах.*) Отдать им — все равно, что утопить клинок в море... И потом (*быстро и тихо*)... ведь никто не узнает.

(*Жигмонт повел взглядом вокруг, — в самом деле: кругом — только сплошная крестьянская стена, да паровозная бригада смотрит с паровоза. Он раз-*

жал руку, инвалид перехватил падающую шашку. По рядам — гул и смех. Жигмонт лихорадочно отстегивает ножны и бросает.

Из толпы вывернулся поп, с двусылковой на спине. Бросился к Василию.)

ПОП. Господин народный начальник... извините, как титуловать, не знаю... по чину революционному... досель на эктиниях токмо царей поминал... Прикажите меня отпустить. Не пастырское дело...

ПАНКРАТ. Куда? Жеребьячья порода! Сказано тебе... куда мы, туда и ты... Чтобы ежели что... тебя пороть в первую очередь... От нас живешь — за нас и ответ держи. (Василию.) Мы ему — смекаешь? — и ружьишко повесили: чтоб все видели, с нами вместях воевал... (Попу.) Не рыпайся: а то прикажу — будешь в офицера пулять...

ПОП (в совершенном отчаянии, стал на колени, руки к небу). Господь бог Саваоф, порази его...

ПАНКРАТ (захохотал. Хохот — громом). «Порази», паршивый чорт! Я тебе — поражу... (Василию.) Правильно мы — попа под жабры?

ВАСИЛИЙ. Пустое дело. Таскай, не таскай, он все равно от вас открестится, ребята... Еще хуже: указывать будет — кто, что и как... На себя свидетеля возите...

ИНВАЛИД. Донесет — на осине повесим: церковное дерево, на нем апостол Иуда удавился...

ВАСИЛИЙ. А вот жгете вы — зря. Свое ж жгете.

ПАНКРАТ. Свое? Себе не возьмешь. Отберут, небось... Не удержишь...

ВАСИЛИЙ. Дружно, всей землей станете — не отберут. В городах, — слышали? — мы, рабочие (движение Кедровой и Жигмонта), против царя поднялись... Ежели теперь крестьянство дружно нажмет, всем миром, — конец царю, а стало быть, и помещикам.

(Крестьяне тесно обступили Василия.)

1-й КРЕСТЬЯНИН. Куды всем... У нас каждое село — само по себе, — своего помещика жгет... А чтобы наговор... это как же?

2-й КРЕСТЬЯНИН. От нас до Вороньих Палок — двенадцать верстов, до Требуньков — пятнадцать... А по уезду... (Махнул рукой.) Пойди тут — собери концы.

ВАСИЛИЙ. Становой собирает же? 2-й КРЕСТЬЯНИН. На то он — власть.

ВАСИЛИЙ. О том я и говорю. Свою власть ставьте. (Гул по толпе, ряды сдвигаются плотнее.) Становых, волостных, всех царских ставленников — долой! Собирайте сходы, выбирайте крестьянские комитеты, — по селам, по волостям, по уездам... Свой порядок устанавливайте, строгий порядок, чтобы каждый понял, как вольготно, как радостно при народной власти жить.

ПАНКРАТ (крутит головой). Разгонют... Не совладаем.

ВАСИЛИЙ. Сегодня не совладаем, завтра наш верх будет. Теперь пошло, не заставишь, пока мы свое не возьмем: пока вся земля крестьянам не отойдет.

ПАНКРАТ. Слушай-ка... а ты бы с нами, а? А то мы, видишь ты, вслепую, ей-богу... Меня вот студентом обрядили (распялил бурку), а только какой я — студент. Только что своим умом...

ВАСИЛИЙ. И своего хватит... Не чужое дело делаешь. Опять же мир подсобит. В город ходока пошлите, — вам рабочие своего человека дадут, — как мы с вами союзники.

ПАНКРАТ. Далеко посылать. Пока суть да дело... Оставайся, право, а? Уж мы тебя уважим...

ВАСИЛИЙ. И рад бы, родной, да никак невозможно. В городе меня ждут.

ГОЛОС (с дороги). Ребята! От Олсуфьева, графа, имения подводы катят.

ИНВАЛИД (взмахнул шашкой Жигмонта). На переймы! (Толпа бросается с платформы, к телегам.)

ПАНКРАТ (Василию). Ну, хоть... насчет комитету поясни вразумительней... (Отходит с Василием, Василий говорит на ходу. Платформа быстро пустиет.)

ГОЛОС. Панкрат! Где завяз? Иди, командуй.

(Панкрат с Василием спускаются с платформы. Стук колес отъезжающих телег; затем — тишина.)

КЕДРОВА (тихо, провожая глазами удаляющиеся подводы). Жутко все-таки... Астор говорит: гунны...

Слышу ваш топот чугунный...

Рухните с древних становий —  
Оживить одряхлевшее тело  
Волной пылающей крови...

(Вздрыгнула, перевела взгляд на Жигмонта, увидела его искаженное лицо.) Вам очень трудно, Жигмонт?

ЖИГМОНТ (стиснув зубы). Я сумею смыть это пятно. Я сведу с ними счеты...

(Из вагонов, из станционного здания опять стали выбираться пассажиры... Сначала в одиночку, потом — сплошным потоком.)

ГЕНЕРАЛ (прихрамывая, идет к Кедровой). Пронесло... саранчу... Лидия Васильевна, преклоняюсь! Героиня... Капитан! (Протягивает руку для пожатия.) Приятным долгом почту сообщить вашему командиру полка о проявленном вами примерном рыцарском мужестве...

(Жигмонт нахмурился, взял под козырек, скосив глаза на Кедрову: ее лицо неподвижно.)

Подходит, тоже прихрамывая, сановник.)

ГЕНЕРАЛ. Что же это, ваше высокопревосходительство, мужички-то ваши?.. (Сановник разводит руками.) Опора престола?.. Пугачевщина! (Кедровой.) Верно я говорю?

КЕДРОВА (кивнула). Да. И на этот раз — настоящая. Потому что здесь... все — Пугачевы и... ни одного самозванца.

САНОВНИК. Расстреливать, расстреливать их надо... как бешеных собак, а у нас, извольте видеть, с ними цацкаются...

ГЕНЕРАЛ (вздыхнул). Да... А так и пропасть нетрудно. Ведь на волосок были, ваше высокопревосходительство...

САНОВНИК. И пропадем... В годину бури у кормила правления нужна твердая рука... А его величество... (Раз-

вел руками.) Мы погибаем, а он... со спиритами: столики крутит...

ГЕНЕРАЛ. Попущение божие... Вот ежели бы нам сейчас Первого Николая, он бы им прописал ижищу... (Отходят.)

(Василий, проводив крестьян, подошел к паровозу, смеясь, грозит пальцем машинисту. Тот, улыбаясь тоже, оправдывается. Кедрова видит, резко отворачивается к Жигмонту.)

КЕДРОВА. О чем вы думаете, Жигмонт?

ЖИГМОНТ. О Николаях — Первом и Втором.

КЕДРОВА. А именно?

ЖИГМОНТ. Я сброшу этого выродка с трона.

КЕДРОВА (пораженная). Что?

ЖИГМОНТ. Они правы... При нем мы погибнем. Императорскому скипетру нужна железная рука. Такая рука есть. Третий Николай. Великий князь Николай Николаевич. Этот сумеет выбить им зубы из пасти. В первую же ночь, когда я буду в дворцовом карауле...

КЕДРОВА (медленно). Я, кажется, до сих пор... не знала вас, Жигмонт.

ЖИГМОНТ (наклонился к ней). Если я положу эту коронованную голову в... свадебную корзинку... что вы мне скажете?

КЕДРОВА (губы дрогнули безглаголивой усмешкой). Вы, кажется, опять цитируете какую-то испанскую мелодраму... Притом в собственном, вольном переводе...

ЖИГМОНТ. Не верите? Слово чести! В первую же ночь, когда Семеновский полк заступит внутренний караул...

(Через платформу проходит начальник станции, с сигнальными флажками — зеленым и красным. Паровозная бригада заторопилась около паровоза. Василий подымается на паровоз.)

ПАССАЖИР (бросился к начальнику станции). Отправлять будете?

НАЧ. СТАНЦИИ. Нет, нет, господа... Паровоз один идет. (Таинственно.) Тут большевик... из старших... Стачечный приказал на паровозе в Питер доставить...

ПАССАЖИР. А поезд?

НАЧ. СТАНЦИИ. О поезде будет дополнительно... *(Проходит.)*

2-й ПАССАЖИР *(первому)*. Что он сказал? *(Тот шепчет.)* Большевик?.. Почему только большевика? *(Кругом уже столпились пассажиры. Шепотком передается по толпе: «большевика... большевику... большевику».)*

ПАССАЖИРКА *(мужу)*. Что? Только большевиков берут? Ну, чего ж ты стал? Беги... Скажи, что ты большевик тоже...

ПАССАЖИР. А кто они такие... большевики?

ПАССАЖИРКА. Почему я знаю! Не все ли равно, раз берут?

ПАССАЖИР *(стоявший рядом, услышал, просиял)*. Господи... вот женщина, всегда, во всем... *(Побежал опростетью к паровозу.)* Господа... господа... подождите... Я сейчас чемодан... Я ж большевик тоже...

*(По его следам ринулась целая толпа, паровоз окружили: выкрики в толпе: «большевик», «тоже».)*

МАШИНИСТ *(на паровозе, свесившись, машет рукой)*. Места вам, господа, только в топке... Отойдите, пар даю. *(В самом деле дал пар. Толпа отхлынула.)*

ПАССАЖИР. Бунтовщики... Вешать их надо!

КЕДРОВА *(следившая за этой сценой, сдвинула брови и пошла к паровозу)*.

ЖИГМОНТ. Лидия Васильевна, куда?

КЕДРОВА *(обернувшись, кивнула Жигмонту)*. Я не могу больше дожидаться... Я рискую опоздать...

ЖИГМОНТ. Опоздать? К чему? Ведь театры закрыты...

КЕДРОВА. К премьере... *(Подходит к паровозу, поставила ногу на ступеньку лестницы, Василию.)* Дайте мне руку.

ВАСИЛИЙ. Простите, но...

КЕДРОВА. Вы, очевидно, не знаете, кто я? Я — артистка...

ВАСИЛИЙ *(пожал плечами)*. К сожалению... В таком же положении, как вы, весь поезд, и...

КЕДРОВА *(вспыхнула)*. Весь поезд? *(Выпрямилась.)* «Могу я быть вам чем-нибудь на пользу, Строитель?»

ВАСИЛИЙ *(быстро наклонился)*. Гильда? Вы — Кедрова?

КЕДРОВА. Да.

ВАСИЛИЙ *(протягивает руку)*. Подымайтесь. Таланту у нас всегда найдется место. *(Засмеялся.)* Пока, правда, только на паровозе.

КЕДРОВА *(засмеялась тоже)*. Но... это же — паровоз истории. *(Подымается при помощи Василия и кочегара. Начальник станции поднял зеленый флажок.)*

МАШИНИСТ. Обознался! Красным давай!

*(Начальник станции торопливо разворачивает красный флажок. Паровоз трогается с места, дав долгий, торжествующий гудок.)*

### Картина 13-я

*Узкий переулок, выводящий к перекрестку. На углу газетный киоск, заколоченный. Поздний вечер. Темь. Только в одном из домов, под'езд которого — у самой авансцены, светится огонь из-под опущенных темных занавесей. По небу бродят нащупывающие лучи прожектора. По временам они пересекают и проулок. Издалека доходят гул и пение приближающейся демонстрации.*

*Марфа торопливо идет по проулку к под'езду. Навстречу ей выходит, застегивая на-ходу шубку, Таня.*

МАРФА. Уже? Кончили? Или сбежала?

ТАНЯ. С междупартийного совещания? Сбежала!.. Впрочем, они кончают, повидному... Какая сила — стачка!.. А все эти господа — «Союз союзов», новорожденные кадеты, народники — подпевают рабочим во-всю... Послушала б ты, как там Марганциус, златоуст кадетский, разливался «о благородном рабочем классе»...

МАРФА. Поганый тип этот Марганциус. Темные дела вел, а сейчас, извольте видеть... на крайней левой. Василий здесь еще? Я — за ним.

ТАНЯ *(удивленно)*. Василия нет... Разве он вернулся?

МАРФА (кивнула). Он на минуту заходил в комитет, уехал за Невскую. Собирался быть здесь...

*Демонстрация подошла, остановилась у перекрестка. По проулку беглым шагом проходит группа рабочих на соединение с демонстрантами. Из темной впадины ворот высунулась, пожевывая губами, старуха, прислушивается к звукам «Варшавянки», рвущимся с перекрестка:*

На бой кровавый,  
Святой и правый,  
Марш, марш вперед,  
Рабочий народ!

СТАРУХА (проходящему рабочему). Чего это... в ночь... военное поют. На войну, что ли, родимые?

РАБОЧИЙ (проходя). На войну, на войну, бабушка.

СТАРУХА. Господи, Иисусе христе. А сказывали, будто замирились.

2-й РАБОЧИЙ (обернувшись). Только еще начинаем...

*(Толпа напирает, заполняя часть проулка. Заалели в глубине, под бегущим лучом прожектора, знамена. Таня и Марфа придвинулись ближе к толпе. Из под'езда дома появляются люди, расходящиеся с совещания, — интеллигенты разного вида и возраста. Некоторые подходят к перекрестку, другие уходят в обратном направлении, прочь. У под'езда останавливаются, продолжая разговор, Марганциус, два профессора и член комитета «Союза союзов» — седой, грузный мужчина.)*

МАРФА (привстав на тумбу, смотрит). Вся улица полна. Тысячи... Эх, Василия нет... Надо же выступить. Может быть, ты, Таня?

ТАНЯ. С ума сошла! Я ж не умею говорить!

ГОЛОС (за углом далеко в толпе). Товарищи... Пролетарская стачка крепко взяла за горло самодержавие... Слепая сила царизма дрогнула... Еще одно усилие — и с народа спадут вековые цепи... Но для этого рабочий класс должен особо крепко сплотить свои ряды... Мы постановили: объединить руководство движением в руках общего рабочего комитета — Совета Рабочих Депута-

тов... (Голос становится плохо слышимым, — слов не разобрать.)

1-й ПРОФЕССОР. Слышали?... Еще не хватало. Это что ж... рабочее правительство?

ГОЛОСА (в толпе, с перекрестка). Громче! Не слышно! Подсади его куда повыше!

*(Движение около киоска: дружным напором его валят. На киоск карабкается Миусов. Марфа и Таня около самого киоска.)*

МИУСОВ. Я продолжаю, товарищи, мысль предшествующего оратора...

МАРФА (тихо). Это Миусов... меньшевик...

МИУСОВ. Немедленно и дружно проводите постановления, принятые на сегодняшнем, первом заседании Совета ваших депутатов. Проводите выборы, где их еще не было, — в Совете не все еще фабрики представлены. А мы должны собрать всех, чтобы в полной готовности ждать грядущих событий.

ТАНЯ (взорвалась). Ждать! Нет... навстречу итти... нашей собственной рукой создать эти события.

МИУСОВ (оглянулся на голос, в рядах движение. Он сильно повышает голос, махнул рукой). Сплотиться под единым красным знаменем пролетариев Питера...

ТАНЯ. Пролетариев всех стран!

РАБОЧИЙ (с Таней рядом, подмигнул соседу). Кажись, ладно говорит девушка. А ну!.. (Они подхватывают ее и раньше, чем она успела вырваться, подымают ее на киоск. Она осматривается, растерянная от неожиданности. Но в рядах кто-то ударил в ладоши, аплодисменты далеко раскатываются по толпе. Миусов сходит.)

ТАНЯ (слегка запинаясь сначала, потом овладевает собой, голос звучит ровно и звонко). Я хотела только сказать, товарищи... Мы же... не за Питер один... И даже не за одних русских рабочих... Нам выпало большое счастье... Весь мир... товарищи, — это не пустое бахвальное слово... воистину, весь мир смотрит на нас, на нашу борьбу... Ведь царская Россия... не только тюрьма для «подданных» царю народов, но оплот угнетения во всей Европе и

Азии... И если он рухнет, этот оплот,— за нашими знаменами вслед взвываются, от края до края земли, багряные стяги мировой революции!.. Не словом, — делом утверждаем мы, русские рабочие, великий лозунг российской социал-демократической рабочей партии, лозунг большевиков: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

**ВЗРЫВ КРИКОВ.** Пролетарии... соединяйтесь!..

**ТАНЯ.** Ленин, наш вождь и учитель, сказал: революция — удел сильных... Так будем же сильными, товарищи! Сожжем руку, что держит врага, насмерть!

**ГОЛОС.** К оружию!

**ВЗРЫВ КРИКОВ.** Оружья!.. Оружья!..

**РАБОЧИЙ** (поднялся на киоск, рядом с Таней). В кузнечные цеха, товарищи! К горнам! Ковать... Мало у нас стали по заводам?..

(Рабочий продолжает говорить, но голос тонет в гуле толпы.)

**1-й ПРОФЕССОР** (в ужасе). Восстанье! Бунт! Они, как яковинцы, прямым путем идут к площади гильотины... Эта девушка... заставьте ее замолчать... Она уведет их на штурм Петропавловской крепости, как Ля-Конта... увела к Бастилии парижскую чернь.

**МАРГАНЦИУС** (бледен, но бодрится). Спокойствие, господа. Я сейчас вступаю... Слово повелевает даже стихиями... Я направляю в русло... (Поднимается на киоск, широким живописным жестом снимает шляпу.) Граждане! В эти решающие часы позвольте мне... (Сквозь ряды к киоску быстрым, легким, уверенным шагом подходит Василий. Он идет, не спуская с Марганциуса глаз. Под его взглядом Марганциус замялся и договаривает скороговоркой.) Позвольте мне... передать слово гражданину... (Сходит с киоска, торопливо удаляется. Василий ставит ногу на приступку, чтобы подняться.)

**1-й ПРОФЕССОР** (догнал Марганциуса, вместе с остальными. Возмущенно). Что же вы?..

**МАРГАНЦИУС** (отдувается). Благодарю покорно... Я с этим типом имел уже удовольствие дважды встречаться на митингах... (Уходит.)

**ВАСИЛИЙ** (поднялся, он выжидает, пока толпа стихнет, и затем — полным голосом). Товарищи! На Троицкую площадь! Все заставы идут к Троицкой!

**МИУСОВ.** К Петропавловской крепости!.. Там же пушки на стенах! Растреляют!

**РАБОЧИЙ** (уверенно). Не посмеют!

**ВАСИЛИЙ.** А если посмеют... тем хуже для них! Мы до сих пор боролись, не пуская в ход оружия. Но если... хоть один выстрел... мы митинг наш обратим в штурм!

(Он махнул призывно рукой, соскочил с киоска, ряды тронулись вперед, колыша знамена, под запев «Марсельезы», лавиной катаясь к авансцене, на зрителя.)

#### Картина 14-я

Охраняемый кавалергардским караулом вход во внутренние императорские палаты. Застыли по обе стороны дубовой, золотыми орлами украшенной двери великаны в заорленных касках, палящие наголо. В прилегающем ко входу белоколонном зале группами — савовники. По лестнице, вводящей в зал из нижнего этажа, — почти непрерывное движение: поднимаются и спускаются придворные лакеи, уходящие курить савовники.

Высокие окна справа занавешены темными, сборчатыми портьерами. У одного из окон — дворцовый комендант, дородный, благодушный, в группе генералов и офицеров.

**КОМЕНДАНТ** (прислушиваясь). Кажется, поют...

**ГЕНЕРАЛ.** Чудится, князь... Мне тоже, когда я первый раз услышал, потом все чудилось: поют... Вечером, действительно, чорт знает, что творилось... А сейчас на улицах пусто, хоть шаром покати...

**КОМЕНДАНТ.** Тут, знаете, не шары собираются катать. По агентурным сведениям, на заводах куют-с!

**ГЕНЕРАЛ** (вздвинул). Косы?

**КОМЕНДАНТ** (недоумевающе). Нет, пики, кинжалы. Почему косы?



ГЕНЕРАЛ (в некотором замешательстве). Я так... случайно видел... (Убежденно.) Неприятная штука!..

ГЕНШТАБИСТ. Его превосходительство прав... У поляков во время восстания были специальные отряды косиньеров... Коса привязывалась так — (показывает) к деревку. Наши войска их больше всего боялись... Коса, действительно, наносит ужасные раны... Если, например, резнуть по лицу, то...

КОМЕНДАНТ. Да ну вас, полковник... Разве можно такое на ночь... И так не знаешь, как заснешь...

(По лестнице подымается сановник.)

САНОВНИК (подходит к ближайшей группе). Ну как, господа? Исполнились времена и сроки: завтра решать будет, кажется, поздно. У нас пошла уже не история, а Апокалипсис какой-то... Как играем: в «крепкие» или «поддавки»? Диктатура или конституция?

2-й САНОВНИК (закрыв глаза, развел в стороны руки, повертел указательными пальцами и свел их).

3-й САНОВНИК. Генерал Трепов сейчас у его величества. Или он выйдет диктатором...

САНОВНИК. Или войдет — конституционным премьером — граф Полусахалинский.

2-й САНОВНИК (испуганно). Тише, Петр Семенович. Витте здесь.

САНОВНИК (оглядывается, тоже испуганно). Где?

2-й САНОВНИК. Вон там, у колонны... левее епископа Антония...

САНОВНИК. В самом деле... (Пожевал губами.) А вид у него почему-то победительный... (Замолчал, отошел в сторону, потом подходит к Витте, еще издали отвесив почтительный поклон. Рукопожатие — Витте и сановник осклалились одинаковой, приятной и геморроидальной, улыбкой.)

(Дверь во внутренние покои открывается, выходит, сопровождаемый флигель-адъютантом, Трепов. Трепов отходит к военной группе у окна. Все взгляды обращаются к Витте; он оправляет орденскую ленту на сразу же выпрямившейся груди.)

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ. Господин статс-секретарь Горемыкин, его величество изволил приказать вас просить.

(Движение среди сановников. Горемыкин торопливо семенит к двери, на ходу крестя живот мелкими, дробными крестиками.)

3-й САНОВНИК. Горемыкин?.. Диктатура, стало быть, не прошла... но, слава богу, и Витте не вылез. Горемыкинский проект конституции все-таки пожиже будет. И то хлеб... Смотрите-ка... граф осерчал...

2-й САНОВНИК. Скандал, в самом деле... Уходит!

(В группе сановников, в которой стоял Витте, сильное волнение. Графа в чем-то горячо убеждают. Но он, упрямо тряся головой, направляется к лестнице... Сановники идут рядом, продолжая уговаривать.)

ВИТТЕ. Нет, господа, при этих условиях мне больше здесь делать нечего. Я докладывал его величеству, что согласен принять любой пост не руководящего значения, хотя бы даже губернаторский (скривил презрительно губы), если моя программа не будет принята и, стало быть, будет установлена диктатура. Я не верю в успех диктатуры, но работать при ней готов: диктатура все же имеет государственный смысл... Но Горемыкин... Нет! Сменить генерала Трєпова на премьер... Горемыкина, — это значит сменить кровь на помои. Слуга покорный! Я в этих условиях служить не стану!

(Он начинает спускаться. Трепов, к которому подошел один из сановников виттевской группы, выслушав сановника, поспешно идет вслед за Витте.)

ТРЕПОВ. Сергей Юльевич, куда вы? (Витте разводит руками, но останавливается. Трепов, подойдя, берет Витте под руку, говорит ему, улыбаясь, тихо и ведет назад.)

3-й САНОВНИК. Я, знаете, видел в Туркестане, когда на ревизию ездил, скорпиона и фалангу: если их вместе посадить в банку, сейчас же подерутся. А эти вот — не дерутся.

2-й САНОВНИК (испуганно осматриваясь). Ну и... язычок у вашего сия-

тельства... (Оборачивается к открывающейся двери). Уже?

(Выходит Горемыкин. Вид его мрачен. Он проходит, не подымая глаз, и спускается по лестнице.)

ГЕНЕРАЛ (хихикнул вслед, напевает вполголоса):

Провозилась Акулина  
И ни с чем пошла домой.

КОМЕНДАНТ. Откуда сие, ваше превосходительство?

ГЕНЕРАЛ. Игриво, а? Мне мотивчик понравился... я случайно слышал... Народное, знаете, творчество.

(Трепов кивнул Витте на уходящего Горемыкина и жестом поздравительным пожимает ему руку. Витте, высоко подняв голову, направляется, шагом хозяйским, к дверям во внутренние покои. Дверь отворяется ему навстречу, — выходит флигель-адъютант: он уже раскрыл рот, чтобы выкликнуть имя Витте, но, увидев его в двух шагах, сторонится, с поклоном, пропускает его, придерживая дверь.)

ГЕНЕРАЛ. Вот это... аллюр. (Прищелкнул шпорами.)

(Офицерская команда. В зал входит и строится кавалергардский караул. По лестнице подымается — на смену — караул Семеновского полка, под командой Мертваго. Церемониал смены. Кавалергарды уходят.)

3-й САНОВНИК (с умилением глядя на солдат). Орлы — кавалергарды и семеновцы, а? Не понимаю я все-таки Дмитрия Федоровича... Почему он на диктатуру не пошел... Вы посмотрите на этих чудо-богатырей... Не только трехсотлетний трон, нужник, с позволения сказать, штыком подопрут, — будет держаться... (Дверь открывается, выходит Витте.) Это что же?.. Неужто и у него сорвалось?..

2-й САНОВНИК (испуганно). Позвольте, но тогда... играть больше не на что...

(Сторонники Витте окружили графа.)

САНОВНИК. Подписал?

ВИТТЕ (очень громко, с деланным спокойствием). Его величество приказал оставить проект манифеста... на ночь.

Его величество желает еще... помолиться и подумать. (Тихо, сквозь зубы.) Злой карлик! До чего в этом маленьком и трусливом человечке — упрямства и злобы...

САНОВНИК. Осторожней, Сергей Юльевич... Впрочем, здесь свои...

ВИТТЕ. Все дезорганизовано... все чувства людей дезорганизованы... Я тоже человек, и у меня должно равновесие между чувством и умом сейчас нет! Меня выводит из себя эта византийская манера — во всем и всегда искать обходных путей... Ничтожество!

(Гулкий пушечный выстрел. Все вздрогнули.)

ВИТТЕ. С Петропавловской крепости? Господин комендант, почему стреляют?

КОМЕНДАНТ. Разве, ваше сиятельство, не изволите знать? Вода в Неве подымается: ждут наводнения...

2-й САНОВНИК. Именно. Одно к одному.

(Пушечный выстрел.)

ВИТТЕ. Что ж, господа, пойдемте?

3-й САНОВНИК (спускаясь с лестницы вместе с остальными, прощается с Треповым). Как в писании сказано: в руке твои, господи, предаю дух мой.

(Зал пустеет. Капитан Мертваго угрюмо смотрит вслед удаляющимся сановникам. Чья-то рука выключила люстру, остаются гореть только бра, на стене у двери. Застыли у заорленных створов парные часовые.)

Уходящие последними епископ Антоний и лысый сановник остановились у спуска на лестницу, давая спуститься шедшим впереди: обернулись назад, к опустевшему залу, смотрят на запертую дверь.)

ЕПИСКОП (тихим, строгим голосом). Истребление династии становится такой неизбежностью, что каждый русский человек должен обдумывать последствия сего события, чтобы оно не застало его врасплох.

ЛЫСЫЙ САНОВНИК. Будем бодрствовать... На нас, единственно, оставляет господь Россию... Истребить и возвеличить престол... (Обернулся и дрогнул: зади стоит неслышно поднимающийся по лестнице к тому моменту, как

заговорил епископ, Жигмонт. Епископ обернулся также. И насупил седые свои брови.)

**ЖИГМОНТ** (шагнул вперед). Лейб-гвардии Семеновского полка капитан князь Жигмонт. (Низко наклонил голову.) Благословите, преосвященный владыко.

**ЕПИСКОП**. Благословение господне на вас во имя отца и сына, и святого духа. (Благословляет, крепко целует в голову наклонившегося к его руке Жигмонта и спускается по лестнице с лысым сановником.)

**МЕРТВАГО** (быстро идет навстречу Жигмонту). Ну, слава тебе, христе. Я уж боялся — надуешь, не сменишь. Еще раз спасибо. Мария ля Белля мне глаза выпарапала бы, если б я не приехал.. Испанка, ничего не поделаешь! Ах, какая женщина, Жигмонт! Ну, идем, живо: принимай караул.

### Картина 15 - я

Кабинет Николая II. Высокая, завешанная картинами комната; золоторизная икона Николая-чудотворца. Полутьма. Тускло светит одинокое бра. Через размеренные промежутки времени бьют пушки с верков Петропавловской крепости. Дверь в соседнюю комнату открылась. Нетвердо ступая по пушистому ковру голыми кривенькими и волосатыми ногами, вышел в одной ночной рубашке Николай. Озираясь и тревожно прислушиваясь к вою ветра, отдаленному, но грозному прибою волн. Николай подошел к столу, взял лежавший на самом виду лист плотной, негнушейся бумаги и стал читать, брезгливо кривя рот, почесывая ногой ногу.

**НИКОЛАЙ** (бормочет). «Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей... стремиться к прекращению... смуты...» (Опустил лист, свесил раздумчиво губы.) А в самом деле, интересно, чем это кончится... (Опять поднял лист.) «...признали мы за благо даровать... свободу слова, личности, собраний, союзов...» (Бросил лист.) ...этим... скотам!.. (Пауза, смотрит на лист.) Если б

знать, что они оставят меня раз навсегда в покое...

(Особо гулко ударил пушечный выстрел. Николай испуганно оглянулся на окна, перевел глаза на икону, закрестился, отнюдь не молитвенно, попрежнему косясь на окно. Потом опять взял лист, подумал, морщась и переминаясь с ноги на ногу. Опять сильный пушечный удар. Николай мотнул головой, взял перо, торопливо подписал, бросил перо и нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась, как будто около нее сторожили: на пороге стал Жигмонт, очень бледный. Николай слегка вздрогнул, при виде его, нахмурился, opravил рубашку.)

**НИКОЛАЙ**. Я звал камер-лакея...

**ЖИГМОНТ** (не отвечая, шагнул вперед. Он дышит тяжело и часто. Николай как будто понял: пальцы судорожно впились в край стола, около которого он стоит. Он смотрит в упор в глаза подходящего медленно Жигмонта.)

**НИКОЛАЙ** (хрипло). Капитан князь Жигмонт?

**ЖИГМОНТ** (дрогнул и остановился). Ваше величество... изволите знать?..

**НИКОЛАЙ**. Я помню поименно достойных офицеров моей гвардии. Ты... Гедиминович?

**ЖИГМОНТ** (неподвижно). Так точно.

**НИКОЛАЙ**. Как могло случиться, что ты до сих пор не при мне? (Жигмонт снова дрогнул.) Но мы это исправим: поздравляю тебя моим флигель-адъютантом. (Жигмонт вытянулся, рука к козырьку.) Мне нужны надежные люди престола: времена становятся трудными... Трудно становится жить, что? У тебя много долгов?

**ЖИГМОНТ**. Точно не могу доложить... тысяч тридцать или сорок...

**НИКОЛАЙ**. Подай список Орлову, я прикажу заплатить... и распорядись о ежемесячном... Молодость должна жить, что?.. Молодость должна шалить... Для этого нужны деньги. Ты — шалун, Жигмонт?

**ЖИГМОНТ**. В меру возможности, ваше императорское величество.

НИКОЛАЙ (*успокоенный, присел на стол, пододвинул шкатулку с папиросами, достал папиросу, Жигмонт поспешно циркает спичку, дает закурить*). Я рад, что именно ты оказался сегодня в карауле: это меня успокоило. Кровь есть кровь, Жигмонт: истинные дворяне... с полслова понимают друг друга... А я ведь только первый дворянин империи. (*Пауза.*) Но истинных дворян становится мало.

ЖИГМОНТ. Так точно. Становится мало.

НИКОЛАЙ. Купчишки задавили мне дворянство. От этих Гучковых, Пучковых, Саврасовых уж нельзя продохнуть... Они смердят у меня на приемах, а меня заставляют их принимать. Все говорят, без них нельзя теперь править... Почему? Такая, будто, новейшая какая-то государственная... теория. Капитал. Я думаю, просто они закупили всех... И этого... Витте в первую очередь... (*Соскочил со стола, нервно прошепел по комнате.*) Он метит в президенты... Он хочет ссадить меня с престола...

ЖИГМОНТ. Ваше величество... Если б подобный преступный замысел...

НИКОЛАЙ. Он есть! Я их вижу насквозь! И этого ракалию... портсмутского графа... одесского полужиды... Конституция... Но я еще согну их в бараний рог! Дай срок, я расправлюсь с ними, со всей этой рабочей рванью и мужичьим падлом так, чтобы правнуки помнили...

ЖИГМОНТ. Ваше величество... Гвардия и весь офицерский корпус жизнь положат за это. Клянусь! Потому. что ваши враги — наши враги.

НИКОЛАЙ. Я подписал, потому что они приперли меня к стенке. Рабочих давно надо было взять в клещи... А сейчас... Трепов говорит... войск мало... Надо выиграть время, уйти из-под удара... бросить подачку псам. (*Протягивает манифест Жигмонту.*) Отправь с фельд'егерем Витте... (*Задержал листок.*) А что, если они ее... сглотнут, псы?

ЖИГМОНТ. Будьте спокойны, великий государь. Мы вырвем ее — с глоткою вместе!

## Картина 16-я

### ЭКРАН

*Подъезд театра Неметти, ярко освещенный. Огромные афиши.*

Театр НЕМЕТТИ.

24 октября 1905 года представлено будет —

«ДНИ СВОБОДЫ»

Обозрение в 3-х действиях.  
Участвует вся труппа.

После спектакля — в помещении театра состоится грандиозный

«конституционный карнавал».

Танцы под управлением  
артиста императорского балета  
г. ЛЕГАТА.

Выступления артистов императорских  
и частных театров.

Призы за лучшие костюмы.

Серпантин. Бой конфетти. Серпантин.

Беспроигрышная лотерея.

Продажу шампанского любезно приняли на себя артистки императорского балета.

Начало спектакля в 8 часов вечера.

Начало карнавала ровно в полночь.

Первоклассный буфет. Вина лучших погребов.

Разъезд в 4 часа ночи.

*Около афиш и развешанных рядом карикатур, среди которых на первом месте карикатуры на Трепова и Победоносцева, толпится публика. Из окон доносятся веселая — шантанная — музыка. Подходят Максим и рабочий: остановились, смотрят на карикатуры, прислушались к музыке.*

*Съезд: в подъезд входят разряженные дамы и мужчины.*

СОЛИДНЫЙ (*под руку с дамой*). Все прошло, милочка. Биржа... (*Поцеловал кончики пальцев.*) Все акции пошли вверх... И как пошли!.. (*Входят в подъезд.*)

МИУСОВ (*с членами комитета «Союза союзов»*). Не сразу, конечно, не сразу... Но мы введем движение в культурные рамки, будьте уверены... С момента, как открыта возможность свободной легальной деятельности и прежде всего организации профсоюзов, —

в этом же альфа и омега всего рабочего движения! — не только отпадает для нас, социал-демократов, подполье, но и самую надобность в партии я лично — и не я один! — ставлю под сомнение...

**ЧЛЕН КОМИТЕТА** (*растроган*). Да, батенька, дожили!.. По-евангельски могу сказать: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко». А я ведь... потрудился на своем веку... Народовольцем был... каторги отведал... А теперь со спокойной совестью могу... (*Насвистывает легкомысленный мотив, входя в под'езд.*)

(*К под'езду в пальто, накинутом поверх фрака, подходит сияющий Марганциус, победоносно оглядывая окружающих.*)

*Глаза встретились с пристальным взглядом Максима. Марганциус насупился.)*

**МАКСИМ** (*ухмыльнулся*). Празднуете?

**МАРГАНЦИУС** (*поджал губы*). Бастуете? (*Прошел в под'езд.*)

## АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

### Картина 17-я

*Огромное здание цеха. Полная темнота. Еле видна заполнившая цех густая, недвижная толпа. Кто-то кончает говорить. Аплодисменты. Приоткрылась дверь, вошла Таня. Начинает новый оратор.*

**ТАНЯ** (*вооруженному рабочему, охраняющему вход*). Темно! Разве свет не горит?

**РАБОЧИЙ** (*усмехнулся*). Для нас не горит. Свобода собраний... Ты что, манифеста не читала, товарищ? Нынче, ежели оратор лицо покажет, — стало быть, завтра он за решеткой. Рабочие постановили: чтобы митинг впотьмах... (*Присмотрелся.*) Да никак это Даша? Здорово! (*Крепко трясет ей руку.*) Егоров!

**ЕГОРОВ** (*стоявший неподалеку, подошел*). Даша! Вот не чаял... Говорила... ты с матросиками сгнула, когда восстанье было...

**ТАНЯ**. Я-то цела. А вот дело-то... сначала надо начинать... Тысяча двести

человек арестованных. Хорошо еще, пиетерские рабочие отстояли — не дали казнить...

**ЕГОРОВ**. В Севастополе тоже вот сорвалось... А тоже ладно начали... Управления еще у нас настоящего нет.

**ТАНЯ**. Сразу ничего не приходит. Научимся. Хмуриться нечего...

**ЕГОРОВ**. Хмуриться нечего, но и глаза прятать тоже не приходится. И народ сдавать стал... Совет заарестовали, шутка!.. А мы на это только словами погрозились.

**ТАНЯ**. Слово — слову рознь, товарищ Егоров. Иное слово дела ценнее.

**ГОЛОС ВАСИЛИЯ**. Слово принадлежит представителю российской социал-демократической рабочей партии... большевиков... (*Аплодисменты.*)

**ГОЛОС ОРАТОРА**. Товарищи, за обещаниями конституции последовали самые дикие и безобразные насилия... (*При звуке голоса оратора Таня дрогнула, продвинулась ближе, жадно слушает.*) Контрреволюция работает всюю. Стреляют из пулеметов, выкалывают глаза, выбрасывают на мостовую с пятого этажа, расстреливают тех, кто смеет сопротивляться черным сотням. От Польши и до Сибири, от берегов Финского залива и до Черного моря — всюду одно и то же...

(*Внезапный яркий луч потайного фонаря на секунду осветил лицо оратора. Свет мгновенно погас. Короткий шум борьбы, падение тяжелого тела. И снова полная, абсолютная тишина.*)

**ГОЛОС ВАСИЛИЯ** (*спокойный и ровный*). Продолжайте, товарищ.

**ГОЛОС ОРАТОРА**. Борьба подходит к развязке... Наряду с разгулом черной сотни, оргией самодержавной власти, этими последними судорогами чудовища-царизма — пробивается явственно новый и новый натиск пролетариата, который, как и всегда, лишь по внешности утихает после всякого под'ема движения, на деле собирая силы и готовясь к новому удару. Удар этот недалек. Пусть же готовятся рабочие к еще более великим событиям, и пусть не забудут, что только крепко сплоченная социал-демократическая партия может вести к победе пролетариат

России об-руку с социал-демократическим пролетариатом всего мира.

*(Бурные аплодисменты.)*

*(Торопливо вошел рабочий, протолкался сквозь ряды к Василию, пошептал ему на ухо. В полутьме ясно видна поднимающаяся вверх рука Василия. Аплодисменты смолкают.)*

ВАСИЛИЙ. Товарищи! Все шире развертывается наступление правительства, о котором только-что говорил товарищ. Третьего декабря, как вы знаете, был арестован первый исполнительный комитет Совета наших рабочих депутатов. Мы выбрали второй. Сейчас я получил извещение: второй исполнительный комитет взят, второй Совета—нет.

*(Сильное движение в рядах.)*

ВАСИЛИЙ. Товарищи! В день об-явления манифеста мы, революционные социал-демократы, звали к неослабному продолжению борьбы: мы тогда еще указывали, что отступление правительства—только маневр на выигрыш времени, на выбор более удачных позиций. Но наши голоса в те часы потонули в победном визге оппортунистов всех мастей, приспешников буржуазии. Рабочие поддались угару первого успеха, соглашателям удалось, на короткое время, отвести рабочим глаза от истины, которую до конца, до самого дна раскрыл русскому пролетариату Пятый год: что в классовой борьбе примирения нет и быть не может.

ТАНЯ. Слушай-те!

ВАСИЛИЙ. Сейчас истина ясна самым незрячим. Но предательское дело сделано: самодержавие вышло из-под удара. Итоги налицо: реакция.

*(Пауза. Полная, глубокая тишина.)*

ВАСИЛИЙ. Буржуазия нас предала, как и должно было ждать. И враг силен еще, мы на это не закрываем глаза. Но пролетариат не ждет сделок, не просит подачек, и цель великого нашего подема для нас с очереди не снята. И я предлагаю от имени РСДРП—большевиков—принять брошенный нам вызов абсолютизма, снестись немедленно со всеми революционными организа-

циями, назначить день всеобщей политической стачки, призвать к действию все силы, все резервы, и, опираясь на аграрное движение и волнение солдат, итти навстречу решительной развязке! Дайте свет!

*(Аплодисменты. Цех ярко осветился. Егоров, дружинники, Таня, значительная часть рабочих радостно и крепко бьют в ладоши. Но часть расходится молча.)*

## Э К Р А Н

*Афиша. Верхний левый край отогнулся, закрыв название театра: видно только последнее слово.*

. . . . . ТЕАТР

. . . декабря представлено будет при участии

**ЛИДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ КЕДРОВОЙ**

Ромэн Роллан

«14-е ИЮЛЯ» (1789 г.)

**(Взятие Бастилии)**

Пьеса в 3-х актах

Вольный перевод

С. Д. Мстиславского.

Действующие лица:

Ля-Конта Луиза-Франсуаза—артистка Французского театра—г-жа Л. В. Кедрова.

Люсиль Дюплесси	г-жа Е. Мирская
Мария Буйю	г-жа Ремизова
1-я женщина из народа	г-жа Озерова
2-я женщина из народа	г-жа Коль
1-я девушка	г-жа Немирова
2-я девушка	г-жа Жукова
3-я девушка	г-жа * Варенцова
Крошка Юлия	г-жа * Арбатова
Гош	г-н Долмачев-Брянский
Гюлен	г-н Арбатов
Марат	г-н Казарский
Камилл Демулен	г-н Озеров
Вентимилль	г-н Прошин
Де-Лоней	г-н Вальтеров
Гоншон	г-н Жаров
Робеспьер	г-н Барсков
Студент	г-н Коварский
Нищий	г-н Говоров

Национальные гвардейцы, горожане.

Действие происходит в Париже

с 12 по 14 июля 1789 г.

I акт—в Пале-Рояле

II акт—в предместьи Сент-Антуан.

III акт—в Бастилии.

Дозволено цензурой 20 октября 1905 года.  
№ 8752.

## Картина 18-я

Уютная, небольшая комната, обитая светлой материей. Мягкая мебель. Большие ширмы. Туалетный стол. Венки и афиши на стенах. Кедрова, в костюме артистки Французского театра эпохи Великой революции, сидя перед зеркалом, поправляет грим. На креслах вокруг — Марганциус, два профессора. Несколько поодаль — Астор.

КЕДРОВА. Конец, вы думаете? А может быть, это — только начало? Ведь опять всеобщая забастовка объявлена... И в Москве, Ростове, Харькове — восстания...

2-й ПРОФЕССОР. Не пугайте, выскокочимая... Довольно и тех месяцев. Страшно вспомнить. Рев оголтелой толпы... И этот совет троглодитов, с небритыми подбородками, револьверами в карманах и свистом, останавливающим поезда и заводы... Нет! Я твердо надеюсь, что с этим кошмаром будет раз навсегда покончено. (Пауза.)

КЕДРОВА. Вы все-таки неблагодарны, господа. Ведь если по совести говорить, — не будь троглодитов...

МАРГАНЦИУС. ...русская интеллигенция — мы! — не вышла бы победительницей из вековой своей борьбы с царизмом? Совершенно правильно. Я первый заявлял это на бесчисленных митингах. Весь год мы шли с ними рука-об-руку, в одних рядах...

МАРАТ (за сценой, громовым раскатом баса). «Надо беречься этих предателей, что присоединяются к народу, чтобы его погубить. Гош верно сказал: если мы не будем бдительны, они задавят нас. Мое мнение: чтоб можно было сразу отличить этих холопов старого строя, — отрезать им уши или мизинцы на обеих руках...»

1-й ПРОФЕССОР. Что это?.. Что?

АСТОР (засмеялся, указал на афишу, висящую на стене). «14-е июля!» Марат пробует голос. Вы услышите это в следующем акте. Но «ведь нас это не касается. Советь наша чиста, а шапка горит только на воре», как говорил Гамлет королю, — акт третий, сцена вторая... Я вас слушаю, Марганциус.

МАРГАНЦИУС (вступленьем Марата явно испортило ему настроение). Я говорю: мы шли с ними... но в конце-концов... они ж были только ударной силой. Да, да! Темной ударной силой! Конституция, добытые свободы—это же полностью наши руки дело... Мы подсказали правительству выход из кризиса; мы вели переговоры, весь год, не только с Витте, но даже и с Треповым. Это наша победа!.. И если господам пролетариям неуютно быть довольными и они лезут на нож... наша обязанность перед родиной и историей не только не поддерживать сумасбродных претензий, но и помочь поставить их на подобающее им место.

КЕДРОВА. Я слышала, в Москву отправляют гвардию.

2-й ПРОФЕССОР. Семеновский полк и артиллерию.

1-й ПРОФЕССОР. Вопрос, собственно, исчерпан. Они же, явно, обречены... Силы у них иссякли... Если ноябрьская стачка сорвалась, тем более сорвется декабрьская. К тому же они обезглавлены. Вожди оказались все на виду в итоге свобод. Их всех переловили. Скоро суд и — каторга.

КЕДРОВА. Вы будете выступать, Марганциус?

МАРГАНЦИУС. Защитником? Конечно! Я знаю свой гражданский долг! Это будет сенсационный процесс. (Пауза.)

КЕДРОВА. Последний акт? И занавес падает под свист?

1-й ПРОФЕССОР. Закон истории.

КЕДРОВА. Судьба? (Усмехнулась.) Моя няня... славная у меня была старуха... судьбу узнавала безошибочно по «притчам соломоновым». Раскроет наугад — какой стих попадет. И у меня — от няни... Только я гадаю о судьбе по живой книге — Астору.

МАРГАНЦИУС. Превосходный метод! Поэт — всегда провидец. Скажу больше: поэт видит дальше самого опытного политика. И наша судьба яснее (поклон в сторону Астора) маэстро, чем нам...

КЕДРОВА (сделала жест, будто раскрывает книгу). Раскройтесь, Астор!

АСТОР (*негромко, как будто он читает для одной Кедровой*).

Солнце канет за уступом,  
Ночь протянет черный шелк,  
И сюда за новым трупом  
Поползет за волком волк...

КЕДРОВА (*прикрыла глаза*). Труппы... волки... волки?..

МАРГАНЦИУС. Удивительно! Разрешите и мне загадать.

АСТОР. О вашей судьбе?

МАРГАНЦИУС. О нашей: смею быть уверенным — у нас общая судьба.

АСТОР (*кивнул, подтверждая*).

И ляжем мы в веках, как перегной.

(*Движение слушателей. Марганциус открыл и снова закрыл рот.*)

Мы все, кто ищет, верит, страстью дышит.  
И этот гимн, в былом пропетый мной,  
Я знаю, мир грядущий не услышит...  
Мы станем сказкой, бредом, беглым сном,  
Порой встающим тягостным кошмаром,  
Они придут, как мы еще идем, —  
За все заплатят им, мы гибнем даром...

(*Пауза.*)

МАРГАНЦИУС (*смущен*). Это... шутка, конечно, я понимаю, но...

(*За сценой — далеко где-то — тихое, не во весь голос, пение «Марсельезы».*)

2-й ПРОФЕССОР (*прислушиваясь*).  
Тоже из следующего акта?

КЕДРОВА. Да... Они поют...

МАРГАНЦИУС. Раньше... я помню, эта уборная была... уютным гнездышком, куда не доходили шумы...

КЕДРОВА (*пожала плечом*). Массовые сцены... В спектакле занято так много народу... За кулисами стало тесно...

1-й ПРОФЕССОР. Да, массовые... (*Свесил губу.*)

КЕДРОВА. Вам, очевидно, не нравятся сегодня пьеса?

1-й ПРОФЕССОР. Нет, помилуйте, пьеса, как пьеса, — превосходна. Но... целесообразна ли такая... идеализация бунта?.. В воспитательном отношении...

МАРГАНЦИУС (*поднял палец*). И политическом!.. Божественная! Поверьте опытности старого политического защитника — по нынешним временам вам лучше не играть Ля-Конта...

2-й ПРОФЕССОР. И не ставить «Взятый Бастилий».

КЕДРОВА. Возобновить «Бой бабоек», не правда ли?

(*Стук в дверь, входит Марат.*)

МАРАТ (*очень взволнован*). Лидия Васильевна... я случайно... проходил... у администратора — жандармский полковник. Требуется, чтобы он его проводил к вам... Администратор отказывается, но...

АСТОР (*усмехнулся*). Quand on parle du diable, on en voit la queue! Порусски, то-есть конкретно: когда говорят о Трепове, видят его полицейский хвост... Но, гражданин Марат, почему вы так взволнованы?.. Я не узнаю «друга народа»... У вас за поясом — кинжал...

МАРАТ. Кинжал — условный, а жандарм — безусловный.

(*Марганциус и остальные встали.*)

МАРГАНЦИУС. Ну-с, господа... Поскольку предстоит деловой разговор, наше присутствие, я полагаю, может только помешать... В следующем антракте разрешите зайти поблагодарить и откланяться... (*Кедрова кивком головы отпускает присутствующих. Они идут к выходу, за ними Марат. Астор опускается в кресло.*)

КЕДРОВА (*Астору*). А вы? Идите, прошу вас.

АСТОР. Мне любопытно посмотреть этого альгвазила.

КЕДРОВА (*настойчиво и быстро*). Астор, уходите.

АСТОР. Мне и здесь чудесно.

КЕДРОВА. Вы заставляете меня говорить вещи, которых вы не должны знать. Но мы — старые друзья, я не хочу вас запутать в историю. Идите, я вам говорю. У меня в уборной динамит.

АСТОР (*хладнокровно*). Ого! Следствие паровоза?

КЕДРОВА (*нервно*). Да. Идите. А то они, пожалуй, и... вас привлекут... как участника... С них — станется.

АСТОР (*в кресле, попрежнему*). Ростан, «Орленок». Сцена ареста Орленка на мертвом поле битвы при Ваграме. Я беру роль адъютанта (*угриро-*



ванно-великолепный жест): «Если здесь аресты, я — участник...»

АДМИНИСТРАТОР (вводит полковника Озерова). Виноват... вот тут... К вам господин полковник.

КЕДРОВА (спиной к полковнику, перед зеркалом, одевает красный фригийский колпак. Небрежно). Чем я обязана?

ОЗЕРОВ (выкатил глаза на красный головной убор Кедровой, но сохраняет галантность. Встопорщил усы). Принужден потревожить... по предписанию его превосходительства, господина градоначальника... насчет сегодняшней пьесы... В предстоящем третьем акте вы и прочие исполняете, по ходу действия, так сказать, «Марсельезу». Для русского подданного — неподходяще.

КЕДРОВА (усмехнулась). Так это же не русские «подданные» поют: пьеса из Французской революции... Поют французы.

ОЗЕРОВ. Простите, сударыня... Мы тоже в искусстве понимаем... Поют-то, может быть, и французы, а хлопают русские... И выходит — противоположительно.

КЕДРОВА (пожала плечами). Пьеса идет уже пятнадцатый раз. И запрещать ее...

ОЗЕРОВ. Помилуйте... запрещать мы и не думаем... Свобода слова... Пусть все, как есть, так и будет... Только одну «Марсельезу»... заменить... чем-нибудь... более... невинным...

КЕДРОВА (вспылила). Что ж вы мне прикажете... «по ходу революционного действия» — «Серого козлика», что ли... детскую песенку петь?

ОЗЕРОВ (осклабился). Детскую песенку... можно.

КЕДРОВА. Благодарю вас покорно. Больше ничего не имеете сказать? (Администратору.) Занавес!

ОЗЕРОВ. Госпожа Кедрова, вынужден предупредить: не исполните моего указания, — при всем уважении к вам закрыт театр. (Звонок за сценой.)

КЕДРОВА. Мы начинаем... Вы рискуете опоздать на... — как это у вас называется? — наружное наблюдение?

ОЗЕРОВ (побагровел). Сударыня... (Стук в дверь.)

КЕДРОВА. Войдите. (Входит Жигмонт, в шинели, в походном снаряжении, при оружии; флигель-адъютантские вензеля на погонах.) Князь? Вы смотрите спектакль? (Жигмонт почтительно целует руку Кедровой. Полковник при виде флигель-адъютанта опешил, подтянулся, выходит бочком, осторожно прищелкивая шпорами.)

АСТОР. Лидия Васильевна... я никогда не хлопал «Марсельезе», но сегодня буду. (Кедрова, улыбаясь, кивнула головой. Астор выходит.)

КЕДРОВА. Почему вы... в таком виде?

ЖИГМОНТ. Я заехал поцеловать вам руку... на прощанье.

КЕДРОВА (подняв брови). На прощанье? (Трогает пальцем кобур револьвера.) Вы решили... застрелиться?

ЖИГМОНТ. Toujours la pointe, le mot! Я еду.

КЕДРОВА. Куда?

ЖИГМОНТ. Полк выступает в Москву.

КЕДРОВА. Ах, да... Вы же семеновец... На восстание Москвы... Случай сделаться Наполеоном. Не упустите.

ЖИГМОНТ. Вы шутите, как всегда...

КЕДРОВА. Не я шучу, Жигмонт: жизнь шутит. И я не даром так люблю жизнь: она шутит остро.

ЖИГМОНТ. Не понимаю.

КЕДРОВА (показала движением подбородка на флигель-адъютантские вензеля). Разве это — не острая шутка? «Я сброшу этого выродка с трона»... Я не забыла, как видите... тогда, на платформе... И вместо этого вы едете спасать «выродка», на крови Москвы... красуясь его... ливреей...

ЖИГМОНТ (вспыхнул). Лидия Васильевна! (Сдержался.) Я тогда ошибся в оценке. Когда я узнал его ближе...

КЕДРОВА. Убедились, что вы — близнецы? Но вы точно в чем-то оправдываетесь... Я ж не сужу, я только констатирую... Какое мне, в конце-концов, до этого дело?..

ЖИГМОНТ. Какое дело? Лидия Васильевна... Вы знаете, какое у меня к вам чувство, как я вас... (Кедрова подняла на него холодные пристальные глаза.) Вы мне делаете очень больно...

КЕДРОВА (усмехнулась краем губ). Я делаю, что могу... Не думали же вы, что я благословлю вас на бой, как Мелисанда — Бертрана, или... Сергей Радонежский — Дмитрия Донского...

ЖИГМОНТ. Вы опять смеетесь.

КЕДРОВА. Нет, Жигмонт. Не смеюсь.

ЖИГМОНТ. Я иду на смерть, быть может... И надеялся, что хоть в этот момент...

КЕДРОВА. Какая смерть! Не рисуйтесь, Жигмонт, — это противно. Действительно! Безумный риск! Палаш латника — против ситцевой блузы, пулемет — против голых рук, генеральный штаб — против пекаря, вчера мевшиего булки!

ЖИГМОНТ. На этот раз ваша стрела бьет мимо цели... Они вовсе не так плохо управляются с тактикой, господа пекаря... Уже неделю московский гарнизон... гренадерская и первая пехотная дивизия, сумды, петербуржцы, казаки не могут сбить их с баррикад... хотя на подкрепление пришли полки из Серпухова и Твери... В штабе мне говорили: один Ладожский полк расстрелял уже сорок тысяч патронов... И если сама гвардия, по высочайшему повелению, выступает в поход... (Пауза.) Я боюсь себе верить, но... в вас какая-то большая перемена, Лидия Васильевна...

КЕДРОВА. Перемена? Нет. Просто... мы все нашли себя в этот год. (Стук в дверь. Досадливое движение Жигмонта.) Войдите. (Входит Василий в полушубке. Жигмонт при виде его застыл.) Бог мой! Какими судьбами... monsieur... Дорохов. (Засмеялась.) И в полушубке. Едете? (Оглянулась на Жигмонта.) Вы... не попутчики? (Жигмонт, видимо, совершенно растерялся от встречи; он смотрит на Василия в упор, ищет, но не находит слова. Наконец, решительным жестом он надевает фуражку. Кедрова слегка наклоняет го-

лову.) Да, да... История вас ждет: не смею задерживать. (Жигмонт молча берет под козырек и выходит. Кедрова подходит к Василию.) Вот встреча! Но я не беспокоюсь... Гвардеец, Гедиминович... Он не донесет.

ВАСИЛИЙ (усмехнулся). Я бы арестовал на месте.

КЕДРОВА. Вы клевете на себя.

ВАСИЛИЙ. Нимало. Честное слово.

КЕДРОВА. У меня?.. Оставьте, я не хочу вас слушать... Итак, вы, наконец, сообразовали вспомнить меня...

ВАСИЛИЙ. Я к вам за динамитом.

КЕДРОВА. Закоснелый материал! Впрочем, я рада, что вы уберете это снадобье: он чудовищно пахнет аптекой. Вы хотите — сейчас?

ВАСИЛИЙ. Я привел товарищей... Разрешите позвать? (Открывает дверь, дает знак, входят Егоров и Максим, Кедрова пристально, с жадным интересом оглядывает их и протягивает руку.)

КЕДРОВА. Здравствуйте... товарищи.

ПОМ. РЕЖИССЕРА (в дверь). Лидия Васильевна, — на выход!

КЕДРОВА. Простите... одно только явление... Я вернусь через минуту... (Выходит.)

МАКСИМ (нюхает свою руку, которую пожала Кедрова). Эка.. садит... Что она — больная, что ли? Дух какой... специальный.

ЕГОРОВ (Василию.) Прямо на вокзал поедет? (Василий кивает. Пауза.) Да-да... неловко выходит, с забастовкой.

МАКСИМ. Ну, чего... рано отходную затынул. Может, еще и взмоет... У нас, за заставой, — только Александровский ненадежен...

ЕГОРОВ. Нет, на-чистоту, брат, надо говорить, по-большевистски. Не тот нынче на заводах дух... Я к Мишке зашел, думал, с собой взять... Он хоть от Галона и не отстал а, в общем, боевой парень, — в огонь и в воду... Смотрю, на кровати у него одеяло розовое, над кроватью — гитара, с бантом. Сидит, морду мажет из банки: крем «Метаморфоз». Зачем, говорю? «От веснушек». — «Дура, теперь же зима». Смеется, сволочь: «А ты ж сам гово-

рил: к событию заранее надо готовиться».

МАКСИМ. Народ вымотался... И то, шутка сказать, — год цельный... А каждый день домой идешь, как с бою все равно: то одного из ряда выбило, то другого...

ЕГОРОВ. Это б еще ничего... главное дело — безработица... Локаут, чорт бы его... Сто тысяч на мороз да на голод выкинули, с семьями... Подсчитай — сколько будет... Кто послабже — обязательно думает: а ежели и со мной так-то?

МАКСИМ. Заладил! Небось, ежели Москва не сдст, а мы под семеновцами мост, действительно, дернем, и здесь пойдет чесать.

ЕГОРОВ. А взорвем, товарищ Василий?

ВАСИЛИЙ. Динамиту хватит. И Николай по подрывному — специалист. Вот только не опоздать бы вам.

ЕГОРОВ. Еще б нехватало... (Смотрит на дверь.) Чего это она, душистая, долго?

### Картина 19 - я

*Сцена театра Кедровой*

*Декорация представляет улицу в Париже. Толпа в костюмах эпохи Французской революции.*

АКТЕР. Негодяи! С ними — мы никогда не покончим. Баррикады растут из земли, как грибы... А все улицы полны праздными гуляками, которые и не думают драться... Если бы они взялись за дело — завтра же не было бы короля!

ГОЛОСА. Ля-Конта!

(Выход Кедровой — Ля-Конта. Она в красном фригийском колпаке, с пикой.)

КЕДРОВА. Да здравствует свободный народ!

(Взрывы приветственных кликов. Аплодисменты в зале.)

ГОЛОСА. Гимн, Ля-Конта! Наш гимн! Гимн людей, на крови добывших права человека и гражданина...

КЕДРОВА (шагнула вперед. В оркестре — первые такты «Марсельезы»).

КЕДРОВА (молчит. Оркестр обрывает. Недоуменное молчание на сцене и в зале. Кедрова сделала еще шаг вперед; глаза блеснули и потухли. Она начинает тихо.)

Жил-был у бабушки  
Серенький козлик...

(По залу прошла волна. И опять — напряженная тишина. Кедрова обвела взглядом актеров: они поняли. Хор вступает неуверенно сначала, в разное лосье, pianissimo.)

ХОР.

Вот как, вить как,  
Серенький козлик...

(Вступает оркестр. В его звуках — нарастающая тоска и жуть.)

КЕДРОВА.

Напали на козлика  
Серые волки...

ХОР (зловеще).

Вот как, вить как,  
Серые волки...

(В оркестре жуть становится нестерпимой.)

КЕДРОВА (глухо).

Остались от козлика  
Рожки да ножки...

(Бешеный взрыв аплодисментов в зале. И чей-то голос, молодой, высоко на галерке, запекает «Марсельезу». Зал подхватывает. Кедрова и актеры на сцене аплодируют.)

### Картина 20 - я

*Уборная Кедровой. Василий, Егоров, Максим прислушиваются.*

ЕГОРОВ. «Вставай, подымайся» поют. Митинг, что ли?

КЕДРОВА (входит, радостная и возбужденная.) Вот, сама не думала, что так хорошо выйдет... И без репетиции... (Смеется.) На этот раз русские пели, а французы хлопали... (Василию.) Не понимаете? Завтра в газетах прочтете... Идите скорее, пока... и вас серый волк не с'ел. Вот ключ. В

том шкафчике, за ширмой... Быстро, быстро. *(Василий идет за ширму, выволакивает обвязанную веревкой корзину.)*

ВАСИЛИЙ *(Максиму)*. Бери... Ты у нас богатырь... Нести штуквину эту надо так, чтобы не видно было, что тяжесть.

МАКСИМ. Это разве тяжесть? *(Встряхивает.)*

ЕГОРОВ *(отодвинулся в сторону)*. Легче... А то еще фукнет.

МАКСИМ. На! Чего ему раньше времени фукать.

КЕДРОВА *(присев у столика, пишет. Протягивает Егорову листок)*. Вот, на случай... если кто-нибудь, в театре, задержит... Я написала, что это — мои вещи... До свидания. *(Рабочие двинулись к двери.)* Нет. Лучше отсюда. *(Идет к ширме, указывает.)* Там, за дверкой, железная лестница вниз, — прямо к актерскому под'езду. И выход... не на улицу, а в переулочек... Там никогда никого.

ЕГОРОВ *(за ширмой, Максиму)*. А отважная все-таки барынька... Счастливо... *(Уходят. Пауза.)*

КЕДРОВА. Неужели вы... в самом деле... в Москву? *(Василий кивнул.)* Безумие... Они вас раздавят... Зачем вы взялись за оружие?

ВАСИЛИЙ. Уступит врагу без боя?

КЕДРОВА. Геронка ради героинки? Романтика чести? Вы... дворянин?

ВАСИЛИЙ. Я — слесарь.

КЕДРОВА *(почти вскрикнула)*. Нет! *(Пауза.)* Как все это странно.

ВАСИЛИЙ. Странно? Почему? Так было всегда. Пролетариат — нигде еще в мире и никогда — не выпускал из рук оружия в момент решений и никогда не уступал проклятому наследию гнета без того, чтобы померяться силами с врагом...

КЕДРОВА. Как вы... сказали это... Вы умеете ненавидеть.

ВАСИЛИЙ. Да.

КЕДРОВА *(тише)*. А — любить?

ВАСИЛИЙ. У любви и ненависти — одна мера. Их не разделить.

КЕДРОВА. Да! *(Очень взволнована.)* Откуда в вас это?..

ВАСИЛИЙ. От партии.

КЕДРОВА. Что? Партия... это ж... политика.

ВАСИЛИЙ. Наша политика — жизнь. *(Пауза.)*

КЕДРОВА. Полчаса еще назад я думала с вами прощаться... я думала, что останусь опять сама с собой, как была, — одна... Потому что искусство идет только с победителями. Но сейчас я по-новому, совсем по-новому... Вы ж слышите, у меня не тот голос, — могу сказать опять... и уж не Вам, а в а м:

«Могу я быть чем-нибудь на пользу, Строитель?..»

*(Дверь распахнулась неожиданно. Полковник Озеров, жандарм, полицейские. Сзади — перепуганный насмерть администратор.)*

КЕДРОВА *(бешено)*. Ко мне не входят без доклада.

ОЗЕРОВ *(хищно оскалив клыки)*. Мы, как ангелы, всюду входим, не спрашивая разрешения *(галантно)* ...даже во святая-святых... *(Обвел вокруг себя рукой, крюча пальцы.)*

КЕДРОВА. Что вам угодно? Я ваше указание исполнила точно... Какие могут быть претензии?

ОЗЕРОВ. К вам? Ни-ка-ких... Напротив, мы явились защитить вас от посягательств...

КЕДРОВА. Защитить? Меня?

ОЗЕРОВ. Флигель-ад'ютант его величества, которого я имел честь видеть у вас... только-что... я отлучался, но, по счастью, не опоздал... сообщил мне *(Василий усмехнулся, Кедрова закусила губу)*, что некто *(кивок в сторону отвернувшегося при входе жандармов Василия)*... вам лично, конечно, неизвестный, обратился к вам с требованием пожертвования на революционные цели...

КЕДРОВА *(брезгливо)*. Трусл!

ОЗЕРОВ *(Василию)*. Ваши документы. *(Василий поворачивается к нему лицом, — полковник просиял.)* Баба-ба! Старый знакомый... Извольте помнить, как я вас в девяносто восьмом на каторгу снаряжал? Макаров... Михаил Васильев...

КЕДРОВА. Полковник... я у себя... и в своей уборной... никаких арестов не допущу...

ОЗЕРОВ. Не извольте беспокоиться... Без всякой огласки... Я ж имел честь докладывать: мы — как духи бесплотные... Никто не узнает... Никаких вам не будет беспокойств. (Василию.) Пожалуйте...

ВАСИЛИЙ. Сейчас. Я только портфель возьму. Я его сюда забросил... (Идет к ширме.)

ОЗЕРОВ. Ни с места! (Полицейские и жандарм поспешно расстегивают кобуры, полковник бросается следом за Василием, уже ушедшим за ширму. Кедрова, стоявшая у туалетного стола, покачнулася, точно падая в обморок, повела руками вокруг, ища опоры. Полковник приостановился, поспешно подкатывает кресло, Кедрова опускается в кресло, уклонившись от протянутых полковничьих рук.)

КЕДРОВА. Благодарю вас... сейчас пройдет... Флакон... с туалета... Не тот... граненый, поменьше...

(Полковник торопливо подал и ринулся за ширму.)

ОЗЕРОВ (хрипло). Где? (Жандарм и полицейские бросаются на голос.)

КЕДРОВА. Мой бог!.. Там же есть дверь... Когда он успел рассмотреть... этот... как вы назвали... Сидоров, Егоров...

ПОМ. РЕЖИССЕРА (в дверях, запынаясь). На выход, Лидия Васильевна...

ОЗЕРОВ (возится у двери: ширма сдвинута в сторону — видна врезанная в стену потайная, почти незаметная, дверь). Ключ!

КЕДРОВА. В замке.

ОЗЕРОВ. Нет. Заперто.

КЕДРОВА (рассмеялась). Значит, ключ с другой стороны.

ПОМ. РЕЖИССЕРА (отчаянно). Лидия Васильевна, выход!

КЕДРОВА. Иду. (Выходит.)

ОЗЕРОВ (ломится в дверь). Ч-чорт... не поддается... Железная она, что ли... (Жандарму.) Догони... спроси... куда дверь... Может, на наше счастье, — тупик... вторая комната... ванна какая-нибудь...

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Ежели тупик... как бы стрелять не стал.

ОЗЕРОВ (отодвинулся в сторону; попятился от двери прочь и остальные). Очень просто... (Сообразил, махнул рукой, безнадежно.) Сбиваешь, дура... Был бы тупик, он бы тебе давно башку прострелил... как только в дверь сунулись...

ПОМОЩНИК ПРИСТАВА (полицейским). На подезд!.. Живо!.. Может, еще не ушел... (Уходят.)

ОЗЕРОВ (опустился устало в кресло у туалета). Ищи ветра в поле... Какого зверя упустили, анафемы... (Взял с туалета флакон с одколоном, льет себе на голову.) Ну, денек... башка пополам.

ЖАНДАРМ (возвращается бегом). Не поспел... На сцену ушла... Прикажете и мне?

ОЗЕРОВ. Козлом, что ли, будешь там петь... черепашья нога? Раком полз? «Не поспел»! (Пауза.)

ЖАНДАРМ (кашлянул, нерешительно). Протокол будете составлять?

ОЗЕРОВ (вскипел). На кого прикажете? На себя, что ли? На вас?.. Ее не притянешь... Еще шею на этом деле сломишь... Видал (кивнул в сторону сцены), какую штуку выкинула... Чорт ее знает, кто за ней стоит, а стоит кто-то... раз она ничего не боится.

## АКТ ПЯТЫЙ

### Картина 21-я

Рабочая квартира, очень бедная. Некрашенный стол, несколько табуреток. Сундук в углу, на нем постлана постель. Киот с иконами. Русская печь. Кипит котел.

Комната пуста. Тихо, только с улицы, издалека, доходят затихающие постепенно звуки перестрелки. Из соседней комнаты, сквозь приоткрытые двери, врывается внезапно протяжный и острый женский крик. И опять — тишина.

ГОЛОС ТАНИ (за входной дверью, слева). Сюда, что ли? (Дверь распахивается. Таня, в полушубке, голова повязана черным платком, через плечо

маузер. За ней Михайла и дружинники тащат два небольших, но тяжелых ящика.)

МИХАЙЛА. От печи все ж подальше патроны, ребята. Вона к мешкам: от муки не взорвет. (Составляют ящики около двух мучных мешков. Михайла оглядел их, любуясь.) Вот нам — на который случай запас. Смотри, без моего приказа не трогать. Я так и мамаше закажу: чтоб отнюдь не допускала. (Дружинники переглянулись, усмехаясь, покачали головами. Внутренняя дверь открылась: на пороге Пелагея.)

ДРУЖИННИК. Вот и они самые.

ТАНЯ (кланяется). Здравствуй, бабушка.

ПЕЛАГЕЯ (поджала губы, неодобрительно осмотрела Таню и толпящихся у печи, греющих руки дружинников). Кому. бабушка, а кому Пелагея Никандровна.

ТАНЯ (кланяется вторично). Здравствуйте, Пелагея Никандровна.

МИХАЙЛА (показывает на Таню). Вот, мамаша, нынче у нас ночевать будет, приезжая... (Тане.) Скидавай амуницию, Татьяна Егоровна... Сейчас мы чайком побалуемся... И ребят погреем... Часишко роздыху есть... Нюра! Где ты там?... Ставь самовар... Нюра!

ПЕЛАГЕЯ (еще ехидней поджала губы). Так, так, покричи, покричи.

МИХАЙЛА (очень весело; подмигнул Тане). Отчего не покричать... Голос у меня приятный. Нюра-а!

(Из соседней комнаты — тихий и протяжный стон. Все вздрогнули. С лица Михайлы мгновенно сбежала улыбка.)

МИХАЙЛА. Что такое приключилось?... Нюра! (Рванулся к двери, Пелагея заступила дорогу.)

ПЕЛАГЕЯ. Рожает Нюрка твоя, вот что... (Михайла ахнул, хочет пройти, Пелагея толкнула его в плечо.) В своем уме? Мужу разве допустимо?..

МИХАЙЛА (отошел, качает головой сокрушенно). Вот подошло, скажи на милость... Давно?

ПЕЛАГЕЯ (язвительно). Ты б еще дольше по улицам мотался. Стрелок!.. Сутки цельные... (Резкий крик в сосед-

ней комнате.) Так мается, так мается... Держит что-то, не пойму...

МИХАЙЛА. Что ж ты доктора... два ж шага от нас... Егор Егорыча? (Таня, отошедшая в угол, к рукомойнику и засучившая уже рукава для мытья, резко обернулась. Михайла глянул на ее изменившееся лицо.) Ты что, знаешь его, Гольшева, доктора?

ТАНЯ (с запинкою). Знаю... Я ж москвичка... здесь родилась... Неужто он так в том же проулке... дом с мезонином?

МИХАЙЛА (закивал). Во-во... Только за угол завернуть... Как же это вы, мамаша!

ПЕЛАГЕЯ. Было когда ходить! На кого я Нюрку брошу? Да и не пойдет он... Разве кто крещеный сейчас на улицу выйдет? На углу, онамеднись, двоих убило...

ДРУЖИННИК. Егор Егорович? Пойдет... Он — сердешный... Мы ж к нему все ходили... кто с чем... И денег не берет... Мы его в момент доставим. (Дружинникам.) Вали, ребята! (Выходят, пересмеиваясь и перекликаясь. Таня, опустившая было засученные рукава, опять обнажила до локтя руки и пошла к внутренней двери. Пелагея хотела остановить, но раздумала, посторжничалась, пропустила в дверь; только пожевала губами.)

МИХАЙЛА (очень расстроен). Эх, до чего не ко времени... (Опять дошел из соседней комнаты стон. Михайла весь сжался.) Да что ж это она... Неужто средств каких нет...

ПЕЛАГЕЯ (посмотрела на киот, всплеснула руками). Мати пречистая богородица! Дура я, дура петая. То-то она, родненькая, мучится... Свечи... свечи... Из головы вон. (Торопливо достает из киота две толстых восковых с позолотой и белыми померанцевыми цветами свечи. Торжественно.) Возжигай перед пречистою богоматерью, Михайла... Венчальные свечи родильну муку снимают...

МИХАЙЛА (смутился, огладил ладонью маузер). Вполне неудобно, мамаша... Суеверие.

ПЕЛАГЕЯ (*выпрямляется, медленно и грозно*). Что-о? Это ты о ком? Вот брошу все и уйду.

МИХАЙЛА (*испуганно*). Что вы, мамаша?.. Как же Нюра без вас... Ничего невозможно...

ПЕЛАГЕЯ (*язвительно*). Против царя идете, а без матери разродиться не умеете... Зажигай!

МИХАЙЛА (*сквозь зубы*). Ах ты... (*Чиркает спичку.*)

ПЕЛАГЕЯ (*тушит*). Не так... С молитвою надо... Читай богородицу... (*Крик в соседней комнате.*)

МИХАЙЛА. Мать... честна, ну что с ней сделаю. (*Чиркает снова.*) Богородица дево... (*Запнулся.*)

ПЕЛАГЕЯ (*подсказывает*). Радуйся...

МИХАЙЛА. Действительно, есть чему радоваться... Радуйся...

ПЕЛАГЕЯ. Крестное знамение сотвори.

МИХАЙЛА. Знамение? Извольте. Может, еще? Извольте. (*Крестится. Входная дверь открылась, входит Алексей. Он исхудал, сгорбился, волосы и борода совершенно седые, дыхание тяжелое и прерывистое. Остановился на пороге, удивленный. Михайла, вынесший руку, крестом, от правого плеча к левому, махнул ладонью, точно муху ловит.*)

ТАНЯ (*высунулась из двери*). Бабака Поля, воды горячий, живо! (*Пелагея ахнула, подхватила котел, тащит к двери. Таня с порога, широко раскрытыми глазами смотрит на Алексея. Дрогнувшим голосом.*) Товарищ Алексей...

АЛЕКСЕЙ (*болезненно усмехнулся*). Страшный?.. Верно... Скрутила тюрьма... (*Тронул грудь. Тревожно всматривается, лоя выражение таниных глаз.*) Не тот, да?..

ТАНЯ (*подходит, протягивая обе руки. Очень сердечно и тепло*). Тот же, тот же, конечно... (*Он крепко сжал ей руки, придвинулся, чуть не поцеловал, но отодвинулся снова, не выпуская таниных рук.*)

МИХАЙЛА (*около киота, после раздумья, мотнул головой и потушил свечи. Отошел, сел на табурет, сбросил валенок, и стал подшивать оборвавшуюся*

заплатку. Он прислушивается к тому, что делается в соседней комнате, и не обращает никакого внимания на Таню и Алексея.)

АЛЕКСЕЙ (*попрежнему очень взволнован*). Таня! Танюшка... Вот чуть ведь не уехал... уже в санях сидел... Меня на конференцию отправляют, партийную, в Финляндию, знаешь?.. И вдруг... Василий... говорит: Таня здесь... у Михайлы на ночевке.

ТАНЯ. Уезжаешь? (*Улыбнулась.*) Вот совпадение... Опять, как в Женеве, помнишь?.. Только теперь ты уезжаешь, а я остаюсь. Как ты тогда сказал: никак не можем встретиться.

АЛЕКСЕЙ (*еще крепче сжал танины руки, заулыбался тоже*). Я же — не в том смысле!.. И на этот раз мы встретились! да? Скажи, Таня, да?.. В тюрьме я все, все время о тебе думал.

ТАНЯ (*улыбаясь, ласковым и осторожным движением освобождает свои руки*). В тюрьме? Не в счет, товарищ Алексей... (*Открылась входная дверь. В обгон входящему Василию — Зайка, в ватной куртке, ушастой шапке, вооруженный.*)

ЗАЙКА. Т-таня, родная!.. (*Трясет ей руку.*) Здравствуй и еще раз здравствуй, и н-навсегда здравствуй!

ТАНЯ. Зайка, милый... Ну, ну, что кажись... Чем не полководец?

ЗАЙКА. В-воюю, Таня.

МИХАЙЛА. Еще как воюет... Позавчера, посмотрели бы вы, как он сумцев от Горбатого моста шугал...

ЗАЙКА (*отмахнулся рукой*). Ну, чего там... (*Тане.*) Т-ты про себя скажи...

ТАНЯ. Мне что делается...

ЗАЙКА. Э-замуж не вышла?

ТАНЯ (*засмеялась*). Мне и так от любви (*вдохнула глубоко*) воздуху не хватает. Вон вас сколько... хороших... Сверх всех да еще одного? Нехватит...

АЛЕКСЕЙ (*совсем помрачнел*). Ну, я пойду... Железнодорожники и так заждались, наверно... Значит, до свиданья, Таня? (*Смотрит на нее пристально и выжидающе.*)

ТАНЯ (*спокойно и просто*). Счастливого пути, товарищ Алексей!

АЛЕКСЕЙ (*задержал ее руку*). И все? (*Таня не ответила. Он нахлобучил шапку и вышел. Пауза.*)

МИХАЙЛА. Царский-то застенок, а?.. Отработали человека... Как он еще полтора года выжил...

ЗАЙКА. В октябре, когда мы тюрьму отбили, его на носилках вынесли... так был слаб... (*Тане, совсем тихо.*) Ты бы его... пожалела, Таня...

ТАНЯ (*оглянулась на Зайку, глаза стали строгими*). Это еще что за слово такое?

ЗАЙКА (*смешался*). Прости... Это я, конечно, глупо сказал...

(*Револьверный залп на улице, очень близко. Таня и Михайла бросились к окну. У всех руки на оружии. Ждут. Тихо. Внутренняя дверь открылась: Пелагея.*)

ПЕЛАГЕЯ. Отпустило, видно: задремала. (*Оглянулась на киот, увидела потушенные свечи, насупилась.*)

МИХАЙЛА (*отходит от окна*). Наши чего-то балуются. (*Надел шапку, вышел. Таня явственно разволновалась сильно, но сдерживается.*)

ВАСИЛИЙ (*Тане*). Ну, как... постреляла? На Пречистенке была? (*Таня кивнула.*) Наступают наши?

ТАНЯ. Да... Общее положение как, на твой взгляд, товарищ Василий?

ВАСИЛИЙ (*повел плечами*). Патроны совсем на исходе, а то бы... В первые дни... малость дали маху... крепче надо было наступать... Недооценили собственных сил москвичи... (*Зайка хочет сказать, Василий остановил его жестом.*) Я ж не в осужденье... это не вина, а беда...

ЗАЙКА. М-меньшевики все время за фалды держали... Назад тянули...

ТАНЯ. Сейчас, сейчас-то как?..

ВАСИЛИЙ. До Садового кольца город за нами, крепко... Чудесно бьются ребята... Но с руководством (*развел руками*)... Связи нет... Каждая дружина — сама по себе... И районы — каждый сам по себе. Замоскворечье, хотя бы... Сейчас вот как нужно бы, чтоб они от Москва-реки поднажали, а о них третий день и вестей нет... Вот, кстати, тебе и срочное задание: проберись к

ним, Таня, и организуй. Чтобы в ночь сегодня...

ТАНЯ (*после секундного колебания, замеченного, однако, Василием и Зайкой,—они переглянулись удивленно*). Если надо, конечно... (*Одевает полушубок, перекидывает ремень маузера через плечо.*) Ну, говори, что делать?

(*Говор у входной двери. Вваливаются гурьбой дружинники, с Михайлой во главе, очень возбужденные. Они вводят доктора, пожилого, высокого, красивого мужчину, с окладистой бородой и в очках. Увидев Таню, он останавливается, тяжело переводит дух.*)

ДОКТОР (*овладев собою, негромко*). Вот где довелось встретиться... Четыре?.. Сколько?.. Пять лет?

МИХАЙЛА (*Василию*). Привесть—привели. Да уж не знаю, как и быть...

1-й ДРУЖИНИК. Зашли мы, понимаешь, смотрим, что-й-то перепугу много... С чего бы?.. А ну, ребята, пошарь... Пошарили... Такого леща выловили...

2-й ДРУЖИНИК. Офицера охранного... жандармского... по всей форме. В спальне укрывал... Вот тебе и «сердешный»!

ДОКТОР. Как вы не хотите понять... Это ж простой человеческий долг... долг человеколюбия... Отказать ему, запретить перед ним дверь — было б все равно, что своими руками убить.

1-й ДРУЖИНИК. А что еще с ним, охранным, делать?

ДОКТОР. Будь из вас кто-нибудь в такой же опасности, я совершенно так же...

2-й ДРУЖИНИК. Для тебя, что жандарм, что рабочий, — все одно, стало быть? Одинаково хороши?

ДОКТОР. Причем тут... «хороший» или «дурной»? Перед болезнью и смертью все — одинаково люди. И нет выше долга для человека, как спасти человека от смерти.

МИХАЙЛА. Не всяк, кто на двух ногах ходит, человек.

ДОКТОР (*покачал головой с укоризной. Обернулся к Тане, в упор*). Вы... тоже так думаете?



ТАНЯ (выдержала взгляд; чуть дрогнул голос). Да. Так.

ДОКТОР (отвел глаза, пожал плечами). Ну что ж... Разговаривать нам с вами, очевидно, больше не о чем... Друг друга нам не убедить... Тем более, что у вас (скользнул взглядом по оружию в руках дружинников, остановил его пристально на маузере, висящем у пояса Тани)... руки уже в крови...

(Таня дрогнула гневно, хотела что-то сказать, но Василий предупредил.)

ВАСИЛИЙ. Как у вас — после операции.

ДОКТОР (возмущенно). И вы... можете сравнивать! (Резко повернулся к Пелагее.) Где больная?

ПЕЛАГЕЯ. Сюда, сюда пожалуйста, батюшка Егор Егорыч...

1-й ДРУЖИНИК (негромко). Допускать ли? Еще уморит Нью-то.

ДОКТОР (услышал уже на пороге, обернулся, страшно взволнованный). Не смеете! Стыдно... Я людям... жизнь отдал... Я — врач, понимаете вы? (Выходит, Пелагея за ним. Пауза.)

МИХАЙЛА. Вот, скажи на милость... Что с таким человеком делать? Жандарма укрыл... а стукнуть его — тоже как будто неловко... (Пауза.)

2-й ДРУЖИНИК. Добро от него видали... Да и будет... Только вот вера у него — дурацкая...

МИХАЙЛА. То-то, что вера... Я так и сужу: просто несчастный он человек, а, товарищ Василий? Около людей хлопочет, а безо всякой любви живет...

ЗАЙКА (закивал, радостно). В-вот, это ты верно. Без любви человек...

(1-й дружинник махнул рукой, словно подчеркивая, что вопрос о докторе кончен, и подтянул пояс, готовясь уходить. Стали снаряжаться к выступлению и остальные дружинники. Защелкали затворы.)

ВАСИЛИЙ. Танюша... (Таня, молча стоявшая у стола, подходит. Василий — тихо.) Отец?

ТАНЯ. Да. (Пауза. Таня тряхнула головой, застегивает полушубок.) Ну, объясняй скорей, что там... в Замоскворечьи? Торопиться надо. Ночь над городом.

## Картина 22-я

Улица. У домов кое-где, зажавшись во впадины ворот, несколько человек напряженно смотрят вдаль, вдоль улицы. В под'езде дома — девушка, в наброшенной на плечи шубке.

Залп. Звон разбитых стекол. Люди прячутся поспешно; остаются только девушка на под'езде, и мальчик — у ворот. По улице, пригибаясь, беглым шагом подходят Василий и Михайла.

МИХАЙЛА (на-ходу, маузер в руке, оглядываясь). Говорил, напоремся... Нет, обязательно, чтоб самому... (Снова залп. Василий и Михайла прижимаются к стенке.) Ишь... чешут... Кабы нам столько патронов...

ДЕВУШКА (с под'езда быстро). Идите, скорей... к нам... Укроем...

МАЛЬЧИК (вывернулся из-под ворот). Сюда... дяденьки... тут... двор проходной.

ВАСИЛИЙ. Проходной?.. Вот это дело... (Девушке.) Спасибо... (Скрывается в воротах. Девушка захлопывает дверь. Улица опустела совершенно. И тотчас почти появляются цепью солдаты с винтовками наготове, зорко глядясь в окна, в ворота, заборы.)

1-й ОФИЦЕР. Огонь! (Солдаты скидывают винтовки.)

2-й ОФИЦЕР. Да ведь нет никого...

1-й ОФИЦЕР. Все равно... для острастки...

(Революционная трескотня слева. Волнение в цепи: солдаты оглядываются, часть встает без команды.)

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ (тревожно). На фланге, вашбродь... Не обошли бы...

1-й ОФИЦЕР. Не разводи паники... Возьми отделение из резерва, выдвинь по Козихинскому.

(Полным ходом подкатывает самокатчик.)

САМОКАТЧИК (подает пакет). Из штаба, вашбродь. Весьма срочно.

1-й ОФИЦЕР (торопливо разрывает пакет). Хорошо. Можешь ехать.

САМОКАТЧИК. Дозвольте... со взводом. И так — едва проскочил... Наши уж по Тверской отходят...

2-й ОФИЦЕР. Как? А. Страстная?..

1-й ОФИЦЕР (остановил его за рукав, глазами показав на солдат; быстро и тихо). Страстная очищена. Приказано отходить к Манежу:

2-й ОФИЦЕР (тоже тихо и нервно). К Манежу... Эдак они нас... в Кремль вобьют, голодранцы. Позор... пятнадцать тысяч штыков... восемь дней отступаем.

1-й ОФИЦЕР. Потерпи... утром высадились семеновцы и артиллерия... (Фельдфебелю.) Отходить... перебежками!

(Короткая команда фельдфебеля. Солдаты отбегают. Сцена пустеет — и почти тотчас в заборе с треском вылетает доска, вторая, третья, — в пролом выходит, пригнувшись, Михайла с маузером в руке, за ним дружинники. Из дверей домов, из ворот мгновенно показываются люди, заполняя улицу.)

МИХАЙЛА (дружинникам). Наддай... наддай... не давай задерживаться... Матвей, с десятком — до угла, оттуда — вроссыпь: по два-три человека... Кто есть из новых? — помнить инструкцию: в лоб не соваться!.. Обходи проходными дворами... а нет — задворками, по крышам — в тыл, сбоку заходи, сади с близкой дистанции! Патроны береги пуше глаза!.. Только по верной цели!.. (Матвей, часть дружинников уходят бегом. Окружающим.) А вы что ж без дела, товарищи?.. Заваливай переулком... Баррикаду!

МАСТЕРОВОЙ. Только вас и ждали, товарищи... Берись, ребята. (Раскачивает столб.)

2-й МАСТЕРОВОЙ. Пилу бы... или топор.

МАЛЬЧИК. Пила... у попа во дворе есть... Иди, проведу.

ОБЫВАТЕЛЬ. Вы б заодно попадьё сюда: до чего рыхлая — весь переулок сразу завалит...

(Со всех концов тащат доски, бревна. Домашнюю рухлядь, санки, громоздят, при помощи и по указанию дружинников.)

ДЕВУШКА (на подъезде дома, Михайле). Отдохнуть, может быть, товарищи... чаю?.. Поесть чего-нибудь... Я — состряпаю.

МИХАЙЛА. Чай — что! Нам бы патронов... Не стряпаете? Вот то-то и есть... Чего нужного не знаете... А отдыхать — в могиле будем... лет через пятьдесят, бог даст... Смотри-ка, еще наши!

(По переулку грузинская дружина во главе с Леваном.)

1-й ДРУЖИНИК. Грузины.

МИХАЙЛА. Хор-рошая дружина!.. Только горяча больно.

(Дружинники сходятся. Жмут другу другу руки.)

ЛЕВАН. Как дела?

МИХАЙЛА. Были б патроны — к вечеру бы до Кремля дошли... С зарядами слабо... вот в чем главное дело... Распускать людей приходится... нечем стрелять. В Замоскворечьи — нынче в ночь товарищ разведал — вовсе кончили... Ни синь-пороху... А как бы ладно — с той стороны поднажать.

ЛЕВАН. Нажать, нажать надо!.. Совсем я опоздал.

МИХАЙЛА. Куда?

ЛЕВАН. Я ж в Петербург ехал... Ты — партийный, да? Ну, на партийную конференцию, я — от Батума... В Москву приехал, вокзал: слышу — восстание... Значит, драться надо... А то — Коба мне что скажет, как в Петербург приеду. Ты, революционер, скажет, что? Мимо какого дела проехал?

МАХАЙЛА. Какой Коба?

ЛЕВАН. Коба не знаешь? А чего ты тогда, скажи, знаешь. Первый человек у нас на всем Кавказе. Сейчас никак рассказать нельзя, очень много: где какая революция есть — Батум, Тифлис, Баку, Чиатуры, Гурия, Елизаветполь — где еще? Значит, это он, Коба... А ты не знаешь!

МИХАЙЛА. Ну, так то Кавказ.

ЛЕВАН. Революцию что, одна Москва делает? Кавказ тебе — ничего? Сто народов в России есть — все ничего? Москва одна, э? Дерешься ты хорошо, я видал, а говоришь плохо. (Постукал пальцем по лбу.) Голова не думает.

МИХАЙЛА (смутился, похлопал Левана добродушно по плечу). Ишь... строгий. Вы сейчас куда? На Никитскую?

ЛЕВАН. Сначала — патронов надо. У нас — кинжалы одни. Совсем патронов нет. Дай.

МИХАЙЛА. Откуда дашь, когда у самих — по пятку на затвор.

2-й МАЛЬЧИК (*примчался вихрем*). Дяденьки... Я с Никитской... Там войсков... черным-черно... Семеновцы и пушки... Четыре пушки... я сосчитал...

МАТВЕЙ (*с дружинниками, возвращается*). По Тверской гренадеры в наступление перешли... Василий приказал: оттягиваться с боем на Пресню.

МИХАЙЛА. Ожили, гады!.. Подвалила к ним сила!.. Э-эх, как мы теперь... без патронов!..

ЛЕВАН. Подели, сколько есть, вместе пойдем.

МАТВЕЙ. Чего делить, ежели... что в стволе сидит, то и есть...

МИХАЙЛА. Охота мне все же семеновцев пощупать... из последнего... Ежели переулочками — да во фланг!..

МАТВЕЙ. Кудринку займут... отрежут.

ЛЕВАН. Прорвемся, зачем! У нас — кинжалы есть.

МИХАЙЛА. Пошли...

2-й МАЛЬЧИК. Куда?.. я ж говорю: пушка...

МИХАЙЛА. Ну, пушка... Только что стреляет, а то какой от нее вред?.. Матвей, ты — бульваром, а мы — по Бронной... Ежели на прорыв всем вместе, кулаком надо бить...

(*Уходят. Люди около баррикады молча провожают их глазами. Далекий, нарастающий постепенно, барабанный бой.*)

### Картина 23-я

*Ночь. Площадь, скупо освещенная одним только фонарем на углу. Вдали белеет, сквозь мрак, одинокая колокольня.*

*Через площадь, пригибаясь, спотыкаясь на снегу, время от времени перебегают черные тени людей. И на углу — осторожный обывательский шопот.*

ШОПОТ. Вы — с Гранатного? Как там?.. Патрулей нет?

— Спас бог... Не встретил.

— Дожили, можно сказать... Не знаешь, как до дому дойти.

(*Справа, далеко, залаяла собака. Отозвалась другая, третья, дальше, дальше... вокруг, опоясывая сцену.*)

ШОПОТ. Слышишь?.. Собаки... По чужому... и по многому... Войска, не иначе, идут...

— Окружают... пресненских...

— А по городу — тихо стало... Не видать дружинных... Солдаты одни.

(*Одиночный выстрел... Визг пули, на излете. Прохожие плотней прижимаются к стенам.*)

*Отдаленный топот идущей кавалерии. Скрип колес, гроыхание пушек. Приглушенный, далекий отзвук — тихим голосом отданных команд.*

*Опять скользят, перебега, тени.)*

ШОПОТ. Война... по всей форме...

— В капкан берут, — со всей империи никак войско согнали...

(*Скрип полозьев, чмокание извозчика, понукающего лошадь. И, внезапно, сильный, хриплый оклик:*

— Стой!

*Около силуэта саней, в глубине сцены, блеснули в темноте солдатские штыки.)*

ЕФРЕЙТОР. Чего ночью ездешь?

ГОЛОС ТАНИ (*веселый, разбитной*). Но-очь! Сказал! Только в самый раз в гости...

ЕФРЕЙТОР. Закуковала, кукушка... Чего везешь?

ГОЛОС ТАНИ. Пушку, не видишь... Легче вороши, выстрелит.

(*Солдаты берутся около саней.*)

ЕФРЕЙТОР. Мука. никак в мешке-то?

ГОЛОС ТАНИ. Догадался. А то — развяжи, прощупай. Только не раструси, смотри. Мне от купца попадет.

ЕФРЕЙТОР. Купца?

ГОЛОС ТАНИ. Мука-то чья? Я у купца в услуженьи... Пекарни-то, прости господи, который день не работают... Приказал муку со склада привезти: печь буду.

ЕФРЕЙТОР. А ночью — зачем?

ГОЛОС ТАНИ. Ясное дело — спокойней. Ночью, кроме вас, солдат, никого на улицах нет... А днем — того гляди на дружинников еще напорешься — отберут.

ЕФРЕЙТОР (*солдату*). Ну, чего возишься?

1-й СОЛДАТ. Да не развязать никак... Руки застыли... Опять же — узел.

ГОЛОС ТАНИ. У Никитских затынули, как досматривали. Я ж ему говорила: послабже.

ЕФРЕЙТОР. Досматривали?

ГОЛОС ТАНИ. И не говори. Пока ехали... восемь раз, как есть, на каждом углу... Иззябла вся, моченьки нет...

1-й СОЛДАТ. Не распутать... Дайка нож, что ли.

2-й СОЛДАТ. Да чего там... Мука, на-ошупь видно...

ЕФРЕЙТОР. Ну, чорт с тобой, езжай... Далеко?

ГОЛОС ТАНИ. Теперь уж, слава богу, рукой подать... Насупротив Девяти Мучеников дом наш.

ЕФРЕЙТОР. Супротив церкви?.. Смотри, девушка, поакkuratней... Там Горбатый мост близко... А на Горбатом дружинники.

ГОЛОС ТАНИ. Никто, как бог. Трогай, бабушка...

*(Извозчик чмокнул, сани тронулись. Патруль прошел дальше, колыша штывки. И почти тотчас — мерный, тяжелый шаг подходящей пехоты, на площади показывается голова колонны. Впереди группа офицеров.)*

ГОЛОС ЖИГМОНТА. Стой! Составить ружья!

МЕРТВАГО (*смотрит вдаль*). Смотри, Жигмонт... Кто-то едет... к Пресне... Послать задержать?

ЖИГМОНТ (*смотрит тоже*). Задерживать можно проще... Сидоров, винтовку. (*Солдат, подбежав, подает винтовку.*)

МЕРТВАГО. А... если — обыватель?

ЖИГМОНТ. Тем хуже для него: пусть не шляется ночью... Впрочем, на его счастье: я дам только один выстрел. (*Стреляет, отдает винтовку.*)

МЕРТВАГО (*всматриваясь*). Не видно...

ЖИГМОНТ (*пожал плечами*). Нечего и смотреть. Я взял императорский приз по стрельбе.

*(Подходит офицер.)*

ОФИЦЕР. Биваком станем?

ЖИГМОНТ. Да. Здесь — до утра. На рассвете зайдем исходное для атаки положение: у Пресненского моста. После артиллерийской подготовки — общий штурм!

МЕРТВАГО. Верно, что в дело введут тяжелую артиллерию? Но ведь... за час какой-нибудь гранитного огня от всей Пресни головешки останутся.

ЖИГМОНТ. Несомненно. Государь-император на докладе об усмирении Туккума всемиловитейше изволил положить резолюцию: «Надо было сжечь город; иначе усмирение не даст должного эффекта». Принято к сведению: на этот раз его величество будет доволен. В приказе по полку сказано ясно: «Пленных не брать», а эта чортова Пресня в стальном кольце... Ни одна живая душа не уйдет. Под корень!.. Потому что, если они сохранят живую силу... (*Тяжелый пушечный удар.*) В добрый час!.. Батарея открывает огонь.

#### Картина 24-я

*Столовая на Прохоровской фабрике. Входят и выходят люди. На полу, в углу, Пчелка складывает оружие в ящик: кругом нее хмуро стоят дружинники. За окнами слышны тяжелые, гулкие разрывы. Входит Таня, за ней дружинники волокут два мешка.*

ПЧЕЛКА (*поднялась с полу, бросилась навстречу Тане*). Привезла патроны?

МИХАЙЛА. Поакkuratней... Мука-то еще пригодится.. Нюра как?..

ТАНЯ. С дочкой, Михал Иванович. Поцеловать велела. Ты в счет запиши: мне сейчас некогда. (*Развязывает мешки при помощи дружинников.*)

*(Дружинники с веселым гоголом разбирают сваленное в ящик оружие.)*

1-й ДРУЖИНИК. А нам было приказал Седой — револьверы сдать... на сохраненье...

2-й ДРУЖИНИК (*метнулся к выходу*). Наши где?.. Мы тоже сдали...

3-й ДРУЖИНИК (*кричит в дверь*). Па-т-роны!

*(Около таниного мешка суетня. Бечевку обрезали, из опрокинутого на подстланный холст мешка вместе с мукой*

сыплются на пол запряганные в муке патроны.)

ТАНЯ. Товарищи... не годится так, надо организованно. А то совсем нехватит... Я ж мало... и самое, самое последнее привезла. Пчелка, зови Седого. Где он там? Смотри, что они делают. (Но патроны быстро расходятся по рукам. Таня подымается с полу, безнадежно махнув рукой.) Товарищи... Хоть мне-то самой дайте!

(Входит Василий, очень озабоченный. Посмотрел на то, что делается в комнате, еще больше сдвинул брови.)

1-й ДРУЖЕННИК. Товарищ Василий, патроны... Опять, стало быть, драться можно... А то мы совсем было в уныние пришли... Держали-держали город, а тут извольте радоваться... бить нечем...

ВАСИЛИЙ. Где Бирюков?

1-й ДРУЖИННИК. В спальнях... Пожар тушит... За ночь третий уже пожар... круто бьет нынче.

ВАСИЛИЙ. Готовят к штурму. На штык собираются. Пресню брать... Ну, это шалишь... Кликни Бирюкова... Седой здесь? Его зови... Кто тут из начальников дружин? (Осматривается.) Михайла, Воронцов... Малеев... Карпов... (Усмехнулся, кивнул.) Леван! (Леван подошел.)

ТАНЯ (сидит на столе, быстро закладывая патроны в обоймы. Напевает негромко. Ей вторит Пчелка и два-три рабочих, тоже снаряжающих обоймы):

Это будет последний  
И решительный бой...

ВАСИЛИЙ (нервно). Внимание!.. (Входит Бирюков.) Бирюков... А я уж за тобой послал...

БИРЮКОВ. С об'езда? Ну, какие новости? (Василий говорит, Бирюков кивает головой в такт.) Так... так... так... По Москва-реке ход еще свободен... по льду... У Камер-Коллежского Вала, говоришь? (За окном попрежнему бьют разрывы.)

1-й ДРУЖИННИК (вошел). Пристрелялись, дьяволы... Мамонтова фабрика горит.

ВАСИЛИЙ. Чего пристреливаться! Бьют прямою наводкой.

БИРЮКОВ. Тихо, товарищи. Посовещаться надо... насчет обороны... Вот, товарищ Василий доложит...

ВАСИЛИЙ. Товарищи! За сегодняшний день к царским войскам подошли новые силы. Подошли полки из ближних городов. Подошла царская гвардия. На каждого нашего бойца — (я считаю тех, у кого еще есть оружие) — у них сейчас по сотне штыков. К утру они закончат окружение, — со всех сторон тянутся к Пресне войска. И завтра — общий штурм.

ТАНЯ (радостно, во весь голос, — и со всех углов комнаты подхватывают бодрые, крепкие голоса).

Это будет последний  
И решительный бой...

ВАСИЛИЙ (поднял руку, резко). К порядку, товарищ Таня! Мы на военном совете, мы принимаем ответственнейшее решение, и здесь запевка не к месту... Момент требует здорового, твердого, верного решения... Пресня — единственный сейчас уголок земного шара, где царствует рабочий класс. И обязанность наша в нынешних наших московских боях, как была, так и есть: дать образец подлинного пролетарского героизма.

НАЧАЛЬНИК ДРУЖИНЫ. Пресня — под баррикадами вся... Мы держим еще и подступы к Пресне... Мосты за нами: и Пресненский и Горбатый.

2-й НАЧАЛЬНИК. Патронов, хоть и немного, но есть: стало быть, драться до последнего! (Гул одобрения.)

3-й НАЧАЛЬНИК. Умрем, но умрем славно.

ВАСИЛИЙ. Умереть — дело не трудное. И подлинное геройство не в том, чтобы броситься голой грудью на штыки: это может сделать и честолюбивый мальчишка. Подлинный героизм мудр, товарищи, — в этом его сила! И для нас не геройством, — преступлением было бы дать врагу радость на нашей крови протрубить победу. Мы — не мученики, ищущие райского венца на не-



# Коломенский завод\*)

Н. МХОВ

## Первые стачки

**В**есна на-редкость удалась ранняя и теплая. Был март, а земля уже высохла, и крестьяне налаживали сохи.

Утренники встречали рабочих морозные, сухие, но весенне-прозрачные, ослепительно солнечные. 9 марта прилетели грачи, 15-го затинтикали пеночки, и над осинovým мелколесьем, над отталой лестошней прелью низко потянули, цикая и хоркая, длинноносые вальдшнепы.

Захаров любил птиц. Он ловко подражал малиновкам, чижам, перепелам и первым посвистам соловьев.

Когда солнце тонуло в горизонте, украшая сосны шагреновым наливом, перед сном ярились, подражая всем птицам, дрозды.

Инструментальщик забирался в рябиновую гущу, расставлял силки, а в заросшем крапивой кусте пристраивал западню и с ниткой от дверцы на пальце ужом полз по земле к из'еденному муравьями и червями трухлявому пню.

В сумерках лес затихал необычайной певучей тишь.

Тени в лесу меркли, скрадывались, понизу оврага полз белесый туман, из-за деревьев возникала невесомая предвечерняя муть, воздух стыл в прохладной неподвижности, и, когда на востоке возникала, как залетная искра, звездочка, в бурьяне раздавался сочный свист соловья.

Захаров затаивал дыхание и ждал. Рваный пиджак, залатанный собствен-

норучно лоскутами различных цветов невероятная, тоже самодельная, шляпа делала его похожим на бродягу-шарамыгу, существовавшего разной разностью — и воровством, и христовым именем.

Изношенные вконец баретки с выглядывающим черным заскорузлым большим пальцем правой ноги дорисовывали облик бродяги.

За соловьиным бурьяном по дну оврага бежал прозрачный ручеек, а за поворотом, где из-за оврага возникали избы Протопопова и ручеек весело вливался в каменистую Коломенку, протопоповские ребятишки ловили раков.

Раками Коломенка изобиловала. Пономарь Мефодий налавливал в день по 300 штук. Именно поэтому прозвище его «Рачный» перешло в фамилию Рачников. Метод его ловли был мучительный, но верный. В вымоины под камни и коряги он опускал указательный палец и ждал, когда сожмет его клешнями рак. Едва рак ухватывал палец, пономарь неторопливо выводил руку из вымоины и сразу вытаскивал ее из воды. Рак шлепался на берег. Мефодий отчаянно тер землей окровавленный палец, кряхтел и шипел какие-то заклинания, одновременно выражая лицом физическую боль и гордость победителя.

Судя по тому, что ему вскоре протопоповские знахарки облепили палец паутиной, отчего рука вся вздулась и потемнела, смерть пономаря, надо полагать, последовала от заражения крови, благодаря прославленному им методу ловли раков.

Семен ловил раков кошелкой и штанами. Улов был небольшой, но обяза-

\*) См. «Новый мир», кн.кн. 5, 6 и 7 с. г.

тельный. В воскресенье с утра веселой гурьбой ребятишки бежали по оврагу к Коломенке. Каждый пойманный рак вызывал восторг, горделивые возгласы счастливого обладателя и завистливый писк малышей.

Первый раз Сенька попробовал ловить пальцем, когда сын волостного писаря Сережка Брыкач переловил его на целых пять раков.

— Ты до меня не равняйся! — убежденно пояснил Сережка. — Тебе харч не позволяет долго в воде стоять — терпежу нехватит, потому что у тебя мяса мало и кожа тонкая!

— Посмотрим! — с ненавистью ответил Сенька и, решительно шагнув к валуну посредине речки, сунул под камень уже зачернелый от горна, огрубелый в кузнечной работе палец. Сначала он ощутил холодную шероховатость спинного панцыря рака, затем паучий щекотливый перебор лапок по ладони, и вдруг острая боль, словно иглой, пронзила его до самого сердца.

Сенька вскрикнул, рванул руку и оттого, что увидел, как на пальце, уцепившись клешней, противно топорща лапы, в воздухе висел рак, закричал еще сильнее. Рак повисел секунду, разжал клешню и шлепнулся в воду, но Сенька, мгновенно забыв боль, успел прихлопнуть его штанами.

На берегу в зеленой самодельной шляпе стоял человек с силком и клеткой на крюке через плечо, весело скаля ровные, белые зубы.

— Ну, и дурак ты, Сенька! Мужчина в полной мере, рабочий человек, а дурасти, как в писаревом сыне. Скажу заводским, беспременно скажу — пальцем, дескать, в пономаря вышел, а умом в рака!

Ребята захохотали, начали дразнить. Сенька густо покраснел, набычился. Он знал Захарова по Пономареву, знал, что его уволили за «политику», знал, как почтительно слушают его рабочие, и ему вдруг стало очень стыдно своего мальчишеского, пронзительного крика.

— Сперва больно, а опосля ничего! — оправдался он, искоса поглядывая на птицелова. Но тот, покачав головой, строго сказал:

— Не дело! Воспалишь палец — умрешь! Лови, как все ловят! Рабочему человеку жить надо, а не умирать! Вместо раков ты бы птицами занялся: и приятно, и полезно, и прокормиться можно! Ну-ка, одевайся — да айда со мной!

Сенька послушно натянул на мокрое тело одежонку и под смех, шутки и обидные выкрики ребятишек молча зашагал за птицеловом вглубь заросшего оврага.

С тех пор у Ситникова на всю жизнь сохранилось в сердце светлое и нежное чувство к Захарову — первому своему учителю и другу, влюбленному в природу и птиц.

Захаров был разговорчивый, жизнерадостный человек. Говорил он, будто рассуждал вслух сам с собой, и потому речь его была строга, серьезна, значительна. Семен слушал молча, внимательно. Много из рассказов Захарова он не понимал, но, боясь показаться глупым, недостойным взрослого разговора, мальчишкой, не переспрашивал, утвердительно гмыкая и кивая головой.

Здесь, в бурьяне, на источенном старом пне, Захаров учил Сеньку грамоте, и первые два слова «Семен Ситников» неровными буквами наискось были вырезаны Сенькой ножом на этом же приветливом пне.

Часто, лежа животом на земле, подперев ладонями подбородок, Захаров подолгу следил за умной суетой больших лесных муравьев и негромко говорил, мечтательно отождествляя их с людьми:

— Здесь нет богачей! Заметь, Сеня, жизнь каждого у них обеспечена трудом! Все одинаково работают со знанием и любовью к своему делу! Поэтому они и живут таким огромным единым домом, — труд всех уравнивает, некому кичиться и за счет чужого хребта жир себе нагуливать! Вот когда у нас так-то начнется, когда ни богача, ни знати не будет, а каждый будет рабочий своего дела, тогда все будут сыты, веселы, и не жизнь у нас будет, а соловьиный перелив!

— А когда это будет? — строго спрашивал Семен. Захаров темнел, красивые бархатистые брови сдвигались, образуя резкую, глубокую морщину над пере-



носьем, лицо делалось жесткое, каменное, и в голосе появлялись металлические нотки.

— Когда всю сволочь перешибем!

И, резко повернувшись на бок, прерывая разговор, хлопал ладонью по тощей, без переплета, печатанной на шпирографе брошюре:

— Ну, слушай: «Социалисты-революционеры, которые требуют крестьянам землю, а рабочим и всем прочим жителям свободу, не понимают, что земля сама по себе, без машин и семян, ничего, а свобода без заводов и фабрик, без власти тоже пустой звук. Царь силен войском, капиталом, рабством рабочих и крестьян. Уничтожив рабство, овладей заводом, прогони акционера, дай крестьянам машины, обеспечив их всем крестьянским инструментом, — вот это и есть революция»<sup>1)</sup>.

Так, между ловлей синиц и малиновки, Сенька Ситников на пятнадцатом году своей жизни постигал грамоту и волновавшие заводскую жизнь политические мысли.

Между тем завод изо дня в день становился шумнее и тревожнее.

16 марта 1905 г., после того, как администрация объявила, что «дача» «за февраль будет производиться не 19-го, а 24 марта, а мартовская получка выдается только после пасхи, ввиду неимения в кассе завода свободных сумм», перед началом работы у конторы собралась двухтысячная толпа рабочих.

60 выборных рабочих от имени всех рабочих всех цехов потребовали: «с о е р е м е н н у ю в ы п л а т у з а р а б о т к а и л и — з а б а с т о в к а».

Гудок, надрываясь, давно призывал рабочих к станкам, но они плотной толпой стояли у крыльца. Тогда на веранду вышел директор и, не снимая форменного с молоточками картуза, высокомерно откидывая назад голову, объявил, что распоряжение о перемене сроков выплаты жалования сделано им ошибочно, что нет никаких оснований производить шум и дебош, что дирекция просит не волноваться и спокойно приступить к работе,

<sup>1)</sup> Из подпольной листовки, сохранившейся в архиве завода.

что заработок, как всегда, выдастся во время.

Рабочие, удовлетворенные и возбужденные легкой победой, весело разошлись по цехам.

Но не прошло и двух недель, как 400 рабочих новомеханического цеха потребовали, чтобы сдельные, сверхурочные и жалованье, получаемое ими в более низких расценках, чем в других мастерских, — так как работа здесь считалась благодаря механизации легче, — была уравнена с другими цехами.

Недовольство новомеханической мастерской перекинулось в другие цеха и быстро охватило весь завод.

Первая листовка, размноженная шпирографом, начиналась так:

«Доколе мы будем терпеть! Доколе будет висеть над нами плеть эксплуататоров! Не пришло ли время, когда рабочий должен предъявить счет кровососущим акционерам...»

Исправник Матов с сотней городовиков и десятком околадочных метался по цехам, выискивая листовки, расшвыривая из станочных шкафчиков инструмент, завтрак и одежду рабочих.

Толстопузый жандарм подходил к «подозрительным» рабочим, тыркал жирным пальцем в промасленную рубашку, грозно торпорицал рыжие усы, шипел:

— Все равно дознаюсь! Сгною!

Вечером исправник Матов подробно доносил московскому губернатору:

«Между рабочими появились такие лица, которые, ссылаясь на уступку конторы завода выдать расчет перед пасхой ранее объявленного срока, уговаривают рабочих предъявлять массой дальнейшие требования. В настоящее время обнаружено, что в таких действиях можно подозревать рабочих, крестьян Зарайского уезда Ивана Бутырина и Коломенского уезда Николая Васильева и Константина Урвачева.

За сим ставлю в известность, ваше превосходительство, что зачинщиками беспорядков также подозреваются следующие лица: Семен Козлов, по прозвищу Дарский, Василий Ларионов, Гуськов, Бычков, Капралов и состоящий под надзором уволенный инструментальщик Захаров».

Антон Иванович Лессинг, считая меры, принятые полицией, недостаточными, осторожно советовал московскому жан-дарскому управлению:

«Во избежание инцидентов, имевших место на текстильных фабриках господина Морозова, со своей стороны позволю себе советовать вашему превосходительству применить к зачинщикам и подстрекателям метод выселения за пределы губернии».

Ровно через три недели Матов получил распоряжение генерал-губернатора: «На основании постановления министерства внутренних дел, по предписанию товарища министра, поднадзорные мешчане города Коломны и поселка Бобрва Ватов, Букуев и Карасев высылаются на родину: Ватов — в Казанскую, Букуев — Пермскую и Карасев — Оренбургскую губернии, под гласный надзор полиции на год, с воспреещением после отбытия срока высылки жительства им в столицах и столичных губерниях в течение трех лет с момента окончания высылки».

Старика Пономарева два раза вызывал к себе в канцелярию исправник Матов и вел с ним «мирную» беседу о вреде неподчинения законам и сопротивления власти.

Исправник предложил старику «давать сведения о неблагонадежных мастеровых». Пономарев попросил отпустить его на ночь домой посоветоваться с семьей и спокойно самому продумать предложение. Матов согласился.

В два часа ночи старик с сыном погрузили весь свой небогатый скарб на ручную тележку, забрали инструмент, разобрали горн и мех и, оставив открытыми двери избы, потащились к Репинскому оврагу, мимо белой Троицкой церкви, вон из Коломны, по наезженной Каширской дороге.

Солнце застало их за границами Коломенского уезда, в каширской деревушке Студенке.

За Захаровым пришли в полночь. На властный стук тощая дверца комнатухи визгливо подалась внутрь, и окологочный надзиратель, подняв высоко над головой сальную свечу, осветил деревянный топчан, голый стол, скамью и зеле-

ную из ивовых прутьев и осоки шляпу на гвозде, а под шляпой, очевидно, специально для их прихода приколотую булавками, полосу бумаги с тщательно выведенными углем словами:

«Дурак на дураке, дурак дураком погоняет».

Окологочный так хватил шашкой по столу, что слетела доска и обнажился маленький выдвижной ящик. В ящике лежала желтая картонка с умело нарисованной чернилами фигой и короткой надписью с тремя восклицательными знаками: «Выкуси!!!»

А Захаров часов в 10 вечера задами пробрался к избе Семена, двором прошел в сени и, увидав Катю, поприсил:

— Катюша, покличь негромко Сеньку!

Семен слез с печи, недовольный превранным сном и удивленный поздним приходом Захарова, насупившись, скреб подмышкой. Катя смотрела на него и тихо смеялась.

Захаров ткнул его большим пальцем в бок.

— Спишь?! — и, подмигнув Кате, спутал ладонью вихрастые его волосы.

— Пойдем светляков собирать!

Семен знал, что просто из-за гулянья Захаров не оторвет его от сна и не потянет в лес. Он испытующе посмотрел в искристые глаза, в весело улыбающееся лицо и, не прочтя в нем ничего, кроме беззаботного довольства, строго наказал сестре:

— Мамке не говори, куда я ушел, скажи — с ребятами в ночное!

Выйдя за село, Захаров сразу заговорил строго-серьезно, как с равным по возрасту и по делу.

— Семен, в городе аресты! Букуева взяли, Карасева тоже, Пономарев удрал! Я вещички покеда у Сережки Зайцева бросил, а сейчас на время к Зарайску подамся! Народу сейчас перехватывают немало! Ты, гляди, осторожнее! Из наших ни с кем не заговаривай, книги за сажень в землю прячь! А сейчас надо сходить к ребятам, предупредить, да чтоб завтра по заводу раскидать бумажки!

Захаров из-за пазухи вынул пачку тонких листов, и Семен молча быстро

засунул их через расстегнутый ворот за пазуху.

Как-то раз, выжидая птиц, он полюбоствовал, откуда тот берет книги и листовки, но Захаров решительно заявил, что про это знать ему еще рано, и с тех пор он больше никогда его об этом не спрашивал.

В эту ночь Семен до зари бежал по знакомым квартирам рабочих, раздавал литературу, сообщал об арестах, предупреждал об опасности, в первый раз чувствуя себя настоящим революционером.

К гудку пришел он в цех бледный, изможденный, и едва сел на кучу угля у горня земляка Михайлы, как заснул мертвым сном. Горновой кузнец ткнул его два раза, потряс за плечо и, то ли вспомнив свое мальчишество, то ли по-отцовски шевельнулась жалость, ухмыльнулся в прожженную бороду и прикрыл его кожаным фартуком.

Но, к несчастью Семена, в это время за чем-то проходил между горнами Войтек. Тот самый Войтек, который, будучи заведующим административной частью завода, открыто шпионил за рабочими и которого отчаянный слесарь Василий Сорокин едва не избил в цеху при всех рабочих.

Он лисой подкрался сзади Михайлы, рванул фартук с Семена, взвизгнул.

— Это что за безобразие! Спать на работе! Ночи мало! С мальчишеских лет по ночам к бабам таскаться, водку пить, а у горна засыпать! Чей?

— Мой мальчик, подручный! — угрюмо признался кузнец.

— Так ты потакать! Оштрафовать мальчишку на пять рублей, кузнеца — на тройка!

Кузнецы молчали. Средний заработок кузнеца не превышал 22—23 рублей, мальчишки-сподручного — 10—12 рублей.

Войтек скрылся, семеня подагрически ногами, громко ругаясь. Михайла смачно плюнул на угли, рывком задержал Сеньку кожаным фартуком и зазвенел молотком по накаленной шляпке болта.

Семен спал тяжелым сном до беспмятства измученного человека.

В январе 1897 года заводоуправление ввело новое распределение рабочего времени. Оно уменьшилось на два с половиной часа в неделю, а предпраздничный рабочий день увеличивался на полчаса, таким образом, в общей сложности получалось значительное сверхурочное увеличение работы.

Иван Корсаков, слесарь машиностроительной, и Алексей Бабаев, пожилой столяр деревообделочной мастерской, сообщили у себя в цеху, что это распоряжение дано самим правительством и его надо было осуществить еще в январе прошлого года. Поэтому рабочие вправе требовать оплату за сверхурочные работы с 1 января за весь проработанный год.

Через месяц, в феврале, директор Бессер получил анонимное письмо, каллиграфически выведенное безупречным почерком:

«По распоряжению правительства сделано так, чтобы народ работал не более 10 часов, и это постановлено уже давно. Только Коломенский завод не исполнил действий правительства, и в настоящее время ночная смена в субботу не то что работает час меньше, но даже час больше против прежнего, и поэтому заявляем, что ежели вы нам не уплатите за проработанный час за весь год, то будет произведен такой скандал, который обойдется акционерам в тысячу раз дороже».

### Битый

Под «Битым» Матов тотчас же узрел Василия Сорокина. Его схватили в Щурове на берегу Оки, когда счастливый рыболов вытаскивал на живце аршинную щуку.

Несмотря на клятвы и явное доказательство, что это не он писал, сравнением его каракулей с каллиграфической анонимкой, Сорокина избili в камере околodka испытанным полицейским боем «под душу» кулаком, через мокрое полотенце. Василий через пять дней вышел из участка, сразу похудевший, будто год не ел, шатающийся, будто пьяный, с дрожью ног и прерывистым дыханием, но без единой царапины на лице, без единой ссадины или синяка на теле.

Матов считал себя виртуозом по избитию без следов.

В Иваново-Вознесенске бастовали текстильщики, в Питере вспыхивали многотысячные стачки, в Сормозе судоремонтники потребовали смены директора и инженера, народ просыпался с тревожным чувством грядущих событий, ложился спать с неведеньем о завтрашнем дне.

В Коломне купцы усилили охрану дворов свирепыми овчарками, привезенными шевлягинским приказчиком из астраханских степей. У мясника Быкова пес бросился на зашедшего без стука стражника, и его едва отбили, вылив на собаку пять ведер воды. На стражнике в клочья был изорван мундир и до кости вырвано мясо на груди. Быков неделю держал у себя потерпевшего «царева слугу», кормил, поил водкой. Стражник ходил пьяный, приставал к стряпухам и грозил порешить купца за ранения «военного человека». Купец терпел, угождал, пока однажды не застал свою дочь Агланду с ним на сеновале. Утром воинский начальник Позументов получил преподношение солдатам гарнизона от купца первой гильдии Быкова—пять окороков ветчины, десять фунтов свиного сала, толщиной в четверть, и слезную просьбу прекратить бесчинства стражника. Подполковник Позументов отослал один окорок в казарму, а остальное приказал повесить у себя в погребе, тесно заставленном всяческим соленьем и копченьем. Стражник исчез.

Семен ходил унылый, одинокий. Ни бабки, ни лапта, ни крикливые вечеринки в деревне его не интересовали. Одному за птицами ходить было скучно, да и подманывать как следует не умел он.

Сборы у Пономарева, взрослые, осторожные разговоры о политике стали его потребностью, душевной пищей, без которой было очень тяжело и пусто.

Правда, Захаров говорил ему, что надо быть всегда сильным, не падать духом и при всяких обстоятельствах уметь бороться с капиталистом, но те люди, которые занимались революцией на заводе, скрылись, а оставшиеся так

замкнулись, что не было никакой возможности поговорить с ними по душам, и Семен мучился одиночеством и неведением.

Особенно тяжело ему было без Захарова. Тяжесть увеличивалась сознанием, что он где-то недалеко, где-то здесь следит за заводом и время от времени дает о себе знать теми листовками, которые вдруг появлялись в цехах и которые, Семен наверное знал, исходили именно от него.

Но больше всего его задело и обидело, когда однажды сестра Катя, проходя с ушатами на коромысле мимо него, значительно сказала:

— Пойди на огород и подожди там меня!

Катя осторожно, будто за ней крались, пробралась лопухами к сиреневому кусту, где ожидал ее Семен, и, быстро задрав юбку, развязала на бедрах полотенце, — на траву посыпались отпечатанные листы.

Семен сразу понял, откуда листовки. Кровь ударила в голову, он густо покраснел и, не подбирая листков, грубо спросил:

— Кто дал? Иль с Захаровым спуталась!

Катя вспыхнула, сжала строго губы, но сейчас же добродушно рассмеялась, собрала в стопку тонкие листики и деловито приказала:

— Спрячь, неровно кто заметит! Отнеси куда сам знаешь! Велел, чтоб завтра!..

Семен зачихал за пазуху пачку, но ответил непримиряюще:

— Коль тебе доверия больше, — ты и носи! А я, скажи, без него обойдусь.

Вечером Семен расспрашивал сестру:

— Да ты где видела-то его?  
И Катя, опять зардевшись, рассказала, как она ходила по грибы в Казанский лес, как ее напугал Петр Николаевич Захаров, выйдя вдруг из-за толстого вяза прямо перед ней, как она вскрикнула, как он хорошо успокоил ее и расспросил про деревенскую жизнь и в особенности про него, про Сеньку, как он говорил, что скучает по нему, но видеться с ним никак нельзя, потому что это и его, Сеньку, потубить может, и все

дело засыпать, и как он, доведя до опушки, вынул из-за пояса сверток и велел передать ему, Сеньке, а ей его так спрятать, чтоб никому не видеть.

— Развязала я утиральник от кошелки, в которой грибы таскала, да обмотала на животе!

И Сенька опять ощутил жгучий стыд, как тогда, на реке, при ловле раков. Опять он показался себе глупым, не достойным дружбы Захарова деревенским парнишкой.

Он смущенно, нарочито грубовато, прикрывая грубостью смущение, хлопнул сестру по округлому плечу:

— Ишь ты какая, Катюха, краля стала! У Захарова губа не дура!

И по-взрослому строго:

— Скажи ему — все сделаю! А ты, Катя, ни-ни, знаешь за это в Сибирь езданут!

— Ай я моложе тебя — учитель какой сыскался! — звонко рассмеялась Катя.

С этих пор частенько стала ходить Катя в лес за грибами, а Сенька ночами ходить к знакомым рабочим с литературой, неизвестно откуда получаемой Захаровым в глухом Казанском лесу.

Но ни листовки, ни единичные выпады рабочих против дирекции, ни примеры Иваново-Вознесенска и двух столиц не организовали настоящей рабочей забастовки на Коломенском заводе.

Как только дело доходило до крайности и возбуждение рабочих казалось готово было вылиться в забастовку, в восстание, — поднимались бородатые крестьяне-рабочие и начинали говорить об «урожае», о «скотине», о «доме, ожидаемом ремонта», о «крикливой бабе, пискливых ребятах» и «куда пойдешь — один гы, батюшка, ваше превосходительство, помощник».

— Мы, конечно, рази супротив власти! Ни боже мой! — подхалимствовал сивобородый парфентьевский Архип, плотник деревообделочной, низко кланяясь директору Бессеру, когда двухтысячная толпа требовала отмены директорского распоряжения: — Мы не супротив! Да жисть наша супротив: послабони малость! Ты, ваше превосходительство, для нас, мы для вас! Как по-

койный их превосходительство Аманд Егорович учил: друг за дружку!

За бородачом подымался гул одобрительных голосов стариков из ближайших и дальних селений, и рабочие возгласы тонули в них.

Крестьян на заводе было 2.450 человек, чистых пролетариев 800, и пока они не были организованы в единую социалистическую группу, они были бессильны противостоять крестьянским требованиям.

Именно только благодаря изобилию крестьян на заводе в годы первых революционных потрясений он отделялся короткими, по несколько часов, стоянками, легкими волнениями и отдельными выпадами, всегда погашаемыми компромиссными уступками хозяев, административным нажимом и выуживанием полицией «главарей» из пролетарской заводской массы.



Заводские события, как и весь завод, не волновали городских мещан. Круг их интересов попрежнему оставался ограниченным сплетнями о купцах, соседях, именитых горожанах и всяческими засамоварными пересудами. Город, будучи во власти канонного купечества, был провинциально патриархален и нерушим в своих вековых традициях.

Рабочих называли «забастовщиками», «крамольниками», говорили о них, как о враждебных себе, явно стоящих ниже людей.

Стачечное движение больших городов рождало у них фантастические рассказы о бомбах, о подкопах, о том, что «это дело рук туретчины с германцем».

Усытым сыновьям, под угрозой вечно-го родительского проклятия, запрещалось водиться с «разбойниками».

«Разбойники» отплачивали городским мещанам не меньшей любовью, и стоило, бывало, показаться в поселке чуйке или картузу с лаковым козырьком, как на него сыпались ядовитые остроты, и мещанин, спора от бессильной ярости и стыда, спешил выбраться к городу.

Рабочие жили сами по себе, мещане-горожане, не связанные с заводом, су-

шествующие базаром, торговлей, — сами по себе.

Но если революционного движения они боялись, забивались от него в свои норы, довольствуясь глупыми анекдотическими вымыслами о нем, то события, вроде пожара или смерти именитого согорожанина, долго овладевали их умами и сердцами.

В 1897 году, 89 лет от роду, умер Шевлягин, передав свое многомиллионное состояние незамужней 62-летней дочери Марии Николаевне, слывшей строгой, набожной и скардной старухой.

Хоронило его все коломенское духовенство, купцы несли хоругви и иконы, два хора двух соборов великолепным пением провожали сверкающее золотом шествие, а приказчики, налакированные и напомаженные, всю дорогу раздавали нищим копейки.

Нищие трех смежных уездов большой ровной толпой замыкали шествие. Старик Шевлягин лежал в дубовом гробу в синей ластиковой рубашке, в черном длиннополом в сборку сюртуке и в лакированных гармонью сапогах.

Широкая белесая борода строго покоилась на груди.

Мария Николаевна, сухонькая, низенькая старушка в черном полшалке, бережно поддерживаемая с обоих боков под лопатки городским головой Пасохиным и исправником Матовым, неторопливо шагала по еловым веткам, густо устилавшим последний путь Шевлягина.

Мария Николаевна ничего не изменила после смерти отца: и в доме, и в работе все осталось по-старому. Но не успели мещане насытиться пересудами о смерти миллионера, как иное событие целиком и надолго поглотило их любопытство.

Мария Николаевна Шевлягина привезла к себе двух племянников — детей своей, проклятой отцом, «блудной» сестры Веры Николаевны.

Так как скрыть что-либо от соседей, от чужих глаз в городе было совершенно невозможно, немедленно же неуловимыми путями от прислуживающей девчонки Маньки до соседской девчонки Катьки, от Катьки до кухарки Митриевны,

от Митриевны до «самой», от «самой» до «самого», весть разносилась по всему городу, и наутро герой происшествия обнаруживал, что все доподлинно уже всем известно — горожане знали все, что касалось жизни Веры Николаевны и двух племянников, переселившихся жить к богатой тетке.

Пища для сплетен, действительно, была неисчерпаемая, незаменимая.

История Веры Николаевны началась еще при жизни старика, когда она покинула семью и вскоре погибла, оставив мужу двух детей. Любовь, заполнившая ее жизнь счастьем и горем, сделала Веру Николаевну романтической героиней рода, которой втайне завидовали изнывающие от скуки купеческие девицы и молодящиеся чиновницы.

Все приключилось так неожиданно, ново и несоответственно сонному покою города, что возбудило неслыханное в истории города любопытство. Все от мала до велика были поглощены толками о Вере Николаевне Шевлягиной и ее избраннике. Одни осуждали, другие злорадствовали, третьи просто смеялись, четвертые негодовали, пятые радовались — в общем, все находилось в приподнятом, возбужденном состоянии.

Только один слесарь машиноборочного цеха Агальцов Иван Пантелеевич, проживающий в городе в подвале дома мещанина Лупкова, человек с руками до колен и прокопченной челюстью, безапелляционно заявил, выслушав рассказ о Шевлягиной:

— С жиру народ бесится, и ничего в этом деле нет серьезного; на то и парень с девкой, чтобы друг с дружкой сходить.

Но происшествие все-таки было весьма значительное и любопытства человеческого вполне достойное.

Восемнадцатилетняя розовощекая дочь знаменитого миллионера Николая Селиверстовича Шевлягина влюбилась в красавца-плотника Тимофея Кирсанова и, несмотря на угрозы отца, советы родных, уехала с ним за сто верст в родное его село — Тупицыно.

— Выбери, — предложил старик Шевлягин, — либо дом с отцовским бла-

гословением, либо прощальна Тимошка с проклятием!

Мольбы и слезы не поколебали твердости старика, но и не изменили чувства девушки: той же ночью, когда в доме все спали, она осторожно вылезла в окно и ушла к Тимофею.

Умирая, отец, не пожелав видеть дочь, завещал: «... внукам и внучкам паче чаяния, ежели оные на свет божий появятся от дочери моей Веры Николаевны, отныне и во веки веков родительского благословения лишенной, в случае оных детей бедствия назначаю пожизненное вспомоществование по усмотрению тетки ихней, моей старшей дочери, Марии Николаевны Шевлягиной». И умер с сознанием выполненного жизненного долга.

На восьмом году счастливого супружества с Тимофеем Вера Николаевна простудилась, слегла и через неделю погибла, оставив мужу 4-летнего Володьку и 6-летнего Петра.

Тимофей перестал плотничать, стал бесцельно шататься за селом, простаивать часами у реки и, наконец, не выдержав, запил вмертвую.

Уют, созданный любимой женщиной, рушился. Ребята бегали грязные, голодные, оборванные. Из дома начали пропадать подушки, одеяла, скатерти, но вместо желанного забвения водка приносила большую тоску и муку воспоминаний.

И вот однажды, уведомив письмом Марию Николаевну, что «нет возможности жить проводить без Вероньки», Тимофей Кирсанов бросился с железнодорожного моста в реку.

Мария Николаевна, памятуя завещание отца, лично приехала за племянниками, отслужила панихиду по безвременно «новопреставленным» Вере и Тимофею, пожертвовала богадельне девятиаршинный их ветхий домик «на помин душ» погибших хозяев и увезла с собой перепуганных ребятишек. В это время Петру исполнилось 14, а Володе 12 лет.

Все это так взбудоражило горожан, что просвещенный судья Цветочкин даже прочел лекцию в коммерческом собрании на тему: «Чувства и поступки»,

в которой, как дважды два четыре, стремился доказать, что последствия поступков, руководимых голыми страстями, приводят к беззаконию, страданию и даже смерти. Попытка обосновать свои утверждения, кончилась неудачей, так как судья Цветочкин никак не мог вспомнить нужное изречение о скорби и радости Платона, а приготовленная соответствующая цитата из «Критики чистого разума» Иммануила Канта, кстати выписанная им из отрывного календаря, оказалась забытой дома. Но судья вовремя вышел из затруднительного положения, подкрепив все сказанное жизненным примером пагубного чувства Веры Николаевны к плотнику, которое, по его словам, «глубоко задело общественное мнение и оскорбило священные устои семейных традиций!» А соборный архиерей в очередной своей проповеди к мирянам поставил вопрос со свойственной монаху решительностью и прямотой:

— Не указывает ли господь нам,—сказал он,—случаем смерти неразумной Веры на всевидение его неутайное и не напоминает ли всемиловитый отец наш о святости заповеди: «Чти отца и мать свою, и да долготелен будещи на земли!»

Мальчики скоро свыклись со своим новым положением.

Пятнадцати лет Петюшку отдали в церковно-приходскую школу, а тринадцати за ним пошел туда и Володя. Разница характеров двух мальчиков оказалась в раннем возрасте.

В то время, как Петр с утра до вечера гонял голубей, бегал с ребятишками по улицам, играл в бабки, участвовал во всех драках и мальчишеских похождениях, всячески избегая псалтыря, по которому учился грамоте, Володя любил одиночество и созерцание.

На сеновале он наблюдал пауков-крестовиков; в густом малиннике подолгу слушал пчелиный гуд, с наслаждением вдыхая медвяную малиновую сладость, рассматривая насекомых и пичужек, густо населяющих заросль.

Любил он в девичьей комнате, где жили огородницы, залезать на широкие полати и внимательными темными глазами сверху следить за девушками. Его

не любили, даже страшились, как страшатся непонятого, таинственного. Если его кто-нибудь обижал, он убегал в малинник или забирался на сеновал, закрывал ладонями лицо и долго, до боли головы, плакал, пока, утомившись, не засыпал, беспомощно, жалостно всхлипывая во сне.

Тетка считала Володю блаженным, поэтому многое ему прощала и жгла перед образом святого князя Владимира неугасимую лампаду.

С малых лет в Володе поражало недетское упрямство, с годами перерождавшееся в упорную настойчивость.

Возможно, здесь сказался характер дедушки Шевлягина, возможно, это было результатом безрадостного детства, а может быть, унаследовалась материнская настойчивость, — так или иначе, но не было ни одного случая, когда бы Володя отказался от своих желаний, либо уступил желаемое другому.

Ходил он медленно, в развалку, исподлобья, медвежонком (его так и звали «медвежонок»), поглядывая на окружающих, сторонясь людей, избегая разговоров, отвечая односложно, ворчливо.

Первая стычка произошла у него с дворником Лаврентием. Сваливая с сеновала лошадям сено, Лаврентий чуть не пырнул вилами спавшего там Володю.

— Вот скажу ужю тетке — она те нахлопает! — пригрозил Лаврентий, — слазь отседа!

— Не слезу!

— Пауки заедят! — пугал Лаврентий.

— Не заедят! — ворчливо огрызнулся Володя.

— Ну погоди же!

Рассерженный Лаврентий отстегнул реманный пояс и решительно потребовал:

— Слазь!

— Не слезу!

Лаврентий взмахнул ремнем и больно ударил мальчика. Володя закричал. Лаврентий, испугавшись крика, который могла услышать Мария Николаевна, выругался, махнул рукой и ушел с сеновала.

Владимир, наплакавшись, по обыкновению уснул, горестно вздыхая, жалостно всхлипывая.

Тетке он не пожаловался, но Лаврентий, боясь наговора, ненавдя его, стал перед ним заискивать.

Вскоре окружающие убедились, что Володя-медвежонок на своем обязательно настоит, поэтому, слабо возражая, всегда быстро уступали его желанию.

Тетка прямо-таки выходила из себя, но поделать все же ничего не могла и обычно, выпоров его, упомянув всех святых и угодников, прогоняла прочь.

Володя в синяках, слезах, неуклюже убегал, а через некоторое время делал по-своему то, за что был порот.

Особенно тяжело было тетке, когда Володя, кончив церковно-приходскую трехклассную школу, заявил, что в купцы не пойдет, коммерцией заниматься не будет, а поступит в гимназию и потом в университет.

Мария Николаевна всячески старалась заставить племянника подчиниться ее желанию и итти по стопам Шевлягиных. Уговаривала, плакала, молилась, выгодно сравнивала жизнь купеческую с жизнью чиновника, учителя, мастерового, неделями держала в запертой комнате, не давала читать книг и даже велела Лаврентию высечь его, что тот, памятуя прошлое, с большим удовольствием и жестокостью выполнил, но все было напрасно, шестнадцатилетний угрюмый Володя стоял на своем.

К осени Мария Николаевна не выдержала борьбы и, решив, что «бог даст, с годами одумается», отпустила Володю в губернский город держать экзамен в казенную гимназию.

В это время Петр уже был стройным молодцом, на которого не без тайных помыслов заглядывали местные девицы, мечтающие о богатом, знатном женихе.

Но Петру было не до купеческих дочек. Вечерами полольщицы собирались в саду играть в хороники, горелки, петь песни. Было волнующе-весело прятаться в темных ароматных кустах, обнимать упругое, крепкое тело, целовать влажные, податливые губы.

Петр нередко возвращался домой на рассвете, пролезая в свою комнату через заранее открытое двухстворчатое окно. Обозначившиеся в детстве жи-



вость, веселость вместо ожидаемой смелости и удалства к восемнадцатилетнему возрасту переродились в явную безалаберность, внутреннюю распушенность, заносчивость и зазнайство богача.

Тетка искренне любила племянников. Оставшись старой девой, с несбывшимися, похороненными девичьими мечтами, она со всей силой неистраченного материнства привязалась к ним. Петр беспокоил ее легкомыслием, беспечной праздностью, в которой она видела залог кутилы, прожигателя жизни; Володя — замкнутой вдумчивостью, недетской настойчивостью, наполнял душу тяжелой тревогой, той тревогой, которую обычно испытывают простые люди от непонятых, порождающих мрачные предчувствия, явлений.

Не раз в зимние ночи, когда за окном бушевала вьюга и надрывный плач метели сеял острую тоску воспоминаний, тревога охватывала все ее сухонькое, непознавшее любви существо страхом. Тогда Мария Николаевна одевала черный капот, большие костяные четки, неслышно подходила к образу св. Владимира, поправляла перед ним неугасимую лампаду и, опустившись на колени, долго кланялась белобородому лицу, старчески шелестя губами, стирая пальцами непрошенные бисерные слезинки.

И то ли какой-нибудь запоздалый обыватель, привлеченный полосой света на снегу, падающей из неплотно задвинутых ставней окна комнаты Марии Николаевны, увидел ее в слезах, согбенной перед лампадой; то ли в припадке раболепства салонница-приживалка решила посмотреть, «как почивает благодетельница», — для чего, неслышно подкравшись к двери спальни, заглянула в замочную скважину, и перед ней предстала Мария Николаевна с жарким шопотом горестных молений, — так или иначе, но горожане безошибочно определили состояние миллионерши:

— Старуха боится за племянников!

И тревога, скрываемая ею не только от посторонних, но и от самой себя, стала темой засамоуверных разговоров обывателей.

Горю и удивлению тетки не было границ, когда однажды весной к ней

заехал исправник, осушил графинчик вишневой водки и рассказал тысячу новостей о крамольниках, и уже в передней, влезая в тяжелую, на хорьковом меху, форменную крылатку, вспомнил:

— Чуть, мать моя, не забыл! Племянничек-то ващ, ученый-то, отличился: исключили из гимназии за вольнодумство и на год сослали в Вологодскую губернию!

Мария Николаевна, перекрестившись, не в силах сдерживать дрожь ног, опустилась на жесткий деревянный стул у зеркала в передней.

Исправник молодцевато щелкнул каблучками лакированных сапожков, пожелал не отчаиваться, а всемерно повлиять на перемену образа мыслей молодого человека и, сочувственно вздохнув, открыл дверь на лестницу.

Через три дня директор рязанской гимназии известил Шевлягину, что «опекаемый вами племянник, крестьянин села Тушипыно, Егоровского уезда, Владимир Тимофеевич Кирсанов, ученик 7-го класса предписанием министерства просвещения за принадлежность к преступной организации, ставящей себе целью подрыв существующих государственных устоев, исключен из вверенной мне гимназии без права поступления в какие-либо казенные учебные заведения Российской империи». Затем, меняя официальный тон на почтительно-дружеский, благодарно сообщил, что, «зная ваше радение о благе нашего государства и твердость верно-подданных, истинно христианских чувств, имею честь сообщить, что вклад в гимназию, сделанный вами в размере 20 тысяч рублей, принят. Племянник ваш пребывает в Вологодской губернии, Вельского уезда, селении Пятнашки».

Мария Николаевна тотчас же вызвала своего духовника, протоиерея Пробатова, и тот по ее указанию написал Владимиру пространное, назидательное и, как казалось тетке, очень чувствительное письмо. Через месяц пришел короткий ответ:

«Живу замечательно. Очень доволен. Обо мне не беспокойтесь и пишите письма без помощи попа Пробатова, — он глуп и ваши чувства объясняет так, что

в них не веришь. Денег пока не надо. Сыт, обут. Через 10 месяцев приеду в Коломну.

Целую. Володя».

Мария Николаевна залилась слезами и успокоилась: Володенька жив-здоров, ни в чем не нуждается, а там, что бог даст.

Четыре с половиной года о Владимире не было ни слуху, ни духу.

Только Захаров, тоже пропавший после ареста заводских революционеров, вдруг прислал Семену через Катю в конце лета маленькую писульку:

«Здесь по деревням ходит наш миллионершик, шевлягинский племянничек. Попал сюда из Вологодской, кажется, пробирается в Коломну. Целуется с мужиками, лижется с бабами и всех поучает жить в согласии и в свободе. Но что к чему, разобраться сам не может. Он не глуп, но дурак. Пустобрехов без него много. — Скоро увидимся».

Семен задумался над фразой «не глуп, но дурак» и, не поняв ее, раздраженно сказал Кате:

— Часто ты стала видаться с ним, а дела тебе не деворяет, значит, ты ему баба!

Катя вспыхнула, закрыла передником лицо и горько разрыдалась. Он неловко погладил сестру по плечу и, не зная, чем утешить, трудно подобрал нужные слова:

— Ну, разнюнилась! Эка невидаль! Милуйся покуда — рази я выдам! Ай, отяжелела?

— Что ты, с ума спятил!

— Чего ж коровой реветь! — озлился брат.

— Любим мы!..

— Эко дело! Тут людей сажают, а она... тьфу! Дура! Гляди, еще его заваляшь и сама засыпешься!

Семен вообще за последнее время был мрачен и зол.

За кузницей, где кучи гари и угольного мусора отделяли старый цех от нового механического, образуя черную, неровную гряду, в которой Семен не раз припрятывал листовки, на-днях был разговор с чернорабочим-татаринном, громоздким, низколобым, круглоголовым детиной.

Появился он на заводе прошлой осенью, приплыв на самосплаве из-за Казани с «девахой», не уступающей ему ни ростом, ни округлостью лица, ни тупым безразличием к окружающему. Пропил он быстро, еще того быстрее распрощался со своей «медованной» и через три недели после выкатки леса на берег пристроился чернорабочим на заводе.

Рабочие его сторонились, считали купленным полицией и при случае старались всячески избавиться от него.

Татарин был молчалив, туп, неподвижен. В свободное время он часами сидел на скамейке у дома, лениво следя за прохожими, дремля и сладко зевая.

Он неожиданно подошел к Семену, когда тот собирался извлечь переданный ему Сорокиным сверток из кучи бурой гари. Тяжело ворочая языком, напроорочил:

— Пропадешь, паря! Одна шайка-лейка! Всех вас видать!

Испуганный Семен бросился бежать к горну.

Кузнец Михайла, не переставая выбивать молотком четырехгранную шляпку болта, выругался:

— Тебе, стервец, шкуру спустить мало!

И, сунув щипцами болт в огонь, несильно ударил его пятерней по затылку:

— Не балуй, не махонький! За такие дела не поглядят!

А в обед, прожевывая хрусткий огурец, пожалел:

— Жизнь наша, Семка, — хрен: чем более годов уходит, тем горче! Сила на их руке — ну, и помалкивай! Таких-то молодец, как мы с тобой, враз по ветру пустят, и дыму не останется! Ты, Сенка, крестьянин, как-никак с домом! Надоть оглядываться! Соображение надоть, Семка, ко всему прикладывать, ну выгонят, ну посадят, а дальше чего? Деревня — прощай, хозяйство — прощай, завод — прощай! Только и всего!

Михайла имел корову, поросенка, под тесом чистенький домик. Хозяином он считался аккуратным, не зажиточным, но и не бедным.

Ситников молча его слушал, сдерживая нарастающее раздражение.

— Вон в деревне, — продолжал рассуждать Михайла, — какие-то длинноволосые появились: мы, дескать, с вами, надо чтоб больница была, чтоб кабаков не было, чтоб школы были! Надо, бают, чтоб в тиши да в спокойствии народ жил! Чтоб стражников не было и урядник за податью не приезжал, а мужику никто б не перечил пахать да косить, сколько душе угодно!

— Тьфу!.. — Михайла презрительно сплюнул, саркастически ухмыльнувшись в черную бороду. — Балабошки!

— Чего надоть, без их знаем! А ты-ко-сь скажи, как это так без урядника обойтись, как это так засеять, сколь рука осилит, как это так больницу смозговать!? Только мутят, а дела никакого! Возьми хоть бы Эрликова, либо Манина из Голобова — чего хорошего! Господа, ну, и живи по-господски и не лезь ты в наши мужицкие дела: без вас на три аршина в землю видим! Учителя длиннохвостые!.. Мы-ста, да вы-ста! А подай на обед тюрю, али бы картоху в мундире, самоваром закипят, всех в пух разнесут! Пожалуй, уж кухарку вместе не посадят за стол! С жиру бесятся!.. Берись их, Сенька!..

Сенька знал, о ком и о чем идет речь.

Дмитрий Сергеевич Манин, мелкопоместный дворянин из обедневших, обиженной реформой помещиков, жил в собственном хуторе в Голобове, в прекрасном коломенском уголке.

Оттого ли, что все двадцать четыре часа были в полном его распоряжении и, кроме сна и еды, девать их положительно было некуда; оттого ли, что, прочитав «Что делать» Чернышевского, случайно забытого у него сельским учителем, он написал пламенный ответ под заголовком: «Вот что надо делать» — и отослал его редактору «Современника», с просьбой «опубликовать для блага народа и в назидание молодежи, а также некоторым сочинителям, недостающим опытности жизненную и имеющим»<sup>1)</sup>. Или просто под влиянием «моды» и «духа времени», Манин в 45 лет вдруг оделся в синюю косоворотку, с темным шелковым пояском,

легкую складную поддевку, начал произносить слова с ударением на «о», отпустил пышную, русскую бороду, завел правило обедать со всей своей дворней за одним столом, во время которого кучер, дворник, прислуга, кухарка и конюх, не перебивая, слушали разглагольствования барина о том, как надо жить мужичкам, как «терпение и труд все перетрут» и как «пить — пей, да себя разумей».

Барин разглагольствовал, укладывая за обе щеки пирожки, кусочки хрустко поджаренного поросеночка с гречневой кашей, запивая добротной сливянкой, а служащие смотрели ему в рот, пощипывая крошки хлеба, боясь своей едой помешать «течению мысли барина», с нетерпением ожидая конца обеда, чтобы заново в кухне отобедать по-настоящему.

Купцы и городское дворянство считали его «ужасным социалистом», а исправник Матов, заезжая иногда в Голобова, останавливаясь у Дмитрия Сергеевича, добродушно поддразнивал:

— Ниглист! Совсем ниглист стал!

— Доложу кому следует, обязательно доложу!

И смеялся хитрым, сытым смешком. Дмитрий Сергеевич водил его по конюшне, показывая любимого вороного скакуна, привезенного жеребенком из Ирбита, водил по саду, угощая русской клубникой и необычайной малжиной — усанкой. Экономка Порфирьевна, овдовевшая псаломщица, семенила сзади с подносом, на котором стояли блюдечки и растолченный в пудру сахар.

Матов брал с ветки малину, поворачивался к Порфирьевне, тыркал в сахарную пудру, клал на язык ягоду, сладко щурил глаза, облизывался:

— Чудо, не ягода! — и умиленно смотрел в холеную бороду улыбающегося Манина.

Порфирьевна кланялась:

— Кушай, батюшка, на здоровье!

И шествие продолжалось вдоль подвязанного прекрасного малинника.

Манин обязательно появлялся на сходе, здоровался со стариками за руку,

<sup>1)</sup> Из архива Вл. Дм. Манина.

каждую свою речь начиная низким поклоном и словами:

— Отцы, радетели земли-матушки!..

«Отцы» сторонились барина, слушали его замкнуто, молча и свои серьезные, крестьянские дела решали без него — самостоятельно, после его ухода.

Манин завел у себя приемные ветеринарные и медицинские дни, в которые лично помогал лекарствами и советами приходящим больным.

Выписывал он дешевую сытинскую литературу, раздавал ее крестьянам, которые, в большинстве неграмотные, вырезали картинки, заклеивая ими стены избы, а текст книжиц благодарственно использовали на курево.

Когда рабочим на заводе было отказано в повышении заработка, а также в часовом обеденном перерыве и голововские крестьяне-рабочие, измученные одиннадцатичасовым трудом и двенадцативерстной ходьбой в один конец, вернулись поздно вечером домой в деревню с невывливающей злобой в душе и громкими угрозами, Дмитрий Сергеевич заявил, что поступок дирекции нарушает интересы народа и поэтому он сам возьмется за это дело.

В Коломну он приехал на своем ирбитском скакуне. Не спрашивая разрешения, шумно вошел в кабинет Бессера и на осторожный вопрос:

— С кем имею честь? —

напирая на «о», отрекомендовался:

— Русский дворянин и помещик, ходатай по «народному» делу!

И подробно, красочно, пересказал гостю рабочих.

Бессер, выслушав, любезно улыбаясь, посоветовал обратиться за разрешением этого вопроса лично к главному директору, господину Бессеру или директору-распорядителю — господину Лессингу.

— А разве вы не Бессер? — опешил Манин.

— Никак нет, — с той же любезной улыбкой признался Бессер. — Я его личный секретарь!

— Какая оплошность! Где же можно увидеть господина Бессера?

— Где-нибудь на заводе!

— Передайте господину директору, что я через час заеду! — распорядился

Манин и, не теряя собственного достоинства, непринужденно застучал каблуками по безукоризненно начищенному паркету.

Бессер, сейчас же вызвав швейцара, строго наказал:

— Этого человека в поддевке ни ко мне, ни к Антону Ивановичу не пускать: я уехал на неопределенное время, Лессинг заболел! Поняли?

Манин уехал ни с чем. Крестьянам он сказал, что все скоро уладится, так как раз он взялся за дело, то в успехе его сомневаться невозможно. Но крестьяне-рабочие давно привыкли не принимать всерьез обещания «чудака» (заглазное имя Манина) и были справедливо уверены, что никаким Маниным не помочь их беде.

Эрликсов был человек совершенно иного склада, положения и состояния. Был он простой сельский учитель.

Был он поднадзорным, и о нем вскоре появившийся в Коломне жандармский подполковник Бот, писал:

«... Человек подозрительный, характера замкнутого, но пока ничем себя не проявивший».

Вскоре после неудачного заступничества Манина за рабочих Сорокин, который после избияния его в участке, сгорбил, страшно похудел и побледнел, остался единственным товарищем Семена.

Семен знал, что на заводе много социалистов, что рабочие мечтают о революции, но каждый боится вслух произносить свои мысли, и после провала, арестов стали косо смотреть друг на друга, пряча и от близких, и от дальних свои думы и чувства.

Завод приник под тяжестью сыска, стражнической плетки, арестов и тюремных побоев. Внешне все казалось спокойным, и заводские гудки были незыблемыми мерилami уходящих дней.

Но Семен знал, что в каждом цеху, в каждой деревне все больше и больше накапливается народная злоба и ненависти, все осторожнее и умнее ведет рабочий борьбу с хозяином.

И когда по поручению Сорокина он отнес какую-то завернутую в тряпку книгу в село Акатьево Эрликсову, он

сразу проникся к учителю уважением, увидев его строгое лицо в каштановом ореоле волос.

Эрликсов сурово спросил:

— Грамотный? Какие имеешь мысли о жизни народа?

Семен сконфузился, пошмыгал носом, неуверенно произнес:

— Рабочих хозяин скребет — не интересно на него хребет корезить!

— Утопия! — мрачно констатировал Эрликсов и строго приказал:

— Приходи, буду знакомить с социологией!

Семен всю дорогу обдумывал значение слов «утопия» и «социология» и, так и не распознав их, решил, что «у ученых слова свои, непонятные!».

Семен ровно месяц аккуратно ходил к «ученому социалисту», искренно ругая себя после за утерянное время.

Эрликсов, мня себя профессором и вождем, важно поучал, мерно шагая по комнате, заложив пальцы за широкий кожаный ремень.

— Право владения и наследования землей — есть право хлебопашца, как право матери — выкармливание ребенка. Земля народу — формула не во имя социального эксперимента, не утопия Фурье, а социально реальная неизбежность! Понятно?

Семен слушал, а затем, вдруг ловко цикнув сквозь зубы острую струю слюны, передернул портчонки и, сладко потянувшись, уничтожающе протянул:

— И все-то ты врешь! Николи мужику сильнее рабочего не быть, и ничего-то ты, кроме ученых слов, не знаешь!

Эрликсов от удивления и обиды даже снял пенсне, обнажив близорукие, выпуклые, голубые глаза.

На этом и кончилось знакомство Семена Ситникова с «ученым социалистом».

Вместе с тем на заводе все чаще и чаще появлялись народнические листки. В листках говорилось о гнете безземельного крестьянства, о необходимости освобождения крестьянина от податей, о том, что до тех пор, пока не будет организовано крестьянство, рабочие бессильны, что рабочих горстка, а крестья-

н миллионы, что счастье рабочих в счастье крестьян, что рабочим надо дать свободу, а крестьянам всю землю!

Новомеханический и малярный цеха были застрельщиками революционных выступлений. Все попытки организации стачек исходили из новомеханического цеха, а 85 проц. арестованных полицией рабочих падало на рабочих новомеханического.

В новомеханическом работали в большинстве пролетарии, ничем, кроме завода, не связанные с Колодной, а в малярной — 75 проц. крестьян дальних деревень.

Маляр из Стребкова, что в 12 километрах от заштатного города Озеры, был задержан как-раз в то время, когда размешанная в ведре зеленая краска с круглой длинной кистью подносилась им к отделанному вагону. Из-под рубахи, когда нагибался он, выглядывали белые, тонкие листы, аккуратно подвзятые к спине.

Листки оказались подписанными одной из народнических организаций, а рабочий — сыном просвирни Бубликовой, недоучившимся семинаристом Казанской духовной семинарии.

Антон Лессинг, принявший пост директора-распорядителя и акционера-председателя, ставши фактическим главой акционерной компании после смерти генерала Сгруве, на одном узком директорском совещании, где присутствовал молодой секретарь Обст<sup>1)</sup>, остроумно заявил, что так называемые «народники» напоминают северное сияние: кажется красивым, чудесно неуловимым, но совершенно беспочвенным, неосязаемым и бесполезным, а потому совсем не страшным. Мне более не желательны приверженцы «Союза рабочих»<sup>2)</sup>, — признался Антон Иванович, — дерзость которых необычайна и теория рабочего владычества у которых является куда заманчивее и серьезнее земельного счастья!»

Но Матов и жандармский подполковник Бот не разделяли точки зрения ди-

<sup>1)</sup> Ныне работник конторы, зав. архивом управления делами.

<sup>2)</sup> Организация Степана Халтурина 1878 — 1879 г.

ректора-распорядителя Коломенского завода и арестовывали всех под ряд, не вдаваясь в тонкости мировоззрений арестованных, подводя огулом всех под категорию: «крамольники», «государственные преступники».

Эрликова схватили в тот момент, когда он на дворе школы читал крестьянам рассказ Глеба Успенского «Не все коту масленица». Рассказ был напечатан на тонкой желтой бумаге, и, чтобы читать его без запинки, Эрликов умышленно медленно произносил слова.

Но не успел он дочитать последнее замечание Успенского: «Все чернорабочие меркантильного (т.е. капиталистического) строя жизни будут счастливы, если человек строгой, точной науки докажет неизбежность гибели капиталистического строя», как в калитку вошел урядник со стражником, акатьевским старостой и, прямо подойдя к Эрликову, без обиняков потребовал:

— Пойдем!

Эрликов пропал с коломенских горизонтов, оставив навсегда жить в Акатьеве двоюродных сестренку и братишку, которых временно приютил Манин из побуждений, как он сам говорил, «помощи собрату по убеждениям».

Семен знал этих «народников» и, пока Михайла говорил о них, улыбался выскомерно и презрительно.

— Волосатые пустобрехи! — заметил Семен, вспомнив отзыв Захарова о шевлягинском племяннике.

— То-то, что пустобрехи, — согласился Михайла, — а народ мутят! Ты работай, и никто тебя не тронет! — назидательно и миролюбиво закончил кузнец, собирая с кожаного фартука в заскорузлую ладонь крошки хлеба.

Последним чудесным воспоминанием этого года у Ситникова было неожиданное появление Захарова. Он пришел в позднюю осень, в хлябь, в бесконечный, унылый дождь, постучался тихонько в дверь, на окрик просительно откликнулся:

— Пусти, сынок, переночевать, Христа ради!

Мать была в городе, на стирке, Катя сучила на веретене шерсть, Семка, недоброжелательно ругаясь, отпер низкую, обитую соломой дверь. Через порог шагнул старик с длинной, клином, бородой, мохнатыми бровями, с сумкой через плечо. Шагнул, перекрестился, потянул за бороду, усы, брови, — Катя ахнула, а Сенька выругался воссторженно от необычайной радости и гордости за друга.

До утра сидели втроем. Сенька рассказывал про «длинноволосых», про завод, про новый штамповальный станок, который заклепки делает, как сахар щелкает:

— Раз — готово! Раз — готово!

И заработок на нем 75 копеек в день.

Захаров говорил шопотом, смотрел в голубые глаза Кати и время от времени трепал по плечу Семена.

Он пришел проститься, ему надо ехать в Питер, тут оставаться — значит погибнуть, а ему еще хочется жить, у него еще есть немало сил, о нем еще не раз поговорят полицейские и задумаются хозяева.

Перед рассветом Захаров попросил Семена сходить покараулить приход матери. Семен вернулся через 2 часа. Изба была открыта, пуста. На столе лежала записка.

«Ушли вместе. Катя — моя жена. Устроимся в Питере, сообщим — приедете с матерью. Уговори мать не выть — жених я Кате по душе. Захаров».

Семен ткнулся головой в локоть и в первый раз заплакал по-настоящему, по-мужски, от нахлынувшего одиночества и заброшенности.

В это время акционерное общество обогатилось новым акционером и директором — Мануиловым.

Был он высок, строен, всегда уравновешен и строг.

Его директорство связано с расширением Коломенского завода.

Семен через два месяца получил письмо от Захарова. Он с трудом собрал 6 р. 30 копеек и, несмотря на слезы и уговоры матери, отправился к Захарову и сестре Кате в Петербург.

# Люди и факты

## ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. Чулков

### Биби-Эйбат

**Я** и мой спутник, художник, который вот уже несколько лет усердно лепит из глины, режет из дерева, высекает из мрамора наших героев труда, сели в так называемую «кукушку» и поехали по узкой колее на промысла имени Сталина.

Промысла расположены в трех-четырех километрах на юг от Баку, там, где бухта Ильича. Как-раз к моему приезду забил новый фонтан на Биби-Эйбате, и мы ехали посмотреть на бунтующие недра. Должен признаться, что ехал я, потому что не желал быть «ленивым и нелюбопытным», в чем обвинял русских людей наш зоркий и неутомимый Пушкин, но сердце мое не было сильнее оттого, что на Биби-Эйбате новая скважина стала фонтанировать. Однако, тут же в вагоне «кукушки» я убедился, что не у всех такие холодные сердца, как у меня. Рядом со мной сидела девушка (не могу себе простить, что не узнал ее имени, — где я теперь ее найду?), — так вот у этой девушки сердце было горячее. Незнакомка была масленица со Сталинских промыслов. Заговорили о новом фонтане, и вдруг я понял, что между этой девушкой и событием на вышке «1115», где вырвалась из скважины нефть, есть такая связь, которую мы, скитальцы и путешественники, можем только угадать и оценить, но по-настоя-

щему до конца понять едва ли сможем.

— О, наш район покроет теперь все наши нехватки! — это ее голос, голос молодой и хорошей гордости.

— А успеете вы надеть намордник на скважину? Не расточите напрасно богатства?

— О, наши ребята справятся!

Глаза у нее заблестели, и мне не стыдно признаться, что эта масленица заразила меня своим волнением.

Да, тут у бухты Ильича идет какая-то особенная, страстная борьба с недрами. Когда-то, задолго до нашей революции, здесь, на Биби-Эйбате, было разбросано несколько десятков нефтяных колодцев, глубиною не более двадцати метров. Все колодцы давали в год каких-нибудь пять-шесть тысяч пудов. Явились догадливые промышленники Тагиев, Саркисов, Зубалов. Купили участок, затратив каждый по ничтожной сумме денег, и эти самые колодцы дали им черного золота на миллионы рублей. Вероятно, у Зубалова тоже блестили глаза, когда забил на Биби-Эйбате первый фонтан, но это был совсем иной, жадный блеск. И едва ли эти миллионеры поверили бы тогда, что внуки и внуки тех самых нефтяников-рабочих, которых они держали годами в зловонных бараках, поили гнилой водой, душили двенадцатичасовым рабочим днем, будут радоваться нефтяной добыче, сознавая, что борьба за нефть есть одно из условий освобо-

ждения человека от извечного рабства. Вот этот бескорыстный блеск счастливых глаз худенькой, совсем юной девушки — едва ли не лучший залог великих возможностей нашей эпохи.

Мы вышли из вагончика как-раз у фонтанирующей скважины. Бывают неожиданные впечатления от фактов, давно описанных и всем хорошо известных. Так, я помню мое впечатление от Венеции, когда я первый раз, много лет назад, попал в этот волшебный город. Сотни всевозможных книг, картин, гравюр красноречиво говорили мне о Венеции, и я думал, что если я знаю музейных Тицианов, Тинторетто и Веронезов, если я читал записки Казановы и текст старых венецианских новелл и комедий, то ничего нового я не узнаю, увидев настоящую Венецию. И оказалось, что Венеция совсем не то, что я о ней думал. Или вернее — «то, да не то». И как только я приехал вечером в город, сел в гондолу и увидел венецианцев, закутанных в плащи, беззвучно скользящих по горбатым мостам, а утром, выйдя из отеля, очутился перед фасадом св. Марка, я почувствовал, что Венеция — нечто неожиданное, небывалое, совершенно незнакомое и увлекательное именно своею новизною.

Так и этот фонтан (да простят мне эстеты сравнение прозаического промысла с драгоценным памятником старинного зодчества), так и этот фонтан, тысячу раз описанный и занесенный в соответствующую рубрику наших экономических богатств, поразил меня, как нечто неожиданное. Конечно, это то самое, но однако «то, да не то».

Прежде всего позвольте вас уверить, читатель, что древний дракон, вырывающийся из недр и готовый пожрать и слабых девушек, и зрелых мужчин, — вовсе не сказка, а самая настоящая реальность. Пожалуйте сюда, на Биби-Эйбат, и послушайте, как ревет этот ужасный зверь, почему-то названный номером «1115». Впрочем, это, вероятно, номер клетки, а не самого зверя. У драконов должно быть имя не столь прозаическое. Называем же мы звезды не только греческими буквами и дифрами, но и яркими именами. О том,

как ревет нефтяной фонтан, писали многие, но все это «пропускаешь мимо ушей», и вот, когда сам услышишь этот безумный вопль, когда твой сосед орет во всю глотку, а ты не можешь разобрать ни одного слова от фантастического грохота и стопа, только тогда начинаешь понимать этот феномен. Нет, он ревет не просто, этот фонтан. Там, на глубине тысячи с лишком метров, спала стихия. И вдруг копье (подлиннее, чем копье св. Георгия на известной картине Карпаччио) проткнуло бок подземному дракону и разбудило его. Вот он и ревет, как раненый чудовищный зверь.

Колоссальный столб нефти и газов был освещен солнцем, и казалось, что он горит, что это дым и огонь. По счастью, это только казалось. Люди с винтовками стерегут великана далеко вокруг. Легкомысленных зевак не подпускают к фонтану. Тут же стоят пожарные. Конечно, не найдется такого идиота или негодяя, который зажжет бы здесь спичку (на промыслах курить нельзя нигде), но фонтан может вспыхнуть и без всякой спички. Газы могут взорваться от любого удара; упали железный болт, труба или еще что — и мгновенно запылает целый район. Стоишь, как у входа в ад, где, по уверению Данте, должна быть надпись: «Оставь надежду навсегда». Но тот, дантовский, ад был побежден, как известно, совсем не таким способом, каким мы теперь побеждаем этот ад в Биби-Эйбате.

И вот опять неожиданность. Из книг мы знаем, что, когда фонтан нефти вырывается раньше, чем на это рассчитывают буровики, его надо закрыть, то-есть замкнуть скважину так, чтобы нефть шла по определенному руслу, по трубе, а не разливалась мрачным морем, затопляя зря землю и унося ценные газы в пространство. Мы это знаем из книг. Но вот когда видишь живых товарищей, которые самоотверженно бросаются в этот черно-красный зловонный ужас, чтобы укротить чудовище, начинаешь сознавать, что, читая раньше о нефти, ты не понимал самого главного. Бросаясь в нефтяной столб,



человек глохнет, слепнет и задыхается. Он выходит из этого ада с другим цветом кожи, с иными, ему ранее не свойственными, жестами, с другим дыханием, а главное, с другой психологией. Я стоял с товарищем художником и с двумя сотрудниками московских газет. Мы, зрители, чувствовали себя как-то виноватыми. Я, по крайней мере, испытывал это чувство, и, мне кажется, товарищи разделяли его.

«Что за чепуха! — думал я: — При чем тут моя вина? Эти ребята исполняют свои обязанности. Они, конечно, молодцы и герои, но почему ты виноват в том, что тот или другой товарищ, работающий на вышке, рискует ослепнуть или задохнуться в ядовитых газах?».

Уверю вас, что в этих мыслях не было никакой сентиментальности, да и вообще никакого «психологизма». Это просто было чувство «круговой поруки». Это не значит, что надо по этому поводу вытаскивать из кантианского архива «нравственный категорический императив». Это было чувство живой, реальной жизни. Это была диалектика истории. Человек в какую-то эпоху сознает, что индивидуализм во всех его модификациях — нелепость. «Вина, конечно, не твоя лично, но это — «вина истории». И если ты ее осознал, это значит, что ты на учете действующих сил. Пословица «Моя хата с краю» теряет свой смысл на промыслах имени Сталина, как и вообще в нашей стране.

Мне говорили в Москве, что пейзаж бакинских промыслов совершенно изменился, что будто бы нет уже всем известных традиционных вышек. Это совсем не так. Правда, с отменой пресловутой желонки, которой управлял старый гартальщик, вышка утратила свое значение. Но она нужна, когда производится бурение. У тех скважин, где работает насос, вышек нет. Но там, где бурят, стоят эти эйфелевы башни. Стоят также сотни старых, неразобранных вышек: и пейзаж все тот же, напоминающий гные гравюры Пиранези.

Мы бродили, как в лесу, среди этих черных великанов. Острый запах нефти и газа, черные озера и эти люди, жел-

толицы, как китайцы, — все делало своеобразным странный мир, где встретился человек с тайнами недр. Мы подошли к буровой «1001». Это был раненый великан. Здесь бурили «по-американски». Завоевывали 17-й пласт.

Мастер, владимирец, выделяющийся среди южан своими светлыми волосами, с умным, приветливым лицом, показывал нам сломавшуюся трубу, которую извлекли из скважины. Из-за аварии бурение задержалось на целый месяц. Мастер объяснял неудачу плохим качеством трубы, приобретенной нами в Польше. Но подошел другой товарищ и стал доказывать, что труба была неплохая и что авария произошла от неосторожности бурильщиков. В изданной в 1932 году книжке «Пути развития азербайджанской нефтяной промышленности», предназначенной для членов Всесоюзной топливной конференции, говорится, между прочим, что полное изжитие аварий является «кардинальной задачей бурения во второй пятилетке». До «полного» изжития нам пока еще далеко, но и то, что мы завоевали в области технической реконструкции, весьма значительно.

Старый способ бурения совершенно устранен, и применяются только вращательный и турбинный, как в Америке.

На обратном пути заехали мы в управление промыслами. Директора не оказалось. Его заместитель любезно принял нас и тотчас же заговорил о фонтане. У товарища была не такая интонация, как у масленщика, с которой мы разговаривали в «кукушке». Это человек, повидимому, деловой, — без романтизма, — как подобает трезвому хозяйственнику.

— Существуют три способа добычи нефти, — сказал он: — посредством фонтанов, посредством насоса и, наконец, посредством компрессора. Наименее экономный, явно расточительный и опасный, способ фонтана. То, что сказана «1115» фонтанирует, с нашей точки зрения, — неудача... Когда-то владельцы промыслов радовались каждому фонтану, ибо он обогащал их скорейшим образом и не требовал никаких значительных затрат на технику дела.

Но мы думаем о будущем... Впрочем, если хотите, кто-нибудь из наших компетентных товарищей заедет за вами и повезет вас по нашим промыслам. Товарищ объяснит вам подробно положение дел.

Мы с художником поблагодарили любезного хозяйственника, и вечером на другой день за нами заехала машина.

О, это была забываемая поездка! У нашего руководителя, старшего инженера, заведующего компрессорами, было, конечно, такое же горячее сердце, как у той юной масленщицы, которую мы встретили в «кукушке». Он показывал нам свое хозяйство с ревнивой и страстной озабоченностью: оценим ли мы все это? пойдем ли? Он подводил нас то к одной вышке, то к другой, объясняя способы бурения. Он похлопывал рукою трубы, штанги, станки, как будто это все были живые существа.

— Давно вы на промыслах?

— Я работаю здесь двадцать лет...

— И вы не устали?

— Не знаю. Об этом думать некогда. Думаешь о другом: все ли благополучно? нет ли аварии? нет ли пожара? Тут, знаете, как на войне. Надо быть начеку. Опасность везде, со всех сторон.

В инженере в самом деле было что-то военное, боевое, и голос был такой. И тон, каким он говорил, соответствовал как-то вечернему пейзажу промыслов.

— А какова судьба буровой «1115»? — спросил я. — Что фонтан?

— Буровая перестала фонтанировать. Скважина закрыта.

— А почему усмирился этот бунтовщик?

— Еще неизвестно. Сейчас идет работа по выяснению причин. Может быть, образовалась пробка. Тогда хорошо. Через несколько дней мы будем получать в изобилии нефть, регулируя ее поступление. Но может быть и что-нибудь менее удачное, например, свертывание трубы. Тогда придется извлечь инструмент из скважины. Это нелегко. Но если бы вы знали, товарищ, что мы пережили вчера, в течение нескольких часов, когда бил фонтан!

— А что случилось?

— А вот что. Когда мы пытались закрыть буровую тяжелой задвижкой, мне вдруг кричат: «Вышка падает!» От напора газов и нефти вышка в самом деле пошатнулась. Представьте, если бы она рухнула. Тогда от удара случился бы непременно взрыв газов. И все вокруг запылало бы. По счастью, фонтан ослабел, и мы его закрыли, свободно вздохнув.

— Да! Это как на войне!

Мы сели в машину и поехали дальше. Было холодно. У моего спутника-художника пальто было легкое, и он, повидимому, замерз. Поэтому, вероятно, на сей раз он не оценил изумительной картины вечернего Биби-Эйбата. А эта картина была одна из самых фантастических, какие мне довелось видеть за полвека моей жизни. Надо сказать, что Биби-Эйбатов два: Старый и Новый. Старый расположен у моря, а Новый — в самом море. На дне Каопия, по крайней мере у берега Апшерона, имеются залежи нефти. Время от времени из воды поднимается нефтяной газ. Его можно зажечь. И огненный столб часами будет гореть над водою, пока не погасит его норд.

Новый Биби-Эйбат занимает огромную площадь, которая вся целиком огнята у моря. Залив начали засыпать землей и оградить завоеванное пространство плотиной еще до революции, но завершил это дело советский Азербайджан. И только, если не ошибаюсь, с 1924 года началось по-настоящему бурение на дне Каспия. Теперь здесь сотни скважин. Две вышки стоят в бухте, окруженные водою со всех сторон. К ним подезжают на лодках.

Да, вечерний Биби-Эйбат прекрасен и страшен. Наша машина мчалась среди черных призраков, которые не были неподвижны. Они двигались. Огромные хоботы поднимались и опускались, как будто это шевелились допотопные чудовища, пережившие десятки тысячелетий. Это работали автоматически гигантские насосы. Людей не видно. Машины, ожившие машины, занимались здесь черной магией. Если бы рядом со

мною не стоял советский инженер, по видимому, человек трезвый и, значит, обеспеченный от детских сказок и романтических глупостей, у меня, признаюсь, душа ушла бы в пятки: остаться так одному в этом ночном лабиринге, среди грозных движущихся машин, прислушиваясь к глухому рокоту Каспия, как-то жутко. И хотя бы одно лицо человеческое! Никого!

Время от времени наша машина оставалась, и мы шли смотреть то станцию, где стоят компрессоры, то «распределители», где сидит товарищ и зорко наблюдает по манометрам, каково давление на той или другой скважине его района. В зависимости от давления он регулирует особым аппаратом поступающие через компрессоры воздух или газ, посредством которого «выдавливается» нефть и направляется через трубы в то или другое нефтехранилище.

Станция, где стоят компрессоры, поразила мое воображение. Представьте себе зал, где в боевом порядке непрерывно работают машины. Их мерная работа математически точна. Но и эти компрессоры, нагнетающие газ или воздух для скважин, работают сами собою. Человека нет, он куда-то спрятался. Он притворяется, что не он хозяин и владыка этих стальных красавиц. Некоторые из них родились в Англии, в Америке, во Франции, но есть и наши собственные, советские. Скоро стальные заграничные престлестницы нам не понадобятся.

Машина подвезла нас к самому морю.

— А кто, скажите, товарищ, отвоевал эти нефтяные богатства у Каспия?

— О, многие работали, готовя нам Новый Биби-Эйбат. Одним из главных руководителей был вот он, — сказал инженер, указывая на огромную могильную плиту.

— Кто это?

— Инженер Потоцкий. Он всю свою жизнь посвятил борьбе и в конце-концов победил. Последние годы он был слепой и все-таки продолжал руководить войной со стихией. Незадолго до смерти неутомимый человек получил орден Ленина. Завещал он себя похоро-

нить непременно здесь, у каменной плиты, ограждающей завоеванную землю.

— Фауст! Фауст! — бормотал я, с трудом различая во мраке тяжелый камень.

## Черный город

Граждане прекрасного города Баку не могут простить одному известному поэту его ошибки. Воспевая Черный город, — центр бакинской городской промышленности, — поэт упоминает о вышках. А в Черном городе нет вышек. Ни единой. Нет и быть не может, ибо в Черном городе нет никаких буровых. Вышки стоят в Биби-Эйбате, в Балаханах, вообще на промыслах, а в Черном городе совсем другое — огромные, могучие нефтеперегонные заводы.

Но откуда же явился в душе поэта образ какой-то вышки в том районе, где их нет? Его, очевидно, ввело в соблазн само звучание этого слова. Конечно, для местного жителя дико называть вышкой что-нибудь иное, а не ту своеобразную башню, какую воздвигают для бурения, чтобы сверлить землю в поисках нефти. Но обыкновенные люди, никогда не жившие на Апшеронском полуострове, называют вышкой всякую высокую постройку, похожую на башню, например, каланчу на пожарном депо.

Поэт и ляпнул неосторожно «вышки», имея в виду, очевидно, колосальные трубы, ректификационные колонны и прочие тянущиеся к небу вавилонские башни, коих сотни в Черном городе. Получился некий поэтический «нас возвышающий обман», но заговорили «тмы низких истин», и бакинцы укоризненно покачивают головами:

— Приехал поэт и все напутал!

— И вообще приезжают писатели и все путают.

— Романы тоже пишут о Баку... А разве наш город такой? Один писатель рассказывает о памятнике на какой-то площади, а памятника на площади нет... И вообще все как-то неважно...

После таких разговоров писать очерк о городе Баку довольно опасно, но опасность иногда соблазняет. Быть в

Баку, увидеть Сталинский завод и не написать очерка, — как-то даже неловко. Правда, у нас есть гиганты строительства, созданные, так сказать, на голом месте, а здесь, в Черном городе, до революции уже была нефтяная промышленность, но тем интереснее увидеть новое именно здесь, где Нобели, Ротшильды и прочие развернули когда-то свою азартную деятельность.

Несколько дней под ряд ездил я из центра Баку в знаменитый Черный город, и каждый раз, вступая на территорию этого района, я испытывал какое-то своеобразное чувство. Как только увидишь пейзаж, созданный не природными силами, а руками человека, начинаешь понимать, что ты одолеял эту самую природу. Конечно, это отчасти напоминает классическое «мы пахали», но, справедливо это или нет, однако, я уверен, что у всякого гордое «мы» непременно шевелится в душе, когда он видит этот завод имени Сталина, завод-крекинг, и весь этот заводской лабиринт. Во времена Нобеля все это было чужое, а теперь это мое. Вот она, «социалистическая собственность»!..

Товарищи, работающие на промыслах и на заводах, все, от старшего инженера до масленицы, поражали меня свойственным им теперь чувством «социалистической собственности». Это факт, с коим надо считаться каждому. По моему впечатлению, это чувство «социалистической собственности» преобладает даже у людей, которым все еще приходится страдать от бытовых условий. Пусть зарубят себе на носу все противники советского строя, что социалистическая собственность есть бесспорный факт, размеры и значительность коего еще не можем даже как следует учесть. Этот огромный факт так упрям, что никакая аргументация, никакой скепсис, никакие вражеские козни не смогут свести его на-нет.

Первый завод, который я посетил в Черном городе, был Сталинский завод. Это, в сущности, не завод, а целая группа заводов. Осмотреть этот заводской городок в один день нет никакой возможности.

Товарищ, заведующий заводом, посоветовал мне осмотреть по крайней мере три цеха — первый, третий и четвертый.

— В таком порядке и осматривайте, — сказал он: — вся аппаратура первого цеха старая, дореволюционная; третий цех наполовину заново оборудован, четвертый весь новый...

Я так и решил, наивно полагая, что в тот же день успею осмотреть еще и завод-крекинг, но успел я осмотреть всего только один первый цех!

Из конторы повел меня на установки молодой технолог Александр Иванович. Сталинский завод перегоняет нефть на керосин, бензин, смазочные масла. Александр Иванович начал свой показ с керосиновой установки. Мы бродили среди бесконечных баков; печей, труб. И я, технолог весьма сомнительный, старался усвоить всю эту сложную систему перегонки нефти.

— Это — теплообменники, это — отстойники, это — кубы, где нефть нагревается до двухсот градусов и более, — объяснял мне Александр Иванович. — Потом нефть идет через шлемовую трубу в холодильник-дефлегматор. Оттуда она поступает в ректификационную колонну, потом в скруббер, где охлаждается водой, и, наконец, в приемник...

И вот я шел покорно за Александром Ивановичем от печи к кубу, от куба к трубе, но, по правде сказать, меня больше интересовала интонация его голоса, выражение глаз, тот или другой жест, и я старался вникнуть не столько в технологию нефтеперегонки, сколько в то переустройство души, какое я угадывал и в Александре Ивановиче, и в других товарищах.

Мы подошли к группе рабочих, занятых ремонтом. Они чистили, прожигая в длинной печи перегонные трубы, на стенках коих осаждается распыленный кокс.

Прожигание не ладилось. Рабочие с недоумением смотрели на Александра Ивановича.

Конец трубы оставался невычищенным. При мне подкинули в печь мазут. Свириное пламя с ревом вырвалось на-

ружу. Сунули в печную пасть трубу — и опять неудача.

— В чем же дело? — спросил я, оглядываясь на Александра Ивановича.

— Печь надо ремонтировать, — сказал он с досадою. — Ведь, вы знаете, рабочие теперь получают зарплату сдельно. А такая неполадка — для них прямой убыток.

И все же я не чувствовал в рабочих раздражения. Я уверен, что при таких же обстоятельствах, потеряй они день или два напрасно, по адресу прежнего хозяина можно было бы услышать весьма крепкие эпитеты. Но чудо заключалось в том, что теперь рабочий сам чувствует себя хозяином. А главное, есть какая-то надежда, что все это пока, все эти досадные нескладницы — что-то временное и прелодящее. И даже это не надежда, а какая-то уверенность.

— Нечего злиться на неудачу, а надо ее поправить. Все, ведь, наше. От нас все зависит. От нас самих. Эти трубы, эта печь, эта нефть — все это наша «социалистическая собственность».

Конечно, есть и сейчас не только собственники, но и самые настоящие хищники, у коих, правда, подпилены клыки, но от этого не умалилась их плотоядность, но это уж все кандидаты в зоопарк. Их надо в клетках показывать, как вырождающиеся редкие экземпляры. Равнодушен стал человек к частной собственности. Нет у нас к вещи прежнего корыстного и, значит, развратного отношения. Это не значит, что мы перестали любить вещь. Напротив, мы ее ценим, быть может, еще больше, чем прежде, но нет у нас жадного, корыстного чувства, каким был отравлен вчерашний человек.

Правда, и вчера были отдельные люди, совершенно бескорыстные, но это был факт биографии того или другого лица, а теперь это стало фактом социальным. Я уверен, что за рубежом этого еще не понимают, даже не догадываются об этом, потому что теоретически об этом рассуждать бесполезно и бесплодно.

Вот мы в «приемнике». Сотни желобов, по коим течет керосин и прочие продукты нефти, приводят меня в заме-

шательство. Вся эта сложнейшая система разнообразных жидкостей по моему технологическому невежеству кажется мне катастрофической.

«Это все сейчас перепутается» — думаю я.

Желоба с едва загнутыми краями лежали совсем рядом, Между желобов журчит охлаждающая вода, и жидкости разных цветов и качеств непрерывно куда-то текут, и каждая струя попадает в надлежащее место.

И Александр Иванович уверен, что все будет в порядке. Его обеспокоило что-то другое, и он, к моему ужасу, сует руку прямо в какую-то густую темную жидкость. Он, однако, благополучно вытаскивает измазанные пальцы и глубокомысленно рассматривает эту липкую штуку. У него какие-то свои соображения, и я с уважением смотрю на этого «хозяина».

Потом мы идем на установку, где после перегонки получают смазочные масла — веретенное, машинное, цилиндровое. Он мне показывает трубчатую печь, показывает вакуумную установку, объясняет, что такое гудрон (остаток после перегонки нефти на масла), и я чувствую, что все эти печи, кубы и трубы хотя и похожи на прежние капиталистические кубы и трубы, но они теперь не опасны для нас. Теперь они — укрощенные звери. Вероятно, если бы я увидел сейчас аппаратуру заводов Ройял-Детч-Шелла или какого-нибудь Стандарт-Ойля, то я смотрел бы на этих огнедышащих чудовищ, как на опаснейших драконов. Вероятно, все эти заводы ассоциировались бы у меня прежде всего с именами Рокфеллера, Ротшильда, Детердинга, и мне чудились бы подмостки гигантского театра, какого-то нового страшного Колизея, где разгрыбается мировое кровавое зрелище борьбы империализмов.

В том-то и дело, что нельзя смотреть на измазанные нефтяными маслами пальцы милейшего Александра Ивановича и оставаться равнодушным к философии истории. Нефть — это такая волшебная жидкость, без коей нельзя ничего понять в страшном клубке мировых противоречий. Овладеть этим клуб-

ком, разрубить этот гордиев узел может одна только мировая революция.

А пока-что посмотрим третий цех. Я туда попал на другой день. И водил меня по цеху другой товарищ. Тут мне показали нечто новое по сравнению со старой аппаратурой первого цеха — советскую трубчатку, построенную в 1931 году, два громадных куба в 25 метров каждый. Через эту установку в сутки проходит 2.300 тонн сырья, из коего добывается керосин, газоль, лигроин, бензин... И весь этот гигантский аппарат обслуживается одним оператором (или сгонщиком), двумя помгонщиками и градусницей. Пять товарищей превращают за одни сутки 2.300 тонн сырья в полезные фабрикаты, которые пригодятся нашему Союзу во всяком случае.

Потом я пошел разыскивать четвертый цех. В конторе мне сказали, что заведует этим цехом женщина.

— Она пошла на установку. Там ремонт. Поищите ее. Она в синем пальто.

Но заведующей я так и не нашел. Однако, в четвертом цехе преобладают, повидимому, женщины. Меня сначала скружили студентки - практикантки. Очень милые. Они повели меня по бесконечным железным лестницам, которые вились вокруг громадных баков. Я притворился молодым и здоровым. Както совестно было признаться, что я задыхаюсь, едва поднимаюсь на второй этаж, а тут пришлось крутиться по зыбким лестницам, открытым с трех сторон, на высоте едва ли не пятого этажа. Наконец, меня позначкомили с помбригадиром. Опять женщина! Товарищ Ассуратова. Этот цех АЛКО. Через аппаратуру проходит 900 тонн мазута. Вся установка новая. Здесь, благодаря каким-то новым методам, извлекался из остатков нефти газоль, солярка, веретенное масло и т. д. И, наконец, остается наиболее густая часть мазута — гудрон, предназначенный для асфальта. Товарищ Ассуратова непременно хотела меня посягитить во все тайны производства. Не знаю, догадалась ли она, что я усвоил далеко не все из ее сообщений. Но во

всяком случае я, право, кое-что усвоил и очень этим горжусь.

Но кто меня в этом технологическом смысле решительно доконал, так что у меня под-конец глаза на лоб вылезли, — это был дежурный инженер Феногенов. Он с такой старательной энергией показывал мне один из цехов завода-крекинга, что я никогда уж не забуду, если не технику делу, то во всяком случае выражение лица этого товарища. Спасибо ему. Он не пропустил ни одной детали, не забыл отметить ни одной температуры, ни одного пути, по коему идет сырье, пока не получит надлежащей обработки. Суть этого процесса в том, что перегонка совершается при очень высоком давлении. В сутки на этой установке перегоняется 1.000 тонн сырья. Все машины американские, купленные у фирмы Винклер-Кох в 1931 году. Но пущены машины нами самими. Товарищ Феногенов как-то сливался с этими великолепными машинами. Он чувствовал, повидимому, все эти процессы, как будто они происходили в нем самом. Отделить его от этих насосов, ректификационных колонн и электрорегулятора просто невозможно. Он так предан делу, что нельзя его, инженера, мыслить както вне этой установки. Самое занятное и любопытное, конечно, — это помещение, где сидит оператор и его помощник. Перед ним щит, на коем имеются пирометры и другие аппараты, отмечающие стрелками или кривой на бумаге все колебания давления, температуры и вообще весь процесс. Если кривая уклонилась от нормы, немедленно надо принять меры. Для этого имеется электрорегулятор. Ответственность у оператора огромная. Вот где испытывается и воспитывается воля. Тут также экзамен на сметливость и находчивость.

Молодые товарищи, работающие у пирометра, весело смеялись. Они считают себя удовлетворенными. И только хочется, чтобы весь мир знал, что они делают нечто важное, что они не даром едят советский хлеб. На установке работает 20 человек. Четыре смены. Работают по 8 часов, — пять человек.

В технике нефтеперегонки любопытно то, что все элементы сырья бывают

использованы. Печи топятся, например, остатками того же мазута или — в иных конструкциях — газом, который выделяется во время процесса. Тот же газ через соответствующие трубы проводится для встречи и взаимодействия с жидкими веществами. Ничто не пропадает. Самый ничтожный процент сырья теряется, как отбросы.

В заключение два слова об имени заводского района в Баку. Мы теперь охотно меняем название улиц и площадей. Черный город необходимо переименовать. Название это, во-первых, потеряло свой смысл. От прежней черноты и копоти не осталось ничего. Это очень светлый и веселый город. Во-вторых, в старом названии есть решительно какая-то злобедная мрачность. А между тем ничего мрачного здесь нет. Надо не только переименовать заводский район, но и поскорее забыть это недоброе и темное сочетание слов.

### Зеленый мыс

Здесь, под Батумом, как у Пушкина в «Каменном госте», все благоухает, все «лимоном и лавром пахнет». Батум, конечно, — прежде всего прекрасный порт (по качеству бухты второй после Севастополя); и главные дела мы здесь делаем с нефтью, совсем не благоуханною, перекачивая из Баку по старому керосинопроводу и по новому нефтепроводу энное количество тонн для наливных судов, которые идут к нам со всех концов мира. Но я, насытившись в Баку промыслами и нефтеперегонным делом, не стал осматривать батумский «нефтяной городок». Итак, запаха нефти в Батуме я не слышал, зато я надыхался лавром и цитрусами. Лимонов здесь, правда, не так много, как в Испании, но и мандарины пахнут нехудо.

В Батуме я был три года назад. Его теперь не узнаешь. Город стал нарядным. И знаменитый его бульвар, у которого в мире есть всего только два-три соперника, совсем стал красавцем. В Батуме сейчас тысяч семьдесят жителей, но в этой маленькой столице маленькой Аджарской республики есть пленительное своеобразие. Оно в том,

что, несмотря на то, что в четырех километрах от города видны знакомые по Баку нефтеперегонные колонны, трубы, баки, что здесь есть механический и чугунолитейный, машиностроительный заводы, что в прошлом году пущен еще один завод красящих экстрактов с расчетом на производительность в 600 тонн; несмотря на все индустриальное и экспортное оживление, в самом городе Батуме, стоит лишь отойти от пристани, сохранилась уютная тишина: никакой суеты, никаких криков, гудков, трамвайного лязга... И в то же время нет провинциальной скуки, потому что всегда чувствуешь море и живую связь со всем миром.

Когда едешь из Тифлиса в Батум, от станции Хашури до станции Зестафони, вагоны влечет электровоз. В недалеком будущем вся дорога будет переведена на электрическую тягу. Индустриализация — здесь уже совершившийся факт. Здесь область марганца. В Зестафони — новый, недавно выстроенный ферро-марганцевый завод. Три-четыре месяца назад пущена новая гидроэлектрическая станция на Рионе. Но, несмотря на неустанную погрузку драгоценного марганца на станции Шорапань (здесь ветка на Чиатуре), несмотря на Рионгэс, по мере того, как въезжаешь в страну субтропиков, забываешь как-то об индустриализации и чувствуешь, не столько даже физиологически, сколько, так сказать, морально, что здесь, в самом деле, «лавром и лимоном пахнет». Те, кто представляет себе индустриализацию страны, как некий суровый процесс, уничтожающий на своих путях гармонию сельской жизни, должны усомниться в этом, путешествуя по Аджаристану. Черноморское побережье не стало хуже от того, что стоит под Батумом заводский поселок «Тамара», что дорога, ведущая к Махинджаури, асфальтирована, что вся она обсажена, как бульвар, криптомериями и пальмами-драценами.

Фаэтон, запряженный паром, не без труда въезжает по крутой узкой дороге, мимо нового превосходного санатория ВЦСПС, к даче, на которой я жил три года назад. Здесь, на даче, все попрже-

нему: та же высокая пальма с лохматым стволом, те же лимоны под окном моей комнаты; виден Батум, а за ним турецкие горы, совсем близко — рукой подать...

Мне немного грустно, как это всегда бывает, когда возвращаешься к какому-то очагу, где был раньше, и когда невольно припоминаешь, что идут годы и ты не молодеешь, а совсем напротив.

— Зато жизнь растет вокруг, — спешу я себя утешить.

И, в самом деле, нахожу утешение в этой мысли...

Итак, я поселился на Зеленом Мысу. Много пленительных пейзажей я видел на своем веку: я жил когда-то в Швейцарии, над Сьеррой, на Монтана-Вермала; бродил по фалезам у океана; жил в Сибири, в дивной таежной пустыне; не раз бывал в Венеции... Всего и не припомнишь сразу: но здесь, на Зеленом Мысу, есть какое-то ни с чем не сравнимое очарование, — я не знаю, что это такое: от этого предгория, от этих холмов, покрытых цитрусамы, веет какой-то античной легендой... Пожалуй, женственная прелесть этого побережья напоминает отчасти Архипелаг, где я был в последний раз во время мировой войны, возвращаясь из Италии через Бриндизи.

Я живу рядом с Ботаническим садом. Здесь ключ к знанию и пониманию советских субтропиков.

Батумский ботанический сад был создан трудами покойного ученого геоботаника — А. Н. Краснова. Это было за два года до мировой войны. Профессор Краснов умер в тот же роковой четырнадцатый год. Гражданская война, а главное, вторжение интервентов печально отразились на судьбе Ботанического сада. Турки, англичане и меньшевики не поддерживали, а разоряли эту драгоценную культурную базу Черноморского побережья. В эти трудные годы садом руководил проф. И. В. Палибин. Ботанический сад ожил, стал обогащаться коллекциями и научной экспериментальной работой с тех пор, как Аджарстан вошел в Союз Советских Социалистических Республик. Теперь сад переименован в «Станцию интродукции и аккли-

матизации субтропических растений». Новое название точно передает суть дела, но звучит очень неуклюже, и все попрежнему называют его Батумским ботаническим садом. Директор его, проф. Келлер, был в Ленинграде, когда я пришел осматривать этот волшебный сад. А у его заместителя, проф. В. Е. Воронцова, как-раз случилась семейная беда: тяжело заболела его дочь. И проф. В. Е. Воронцов дал мне Виктора Осиповича Чантуришвили в качестве руководителя.

Я, должен признаться, страдаю одним странным и отчасти смешным психическим недугом: когда какой-нибудь специалист, по-настоящему увлеченный своим предметом, рассказывает мне что-нибудь из области ему близкой, я способен сам до такой степени войти в круг его интересов, что у меня является желание бросить мое литературное ремесло и заняться совсем иным делом: с астрономом — вычислять кривые пути небесных тел, с геологом — искать нефтяные недра, с физиком — решать проблему прерывности и непрерывности материи... Виктор Осипович оказался одним из таких соблазнительей, и, когда этот многоопытный ревнитель акклиматизации растений рассказывал мне о своих попытках и достижениях, мне хотелось не возвращаться в Москву с моими «путевыми очерками», а остаться здесь, на Зеленом Мысу, и сажать вместе с Виктором Осиповичем хинное дерево, лимоны, бамбук...

Посадить самое обыкновенное дерево, какую-нибудь липу, ель или даже ветлу, и наблюдать за чудом ее роста — настоящее счастье! А здесь, в Батумском ботаническом саду, работают счастливицы над такими растениями, которые сами по себе — сокровища. Не обидно ли, что у нас в Союзе какая-нибудь хина — недостижимый предмет, и мы платим дань золотом за право лечиться от малярии и лихорадки! И возможно ли остаться равнодушным, когда тебе рассказывает Виктор Осипович, с каким упорством ведутся опыты акклиматизации этого капризного дерева, погибающего при —1°. Он водил меня по оранжереям, где сотни черенков хинного дерева поса-



жены в разных почвенных и температурных условиях.

А столь нужное нам гуттаперчевое дерево! Его выписали, если не ошибаюсь, из Марселя. Первая удачная посадка черенков была сделана в 1931 году В. О. Чантуришвили. Между Поти и Сухумом теперь производятся опыты с разведением этого полезнейшего растения.

А бамбук! Это удивительное растение, которое можно при нагревании гнуть, как угодно, и делать из него не только мебель, но даже водопроводные трубы, в иных случаях вполне заменяющие железные. Бамбук, между прочим, замечателем тем, что он цветет один раз в тридцать лет примерно. Виктор Осипович в 1932 году собрал с четырех кустов 400 семян. Любопытно, что бамбук цветет одновременно с кустом-родоначальником, то-есть, если бамбук от данного куста отсадили год назад, а куст зацвел, то и этот отпрыск, где бы он ни находился, зацветет в тот же срок.

В настоящее время печатается путеводитель по Ботаническому саду, а пока я познакомился с планами и задачами этого учреждения отчасти по статье проф. Келлера, напечатанной в первом номере «Советских субтропиков», отчасти по очень содержательной брошюре проф. Воронцова «Батумский ботанический сад и его деятельность» (1921—1932 гг.). Из этой книжки я узнал, между прочим, какие цифры определяют интродукцию субтропических растений при посредстве Ботанического сада. Так, различным совхозам, колхозам, промышленным и опытным учреждениям были переданы цитрусовые растения в количестве 100.000 экземпляров. Сад занимался также культурой эфирномасличных растений: розовой герани, лимонной вербены, туберозы, лаванды, горького шомранца... Герани, например, было передано заинтересованным предприятиям 500.000 черенков.

Ботанический сад связан с десятками учреждений — с акционерным обществом «Чай-Грузия», с об-вом «Дубитель», с Химико-Фармацевтическим институтом и со многими другими, сокращенные

названия коих остались для меня загадочными, как китайский алфавит или клинообразные надписи ассирийско-вавилонских памятников. Вероятно, все эти нерасшифрованные мною учреждения весьма почтенны и наверно используют в интересах нашего Союза и тунговое дерево, и камфорный лавр, и рами, и фэйхон...

А чай! Его культура представляет для нашей страны насущную необходимость. Только при советской власти мы использовали в этом отношении наши влажные субтропики. Десятки тысяч килограммов чайного листа дают государству совхозы и колхозы Аджаристана. В Ботаническом саду идет параллельная работа по изучению чайных культур. В совхозе «Чаква» (в 13 километрах от города) работает большая чайная фабрика. В краеведческом музее в самом Батуме мне рассказывали, что в ближайшее время на Чаквинской фабрике будет применен новый метод вяления чая, изобретенный нашим советским работником. Благодаря этому методу мы добьемся немалой экономии в производстве.

Центральное место в Аджаристане занимает, конечно, культура цитрусов. До советской власти на Черноморском побережье были частные любительские хозяйства, где культивировались апельсины, мандарины, лимоны, но эти опыты так и оставались достоянием немногих. Теперь огромные совхозы собирают миллионы плодов, но мы, конечно, далеко еще не удовлетворены постановкою этого дела. Собранные плоды худо хранятся и часто не доходят до потребителя. Теперь, впрочем, это дело, кажется, наладилось. Но если нам удастся сделать значительное количество мандариновых посадок, устойчивых и не боящихся холода, который все-таки посещает иногда наши субтропики, то того же нельзя сказать о лимонах и апельсинах. Они не выносят температуры  $-10^{\circ}$ . А такая температура в иные годы бывает на побережье. Правда, она держится недолго. Но и одна ночь может погубить нежные деревья. Значит, надо найти морозоустойчивые сорта. Технология садоводства должна искать

способов для борьбы с морозом. В Америке отепляют лимонные насаждения целюю системою ламп, которые стоят на плантации под открытым небом.

Наркомзем СССР отправлял в Америку и Европу комиссии из специалистов и партийных людей для изучения субтропического хозяйства. Один из участников этой экспедиции, тов. Геурков, напечатал в этом году свой доклад, который он сделал на собрании агрономов и работников по субтропикам Аджаристана. Доклад любопытный. Несмотря на все наши успехи в этом деле, у нас все-таки до сих пор нет своих лимонов и апельсинов в достаточном количестве. Но они у нас будут. Мне рассказывал старший садовник Ботанического сада, что сейчас он производит на свой страх опыты с лимонами, изучая условия, которые позволяют растению благополучно существовать.

На маленьком клочке земли, где стоит дача, на коей я живу, растут и дают плоды три лимонных дерева. Если три дерева уцелели, несмотря на морозы, почему не посадить три тысячи деревьев в тех же условиях? А секрет заключается в том, что уцелевшие лимоны защищены от ветра, и поэтому мороз им не страшен. Почему бы не сделать лимонных насаждений в аналогичных условиях? Само собой разумеется, что в конце концов специалисты добьются нужных результатов, и трудящиеся будут есть наши собственные, советские лимоны.

Мы во что бы то ни стало должны использовать счастливый климат Аджаристана, наши «влажные субтропики», которые, по мнению ученых климатологов, представляют почти исчезнувший с лица земли понтийский климат, лишь отчасти сохранившийся в Южной Испании и Сицилии, где «лимоном и лавром пахнет».

Мы только теперь начинаем ценить по-настоящему наши сокровища! А до сих пор мы утешали себя легендами о «золотом руне». Ведь аргонавты искали его именно здесь, на Черноморском побережье.

Но не только мифология, но и трезвая история рассказывает нам о событиях, значительных и занимательных, связанных с его судьбою. За несколько веков до нашей эры на Черноморском побережье процветали, как известно, греческие колонии: например, Фазис, там, где Рион впадает в Черное море. Отсюда шли торговые экспедиции до берегов Каспия.

К началу нашей эры мы здесь видим уже богатое Понтийское царство, которое вошло в пределы Римского государства, когда Митридат был разбит легионами Помпеи. После целого ряда исторических метаморфоз, когда это побережье то попадало в руки персов, то оказывалось под властью Византии, в IX веке мы видим здесь большое государство, объединившее абхазские и грузинские народности. Это объединение было непродолжительным. Средневековье, с его феодализмом, раздробило страну на враждующие племена. В XVI веке пришли турки и покорили страну. В это время аджарцы (грузины по крови и языку) приняли магометанство. В XIX веке появляются здесь русские. В 1878 году Батум оказался под властью царской России. Дальнейшие события уже разворачиваются на наших глазах.

Живешь в ином городе или местечке и забываешь как-то о том, что ты «гражданин мира», что ты связан миллионами невидимых уз с Римом, Парижем, Мельбурном, Рио-де-Жанейро... Мне приходилось жить в таких равнодушных ко вселенной городках, где провинциализм, обособленность, замкнутость становятся чем-то абсолютным. Таков, например, городок Фекан в Нормандии, где я жил двадцать три года назад, или наш древний Углич, где до революции построено было храмов более, чем жилых домов. Но бывают такие углы на «милый, мной изведанный земле», где человек сразу ощущает «всемирное», хотя сам по себе «угол», может быть, вовсе не представляет собою чего-нибудь замечательного.

Зеленый Мыс, где разбросано несколько дач и два-три дома отдыха, несмотря на свою малость, напоминает почему-то человеку, что ему принадлежит все многообразие и великолепие вселенной... Если Ботанический сад говорит об этом очень вразумительно самым фактом своей богатейшей флоры — северо-американской, японской, гималайской, австралийской, новозеландской, чилийской, — то маленькая скромная усадьба, где я живу, говорит об этом же на своем языке, менее внятном, но не менее убедительном.

Когда я просыпаюсь утром и вижу в окно, как постепенно окрашиваются зарею небо и горы турецкой Анатолии; когда я слышу ропот Черного моря, то робкий и задумчивый, то страстный и дикий; когда я, отворив окно, вдыхаю сладостные запахи цитрусов и протягиваю руку, чтобы сорвать с ветки еще в зеленой кожице пахучий лимон, я чувствую Эгейское море, Архипелаг и

далее — Италию, Испанию, выход в открытый океан, и не только земля и солнце, вся наша галактика плывет перед моими глазами в безмерности бытия, «бесконечного во времени и в пространстве».

Но мне и этого мало: я смотрю жадно (не могу оторваться) на эти бесконечные террасы с пальмами, олеандрами, чинарами, эвкалиптами... Хочется как-то вдохнуть весь этот благоуханный мир и самому уйти в сень гигантских листьев... И когда так смотришь на этот грандиозный, раскинувшийся в роскошной лени субтропический мир, вдруг является какое-то сказочное, фантастическое чувство, и кажется вдруг, что ты сквозь прерывистую материю мировой авансены начинаешь постигать непостижимый эфир, учение о коем развивают так блистательно физики, руководствуясь диалектическим пониманием космоса.

# За рубежом

США

Ал. Хамадан

(Окончание <sup>1</sup>)

## Музыканты, художники

**В** воскресенье вся деловая жизнь в городе замирает. Улицы малолюдны. Даже на Пятой авеню тихо — плывут редкие автобусы, иногда промчится десяток-другой автомобилей. Закрыты все магазины.

На углу Седьмой авеню и 57 стрит стоит «Карнеджи-холл» — крупнейший в городе концертный зал. Здесь помещается имеющая мировую известность нью-йоркская филармония, построенная на средства миллиардера Карнеджи. Награбив сотни миллионов долларов путем жесточайшей эксплуатации рабочих, преступных махинаций и спекуляций, этот состарившийся капиталистический волк решил филантропией загладить свои грехи перед американским народом.

Сегодня в «Карнеджи-холл» в Нью-Йорке известный польский дирижер Артур Родзинский дает концерт русской музыки. В программе Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Стравинский. Последняя часть концерта посвящена современной музыке — Сергею Прокофьеву и Шостаковичу. Зал наполнен лишь наполовину.

— И это всегда так, — говорит сидящий рядом со мной музыкальный критик одной из американских газет. —

Вот если бы сюда приехал Лауренс Тибетт, — единственный американец с более или менее приличным голосом, — здесь было бы все иначе. Ну, и к тому же у Лауренса более «легкий», «доступный» репертуар.

Уславливаемся с критиком побеседовать после концерта. На сцене уже расположился оркестр. Зал все еще не полон. Все дорогие, многодолларовые места пусты. Концерт начинается симфонией Прокофьева. Затем исполняется «Хованщина» Мусоргского. С исключительным успехом были исполнены два акта из оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Опера Шостаковича — это первое произведение советского композитора, исполненное в «Карнеджи-холл» оркестром нью-йоркской филармонии.

— Вы знаете, — говорит мне по-русски Родзинский, — я очень волновался, я боялся, что публика не примет Шостаковича. И вот... какой огромный успех!

Медленно бредем с критиком по пустынной и холодной Пятой авеню. Продолжаем прерванную концертом беседу.

— Что? Что вы спросили? — спрашивает он меня. — Наша культура? Не считите меня за невежду, но культуры, как ее понимают в Европе или в Советском Союзе, у нас нет. У нас в Америке почти нет основных, определяющих

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. 11 с. г.

степень культурности населения, элементов, — нет театров. Книг у нас почти никто не читает, если не считать, конечно, дешевенькой уголовной и сенсационной литературы. Хорошие книги ужасно дороги, потому что слишком малы тиражи.

Очень редкий человек назовет вам несколько американских писательских имен, о которых он что-либо знает или слышал, или смутно помнит прочитанный в школе отрывок. С иностранной переводной литературой еще хуже. Ее совсем никто не читает и не знает. У нас очень мало людей, которые могли бы похвастаться знанием отечественной литературы, не говоря уже об иностранной.

Зайдите в гигантский книжный магазин «Брентано», посидите час и подсчитайте количество покупателей, — пять, шесть человек, которые при этом покупают отнюдь не книги, а резинки, карандаши, чернила, перья. А это ведь самый большой книжный магазин в мире! Магазин разыскивает книгу по просьбе покупателя по всему свету. И не было случая, чтобы покупатель ушел из магазина, не удовлетворенный в своих поисках или желаниях. В магазине есть отделы, — русский, французский, английский, немецкий, итальянский и др., — около 20 отделов, причем служащие этих отделов говорят на соответствующем языке.

Писатели живут у нас плохо. Гоноары мизерны до невероятности. Совсем недавно я выпустил критическую книгу в 400 страниц, над которой работал около двух лет. Мне заплатили за эту книгу 74 доллара. Вы понимаете? 74 доллара за два года упорной, кропотливой работы.

У нас десятки хороших старых писателей, опустившихся, изголодавшихся, превратившихся в репортеров грязных уголовных газеток. Десятки молодых талантливых людей сменили писательское перо на рулевое колесо таксомотора. Я знаю одного писателя, который работает в штрейкбрехерском агентстве Ната Пинкертон в Чикаго. Он пишет провокационные прокламации для рабочих. Мой менее удачливый коллега, му-

зыкантик-критик, работает трамвайным вожатым.

Трагедия, которую переживают американские музыканты, безгранична. Благодаря радио и патефонам буквально десятки тысяч музыкантов в стране лишились куска хлеба. Особенно тяжело киномузыкантам. Их вышвырнули на улицу, как ненужный хлам. Оркестры заменены музыкальными и звучащими фильмами. И только в некоторых кабаках, ресторанах и притонах еще сохранились живые музыканты.

Мы подошли к дому «Рокфеллер-сент-чер» («Радио-сити»). Десятки верхних этажей этого гигантского семидесятиэтажного дома были поглощены вечерней темнотой. В ярко освещенном подезде толпилось несколько сот человек. Изредка у подезда останавливались автомобили, выскакивали одетые со всей мыслимой роскошью выхоленные женщины джентльменов с Пятой авеню или Уолл-стрита.

Сегодня в мюзик-холле «Радио-сити» премьера пантомимы «Индийская легенда». Время, остающееся до начала представления, проводим в медленной прогулке по обширным, с кричащей роскошью убраным фойе и некоторым этажам этого гигантского здания. В Большом зале стены покрыты художественной росписью. Огромных размеров картины иллюстрируют историю рода человеческого — от Адама до наших дней. Здесь, — говорит мой спутник, — не так давно были стены, расписанные знаменитым мексиканским художником Диего-де-Ривера, но их, очевидно, закрашили, так как «содержание картин оказалось вопиющим и не соответствующим обстановке». Передают, что художник в ярких красках изобразил историю борьбы между трудом и капиталом, показал жесточайшую эксплуатацию рабочего класса буржуазией и многое другое в том же духе. Ясно, что подобные картины не соответствуют не только обстановке этого дома, но и вкусам его посетителей.

Ныне стены украшены слащавыми работами английского художника Франса Брандвина, изобразившего на гигантских каменных полотнах (25 футов ши-

(лины и 17 футов высоты) счастье, мир и покой, сотрудничество классов перед лицом... господ-бога. На его картинах джентльмены с Уолл-стрит и дамы с Парк-авеню шагают в цилиндрах и соболях в одном ряду с калеками, рабочими и нищими на вершину добра и благополучия.

— 99 процентов художников, — говорит мой спутник, — живут так же плохо, как и 99 процентов музыкантов. Кому в наше время, в годы бесконечной депрессии, нужна живопись и прочее? Художники голодали даже тогда, когда «просперити» наполняло подвалы миллионеров золотом. Даже в те времена художники жили на подачки какого-нибудь «добросердного» филантропа, купавшего время от времени за пару долларов картину, стоившую сотни, если цену искусства переводить на золото.

\*\*\*

Это было, кажется, в начале декабря 1934 года. Меня пригласили в гости к художнику Х. Больше часа я мчался в поездах метрополитена через весь город в район бедняцких кварталов. После долгих поисков на темной, грязной улице я нашел нужный мне огромный мрачный дом, разбитый на несметное множество светящихся окон-коробочек.

— Лифт работает только до пятого этажа, — заявил мне лифтер-негр.

— Почему не работает?

— Ничего особенного не произошло. Лифт в полной исправности, сэр, если не считать, что тросы не менялись уже десять лет. Но дело не в этом. Жильцы верхних этажей отказались платить квартирную плату, — они безработные. Так вот им не дают уже более десяти дней лифта и выключили вчера водопровод. Завтра выключат и свет. Вам на одиннадцатый этаж? Там вон в углу, — протянул он руку, — есть черная лестница.

Две маленькие комнаты, обставленные старенькой и дешевой мебелью. Стены обильно увешаны картинами и рисунками. Среднего роста худенькая женщина показывает квартиру, — это жена художника. Здесь, говорит она,

его мастерская. В комнате, размером примерно в 12 кв. метров, возле стены стоит кровать, посередине — огромный мольберт.

— Здесь он работает, здесь и спит. В той комнате спят двое детей, там же я готовлю обед. У меня нет ни кухни, ни чуланчика для этого. Муж придет через 10—15 минут. Знаете ли, у нас в доме происходит забастовка квартиранимателей. 120 семейств, проживающих в этом доме, в том числе и мы, — улыбнувшись, говорит она, — не могут оплатить квартирные счета. Нам не дают теперь воды, не позволяют ездить на лифте. Не только нам, взрослым, но и нашим детям. Положение у нас у всех ужасное. Из 120 неплательщиков 116 человек не имеют работы уже несколько лет. Мой муж входит в счастливую четверку работающих. Но того, что он зарабатывает, едва хватает на хлеб, кофе, и прямо счастье, что мы можем уделить немного на молоко детям. Мясо мы с мужем не едим. Мы живем по сравнению с другими семьями еще очень хорошо. В других семьях о молоке для детей даже и не мечтают. В этих семьях дети не каждый день едят хлеб, картошку.

Жена художника Х. приносит пачку альбомов с зарисовками мужа.

— Если скучно со мной беседовать, — говорит она, — то смотрите эти рисунки. Здесь есть и такие, которые не увидели света по цензурным условиям.

Медленно листаю альбом, рассматриваю мастерски сделанные карикатуры, переговариваюсь с женой художника. Ее зовут Паулина.

В дверь постучали несколько раз.

— Вот они и пришли, мои ребята! — нервно воскликнула Паулина и бросилась открывать дверь.

В комнату влетели двое ребят — Фред и Эллен. Эллен почти на голову выше Фреда, невероятно худа, с тонким красивым лицом, с живыми темными глазами. Фред — низкорослый, широкий в плечах парень. Они остановились передо мной оба, как вкопанные.

Паулина подталкивает ко мне Эллен и говорит:

— Ну, познакомься, не стесняйся, это наш друг.

Через полчаса мы были уже друзьями и дружно беседовали, сидя на протертом и продырявленном диване. Эллен — пионерка. Она уже два года активно работает в пионерском отряде.

— Я — агитаторша, — говорит Эллен, я привела в отряд двух ребят, одного из 617-й комнаты, другого из 412-й. Правда, мама?

— О, да, да, — подтвердила мать.

— Я все время говорю маме, чтобы мы уехали отсюда в СССР, я хочу там жить и учиться.

— Я тоже поеду, без меня они не уедут, — взволнованным голосом проговорил долго молчавший Фред.

На столик перед диваном мать поставила две тарелочки, на каждой кусочек хлеба, большая сваренная и очищенная картофелина, а рядом щепотка соли. Это — богатый ужин. У других родителей дети ложатся спать голодными.

... Сидим втроем: я, Джон, Паулина. Какой он замечательный человек. Большое, честное, открытое лицо.

— Они хотят, — говорит он совершенно спокойно, — выбросить нас из квартир. Будем драться, не боимся. В конце-концов, если мы будем отступать, они нас сожрут.

Вот что рассказал мне Джон — один из талантливейших революционных художников Соединенных Штатов — о своей жизни и борьбе. Я передаю этот простой человеческий рассказ в самом сжатом виде.

— Мне всего 35 лет, хотя я и выгляжу старше. Я родился в Америке, так же, как и Паулина. Наши родители эмигрировали в Америку из Польши. Я был неграмотным до 17 лет. Жил очень тяжело: ни одежды, ни еды, ни света, ни радости. На семь человек детей только одна пара лохмотьев. Мы поочередно одевались и выходили на улицу. Сколько времени так продолжалось, не знаю. Кажется, несколько лет.

Однажды брат, который был на четыре года старше меня, ушел и больше не вернулся домой. Я не видел его с тех

пор ни разу. Через 4 месяца от него получили 15 долларов и записочку: «Я не хочу сдыхать от голода, как собака. Я пошел в армию. Здесь меня кормят, одевают и платят деньги. Если будет война, я никому не дам пощады. Хорошо, если будет война с «босами» (с хозьяевами)». Вот все, что мы когда-либо имели от него.

Из 15 долларов один доллар был истрачен на «костюм» для меня. Я получил работу разносчика газет в специальной артели. Но через неделю там узнали, что я не могу читать, и выгнали меня на улицу, как обманщика. Надо ведь знать заголовки статей и телеграмм, напечатанных в газете. Через год я выучился читать и писать. Как миллионы других американцев, я переменил больше десятка профессий. Был мойщиком окон, стекольщиком, маляром, истопником, сторожем, шофером.

Случайно я встретил одного старика-художника, с которым подружился. Он то и обнаружил во мне склонность к рисованию. Это был почти нищий человек. Старик взял меня к себе. Мы жили вместе около 4 лет, вместе голодали, холодали. Я кое-что зарабатывал, а он учил меня. Однажды я послал свои рисунки на конкурс крупной буржуазной газеты. Это было вскоре после смерти старика. Через месяц я получил чек на сто долларов с предложением работать в иллюстрационном отделе этой газеты.

Я едва не лишился рассудка от счастья: столько денег. Я работал в этой и других газетах около 6 лет. Меня на деньги высоко ценили.

Но, знаете ли, я вышел из самых жутких слоев бедноты, и ее судьбы меня всегда волновали. Наконец, я встретился с коммунистами. У меня не было никаких колебаний, все мои мечты были изложены в их программе. Теперь это и моя программа, — добавил он. — Я резко изменил тематику своей работы в газете и вскоре получил последний расчетный чек. После этого целый год я был в войсках генерала Сандино в Мексике. Потом я вернулся в Нью-Йорк и в первый же день получил приглашение работать в буржуазных газетах. Но я даже не ответил. С тех пор я работаю

во всех революционных газетах и журналах Америки.

Вы спросили меня, сколько я зарабатываю, — очень мало. Газеты, издающиеся на гроши, собираемые среди революционных рабочих и даже безработных, не могут платить мне больших гонораров. Но дело не в этом. Совсем недавно на меня напала банда хулиганов, нанятая каким-то лидером из Американской федерации труда, «оскорбленным» моим рисунком-карикатурой. Они сломали мне левую руку. Теперь мне несколько труднее работать, но ничего, привыкаю...

Вот предложения — изменить тематику и пойти работать в любую буржуазную газету, где они будут платить мне за один рисунок столько, сколько я получаю за целый месяц работы в революционной печати.

Джон вытащил из чемодана целую пачку писем со штампами «Нью-Йорк таймс», «Балтимор сэн» и т. д.

— Но я не только художник. Быть только художником, — для меня теперь этого очень мало. Я хочу быть с массами не только как художник, но и как рядовой боец.

Мы долго жали друг другу руки, уславливаясь встретиться в Москве.

В комнате неожиданно погас свет. Через секунду лампочки вновь ярко вспыхнули и сейчас же погасли опять, на этот раз окончательно. Я уходил в темноте, с трудом отыскивая во мраке ступеньки лестницы с низкими перилами. Джон вышел на площадку и послал мне последний гуд-бай.

\*\*\*

... Я назвал критику фамилию Джона и спросил его мнение о нем.

— Вы его знаете? Это блестящий рисовальщик-карикатурист. Я не ошибусь, если скажу, что он — единственный у нас в этом жанре, достойный всяческого восхваления. Сейчас он участвует в революционном движении. Я не знаю точно, но говорят, что он — коммунист и прекрасный оратор. Лично я знаю его как очень скромного и честного человека.

... Пантомима начинается. Нет смысла передавать содержание этой пустой вещи. Точная, тщательно рассчитанная, без эмоции, механическая игра. Но эту пустоту в значительной мере скрашивает постановочная сторона пантомимы. Световые эффекты блестящи, совершенны. Я видел в эстрадной части программы в густой темноте только одну ярко освещенную поющую голову артистки или прижимающиеся к груди руки. В другом номере — в пляске живота — разноцветно был освещен живот танцовщицы. Деталь легко оторвана от целого, живет независимо, купаясь в лучах многоцветных юпитеров. Без шума вращаются, появляются и исчезают сцены, декорации.

— Единственное наше преимущество, — говорит мне критик, — это техническое совершенство во всех областях промышленности и даже искусства. В остальном даже консервативная, чопорная Англия издает книг больше, чем мы. Она издала в 1933 году 16 тысяч названий, тогда как мы с населением, в 3 раза большим, издали всего 8 тысяч книг.

— Это не так уж много даже для Англии, — ответил я. — В СССР в 1934 году издано около 45 тысяч названий.

### Чемпион побит

Уже несколько дней в газетах анонсируется матч бокса. Одна из вечерних нью-йоркских газет километровым шрифтом сообщает, что будет драться нью-йоркский чемпион бокса Мэкси Роозенблум с чемпионом Бостона Бобом Олиным. Огромные портреты боксеров во всех видах и позах украшают газетные полосы.

Вечером, в половине восьмого, возле огромного здания Медиссон-сквер-гардена не протолкаться. Несколько тысяч человек толпится у парадных подъездов. Гул голосов, сопровождаемый резкими выкриками газетчиков, продавцов сладостей, сигарет, сигар, вод и многочисленной универсальной дребедени — свистков, хлопушек, ракеток, пугачей, мячей и т. п., заглушает шум уличного движения.



В проходах в зал точно такая же оживленная толкотня, крики, визги. Толпы зрителей струями вливаются в более чем поместительный зал Медиссон-сквер-гардена. В этом зале вполне свободно может разместиться около 30 тысяч зрителей. Продано уже около 15 тысяч билетов, как любезно сообщает мне сосед слева. Постепенно выясняется, что сосед мой знает все подробности о жизни, любви и гонораре каждого боксера и борца, выступающего на этом ринге.

Ринг освещен огромными юпитерами, подвешенными высоко под крышей. Вокруг ринга расположены конторки — это место для судей и прессы. Над самой серединой ринга черной грушей болтается на проволоке радиопередатчик. У каждого репортера стоят постоянные редакционные радиоаппараты. Репортер не пишет. В его руках не видно ни вечного пера, ни карандаша. Его правая рука сжимает молоточек. Он дробным стуком немедленно передает по радио в свою редакцию все, что происходит в зале и на ринге. Словоохотливый сосед рассказывает: раньше передавали по телефону, но в зале такой адский шум, что пришлось перейти на радио.

В зале много свободных мест, особенно дорогих. Даже здесь чувствуется дыхание кризиса. Зрители расстроенными руками отступили на более дешевые места. Галерка далеко не полна, не каждый работающий рабочий может теперь позволить себе роскошь выбросить один-два доллара на это зрелище. О безработных и говорить нечего.

Все громче и громче нарастает гул голосов — приближается момент начала матча. Зрители становятся все более нетерпеливыми. Разносятся всплески аплодисментов, выкрики, топот многих тысяч ног.

Половина девятого. На ринге появляется маленький, шупленький человек, арбитр. Он выглядит карликом на этом большом ринге. Неожиданно громкий голос несется из радиорупоров. Арбитр начинает работать: публике представляет боксеров. Легкой звериной походкой они поочередно приближаются

к рингу, вспрыгивают на него и долго раскланиваются во все стороны. Они одеты, как кокетливые женщины, — на тело небрежно наброшены цветные шелковые халаты, шеи замотаны яркими шарфами. Каждого встречают аплодисментами. Почти под гробовое молчание корректно раскланиваются боксеры-негры. Только одному негру аплодировали короткими и жидкими хлопками. Это был молодой, с красивым, хорошо развитым телом, боксер, чемпион Калифорнии — Джон-Генри Левис.

Первая пара боксеров — оба белые — уже на ринге. Начинается схватка. Зрители, однако, равнодушны. Они громко разговаривают и совсем не следят за тем, что происходит на ринге. Публика ждет кумиров, выступающих в последней паре. Но уже вторая пара боксеров — негр и белый — вызывает большой интерес. Начинаются свистки, вопли, выкрики одобрения и улюлюканье. Когда белый удачно наносит удар негру, публика неистовствует, дико аплодирует, по рядам раскатывается гул:

— Ол райт, алло, найс...<sup>1)</sup>

Но тогда, когда негр ловким ударом бросает противника на пол или на веревки ринга, в зале молчание.

Негр более осторожен, он ловко отражает удары белого. Последний явно злится, обращается к публике и разводит руками, словно говоря: видите, я не виноват, он не дает мне приблизиться и побить себя. Из рядов несется непрекращающийся вопль: «Деритесь, дьяволы, ведь мы платили деньги».

На четвертом раунде негр сильно бросает белого на пол. Считают секунды. Гонг в гробовой тишине гулко отсчитывает время. Белый продолжает неподвижно лежать. Победил негр. Зал пробуждается от напряженного молчания и раздражается диким свистом, воем, топанием ног. Раздаются голоса: неправильно. Но негра на ринге уже нет. Белый боксер приподнимается, встает на одно колено, потом на другое. Он уходит. Победенного (не победителя) провожают аплодисментами.

<sup>1)</sup> Хорошо, правильно. красиво.

Зал медленно успокаивается. Дерется третья пара. Зрители беседуют.

Наконец, на ринге появляются Мэкси Роозенблум и Боб Олин. Оба сильны, нескладно, но крепко сложены. Первому 29 лет, второму — 26. Первый держится в звании чемпиона Нью-Йорка уже год. Второй является молодым претендентом на этот весьма выгодный в материальном отношении боксерский престол. Сосед слева говорит: «Знаете, Боб сегодня сказал, что все завтрашние газеты назовут его чемпионом. Он сказал, что будет драться до потери сознания».

Между рядами проворно мелькают продавцы кофе, булочек, сладостей. Они предупредительно сообщают: надо перекусить, мистер, бой будет продолжаться часа два. Арбитр через радиорупор сообщает, что борьба будет происходить до решительного результата.

По рингу быстрыми прыжками несутся Боб и Мэкси. Оба вначале присматриваются друг к другу, выискивают слабые стороны, изучают выносливость. Первый удар наносит Мэкси. Боб падает на веревки, от сотрясения его подбородок сильно ударяется о грудь. В зале вырывается вздох облегчения. Буря оваций награждает чемпиона. Боксеры опять мелькают по рингу. Зрители вспрыгивают на сиденья. Ничего не видно. Зал ревет от восторга. Боб лежит на полу. Гонг отсчитывает секунды. На десятой секунде Боб медленно поднимается на одно колено, потом на другое...

Конец первого раунда. Боксеры разведены по углам. Здесь их ждут массажист и «ассистент», который информирует бойца о тех или иных удачных и неудачных ударах, о позиции и прочем. Массажист, как автомат, вскидывает и опускает руки, быстро и сильно растирает кожу на лице, груди, шее, на руках. «Ассистент» протягивает боксеру бутылку с какой-то цветной жидкостью. Олин жадно припадает к ее горлышку губами. Но он успевает сделать только один глоток, — «ассистент» вырывает бутылку изо рта боксера.

По рядам ходят разные торговцы. Предлагают хлопушки, свистки, малень-

кие барабаны, пробки для пугача, дудки. Публика должна чем-то выражать свой восторг или негодование, — к ее услугам все эти побрякушки.

Матч продолжается. Раунд за раундом озверевшие боксеры сворачивают друг другу скулы, выбивают зубы, сдирают уши. Оба выпачканы в крови. Но вид крови не останавливает их. Как разъяренные звери, согнувшись, прыгают они друг на друга, скрежещут, стонут и бьют в грудь, ближе к сердцу, к печени, в шею, ближе к сонной артерии. Они оба уже обессилены.

Гонг гонит озверевших людей в углы для самого короткого отдыха — 60 секунд. Через минуту они должны будут вновь сцепиться. Один из них потеряет сегодня вечером звание чемпиона, т.-е. потеряет весьма большой заработок.

И другой, этот молодой, смахивающий на обезьяну, Боб Олин, дерется не ради лавров чемпиона. Сегодня, как шепчет мне мой сосед слева, Олин либо получит чек на несколько тысяч долларов, либо завтра поступит официантом в открываемый Джеком Демпсеем (бывший мировой чемпион бокса) напротив Медиссон-сквер-гардена боксерский бар.

Удар гонга. Драка продолжается. Десятки тысяч лихорадочно напряженных глаз устремлены на ринг. В зале очень много женщин. Они почти все курят. Одним рядом ниже сидит старуха. Чуть дальше — заметно нервничающая молодая нарядная женщина. Боксеры продолжают драться. Из рядов беспрерывно несутся крики одобрения, негодования. Судя по крикам, чемпион Роозенблум — любимец, кумир этой жадно следящей за всеми перипетиями борьбы толпы. Женщины все время кричат: «Алло, Мэкси! Алло, Боб!» Они ободряют своих божков. Молодая нарядная женщина вдруг быстро поднимается и, приложив ко рту купленный здесь же картонный рупор, истерически кричит: — Алло, Мэкси, держись, я жду тебя!

Соседи смеются, глядя на нее. Но сейчас же поворачивают головы и не спускают уже больше глаз с ринга. Женщина, оцепенев, продолжает стоять,

цепко ухватившись руками за спинку кресла.

Ее Мэкси лежит на полу. В этом раунде он падает уже второй раз. Мэкси с трудом поднимается, у него подкашиваются ноги. Над ним стоит одноглазый Боб. Он потерял глаз в предыдущем раунде.

Напряжение в зале быстро нарастает. Все кричат, свистят и воют. В этом адском шуме ничего нельзя разобрать. Старуха, сидящая в ряду ниже, бьет своей сумочкой по голове сидящего перед ней зрителя. Но тот ничего не замечает, поглощенный развивающимися на ринге действиями.

Гонг бьет — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Боб Олин, опираясь кулаками о пол, с трудом приподнимается и снова падает. Гром рукоплесканий, невероятный, дикий рев сотрясает все здание. Это приветствуют Мэкси, качающегося на своих широко расставленных ногах, с безжизненно опущенными руками. Это все продолжалось, вероятно, меньше полусекунды. Неожиданно Боб Олин вновь на ногах. Один удар в подбородок, другой по голове — и чемпион Нью-Йорка, Мэкси Роозенблум, растянулся на ринге во всю длину своего тела. Он лежит лицом вниз, не шевелясь. Гонг отсчитывает вновь. Боб Олин не в силах стоять. Он стоит на коленях... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

Боб Олин, 26 лет, вес — 174 английских фунта, побил Мэкси Роозенблума, 29 лет, вес — 175 фунтов. Боб Олин объявляется чемпионом Нью-Йорка.

Сквозь раскаты несмолкающего человеческого воя слабо доносятся едва уловимые постукивания молоточков в конвульсивно сжатых руках репортеров, своих газет сенсационную новость — выстукивающих по радио в редакции чемпион побит.

### „Реслинг“

Огни уличных фонарей падают на блестяще отполированный асфальт мостовой. Проносятся автомобили. Улицы, ведущие от Пятой авеню к Медиссон-сквер-гарден, пустынные. Долгий утомительный трудовой день гигантского го-

рода завершен. Случайные пешеходы торопливо шагают по широким тротуарам.

Они настолько утомлены и озабочены, что сверкающие всеми цветами радуги витрины магазинов не в силах остановить их даже на секунду. Улица оживает только лишь за один или два квартала до Медиссон-сквер-гардена. Все идут в Медиссон-сквер-гарден смотреть «американский бокс», «реслинг» (в свободном переводе — хватай, как можешь).

У подъездов толпятся тысячи людей. Несмотря на ветер, облака табачного дыма неподвижно висят в воздухе над толпой. Очень много ребят у билетных касс и контрольных входов. С жадно раскрытыми ртами они лихорадочно следят за людьми, покупающими билеты и проходящими внутрь помещения.

Вот грузный, здоровенный полисмен легко несет на почти вытянутой правой руке парнишку лет 12. Он вынес его из помещения, грубыми тычками растолкал толпу, поставил мальчишку на землю и толкнул его тяжелым сапогом в зад. Полисмен неторопливо оглядел безучастную к мальчишкам толпу, повернулся и медленно пошел обратно в помещение.

Повсюду над толпой высятся головы полицейских. Плотно сжав губы, они словно вросли в землю и стоят неподвижно. Длинный ряд их, сложив руки на груди, занимает всю стену, — это резервный отряд. Эти «капы» — нечто вроде взяточников, как их презрительно называют рабочие, — никогда не отвечают на вопрос плохо одетого человека. Их научили только двум вещам — уважать богатых и избивать рабочих.

Завистливыми глазами провожают обладателей билетов не только дети, но и взрослые люди. Мужчины и женщины бесцельно толкуются у билетных касс, словно ожидая, что кто-то в припадке филантропии широко и гостеприимно распахнет заветные двери, скрывающие ринг.

Гвоздем сегодняшнего вечера является «борьба» чемпионов — итальянца Джима Лондоса и американца Флойда Маршалла. Этому матчу предшествовала долгая рекламная шумиха в прессе.

Газеты подробно обсуждали шансы борцов на победу. Газеты заранее обещали зрителю «несколько часов крайне острых переживаний».

В публике какой-то сухой старичок громко рассказывает:

— Если он снимет Лондосу уши, тогда тот ляжет на обе лопатки обязательно. Он ему снимет итальянские уши, как он это уже сделал с немцем Дорфом. Вот увидите.

«Реслинг» — это не бокс и не борьба. Это своеобразная, крайне жестокая драка. В «реслинге» допускаются все приемы, кроме ударов кулаком в лицо: можете бить головой, плечом, локтем, ребром ладони. В этой борьбе допускаются переломы рук и ног, проломы черепа, срыв ушей, ломка пальцев. Убийство в «реслинге» самое обычное явление, за которое виновник не несет никакого наказания, наоборот, приобретает славу и боевую репутацию «непобедимого», «грозы Нью-Йорка», «зверя из Чикаго», «тихоокеанской акулы» и т. п.

«Реслинг» — самое дикое, звериное, кровавое явление в американском спорте.

Зрители звереют по мере озверения бойцов. Они не в состоянии аплодировать, они свистят, гремят, стреляют хлопушками и пугачами, бьют соседей, истерически плачут и визжат.

— Я ставлю двадцать за Маршалла, — говорит один из зрителей.

— Принимаю, — отвечает другой.

Пари заключается повсюду. Азартно, громко, ничего не стесняясь, зрители назначают ставки на бойцов, как на беговых рысаков. Они «доверяют» им свои деньги. Большинство ставит на Маршалла.

— Ну, как же, он не только в лучшей «форме», но он и американец.

К Лондосу относятся с меньшим уважением, презрительно называя его быком, «макаронщиком». Американский шовинизм в спорте находит очень яркое выражение. Буря приветствий встречает появление Маршалла на ринге. Лондосу встречают шумно, насмешки чередуются с предложением сейчас же сдаться, пожалеть свою жизнь. Кто-то испуганно вопит:

— Лондос, ты успел застраховаться?

Все приготовления закончены. С ринга исчезают «ассистенты», массажисты. Арбитр сводит Маршалла и Лондоса.

Драка начинается.

Первый удар плечом в горло Лондосу нанес Маршалл. Лондос покачнулся, схватился руками за горло, упал на колени. Рот у него широко открыт, бычья грудь часто вздымается. Это длится не более 5 секунд. Лондос вновь на ногах, громко выплевывает изо рта красный комок.

Минуты проходят в беготне дерущихся по рингу.

Вдруг Лондос падает на пол ринга. Маршаллу удалось незаметно подножкой опрокинуть противника. Маршалл, как кошка, прыгает на лежащего Лондоса. Возня, стоны — и вновь оба борца на ногах. Маршалл не сумел использовать преимущества, Лондос отбилсся.

Сейчас определился характер борцов. Маршалл — представитель активной школы в «реслинге», первое правило которой все время нападать и бить, не давать противнику опомниться. Лондос — воплощение осторожности, осмотрительности, никаких легкомысленных порывов. Он малоподвижен, и это ему очень мешает. Но он не боится стремительных атак извивающегося Маршалла. Он ждет случая, ему надо поймать Маршалла в свои объятия.

Атмосфера в этом гигантском зале все больше и больше сгущается. Бледные, серые, напряженно вытянутые лица плывут в густом табачном тумане. Многие стоят.

Оба борца лежат на полу в неестественно скрюченной позе. Лондос поднят Маршаллом. Маршалл железными руками загибает ступню Лондоса вовнутрь. Лицо Лондоса искажено животной болью, он стонет, кричит. Ладони его рук беспомощно ударяют о пол. Лицо Маршалла налилось кровью от напряжения. Он вкладывает всю свою силу в руки, гнушие и рвущие ступню. Он тоже стонет, ему также тяжело. Весь зал на ногах. В тишине отчетливо слышны все стоны и вздохи борцов. Одна лопатка Лондоса уже плотно припечатана к полу. Арбитр ложится на пол, прикладывает щеку к полу и следит за вто-

рой лопаткой Лондоса, отделенной от пола всего на два-три сантиметра. Неожиданно Лондосу удается вырвать левую ногу, на которой сидел Маршалл, он быстро сгибает ее и стремительно ударяет ею в горло Маршалла.

Глухой, придушенный крик. Тело Маршалла шлепается на пол в другом углу ринга. Лондос быстро вскакивает, но сейчас же падает вновь, — правая нога у него подкашивается. Он скачет на одной ноге к лежащему Маршаллу. Лондос всей тяжестью своего тела падает на Маршалла, захватывает его левую руку, быстро выворачивает ее и с яростью начинает рвать и ломать кисть. Маршалл стонет, медленно выворачивает свое тело и кладет одну лопатку на пол. Арбитр опять приникает к полу щекой, наблюдает за второй лопаткой. Стоны Маршалла громко разносятся в молчащем зале. Напряжение зрителей невероятно. Разряжается оно чьим-то воплем:

— Маршалл, держись!

Борцы вновь бегают по рингу. Лондос все еще скачет на одной ноге, у Маршалла безжизненно болтается рука. Маршалл вновь нападает: он разбегается и хочет ударить Лондоса плечом в шею. Лондос молниеносно опускается на пол. Напружиненное тело Маршалла пролетает над Лондосом и летит в первые ряды зрителей. Крики... треск кресел. Маршалл с трудом взбирается на ринг. Все тело его покрыто кровавыми ссадинами, на груди висит большой кусок кожи, голова низко опущена на грудь.

Несколько минут борцы беззвучно возятся на полу. Затем Маршаллу удается зажать голову Лондоса между своими ногами. Попытки Лондоса вырваться из этой «мертвой петли» остаются безрезультатными. Маршалл начинает «работать». Ежесекундно он подкидывает ноги вместе с головой Лондоса и стремительно и тяжело опускает их на пол. Голова Лондоса глухо стучит о пол. На ринге происходит явное человекоубийство. Лондосу на глазах 20-тысячной зачарованной толпы ломают череп. Сидящий рядом мистер считает удары головой Лондоса о пол.

— Двадцать три! — хриплым голосом восклицает он.

Но совершается невероятное. «Мервец» Лондос бьет головой Маршалла о пол ринга. Звук ударов гулко разносится по залу. На полу ринга появились большие кровавые пятна.

— Двадцать восьмой удар!

Лондос и Маршалл оба безжизненными тушами вытянулись на ринге. Борцы лежат неподвижно. Арбитр с секундомером в руках подбегает поочередно к каждому. Первым приходит в себя Лондос, потом Маршалл.

После перерыва разбитые, обессиленные борцы вновь сошлись вплотную, грудь в грудь. Они медленно и тихо подталкивают друг друга. Но двадцатитысячный зверь — зритель — начинает сопеть и рычать. Воздух разрезает басистый вопящий голос: «Файт, дэвол, файт!»<sup>1)</sup>. Борцы трутся друг о друга плечами. Выждав момент, Лондос переходит в наступление. Маршалл валится с ног; ухватившись за веревку, он подтягивает свое тело и становится на ноги. Секунду он отдыхает, затем, сжившись, бежит и наносит ногой жестокий удар в живот Лондосу.

Итальянец корчится на полу. У Маршалла нехватает сил добить обезумевшего и все еще корчащегося от боли Лондоса. Весь зал вновь на ногах. В диком, шумном потоке нельзя ничего понять. В первых рядах партера появляется фигура зрителя с картонным, купленным здесь же, магфоном в руке. Он кричит:

— Флойд, Флойд (Маршалл), убей макаронщика!

Лондос опять на ногах. Маршалл медленно отходит и вновь бежит к Лондосу, намереваясь повторить удар ногами в живот. Маршалл подпрыгивает в воздух, вытягивает ноги... Лондос молниеносно отклоняется в сторону, ловит в воздухе ноги Маршалла, дергает их к себе, и Маршалл бьется головой и затылком о пол ринга.

Телом Маршалла он действует, как молотом, высоко поднимая его и опуская раз десять. Зал притих, ни одного звука. Лондос, наконец, устает поднимать и опускать тело Маршалла. Он

<sup>1)</sup> Деритесь, дьяволы, деритесь!

прижимает его к полу и сгибает «в три погибели». Вся тяжесть падает теперь на приплюснутую к полу шею. Белокурая голова Маршалла похожа на спелый, яркокрасный арбуз. Из носа быстрыми струйками бежит кровь. Здоровая рука Маршалла крадется к больной ноге Лондоса и с силой ударяет ее. Лондос падает. Маршалл лежит секунды две, отползает в угол ринга и там, хватаясь за веревки, встает на ноги. Маршалл вертит свою голову во все стороны, уминает пальцами шею. Лондос, прихрамывая, двигается к нему. Совершенно обезумев, наклонив голову, как бык, навстречу Лондосу ринулся Маршалл. Лондос приседает, тело Маршалла во второй раз летит в партер и падает вниз головой на цементный пол между креслами.

Суматоха. «Ассистенты» втаскивают на ринг безжизненное тело Маршалла. Лондос стоит на коленях.

Гонг громко отзвонивает поражение американского чемпиона «реслинга» Флойда Маршалла. Появляются носилки: на одних уносят изуродованного и искалеченного, находящегося без сознания Маршалла, на других — безжизненного победителя Лондоса, издающего рыдающие, истерические звуки.

На ринге больше никого нет. Один за другим с интервалом в минуту тухнут мощные юпитеры. Зрители струями выливаются в просторные коридоры, стены которых увешаны портретами знаменитых борцов и боксеров. Вот Джек Демпси, Тоней, Чарки, Бэр — все коронованные любимцы миллионов американцев, жаждущих острых ощущений.

Толпы все тех же мальчишек толкуются у подъездов. Отряды полицейских шпалерами вытянулись вдоль стен, зорко оглядывают толпу.

Долго бредем темными пустынными улицами — ни людей, ни автомобилей. И только время от времени из темноты внезапно выплывают фигуры полицейских, которые подозрительно оглядывают прохожих. На Пятой авеню, возле 57 стрит, через полтора часа после матча газетчик разгружал с автомобиля кипы свежих газет, жирные, набранные через

всю полосу, заголовки которых оповещали мир о сенсационной победе Джима Лондоса.

## Поло-Граунд

С невероятным трудом протискиваемся сквозь вертушку (турникет) входа в метрополитен. Многомиллионный Нью-Йорк словно сговорился собраться в определенный час на станциях собвоя. Бесчисленные тысячи людей заполнили перроны подземной дороги. Духота кружит голову.

В Поло-Граунде мы были выдавлены из вагонов, словно зубная паста из тюбика.

Через полчаса начинается футбольный матч между командами двух крупнейших в Америке университетов — Пурду и Фoorдем<sup>1)</sup>.

Стадион Поло-Граунд считается одним из лучших не только в Нью-Йорке, но и во всей стране. В нем около 50 тысяч мест только для сидения. Несколько тысяч человек рассыпано между рядами — это зрители с дешевыми входными билетами. Весь амфитеатр стадиона покрыт высокой металлической крышей. Зрители, таким образом, защищены от дождя и солнца.

Море человеческих голов, слегка покачиваясь, наполняет стадион. Заняты все места, люди, словно мухи, облепили даже барьеры арены. Зрители вооружены биноклями, лорнетами, картонными «подзорными» трубками. Между рядами с трудом проталкиваются билетеры и контролеры стадиона.

Среди публики очень мало рабочих. Спорт — не по карману американскому рабочему.

Богато одетые женщины, мужчины заполняют весь стадион. Это они расхватывали билеты на этот первый матч футбольного сезона еще месяц тому назад. Это они платят деньги за билеты, стоимость которого превышает месячное пособие безработного.

Весь стадион украшен американскими звездными флагами. На арене построе-

<sup>1)</sup> Первыми университетами в Америке считаются Колумбийский и Иальский, ватем Фoorдем и Пурду.

ны две деревянные триумфальные арки, обильно обсыпанные цветами.

На одном конце поля выстраивается странно одетый оркестр. Впереди оркестра возится кучка людей, они что-то толкают или держат, — разобрать невозможно. Медленно замирает, успокаивается стадион. Оркестр заиграл «национальный гимн» и двинулся к другому концу стадиона. Несколько человек при звуках гимна встали и сняли шляпы, но десятки тысяч людей продолжали сидеть, разговаривать, смеяться, курить сигаретки, пить кофе, заедая его бутербродами с жирной ветчиной. Несколько хриповатых и визгливых голосов пытались что-то запеть. Попытка была неудачной, никто не подтянул, голоса замолкли.

В нашем ряду под шумные звуки гимна развлекалась группа молодежи в возрасте от 22 до 30 лет. Их было человек десять, среди них были и девушки. У каждого мужчины в руках стаканчики с виски. Они были уже пьяны, но еще продолжали угощаться. Дамы повизгивали, пили. Соседи добродушно, одобряюще посмеивались. По одежде, разговорам и манере держаться — это «золотая молодежь», высасывающая денежки из толстых родительских карманов. Это публичное, подчеркнутое, показное пьянство никого не оскорбляло...

Оркестр дошел до середины поля. Гимн сменился каким-то фокстротным маршем. Только теперь можно было разглядеть этот огромный оркестр и кучку людей, идущих перед ним.

Далеко впереди музыкантов два человека тащили на веревках упорно сопротивлявшегося барана или козла, украшенного цветными лентами. Третий человек шел сзади, подталкивая упирающееся животное острой палкой. Оказывается, упирающееся животное служит символом упорного стремления к победе! Это животное является святыней Фoorдемского университета. Весь оркестр, включая и дирижера, одет в белые шутковские одежды с высокими белыми колпаками на голове. По бокам и позади оркестра шли фокусники, они с невероятной быстротой бросали и крутили

в руках палки. Оркестр принадлежит футбольной команде Фoorдемского университета, он насчитывает сто музыкантов и является самым большим оркестром среди футбольных команд Соединенных Штатов. Этот клоунский музыкальный батальон, играя и фокусничая, обошел все поле.

На поле выбежала команда Пурду, потом Фoorдема. И тех, и других игроков встречают криками, аплодисментами, свистом. По радио объявляется состав команд, правила и условия игры. Команды занимают позиции. К барьеру поля подносят несколько носилок, появляются врачи.

По существу, это не футбол, а так называемое регби. В каждой команде по одиннадцати игроков. Команды занимают позиции друг против друга на расстоянии примерно одного-двух метров, сплоченными группами, в согнутом положении, с руками, положенными на землю. Расстояние между игроками в каждой команде не превышает одного метра, второй ряд каждой команды отстоит от первого ряда на расстоянии примерно двух метров. Мяч находится в руках ведущего игрока, подающего его назад во второй ряд, который стремительно убегает с пойманным мячом к воротам противника. Все искусство игры состоит в том, чтобы помешать игроку, несущему мяч, достигнуть ворот. Для этого все средства хороши.

Игра начинается. Игрок Пурду, окруженный своими коллегами, стремительно уносит мяч к воротам Фoorдема. Через минуту его настигает группа игроков Фoorдема. Один из них прыгает ему на спину, другой падает под ноги, третий с прыжка хватается за ноги и валит на землю. Затем начинается каша — игрок на игроке, команда на команде. Подбегает рефери с группой «ассистентов», врачи. Команды растаскиваются, отбирается мяч. Раненых и ушибленных нет, врачи и санитары с носилками возвращаются к барьеру поля.

На каждом игроке, кроме майки и трусов, надеты специальные толстые (сделаны из нескольких слоев кожи) наколенники, на голове шлемы, защищающие также и шею, нагрудники, налокот-

ники. По внешнему виду игрока можно принять за средневекового рыцаря.

Через 20 минут после начала игры с поля уносят на носилках одного из игроков Пурду. Два врача суетливо бегут за носилками. Многотысячная толпа ревет, захлебывается от восторга. Раз есть раненые, значит, играют хорошо, здорово. Буря аплодисментов награждает уносимого с поля игрока, лежащего на носилках без сознания. Он получил великолепный удар ногою в живот. Сторонники Фоордема в бурном восторге — у Пурду выведен из строя замечательный бегун.

«Золотая молодежь», сидящая в нашем ряду, продолжает «развлекаться» и азартно следит за игрой. Они дико спорят и держат пари, разделившись на два лагеря. «Ставлю пятьдесят долларов за Пурду» — визгливо кричит мужчина, в галстук которого небрежно воткнута булава с жемчужиной.

Игра продолжается. Темп и характер игры резко изменился. Обе команды уже не играют, а дерутся. Мяч мелькает в воздухе. Команда Пурду забивает третий гол в ворота противника. Игроки Фоордема одержимы бешенством, они наваливаются на какого-либо игрока Пурду и мочалят его под собой до потери сознания. От них не отстает и команда Пурду. Еще новый игрок Фоордема увозится прямо с поля в больницу.

Фоордем — команда нью-йоркского района, команда Пурду приглашена из другого района. Три четверти стадиона держит сторону Фоордема. Звериный вой этой одержимой азартом толпы не прекращается ни на секунду. Счет уже 5 : 1 в пользу Пурду. Радио объявляет перерыв матча.

По рядам носятся разносчики продуктов. Разносчик бросает в один из рядов пакетик с жареным миндалем. Неудачно, — пакетик падает за несколько человек перед покупателем. Покупатель орет: «Ты бросаешь хуже Фоордема!» Громкий смех соседей. В перерыве радио передает результаты всех спортивных состязаний, происходивших в этот день в Соединенных Штатах.

Игроки сидят и лежат на поле — отдыхают. Специальный сигнал извещает,

что через минуту начинается вторая половина матча. Каждая команда собирается вместе — совещается. Вновь заиграл музыкальный батальон, расположенный где-то у барбера. Перед концом перерыва фокусники из оркестра (принадлежит Фоордему) вновь бросали, крутили и ловко ловили балки, покрикивая: «Браво, браво непобедимому Фоордему!»

По полю с невероятной быстротой носятся игроки обеих команд. Фоордемовцы пускаются на хитрость. Они проускают к своим воротам двух лучших бегунов Пурду, поочередно несущих мяч. Почти у самых ворот противники наваливаются на попавших в их засаду двух игроков. Искалеченных игроков быстро уносят санитары с поля. Сторонники Фоордема, оскорбленные замечаниями сторонников Пурду, обменивались неприводимыми на русский язык отборными американскими ругательствами.

Искалеченные игроки были заменены резервными. Сотня репортеров металась взад и вперед по стадиону. Они ежеминутно входили и выходили из радиоложи, откуда во все газеты страны сообщались мельчайшие подробности матча.

Матч кончился. Команда университета Фоордем проиграла команде университета Пурду со счетом 7 : 1. Игроки быстро покинули поле. Тысячи людей посыпались с мест на поле, как горох. Они устремились к сооруженным здесь триумфальным аркам. Через мгновение арки были повалены толпой наземь. Толстые балки и доски поломаны. Откуда-то появился топор. Через пять минут от арок не осталось и следа. Счастливые «болельщики» уносили с собой на память кусочки флага, палки, доски, цветы. Американский буржуа любит сувениры о «великих событиях», свидетелем которых он был...

Спорт занимает исключительное место в американской жизни. В стране существует более 100 крупных спортивных организаций. Вся американская печать ежедневно уделяет огромное внимание спорту — в каждой газете от 2 до 8 страниц. Излюбленными видами спорта являются бокс, футбол, «реслинг». Остальные виды спорта менее популяр-



ны. Однако, спорт в стране не имеет массового характера. Он уже давно превращен в источник существования для профессионалов. Например, как фюордемская команда, так и команда Пурду, гордо именуемые футбольными командами университетов, ничего общего со студентами не имеют.

Состав команд комплектуется из профессиональных игроков, получающих определенную заработную плату и небольшие премиальные суммы в случае выигрыша матча. Команда находится в ведении специального спортивного клуба университета. Игроки подписывают контракты на 2, 3, 4, 5 и больше лет, с условием играть только в пользу нанявшего его клуба. В случае ухода игрок должен выплатить огромную неустойку. За редким исключением, все игроки, кроме зарплаты, не имеют никаких других средств, а поэтому вынуждены годами работать на клуб, зарабатывающий на этом деле огромные деньги. Иногда игрок покупают на всю его «спортивную жизнь», очень часто один клуб продает своих игроков другому клубу за десятки тысяч долларов, причем игрок от этой «законной сделки» не получает ни одного доллара.

Жизнь и работа профессионального спортсмена очень тяжела и полна неприятностей. Искалеченные во время игры футболисты лишаются зарплаты на все время лечения. В контракте указано ясно, что деньги игроку платят «за участие в состязаниях», а не за лечение переломанных ребер, рук и ног. Если игрок не сумел избежать ранений, значит, он плохой игрок и, значит, он надул клуб.

В совершенно иных условиях находятся «звезды» и чемпионы. Бешеные гонорары, всеамериканская, а порой и мировая слава, договоры на с'емки в кино, договоры с фирмами на право назвать галстук именем чемпиона или на право заявить в рекламе, что такая-то «звезда» носит, допустим, белье только марки «Б. В. Д.» или любит жевать резиновую жвачку «Раглей». Чемпионы, как правило, сами нанимают игроков в свои команды, немало зарабатывая на жестокой эксплуатации своих собратьев. Дже-

ка Демпсея, бывшего чемпиона мира по боксу, знает весь мир. Сейчас Демпсей нанял группу боксеров, которая делит с ним свой гонорар за выступления. Но этого Демпсею, заработавшему за время своего чемпионства миллионы долларов, недостаточно. Напротив Медиссон-сквер-гардена он строит огромный кафе-ресторан под названием «Бар боксера».

В рекламах Демпсея, развешанных вдоль улицы, яркой и жирной краской намалевано: «Ни один спортсмен не может равнодушно пройти мимо братского дома недавнего чемпиона Джека Демпсея. В моем доме (ресторане) все для спортсмена. Сердечный привет боксерам».

### В подземном лабиринте

Скоро семь часов утра. На улицах холодно. Резкий, пронизывающий ветер врывается в темные коридоры нью-йоркского собвея. Семимиллионный город медленно пробуждается. Длинной, непрерывной цепочкой к подвальному, зияющему черной пропастью, входу в метро торопливо шагают ежащиеся от холода люди.

Это первая очередь тружеников, начинающих долгий, утомительный рабочий день города. Они равнодушно пробегают мимо сонного газетчика, протягивающего обе руки с газетами, пахнущими свежей краской.

— Торговля идет хорошо в 9 часов утра, — рассказывает газетчик, — когда едут на работу чиновники, бизнесмены, вообще «независимые» люди. Ну, а эти, — он кивает головой в сторону стремительно мелькающих людей, — не имеют ни денег, ни времени.

Проход на перрон только один, сразу могут пройти только два человека. Автоматы-кассы, стоящие на двух низких турникетах, непрерывно щелкают. Монетка, брошенная в отверстие автомата, появляется в увеличенном виде в будке контролеров, стоящей здесь же рядом.

Только после этого турникет делает поворот ровно настолько, чтобы в проход мог пройти один человек. В том случае, если в автомат брошена фальши-

вая монетка, турникет перестает работать, и тогда... Тогда из будки контролеров появляются несколько дюжих молодых людей, находящихся на службе у администрации метрополитена. Они ловят смельчака и жестоко избивают его на глазах у всей почтеннейшей нью-йоркской публики. И только после этого избиения искалеченного на всю жизнь человека передают полиции для предания суду по обвинению в «попытке ограбления кассы собвея».

Были ли такие случаи?

Сотни и тысячи раз!

Турникеты щелкают все быстрее и быстрее. Рабочие и работницы в пиджаках и жакетках, чаще в резиновых плащах, доотказа наполнили вход в метро. Почти все головы нервно вскидываются к большим электрическим часам, висящим на стене. Часы показывают без двадцати семь. Многие уже опаздывают на работу. От штрафа, от вычета из зарплаты их может спасти только этот, стоящий у перрона и уходящий через минуту, поезд.

Возле турникетов горячая сутолока. Каждый старается протолкнуться к автомату, первым бросить монетку и стремглав кинуться в вагон поезда. Поезда подаются к перрону один раз в десять минут.

Вагоны набиты доотказа. Но толпа, получающая все время свежие подкрепления, продолжает нажимать. Начинается ругань. Визгливо кричит женщина, стихийно оттираемая толпой от дверей вагона. Зажатая толпой и слегка приподнятая в воздух, она машет руками и болтает головой из стороны в сторону. Оглушительно плачет мальчишка, задавленный и невидимый в толпе. В вагоне все места заняты. Люди стоят в проходах, на площадках, между коленями сидящих. Люди неподвижно застыли, придавленные к окнам, лицом к металлическому шесту, стоящему посредине вагона.

В поезд не попало и половины пассажиров. Неумолимая дверь-автомат равнодушно скользит на шарнирах, закрывая вагон.

Турникет попрежнему оживленно щелкает, пропуская на перрон новых

пассажиров. Сиротливо стоят автоматы, выбрасывающие (если у вас есть деньги) шоколадку, резиновую жвачку, пакетик жареного миндаля. Но сейчас никто не бросает в эти автоматы монеток. Они рассчитаны на более позднюю утреннюю («независимые люди», как говорил газетчик) и дневную публику. Молчаливо и угрюмо стоит на перроне толпа в несколько сот рабочих, работниц, приказчиков. Редко встречаются в этой толпе хорошо одетые люди.

Короткий и узкий перрон полон мусора. Целые, затоптанные тысячами ног, газеты валяются на полу. Урн на перроне нет. Нет и плевателей. На пол плюют, не стесняясь. На перроне холодно — ветер идет из тоннелей и обильными струями вливается через уличный вход. Укрыться некуда. Немногочисленные скамьи с высокими спинками, защищающие спину от ветра, заняты. Тускло светят электрические лампочки. Половина из них потушена. Серо, темно и неуютно на перроне метрополитена.

Без десяти минут семь. Быстро нарастает гул приближающегося поезда — точность здесь самая положительная черта. К перрону подходит поезд в составе шести или пяти вагонов. Толпа хлынула к дверям. Через полминуты вагоны уже опять набиты. Опять толкотня, опять ругань. Поезд уходит, но толпа на перроне не уменьшилась.

Часы показывают 8 часов утра. На перроне все чаще и гуще мелькают шляпы, в руках пассажиров шелестят газеты. Это время мелких чиновников, служащих, конторщиков и стенографисток. Внешний облик толпы более «приличный» — пальто, портфели, воротнички, сумочки. Некоторые встречают знакомых, с сухой вежливостью перекидываются несколькими словами приветствия. К вытянувшемуся вдоль перрона поезду сразу бросилась вся толпа. У дверей давка. В воздух подняты портфели и сумочки. Кто-то раздраженным, скрипучим голосом негодует. Ему отвечают грубо и резко. В дверях одного из вагонов пробка — кто-то у самых дверей упал, сзади «поднажали» — пробка рассасывается после невероятной перебранки.

До 9 часов эта картина повторялась в различных вариациях еще пять раз. В 9 часов, втиснутый толпой служащих и чиновников в вагон, я невольно поехал вместе с ними в центр города. Хорошо освещенный вагон был весь обклеен рекламами — стены, потолок, двери. Поезд-экспресс останавливается только на узловых станциях.

За стеклом мелькают названия вокзалов — «Канал-стрит» и др. Минут через десять вместе с толпой выплываю на вокзал «34 стрит»: здесь центр города.

Вокзал подземки «34 стрит» считается одним из лучших вокзалов города. Он «благоустроен» — у выходов сидят чистильщики обуви, внутри вокзала на перроне два газетных и пищевых киоска, штук десять автоматов, наполненных шоколадными плитками и осьмушками миндаля. Однако, «благоустроенный» вокзал так же грязен, как и все остальные. Весь перрон усеян обрывками бумаги, спичками, окурками, плевками. Стены размалеваны запыленной, грязной рекламой.

12 часов дня. Теперь, когда в этом нет никакой необходимости, поезда приходят каждую минуту, каждые две-три минуты, каждые пять минут. Вагоны почти пустые — рабочие и служащие уже давно стоят за станками, прилавками. В конторах уже давно стенографистки и секретарши стучат на машинках, а чиновники покурнее, развалившись в удобных креслах, сговариваются по телефону с коллегами, где они будут завтракать (в час дня общий в городе завтрак — лэнч) — у «Чайлдса» или в «Английском кафе».

Скамьи в вагонах обиты грязной плетеной соломкой. Надо усаживаться глубже, плотнее, иначе будешь все время съезжать со скамьи. Грязный, исшарканный сотнями тысяч ног пол так же, как и перрон, покрыт всяким мусором. Поезд несется со скоростью в среднем 50—60 километров в час. Это не экспресс, он останавливается на каждой станции и стоит примерно на полминуты дольше утреннего. В вагоны солидно впадают джентльмены с потушенными сигаретами, воткнутыми в губы. Они широко разваливаются на сидениях, разворачи-

вают «Таймс» или «Геральд» и начинают читать сперва страницу, посвященную убийствам, ограблениям, изнасилованиям. Потом лениво листают десятки страниц реклам, пробегают портреты «кинозвезд» и чемпионов бокса и затем слегка пробегают телеграммы первой полосы — международные и внутренние. Газета уже прочитана. Джентльмен сбрасывает ее на пол, смотрит в окно, видит название нужной ему станции и так же важно, как вошел, уходит.

6 часов вечера. Из контор, трестов, фабрик, заводов выходят десятки тысяч людей. Все мечтают об отдыхе после изнурительного труда. Домой.

Вокзал метрополитена на Бродвее штурмуется тысячами. К турникету невозможно пробиться. Усталые люди бесильно стремятся проникнуть на заветный перрон, наполненный человеческой массой. «Счастливыцы» с вымученной улыбкой выскакивают из турникета на перрон. Поезда идут каждые три-пять минут, но они полны до безнадежности. Еду в полупролетарский район Нью-Йорка — Бронкс. Душно до тошноты. Вентилятора в вагоне нет. Из Бронкса в центр города возвращаюсь в пустом поезде. Ни одного пассажира, кроме меня, нет!

12 часов ночи. Поезда идут теперь редко. Много пассажиров только на Бродвейской линии. Это едут из кино, балаганов и прочих развлекательных заведений. Вокзал «Парк-авеню-отель». На перроне пусто и грязно. Перед выходом на скамьях лежат люди. Подхожу ближе. Все шесть скамей заняты безработными и бездомными.

Они спят, укрыв голову грязными, соборанными с пола, газетами. Здесь значительно теплее, чем на улице. Это первоклассный ночлег — надо иметь монетку, чтобы безработного пропустили в метро. Их прогонят отсюда только ранним утром. Могут, конечно, и ночью. Все зависит от сыщиков и контролеров.

Идем дальше к выходу.

За турникетом весь пол усеян скорченными фигурами людей. Постелив на пол обрывки газет, спят безработные. Их здесь 54 человека, они плотно прижались один к одному — так теплее.

### „Пигли-Вигли“

Этот магазин называется «Пигли-Вигли». В большом просторном зале всего 2—3 служащих. Возле входа лежит груда корзинок. Вы берете корзину и ходите с ней по магазину, выбирая все, что вам угодно, в любых размерах (можете брать одну картофелину, одну луковицу, ложку муки и т. п.). Набранные нужные вам продукты, вы проходите через узкий коридорчик к выходу.

Здесь контроль.

Забранные вами продукты продавец взвешивает, упаковывает, предъявляет счет — оплатите и можете идти.

Никаких очередей, полная свобода в выборе продуктов, никакой рекламы, шума, толкотни. На каждом сорте товара указана цена, так что вы знаете, на какую сумму примерно набираете продукты. Система замечательная. Домашние хозяйки любят каждую вещь понюхать и пощупать руками. Здесь в этом им никто не мешает. Владельцы учитывают эту привычку хозяек. Результат великолепный. Действительно, «все ходят покупать в пигли-вигли». Эти магазины, принадлежащие мощным трестам, находятся во всех городах Соединенных Штатов.



Полночь. Чикагский вокзал. Через несколько минут отходит поезд в Нью-Йорк. Взад и вперед носятся с чемоданами, коробками и саквояжами носильщики-негры. В этой стране носильщики только негры. Весь их заработок заключается в чаевых, в щедрости пассажира. Поэтому о постоянном, равномерном заработке не может быть и речи. Для того, чтобы выдать из американского пассажира 10—15 центов, надо обладать поистине артистическими способностями. И сколько раз можно было наблюдать, как негр-носильщик, аккуратно и заботливо разложивший бесчисленное множество чемоданов, стоит и умоляюще смотрит в глаза пассажиру. Очень часто эта сцена заканчивается наивежливнейшей благодарностью со стороны пассажира! Слово негр специально родился для

этой рабской услуги. Второй вариант этой сценки — 5 центов на-чай. Носильщик, которому я дал 20 центов, не отходил от вагона до ухода поезда. Я позвал его вновь и предложил сесть рядом. Он вежливо отказался. Я спросил, сколько он зарабатывает в день.

— В очень хорошие дни, — говорит он, — я зарабатываю 50 центов, в плохие — 15—20 центов.

Значит, в хороший месяц он зарабатывает около 15 долларов, а в плохой — от 5 до 6 долларов.

В вагоне почти пусто. Всего пять-шесть пассажиров. На соседнем диване сидит кондуктор, рядом с ним женщина с большой кошелкой. Они, очевидно, знакомы. Он спрашивает ее:

— Ну, что, Джек все еще сидит дома?

— Раньше его нельзя было домой даже палкой загнать. А теперь его никак не выгонишь из дому. Ведь делать-то нечего, куда он пойдет?

— Что же он делает?

— А что ему делать? Возится с Виллом (очевидно, с сыном), а остальное время спит.

— А куда вы собрались?

— Да я в Миссавака (примерно 50—60 миль от Чикаго) к сестре. Знаете ли, у нее дела гораздо лучше. Она звонила мне и предложила приехать к ней за продуктами.

Кондуктор подходит ко мне и просит предъявить билет. Он его тщательно разглядывает, смотрит внимательно на меня и просит разрешения записать номер моего билета. Оказывается, я единственный пассажир, купивший билет до самого Нью-Йорка. Остальные пассажиры едут на небольшие расстояния. Кондуктор возвращает билет, улыбается и говорит, что он отметит в своей рапортичке, что у него был настоящий пассажир с настоящим билетом до самого Нью-Йорка.

Примерно через час в вагоне появляется главный кондуктор, он тоже внимательно рассматривает билет, что-то отмечает в своей книжке, чмокает губами, извиняется за беспокойство и уходит из вагона.

Делаю попытку уснуть. Однако, тщетно. В длинном вагоне стоят мягкие ди-

ваны, на которых могут усесться не более двух пассажиров. Лечь не на что.

Очень понравилась в вагоне вода. В каждом вагоне стоит свой маленький рефрижератор для охлаждения воды. Рядом находится автоматическая труба с картонными чашечками. После употребления чашечки выбрасываются. В такую чашку наливают горячий кофе — настолько они прочны.

За окном мелькают станции, городки, поля, крестьянские фермы. Погода пасмурная, валит мокрый снег. Поезд, насколько не убавляя хода, идет по улицам города Сиракузы. Мелькают пешеходы, вывески и опять уйма беленьких плакатиков на окнах, стенах, домах и дверях: «For rent — to Let». Опять все сдается в наем, словно из города сбежало население. Промелькнул отель. Успел прочесть название — «Казанова»!

Удивительна в Америке любовь к названиям древних или вообще известных городов. По всей стране рассыпаны мелкие, заштатные, глухие городки — Сиракузы, Троя, Мемфис, Олимпия, Рим, Феникс, Каир, Флоренция, Авро-

ра, Женева, Александрия, Пекин, Ватерлоо, Париж, Лондон, Берлин. Не забыты и мы. Здесь есть Петербург и Санкт-Петербург. Все эти городки насчитывают каждый не более 15—20 тысяч населения. Не обойдены и герои — Ганнибал, Гамильтон, Бисмарк. Есть местечки, называемые целой страной, — Голландия, Великобритания, Мексика. Интересны также городки — «Моргантаун» (город Моргана), «Элгин» (король часовой промышленности) и т. д. Случайно обнаружил на карте городок Гамлет.

... Опять мелькают покрытые снегом поля. Изредка вдали от дороги деревушки. На полях лежит скошенный хлеб. На многих полях хлеб даже не скошен, гниет на корню, занесенный снегом. И так на протяжении десятков, сотен километров. Несмотря на то, что на юге в 1934 г. была сильная засуха, вызвавшая неурожай, на севере цены на зерно низко упали, и фермеру нет выгоды затрачивать на урожай труд, косить, убирать, вывозить в город на рынок.

# Литература и искусство

## БРОНЗОВЫЕ ПРОЛЕТАРИИ

(Творчество Константина Менье)

И. Рабинович

Веру в улучшение положения пролетариата с помощью имущих классов я уже давно откинул.

Константин Менье.

### I

Ранний период творчества Менье мало известен. Вальтер Гензель, посетивший художника за два года от его смерти, сообщает: «Живопись Менье так далеко разбросана и к тому же в большинстве так забыта, что и близкие художнику вряд ли могут указать местонахождение немногих вещей. Сам автор не придает значения этим работам. Он даже не разрешает фотографировать те из них, которые попали в музеи»<sup>1</sup>).

Андре Фонтен пишет: «Ни одна картина, написанная до поездки в Испанию (1882), не открывает его индивидуальность. Они сочинены разумом. Они холодны и сухи. На них заметны усилия. Они деланны»<sup>2</sup>).

В первых работах Менье рабочий еще не выделяется из общей массы городской бедноты, из общей массы обездоленного люда. За его ранней картиной — «В больнице» (1857), где изображена сцена смерти на больничной койке бедной изможденной женщины, следует «Служанка» (домашняя работ-

ница, забитая тяжелым трудом), затем триптих «На работе», «Муки св. Стефана» и другие картины с мотивами христианского мученичества.

Невыделение рабочего из общей массы обездоленных сказалось не только на тематике Менье, но и на всей системе формальных приемов художника: в манере строить вещь, в колорите и особенно в композиции. Это полностью может быть подтверждено на картине «Служанка», которая является одной из типичнейших работ Менье раннего периода. Случайное положение фигуры, вялость линии, неустойчивость композиции, унылый коричневый тон, — все это характеризует данное полотно. Безусловно, кое-что в картине объясняется незрелым еще мастерством художника, но и при этом условии рассматриваемая нами работа показательна для формальных приемов автора.

В течение всего XIX века Бельгия оставалась классической страной пролетарской нищеты, самого продолжительного рабочего дня, наиболее низкой заработной платы. Особенно тяжелым периодом в истории бельгийского рабочего класса являются 50 — 60-е годы прошлого столетия. Даже официальные сведения о положении бельгийского пролетариата в эту эпоху дают картину

<sup>1</sup>) Constantin Meunier. Von Valther Genzel. Bielefeld und Seznig, 1905.

<sup>2</sup>) Constantin Meunier. Par André Fontain. Paris.

такой эксплуатации, которая имела место лишь в Англии конца XVIII — начала XIX веков.

Следствием чудовищной капиталистической эксплуатации в Бельгии, переживавшей тогда бурное промышленное развитие, было то, что клерикализм являлся огромной политической силой, которая в своей борьбе с либерализмом могла тянуть за собой значительную часть пролетариата. Борьба либерализма с клерикализмом, последовавшая за революцией 1830 г., являлась по существу борьбой восходящей промышленной буржуазии, представленной либеральной партией, с мелкой буржуазией, представленной католической партией. Поэтому не удивительно, что, доведенные до отчаяния, значительные группы рабочих пошли за клерикалами.

На этой социальной почве и выросло творчество Менье. Здесь лежит объяснение того, что Менье в ранний период своего художественного развития не выделяет рабочего из общей массы бедноты, что в жизни народных масс он видит только нищету и трагедию страданий обездоленных. При этом художник часто обращается к религиозной тематике, к мотивам христианского мученичества, которые лишь изредка проявляются в его работах последующего периода.

Перелом в творчестве Менье обозначается только в начале 80-х годов. В это время, под влиянием образования на Готском конгрессе немецкой социал-демократической партии, а также в результате внутренних социальных сдвигов, в Бельгии возникает большое политическое движение. В 1875 г. основывается Палата труда — федерация брюссельских обществ. В 1876 г. делается попытка создать «Бельгийский рабочий союз», основывается фламандская рабочая социалистическая партия в Генте и брабантская социалистическая партия в Брюсселе. Наконец, в 1885 г. создается «Бельгийская рабочая партия». Менье обращается теперь почти исключительно к рабочей тематике. Он пишет картины, воспроизводящие все стороны жизни рабочих и, главным образом, углекопов. Он изображает жизнь ули-

цы шахтерского поселка, молодых шахтеров, провожаемых взглядами встречающих работниц, свидание влюбленной пары, углекопов, собравшихся перед входом в шахту, работающих в подземных коридорах или присевших для кратковременного отдыха. Художник дает картины каторжного труда углекопов, запечатлевает подземные катастрофы, уносящие в могилу многие шахтерские жизни. «В котельной», «На фабрике», «На стекольном заводе», «Шахтный поселок», «Шахтеры», «Спуск в шахту», «По дороге в шахту», «Возвращение с работы», «Углекопы», «Шахтеры и шахтерки» — таковы названия работ Менье этого периода.

Рабочая тематика становится исходным пунктом творчества Менье, и весь процесс развития художника является борьбой за наиболее полное, максимально четкое претворение этой тематики в образы.

В первом периоде своего творчества Менье изображает изолированные сцены и эпизоды рабочего быта. Так, в «Рабочем поселке» показана улица с отдельными фигурами рабочих и работниц, а в «Служанке» — домашняя работница в кухне за работой. Внимание Менье привлекает еще мало значащие, не характерные и не решающие факты социальной жизни. Например, картина «У плетня» посвящена свиданию молодого шахтера с девушкой.

В этом периоде даже труд рабочего изображается художником лишь как жанровая сцена трудовой пролетарской повседневности. Даже в такой работе, как «Откатчики», изображающей каторжный труд горнорабочих, Менье останавливается на поверхности, на внешней стороне явления. Таким образом, констатируя лишь факт угнетения рабочего в капиталистическом обществе, художник ничего не прибавляет к пониманию действительного смысла явления.

Но уже и в пределах раннего периода творчества у Менье намечается стремление охватить рабочую действительность в ее характерных моментах. Художник делает попытки дать не только рабочий быт, но и самое бытие рабо-

чего класса, выделяя из механической совокупности рабочих определенные группы пролетариата. Здесь следует отметить упомянутую уже картину «Откатчики», большое полотно «Перед спуском», триптих «Труд», три створки которого показывают горнорабочих в процессе их трудовой деятельности: по дороге к шахте, перед спуском в копи и при выходе оттуда.

Во втором скульптурном периоде творчества Менье внимание художника переносится от поселковой улицы, от «плетня», туда, где складываются основы социального бытия пролетариата. Завод и фабрика, шахта и порт — пункты, где сосредоточена жизнь пролетариата, где он создается и воспитывается, где складывается его специфичность, — становятся в центре творчества Менье.

От изображения домашнего быта рабочего Менье переходит к показу общественной роли пролетариата.

Облик пролетария все больше теряет случайные черты и складывается в определенный, четко выраженный рабочий типаж. Характеристика персонажей делается все сложнее. Художник дифференцирует свои образы путем усиления их индивидуальных и профессиональных особенностей. Углекопы, металлисты, стеклодувы, портовые рабочие — все они отмечены своими профессиональными особенностями, имеют свою характеристику, свое выражение.

Так Менье неразрывно и прочно связал свое искусство с пролетариатом. И не удивительно, что новый этап в работе художника начинается с середины 80-х годов, которые являются поворотным пунктом в истории рабочего класса.

В эти годы промышленный пролетариат всего мира развил усиленную деятельность, и в частности в Бельгии рабочее движение получило свое яркое выражение. Достаточно указать на грандиозную стачку стекольных и каменноугольных рабочих бассейна Шарлеруа в августе 1886 г., которая при всей своей неорганизованности явилась, безусловно, революционным выступлением рабочих.

В это время почти пятидесятилетний Менье оставляет живопись и переходит к скульптуре. В 1886 г. появляется его первое скульптурное произведение «Молотобоец» — мощная фигура рабочего, который стоит спокойно и уверенно, опираясь на свое производственное орудие.

Образы пролетариев у Менье приобретают большую обобщающую силу: благодаря значительному увеличению их идейно-художественной выразительности они позволяют истолковать множество характерных явлений пролетарской действительности. Богатый материал в этом отношении представляет ознакомление со скульптурами Менье, в которых он возвращается к сюжетам, уже разработанным им в его живописных произведениях.

Изучение промежуточных стадий, через которые прошли эти скульптуры в процессе своего становления, — наброски, этюды, варианты, иногда только зарождающиеся силуэты, — показывает, что внесенные автором изменения ни в коем случае не являются простой корректурой или даже редакцией. Все эти изменения глубоко творческие, все они связаны с развитием и осуществлением замысла мастера и отрицают новые тенденции в общей концепции его произведений.

Наибольший интерес представляет в этом смысле скульптура «Жертва шахтного газа». Во время пребывания Менье в Фримери, близ Монса, от взрыва шахтного газа погибло 115 рудокопов. К вечеру тела погибших были извлечены из шахты и помещены в каком-то амбаре. В нем Менье провел многие часы и при тусклом свете лампы зафиксировал углем в ряде набросков ужасающие подробности. Так в эту ночь, в мрачном и темном сарае, зародилась «Жертва».

Менье рассказывает: «Женщина, послужившая мне моделью, всю ночь провела среди мертвых рудокопов. Я все время следил за нею. В этом страшном месте старуха металась долгие часы, мучительно всматриваясь в изуродованные, мертвые лица, стараясь разглядеть в опаленных телах, в вытекших



глазах, в искривленных ртах дорогие черты».

Из зарисовок этой ночи возникает сначала рисунок «Гремучий газ», за ним следует картина «Гекатомба» и наконец бронза — «Жертва». Между этими тремя вещами, помимо многих подготовительных работ, лежит ряд вариантов групп и отдельных фигур, имеющих значение цельных, законченных произведений.

На рисунке «Гремучий газ» показан одинокий силуэт женщины, склоненной над обугленным до неузнаваемости трупом рудокопа. Полотно «Гекатомба» изображает внутренность обширного сарая, тускло освещенного фонарем. На досках расположены ряды трупов. Одни трупы уже завернуты в саваны, другие в том виде, как их извлекли из шахты. Здесь же женщины шьют саваны. Среди трупов бродит старуха. В открытую дверь и оконное отверстие под потолком глядит ночь. Наконец, скульптура «Жертва шахтного газа» представляет группу из двух фигур — мертвое тело сильного рудокопа и склонившаяся над ним женщина.

Путь, пройденный этой скульптурой, показывает, где лежит узловой момент ее структурных изменений. Художник отказался от показа изуродованной жертвы, которую мы видим на рисунке «Гремучий газ». Он заменил обугленное, завернутое в лохмотья тело мощной нагой фигурой убитого, устранил шьющих саваны женщин и другие бытовые детали, фигурирующие на полотне «Гекатомбы». Все это свидетельствует об отказе Менье от случайного, эпизодического выражения явления, о стремлении художника осмыслить конкретный несчастный случай как общий момент в процессе эксплуатации рабочего класса при капиталистическом производстве.

## II

Исследователь искусства, Менье погружается в новый, совершенно необычный мир явлений и образов, как только он минует период, когда у художника не было еще своего творческого лица, когда он не нашел еще своего стиля.

В тематическом отношении произведения Менье не имеют почти ничего общего с теми тысячами работ живописцев и скульпторов, которые выставлялись на художественных выставках всех европейских столиц в последней четверти XIX века.

Даже беглый просмотр каталогов европейских выставок этой эпохи дает представление лишь о бесчисленных пейзажах, батальных сценах, портретах, интерьерах, натюрмортах и т. д.

Характерно, что Камилл Моклер в своей книге «Импрессионизм», давая перечень работ отдельных художников, бывает вынужден отказаться от подробного перечисления их произведений и удовлетворяется лишь общими указаниями вроде: «многочисленные серии купальщиц» (Ренуар); «многочисленная мертвая натура» (Густав Кальеботт), «многочисленные интерьеры» (Эдуард Вюилар<sup>1)</sup>.

«Камнедробителями» Курбе, «Трудом» Медокса Броуна, «Современными циклопами» Менцеля и еще несколькими работами других авторов исчерпывается вся рабочая тематика искусства Западной Европы вплоть до 90-х гг. прошлого века.

По своей тематике искусство Менье резко отличается не только от предшествующего и современного ему искусства, но и от всего того, что творили пришедшие после него художники. Чрезвычайно ярко это отличие выступает в скульптуре, что особенно важно, так как именно скульптура, а не живопись, занимает центральное место в творчестве Менье.

Доминирующим моментом социальной жизни за последние 50 лет является рост активности пролетариата, усиление его общественной роли, его классовой борьбы. Все это не могло не оказать влияния на буржуазное искусство хотя бы в смысле эпизодического и редкого обращения художников к рабочим мотивам. Что же касается скульптуры, то в этой области влияние новых социальных факторов было крайне незначитель-

<sup>1)</sup> К. Моклер. Импрессионизм. Москва, 1908 г.

ным, поскольку скульптура в большей степени, чем другие виды искусства, являлась привилегией имущих классов.

Совершенно ясно, что понятие тематики не исчерпывается выбором объекта, а заключает в себе и идеологическое преломление последнего в сознании художника, которое определяется социально-классовой природой его творчества. Одно и то же явление объективной действительности разно тематируется художниками, выражающими различные классовые интересы. Глаз Сезанна, выразителя начала пути буржуазии к своему идейному обнищанию, застыл на внешней стороне явления, — букет цветов является для него темой строения цветка и состояния его поверхности. Для Ван-Гога, выразителя протеста мелкой буржуазии против капиталистического общества, тот же букет является темой борьбы и взаимного поглощения красок разной насыщенности и напряженности.

Для Шардена, начинателя буржуазного искусства во Франции и его первого большого мастера (в его творчестве идеалы третьего сословия уже стали складываться в художественную систему), труд является темой домовитости, семейственности, добродетельной жизни. Полотна Шардена — «Кухарка», «Прачка», «Урок вышивания», «За работой» — не отражают ни единого трудового усилия, никакого мускульного напряжения. Здесь нет даже попытки перевести спокойное состояние в действие. Это буржуазные интерьеры, с крепко слаженной утварью, сытой снедью, сочными овощами. На картинах Шардена фигурируют почти исключительно женщины, занятия которых более характерны для мирной семейной идиллии.

Адольф Менцель осмысливает трудовую тематику как тематику утверждения мощи капитализма. В знаменитой картине Менцеля «Современные циклопы», или «Сталепрокатный завод», весь антураж символизирует торжество капитала, который привел в движение громадные предприятия.

Другое дело Менье. Уже серия его ранних картин из жизни траппистов

показывает, что труд является для художника основным и определяющим моментом. Говоря о работе Менье над этой серией, В. Гаузенштейн указывает, что «Менье отправился в монастырь траппистов, чтобы писать сцены пролетарско-монашеской жизни». Эти слова не звучат парадоксом, если мы обратимся к такому полотну, как «Трапписты за работой» (1863), и вспомним, что в 60-х гг. прошлого столетия рабочие организации Бельгии боролись под лозунгом «Бог и закон».

Огромное большинство буржуазных художников воспринимает Испанию как страну песен, танцев и игр. Там они пишут «певицу», «матадоров» и «бой быков». Менье же при посещении Испании в 1882 г. увидел жизнь ее совершенно в ином аспекте. Его привлекла рабочая тематика, и результатом его поездки явилась «Табачная фабрика в Севилье» с работницами на первом плане.

Даже в своих пейзажах Менье ни в какой мере не прерывает основную тематическую линию своего творчества. «В черной стране», «Боринаж», «Доменные печи» и другие его пейзажные работы пронизаны пролетарско-трудо-вой тематикой.

Пейзажи Менье изображают почерневшие от дыма пространства, тонущие в копоти тяжелые массы надшахтных зданий, ряды жалких приземистых строений. В этих пейзажах нет апофеоза буржуазного индустриализма. Менье воспринимает пейзаж лишь как арену, на которой протекает труд пролетариев.

В грандиозной эпосе, охватывающей 27 книг («Ругон-Макары», «Лувр», «Рим», «Париж», «Четыре евангелия»), Эмиль Золя вывел аристократию, промышленную и финансовую буржуазию, мелкую буржуазию всевозможных оттенков, крестьянство, чиновничество всех рангов и духовенство. Но только в трех из этих книг — «Жерминали», «Труде» и «Западне» — господствуют пролетарские образы. Менье же воспринимает Золя исключительно как создателя образов пролетариев. На память Золя в Париже, работы Менье, из всех пер-

сонажей писателя показаны лишь рабочий и работница-мать.

Если мы и можем назвать произведения европейского искусства середины XIX столетия, тематически близкие работам Менье, то эти произведения остаются одинокими, как в творчестве их авторов, так и во всем искусстве века. Одиноко стоят среди сотен работ Менцеля на тему о Фридрихе Великом его «Современные циклопы», одинок «Труд» Медокса Брауна среди таких его картин, как «Вильгельм Завоеватель», «Король Лир и Корделия», «Медовый месяц короля Рене» и другие, одиноки и «Камнедробители» Курбе, и «Стачка» Роля в ряду произведений этих мастеров.

Таким образом, если мы и находим в европейском искусстве вещи, родственные тематике Менье, то это именно те редкие произведения, в которых их авторы, отходя от своей тематической линии и от тематической тенденции современного им искусства<sup>1)</sup>).

Основная тематическая линия Менье ведет к миру пролетариата. То, что лежит за пределами этого мира, лишь изредка попадает в поле зрения художника. Немногочисленные тематические отклонения, при тщательном рассмотрении, в большинстве случаев оказываются лишь кажущимися. Все, что сделано Менье вне основной, вернее говоря, единственной для него темы, является показом иных сторон действительности через свойственную ему призму восприятия. Изображая то или иное жизненное явление, Менье ставит его в органическую связь с исходной для него социальной почвой — бытием рабочего класса.

### III

Почти весь художественный путь Менье связан с миром труда. Завод и фабрика, шахта и порт — сфера его творчества, почти единственная арена, где разворачиваются действия в его про-

изведениях. Но в то же время машина никогда не занимает сколько-нибудь значительного места в работах Менье. Композиционная выразительность их достигается исключительно за счет человеческой фигуры, ей в общей композиции принадлежит первенствующее значение. На многочисленных многофигурных барельефах Менье, на его частых живописных группах заводской корпус и надшахтные строения служат только фоном, на котором показан рабочий. Машина здесь дана лишь как точка приложения рабочих рук.

Уже в ранней работе Менье на рабочую тему — в картине «Табачная фабрика» — фабричное здание и фабричные приспособления совершенно отсутствуют. Все полотно заполнено погруженными в свою работу работницами. Единство типажа, при ярко выраженной индивидуальности каждого лица, общность положения фигур и общность ритма трудовых движений характерны для композиций этой картины.

На барельефе «Порт» нет ничего, что выражало бы сложную обстановку жизни морского берега у большого портового города, здесь нет ни остовов пароходов, ни уходящих в высь мачт. Зритель видит только фигуры грузчиков, катящих, несущих, влекущих свои грузы. Ничто не должно мешать зрителю воспринимать рабочего в процессе одоления им тяжести труда.

В дальнейшем фигура рабочего занимает доминирующее положение во всех живописных и скульптурных многофигурных композициях Менье. Это достигается не абсолютным масштабом человеческих фигур, а их отношением к пространству, в котором они занимают главенствующее место. Фигура рабочего составляет основу композиции.

Совершенно иначе подходят к фигуре рабочего Фран-Бренгвин и Ганс Балусшек, обращающиеся время от времени к разработке мотивов из мира промышленных предприятий. В основе композиции Бренгвина лежит машина и фабричное здание, работающий же человек является только придатком, дополнением к композиции.

<sup>1)</sup> Только в России в конце XIX века развивается живопись, которая по своему содержанию и мастерству может быть поставлена рядом с произведениями Менье.

Среди 400 офортов, литографий и гравюр Бренгвина можно насчитать около двадцати произведений, рисующих промышленный мир. В них изображены чудовищные силуэты кораблей, густые переплеты лесов грандиозных строений, и лишь где-то внизу, у подошвы этих сработанных из гранита и цемента, закованных в железо и сталь гигантов, словно муравьи, копошатся похожие друг на друга и безличные рабочие — созидатели всей этой мощи. Наиболее характерен офорт «Постройка корабля» — колоссальный остов судна и миниатюрные фигурки строителей. Но и в тех немногих работах Бренгвина, где нарисованы более крупные фигуры рабочих («Пильщики», «Прокладка рельсов», «Дубление»), последние все же остаются безликими. Давая рабочих в ряде ракурсов, Бренгвин избавил себя от выявления типажа. Идеология монополистического капитала нашла свое яркое выражение в лице этого художника.

Для Бренгвина рабочий — одно из количественных слагаемых, дающих в сумме процесс производства. Художник не видит производственных отношений, а имеет перед собою лишь техническую сторону капиталистического производства.

То же мы находим и у немца Ганса Балушека, много работающего в области индустриальной тематики. Композиционно господство машины у Балушека получило свое максимальное выражение в его многочисленной серии картин и рисунков, посвященных железной дороге. В этих работах рядом с мощным паровозом или колоссальным мостом показан железнодорожный рабочий — подавленный, уничтоженный громадой машины. В центральной картине железнодорожной серии Балушека — «Рельсы» — совсем нет человека. Видны только уходящие во все направления бесконечные линии рельсов и властно вырисовывающиеся на горизонте силуэты промышленных строений. Свой цикл художник так и назвал — «Пути машины».

В тех редких работах, в которых Балушек пытается показать рабочих вне связи с какой-либо технической систе-

мой, он решает эту задачу путем сплошного обезличивания своих персонажей. Так, например, большая часть картины «Пролетарки» (1900 г.) заполнена головами работниц. С полотна глядит множество женских лиц, но ни одно из них не раскрыто в своей индивидуальности. Перед нами лишь одна и та же многократно повторенная схема женского лица. Балушек не сумел создать образ пролетарки во всем различии его конкретных проявлений, и вся масса работниц у этого художника представляет лишь количественное образование.

Для буржуазного товарно-фетишистского мышления характерно фетишизирование технической стороны производственного процесса, которая вытесняет из поля зрения буржуазного художника социальную сторону того же процесса. У буржуазного художника на первый план выступает машина, человек же является лишь деталью в системе машин, только одним из моментов техники. Отсюда и безличность человека, который, как подчиненный машине элемент техники, дается вне социального бытия.

В оттеснении рабочего на второй план немалое значение имеет такое чувство страха у господствующих собственнических классов, перед лицом растущей активности пролетариата, все чаще нарушающее мирное течение жизни буржуазного общества.

Для идеологии Менье характерно то, что в производственном процессе он видит прежде всего социальную сторону — отношения людей. Процесс производства у Менье всегда дан, как проявление организующей власти человека над материей, люди у него всегда получают господство над вещами.

Жест руки — один из наиболее употребляемых скульпторами композиционных приемов. Он характерен для подавляющего большинства монументов Европы, начиная от медного всадника на берегу Невы и кончая рудовской «Марсельезой». Широко использует этот прием и Родэн. Его скульптуры — «Женщина-кентавр», «Страстная мольба», «Иоанн», «Ева», «Граждане Калэ» — композиционно построены на жесте рук. Но жест руки почти всегда выражает

внутренний мир отдельной личности. Сильная воля, мистическая загадочность, возвеличение героя, могущество, превосходство, — вот что вкладывали художники в этот жест. История искусства знает случай, когда художник пытался выразить в жесте рук состояние не одного, а многих индивидуумов. Мы имеем в виду гигантское панно Фердинанда Годлера — «Единодушие», — на стене городской думы в Ганновере. На этом панно Годлер изобразил эпизод из так называемой «эпохи реформации», когда массы германского крестьянства и трудовой бедноты городов под знаком церковной реформы боролись против феодального строя, во главе которого стояла церковь. Это движение, имевшее в своей основе классовые интересы трудящихся, отличалось стойкостью и непоколебимой волей народных масс к борьбе и победе. Эту коллективную волю и хотел выразить Годлер в своем «Единодушии». Но более детальный анализ замысла художника показывает, что и в этом случае жест руки является выражением индивидуального переживания. Вожак, помещенный в центре композиции, выше всей массы, произносит призывную речь. В момент наибольшего напряжения он, в страстном порывистом движении, клятвенно поднимает руку вверх, и все присутствующие также возносят свои руки. Но все это множество поднятых рук лишь подчеркивает мощный порыв героя и показывает силу, с которой он увлек толпу.

Совершенно чужд этот прием композиционной структуре Менье. Он не прибегает к нему даже в тех работах, где, казалось бы, он был бы как нельзя больше уместен, например, в «Зовущем рабочем» или, что еще более значительно, в «Жертве шахтного газа».

В произведениях Менье за спиной каждого рабочего незримо стоит масса. Менье изолирует рабочего от коллектива лишь для того, чтобы показать отдельные стороны жизни целого, чтобы дать индивидуальное выражение общеклассовых черт. Каждый отдельный пролетарий у Менье является выражением социальных процессов, происходящих внутри класса. «Жертва шахтного газа» —

не индивидуальное горе, не семейно-бытовая сцена, не драма матери, а драма всего рабочего класса, ежедневно, ежедневно приносящего тысячи жертв во всех углах капиталистического мира.

Менье всегда трактует фигуру отдельного пролетария, как организующий элемент какого-то более обширного целого. Для Менье работающий человек — звено в цепи коллективных усилий и одолений. В каждом рабочем, даже тогда, когда он показан изолированно, чувствуется движение масс.

В соответствии с пониманием социальной роли рабочего класса находится и манера Менье располагать отдельные фигуры, манера связывать их между собой. В этом отношении интересно сравнить рельеф Менье «Выход из шахты» со скульптурной группой Родэна «Граждане Калэ». Сюжетом для группы Родэна послужила историческая трагедия. В середине XVI века жители города Калэ, осажденного войсками английского короля, вынуждены были сдать себя из-за голода. Король согласился пощадить население при условии, если шесть граждан пожертвуют собой для спасения своего города. Обреченные на казнь граждане должны были явиться в лагерь осаждающих с ключами от крепости. Родэн, показывая шесть человек, решивших пожертвовать собой ради общей цели, дал шесть резко различных движений, шесть замкнутых в себе миров. Идя навстречу единой судьбе, руководимые одним и тем же побуждением, каждый из шести родэновских граждан остается самим собой. Параллельно поставленные фигуры как нельзя лучше выражают неслитность их переживаний, при всей общности их судьбы.

В группе «Граждане Калэ» Родэн сводит тему исторического жанра к драме характеров нескольких индивидуумов, исторический момент отступает у него перед художественным замыслом. Родэн указывает, что его «Граждане» — живые звенья цепи страданий, самопожертвования. Но он не видел, что это — отдельные звенья несомкнутой цепи.

Все композиционное построение в рельефе Менье «Выход из шахты» направлено к тому, чтобы, не нарушая

ясности целого, дать на максимально малом пространстве наибольшее количество персонажей и таким образом с предельной полнотой выразить сплоченность изображенных людей. В этой работе Менье вся тяжесть многочасовой работы во тьме шахты выражена в фигуре переднего рабочего. Голова его выступает из плоскости рельефа, и весь он, пригнувшись и как бы готовясь к прыжку, устремляется навстречу дневному свету. Однако, этот рабочий не отделяется от своих товарищей, — напряженная динамика его фигуры лишь завершает движение, начинающееся там, в невидимой глубине шахты.

Классическое искусство знает два примера, когда художник, для лучшего выражения основной идеи, решает на невозможное. Леонардо-да-Винчи в своей «Тайной вечери», стремясь к тому, чтобы апостолы, сидящие по обе стороны от Христа, составляли одну максимально замкнутую группу с учителем в центре, настолько уменьшил размеры стола, что невозможность разместить за ним столько людей совершенно очевидна для каждого зрителя. Точно так же Рафаэль в картине «Чудесный лов рыбы» сделал лодки неестественно малыми и таким образом акцентировал фигуры людей. Изучение композиции «Выхода из шахты» приводит к мысли, что и Менье жертвует конкретной частностью ради наиболее яркого выражения основной идеи: художник вмещает в шахтный выход явно невозможное количество рабочих.

То же мы видим и на рельефе Менье «Возвращение рудокопов». Восемь фигур идущих рудокопов, благодаря единому ритму их движений, объединены в одно слитное целое. Органически связанные между собой, эти восемь фигур сливаются в один монументальный образ.

Было бы недопустимой ошибкой полагать, что такой подход к композиции коренится в восприятии художником пролетарской массы как недифференцированного примитива. Менье никогда не изображает безликой массы, под его резцом или кистью никогда не исчезают черты отдельной фигуры человека. Даже в са-

мых сложных многофигурных композициях Менье каждая человеческая единица представляет собой неповторяющуюся личность.

Великая прочность построения свойственна образам Менье, их отличает исключительная устойчивость, слитность частей, организованность, слаженность и завершенность, его линии не знают надломленности, торопливости.

#### IV

В творчестве Менье исследователь уже при первом знакомстве с его работами сталкивается с двумя совершенно противоположными группами образов. С одной стороны, он видит мощные, полные спокойного величия образы пролетариев; с другой стороны, перед ним встают образы забитых, приниженных людей.

В своих ущербных образах Менье никогда не обращается к таким «силам», как судьба или мировая несправедливость. Он знает лишь один источник страданий трудящихся масс — капиталистическую эксплуатацию. Угнетенный пролетарий у Менье — не обиженный жизнью человек, не неудачник, а ограбленный капиталом труженик. Таков его пудлинговщик («Голова пудлинговщика»), открытый рот которого свидетельствует о последней степени усталости, такова и фабричная работница («Работница», 1895 г.), доведенная чудовищной эксплуатацией до состояния загнанной клячи.

Ущербный образ пролетария получает у Менье свое наиболее яркое выражение в «Старом шахтере». Но в этом старике нет ничего, что ассоциировалось бы с обычным представлением о старости. Мы не видим здесь ни беззубого рта, ни согнутой годами спины. Вся сумма образительных средств художника говорит о гом, что в данном образе Менье не стремится показать старость как таковую, что его интересует не возрастной момент, а трудовой стаж, не исполненные сроки жизни, а длительность капиталистической каторги.

Два раза мы встречаемся у Менье с темой смерти рабочего. Но это не смерть

с большой буквы, не мистическая странница с косою в костлявых руках. «Погибший товарищ» и «Жертва шахтного газа» — жертвы капиталистического производства. Сравните последнюю вещь с появившейся 37 лет спустя совершенно аналогичной по тематике литографией Кете Кольвиц — «Несчастный случай», и вам станет ясна логика образов Менье. У Кольвиц согнутая спина коленопреклоненной женщины говорит о безысходном горе. Эта женщина рыдает над трупом. Менье же в своей «Жертве» не поставил женщину на колени, ее монументальный силуэт встает перед нами исполненный силы. Мы видим беспредельную скорбь, но в этой скорби много величия. «Отчаяние, — писал Ленин в 1910 г., — свойственно тем классам, которые гибнут, а класс наемных рабочих неизбежно растет, развивается и крепнет во всяком капиталистическом обществе, в том числе и в России»<sup>1)</sup>).

В ряде своих произведений Менье показывает, что пролетарский героизм заключается в бесстрашной работе на производстве с высокой температурой, в труде на глубине сотен метров под землей, в самообладании людей, которые на высоте 40 этажей шагают по брускам шириной в пять дюймов, точно по тротуару.

На протяжении всей своей сознательной художественной деятельности Менье неизменно изображает трудовой процесс, борьбу человека с мертвой материей, как процесс подчинения машины воле рабочего.

Только с механистической точки зрения можно рассматривать воздействие капиталистического производства на рабочего как чисто негативный процесс, лишенный каких бы то ни было положительных моментов. В действительности же этот процесс — диалектически негативный, — наряду с моментами подавления и угнетения он заключает в себе также и положительные, созидательные начала. До Менье художники, не понимая природы социальных отношений, в капиталистической эксплуатации видели

только угнетение рабочего. Менье же увидел обе стороны единого процесса.

Могучие фигуры пролетариев на барельефах «Индустрия» и «Порт» рисуют рабочего как жертву капиталистического производства и в то же время, как производителя новых форм как борца за эти формы, побеждающего косный материал и накапливающего в себе классовую энергию. Барельефы «Возвращение углекопов» и «Выход из шахты» выявляют роль капиталистического производства как силы, сплывающей рабочий класс. Именно этой идее подчинена композиция обеих работ. В основе их композиционного построения лежит ритм линий, выражающих одновременно и усталость, и устремленность.

Творчество Менье оказало огромное влияние на бельгийских рабочих. Менье не изображал революционной борьбы пролетариата. Но в мощных движениях его бронзовых пролетариев, в сильных и смелых линиях их металлических тел, в их могучих расправленных спинах и гордой осанке звучит вызов собственничеству миру. Это прекрасно сознавала капиталистическая Бельгия, когда она не допустила постановки «Памятника труда» Менье на одной из площадей Брюсселя, несмотря на то, что мастер бесплатно предоставил стране свою модель. Это создал и приказчик своей буржуазии, король Леопольд, когда он заявил, что не допустит сооружения «Памятника труда», который неминуемо станет притягательной силой для стачечников и рабочих демонстраций. Страхом перед этим памятником продиктован отказ в 1911 г. правительства Бельгии на предложение комитета Международной выставки в Риме выставить памятник в Интернациональном зале. Тот же страх заставил буржуазию Германии восстать против проекта сооружения отвергнутого Бельгией памятника в Руре.

При всей резкости расхождений между авторами, писавшими о Менье, все они признают, что в системе образов Менье отражен ватрашный день рабочего класса. Говоря о пролетарских образах Менье, Ф. Меринг указывает: «В этом рабочем поколении живет сила, принад-

<sup>1)</sup> В. И. Ленин. «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», т. XIV, стр. 406.

лежащая будущности». В соответствии с этим он и статью свою о Менье озаглавил: «Менье, как пророк рабочего класса». Историк бельгийского искусства Генри Гиманс говорит: «Менье творит не для современности, его глубокий и серьезный взор устремлен в будущее»<sup>1)</sup>. Рихард Мутер в своей «Истории бельгийской живописи», закончив обзор творчества Менье, пишет: «Не всматриваемся ли мы лишь в то, что несет далекое будущее»<sup>2)</sup>. Эмиль Верхарн утверждает, что Константин Менье отражает в своем искусстве «идеи, которые носятся в воздухе»<sup>3)</sup>. Трей видит в Менье художника, осознавшего в рабочем «грядущую общественную силу, которой суждено определить исторические перспективы». Иоанн Шатковский говорит, что созданные Менье типы рабочих — типы поколения, которому принадлежит будущее искусства. Таким образом, все исследователи искусства Менье сходятся на том, что его образы организуют сознание в сторону конечных целей рабочего класса.

В творчестве Менье образы мощи и величия и образы забитых и приниженных людей не сменяют друг друга, а сосуществуют. В 1882 г. Менье написал «Фабрику в Севилье». Картина изображает толпу андалузских работниц в красочно-радостных одеждах. В том же году им написано мрачное полотно «Спуск в шахту», на котором мы видим понурые силуэты рабочих. За героическим образом «Молотобойца» (1886 г.) следует «Сидящий пудлинговщик» (1887 г.) — рабочий, доведенный до предельной усталости. Только два года отделяют создание «Головы старого шахтера», с чертами полного отупения, от создания «Головы анверского грузчика», исполненной гордого достоинства и железной решимости.

Подчас элементы мощи и бессилия переплетаются в отдельных образах одной

и той же работы. В «Сидящем пудлинговщике» монументальные линии свисающих рук, выражая крайнюю усталость, в то же время свидетельствуют о неисчерпанных запасах энергии. В фигурах трех рабочих на рельефе «Пудлинговщики» нет ни одной болезненно искривленной линии, несмотря на то, что в этом произведении отображен подлинно каторжный труд. На рельефе «В забое» мы видим тесную и низкую выемку в угольном пласте. Рудокоп работает, лежа на боку. Это единственно возможное для него положение. Но и в этой дыре человек не скорчился — сильные удары его лома, крепка и надежна его спина, освещенная тусклым светом шахтерской лампочки. Пусть «Грузчик» Менье отмечен печатью непосильного труда, но он прекрасен равновесием своих форм, гармонией жеста, монументальностью обобщенного силуэта.

Если в начале творчества Менье преобладают ущербные образы, то в дальнейшем все больше и больше доминируют образы мощи и величия. К концу творчества художника они вытесняют ущербные образы, которые совсем исчезают в его произведениях. Его лебединая песня «Памятник труда» и другие работы рождают в нас представление об огромной мощи.

Бытие рабочего класса во второй половине XIX века определяется двумя моментами: 1) Пролетарии продолжают испытывать тяжелый гнет капиталистической эксплуатации. Ничтожная заработная плата, продолжительный рабочий день, политическое бесправие, — все это сохраняется в полной силе. 2) Но наряду с этим пролетариат выступает на историческую арену и из «класса в себе» становится «классом для себя». В рабочем классе зреют новые чувства, классовое самосознание становится характерной чертой мировоззрения пролетариата.

В рассматриваемую нами эпоху настоящее рабочего класса представляло единство двух противоположностей, — с одной стороны, капиталистической эксплуатации, с другой — рост классового самосознания. Первая из этих противо-

<sup>1)</sup> Henri Hymans. *Belgische Kunst des Jahrhunderts*, 1906.

<sup>2)</sup> Die *Belgische Malerei im neunzehnten Jahrhundert*. Von Richard Muther, Berlin, 1904, стр. 96.

<sup>3)</sup> Const. Meunier et son oeuvre. *Le Plum*, Paris, 1903.



положностей всем ходом развития пролетариата осуждена стать его прошлым, вторая же, в том же процессе развития класса, утверждается как его специфичность в настоящем и таит в себе элементы будущего.

Основное противоречие в социальной действительности рабочего класса выражено в стиле Менье — в его образной системе, построенной на противопоставлении двух категорий пролетариев: слабых и забытых и сильных, исполненных классового самосознания. При этом образ классово-осознавшего себя рабочего выступает, как центральный, проходящий через все творчество художника, образ, который воспринимается нами, как ведущая, побеждающая противоположность.

Менье изображает пролетариат в его классовом становлении. Совокупность пролетарских образов Менье всей своей логикой, всем своим идейным содержанием говорит о том, что близится час пробуждения самосознания рабочего класса.

Рост классового самосознания пролетариата, увеличение его удельного веса в историческом процессе — решающая идея творчества Менье. Эта идея организует образный строй Менье, определяет функции его образов, движет процесс их создания от отбора явлений мира материальной действительности вплоть до способа группировки этих явлений и приемов их компановки

## V

Если не считать небольшой группы мастеров XVI и XVII веков (7 или 8 человек) от Леонардо до Рембрандта, то можно смело утверждать, что Константин Менье является одним из тех немногочисленных художников, которые привлекают к себе наибольшее внимание авторов, писавших и пишущих об искусстве. Более 150 книг, журнальных статей и глав в общеисторических работах посвящены Менье. Кроме того, имеется много, часто весьма серьезных и авторитетных, высказываний о художнике в работах по самым разнообразным вопросам искусства. Почти невозможно на-

звать сколько-нибудь значительное имя в литературе об искусстве за последние полвека, которое так или иначе не высказалось бы о Менье. Этот огромный интерес к Менье тем более показателен, что искусство его не могло не отпугивать и даже отталкивать от себя многих. Так, например, мог ли писать о Менье Генрих Вельфлин, у которого мы находим такие строки: «О нашем веке говорят, как о веке «реализма». Это слово, пройдя через множество рук, потеряло свой первоначальный смысл. С ним соединяется теперь что-то пролетарское, отражение озлобленной оппозиции, требующей также места в искусстве для уродливого, грубого, в силу факта их существования в мире»<sup>1)</sup>.

Исследователь литературы о Менье не может не заметить одной отличающей ее черты — некоторой растерянности авторов перед творчеством этого художника, растерянности, часто переходящей в явно выраженное недоумение. В этом отношении весьма показательна монография о Менье Эрнста Шура, который вместо того, чтобы излагать свои мысли и выводы в форме утверждения, зачастую прибегает к форме вопроса. В заключительной части своего труда Шур как бы подчеркивает, что им лишь поставлен вопрос о творчестве Менье. Свою книгу Эрнст Шур заканчивает фразой: «Проблема Менье — проблема нашего времени»<sup>2)</sup>.

«Всего несколько лет тому назад ушедший художник уже воспринимается как классик в своем величественном спокойствии», — говорит Андрей Левинсон и здесь же выражает свое недоумение: «Чем же объяснить это спокойствие, эту уравновешенность творчества среди художественного развала современности»<sup>3)</sup>.

Но главное, что характеризует огромную литературу о творчестве Менье, это — несогласие исследователей между собой. Искусство Менье по сей день про-

<sup>1)</sup> Генри Вельфлин. «Классическое искусство», изд. Брокгауз Ефрон, 1912 г., стр. 14.

<sup>2)</sup> Menier ein Problem der Kunst. Ernst Schur. Berlin, 1912. Стр. 145.

<sup>3)</sup> А. Левинсон. К. Менье, Москва, 1911 г., стр. 7.

должает вызывать самые противоречивые мнения.

Историк Адольф Розенберг пишет: «Так как он (Менье) временами был склонен к сентиментальности... на его долю выпали симпатии широких масс<sup>1)</sup>. Гаузенштейн же категорически утверждает, что Менье чужда сентиментальность, и в отсутствии ее видит одну из отличительных черт творчества Менье. «Он воплотил решающие явления эпохи — непретенциозно, без риторичности, без сентиментальности»<sup>2)</sup>.

Не меньшие противоречия вызывает вопрос о тенденциозности Менье. Суммируя многочисленные мнения по этому вопросу, Эрнст Шур пишет: «Менье превозносили до небес, провозглашали его апостолом нового искусства. Затем наступила реакция, началась критика. Подчеркивали, что его пластика глубоко проникнута жанровостью, что его формы не строги, что в его рельефах преобладает иллюстративность, что его искусство подчинено моральному чувству — состраданию». «Будем ли мы это оспаривать», — спрашивает Шур и отвечает: «С точки зрения чистого искусства Менье кое-чего нехватает»<sup>3)</sup>.

В. Гаузенштейн и здесь держится противоположного мнения. «Наиболее общим содержанием для искусства является общество. Но настоящее искусство обращается с этим материалом не с поучительным глубокомыслием, но так, что характер формы определяется социальными свойствами эпохи совершенно непосредственно, без какого-либо литературного средостения, без посредничества социальной доктрины. В этом смысле и велик Менье, а не благодаря дидактическому поучению, которое из него вычитывают»<sup>4)</sup>.

Касаясь вопроса о тенденциозности Менье, К. Залевский утверждает: «Это одна из крупных исторических лично-

стей. Его творчество по своему характеру — явление, совершенно новое в современном искусстве. Оно глубоко идейно, но отнюдь не тенденциозно»<sup>1)</sup>.

Того же мнения и Константин Маковский: «Вся серьезность формулы «искусство для искусства» вытекает из долговечности эстетического бытия художественных произведений, независимо от каких бы то ни было целей и мыслей, которые были дороги художникам, создавшим их... Бронза Менье — новое оправдание этой формулы... Менье — эстетик чистой воды. Он только изображает, цель его искусства — изображение само по себе. Он исключительно художник. Он совершенно не тенденциозен»<sup>2)</sup>.

В то время как одни исследователи настаивают на том, что Менье идеализирует и даже героизирует образы своих пролетариев, другие энергично отрицают это. Многие авторы отрицают также попытки Меер-Граффе, Грагуля и Шпрингера сблизить Менье с Милле.

Эмиль Вандервельде, по своей оппортунистической природе, пытается изолировать творчество Менье от какого бы то ни было влияния пролетариата. Вся система пролетарских образов Менье, по мнению Вандервельде, есть «проявление инстинкта гения, а не выражение сознательной воли». Барельефы «Памятника труда» Менье, дающие реалистическое изображение напряженной работы в шахте, в порту, на заводе, в поле, объясняются Вандервельде, как символы четырех стихий — огня, воды, воздуха и земли<sup>3)</sup>.

Франц Меринг озаглавил свою статью о Менье «Пророк рабочего класса» и закончил ее словами, обращенными к пролетарским образам художника: «В этом рабочем поколении живет сила, принадлежащая будущности». Сказанное Мерингом уточнено Фриче, который считает, что Менье «в своих скульптурах выразил сознание передового про-

<sup>1)</sup> Adolf Rosenberg. Handbuch der Kunstgeschichte, Leipzig, 1914.

<sup>2)</sup> Wilhelm Hausenstein. Die bildende Kunst.

<sup>3)</sup> Meunier im Problem der Kunst. Von Ernst Schur, Berlin, 1912, стр. 18.

<sup>4)</sup> В. Гаузенштейн. Искусство и общество. Москва, 1900 г., стр. 19.

<sup>1)</sup> К. Залевский. Индивидуализм в новейшем искусстве. «Вестник Европы». 1914 г., май.

<sup>2)</sup> К. Маковский. Страницы художественной критики. Кн. 1, С.-Петербург, 1919 г.

<sup>3)</sup> «Neue Gesellschaft», 1905 г., № 9.

летариата»<sup>1)</sup>. Наконец, И. Л. Маца причисляет Менье к «художникам мелкобуржуазного протеста»<sup>2)</sup>.

Для этого разброда мнений характерен следующий факт. Карл Шеффлер выпустил в 1903 г. книгу о Менье. Когда же в 1908 г. понадобилось второе издание ее, автор заявил, что он теперь не согласен с тем, что писал о художнике раньше. Шеффлер согласился на переиздание книги лишь после того, как ему была предоставлена возможность присовокупить главу, излагавшую его новую точку зрения на творчество Менье.

Глубокая противоречивость суждений об искусстве Менье свидетельствует о порочности самого подхода исследователей к творчеству этого мастера. Все разговоры с тенденциозности или бестенденциозности Менье объясняются непониманием самой сути творчества Менье, тесно связанного с идеями рабочего класса. Искусство Менье наполнено тенденциями, они пронизывают его лучшие работы, определяют их социальную направленность, творчески оправдывают все его средства выражения.

Проводить аналогию Менье — Золя, как это делают некоторые исследователи, значит не отличать мощных, спокойных, уверенных в своей силе пролетариев художника от неистовой и слепой в своем озлоблении изголодавшейся толпы романиста. Это значит не делать различия между социальной категорией — пробуждением самосознания, ведущего к классовой борьбе, которой учит нас Маркс, и биологическим явлением — инстинктом самосохранения, ведущим к борьбе за существование по теории Дарвина.

Мы не имеем возможности остановиться на высказываниях о Менье Меринга, Плеханова и Фриче, так как эти высказывания представляют собой лишь беглые замечания, не подкрепленные никакими аргументами. К тому же высказывание Плеханова основано на ознакомлении автора лишь с двумя работами

Менье. Из слов самого Плеханова явствует, что он не был знаком с другими произведениями мастера.

Следует лишь остановиться на высказывании И. Маца, которое является результатом анализа стиля ряда художников, в том числе и Менье. Это тем более необходимо, что высказывание И. Маца — последнее по времени.

Учение Ленина об империализме, как об эпохе загнивания капитализма, открывает глаза и на искусство этой эпохи. В свете учения Ленина искусство империализма представляется нам пришедшим в состояние глубокого кризиса. Безостановочный отход от социально значимой тематики, непрерывно суживающийся охват явлений действительности, измельчание содержания, замысла, — все это обрекло буржуазное искусство на нищету, от которой его не может спасти никакое богатство формы.

Однако, в основе книги И. Л. Маца «Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе» лежит отрицание ленинского учения об империализме, как о периоде загнивания капитализма. Не учитывая социальные отношения в условиях капиталистического производства, беря лишь техническую сторону его, лишь организационный момент, И. Л. Маца приходит к пониманию империализма, как организованного капитализма<sup>1)</sup>. Такая точка зрения на империализм мешает И. Л. Маца увидеть тупик, в который пришло буржуазное искусство, так как он заслонен от автора технико-организационным моментом. Эта же точка зрения заставляет И. Л. Маца подходить к проблеме формирования пролетарского искусства не со стороны его новой тематики, сюжетики, а со стороны «методов организации». Отправляясь от такой позиции, И. Л. Маца неизбежно должен был притти к поискам зачатков пролетарского искусства «в формах приближения отвлеченного до сих пор искусства к материальному базису, к орудиям производства и технической действительности»<sup>2)</sup>. Естественно, что,

<sup>1)</sup> Очерки социальной истории искусства, стр. 65, «Новая Москва», 1923 г.

<sup>2)</sup> И. Л. Маца. Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе, Москва, 1930 г.

<sup>1)</sup> И. Л. Маца в дальнейших своих работах отошел от этой позиции.

<sup>2)</sup> И. Л. Маца. Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе, Москва, 1930 г.

исходя из этой концепции, И. Л. Маца не мог уловить то принципиально-новое, что наличествует в искусстве Менье.

Творчество Менье отражает глубокие изменения в социальной действительности, в нем мы имеем одно из ранних отклонений художественной мысли от буржуазности и мелкобуржуазности, оно является выражением новых эстетических требований, которые противоречат творческой практике буржуазии, отрицают ее эстетические каноны, преодолевают и порывают с ними.

## VI

Искусство того или иного класса проходит огромный исторический путь становления, и пролетарское искусство не составляет здесь исключения. Получая свое завершение лишь в социалистическом искусстве бесклассового общества, пролетарское искусство уходит своими корнями в глубь враждебного ему буржуазного мира, берет свое начало в сложном переплете противоречий этого мира.

На рубеже первой и второй половины XIX в. пролетариат капиталистических стран из объекта истории становится ее субъектом. С этого времени и начинается процесс становления пролетарской культуры. Об этой эпохе Энгельс пишет: «... Нет ничего удивительного, что английский рабочий класс с течением времени стал совсем другим народом, чем английская буржуазия. Буржуазия имеет со всеми другими нациями земли больше родственного, чем с рабочими, с которыми она живет бок-о-бок. Рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем буржуазия»<sup>1)</sup>.

Это значит, что пролетариат начинает творить свою культуру в недрах капиталистического общества, что неоднократно подчеркивается Марксом, Энгельсом и Лениным как в их теоретических рассуждениях, так и в работах по

поводу конкретных явлений. Так, Маркс в письме от 23 февраля 1860 года к Фрейлиграту пишет: «Мы оба сознаем, что мы каждый по-своему, пренебрегая всякими частными соображениями и из самых чистых побуждений, годами держали высоко над головами филистеров знамя класса, наиболее работающего и наиболее несчастного». Слова «каждый по-своему» ясно указывают, что Маркс говорит не о членстве Фрейлиграта в «Союзе коммунистов», а о тех произведениях поэта, в которых он действительно является выразителем немецкого пролетариата на первом этапе его борьбы за свое освобождение.

В. И. Ленин выдвигает в 1905 г. перед рабочим движением литературное дело, как актуальную задачу: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы»<sup>1)</sup>.

Чтобы исключить всякую возможность каких-либо «толкований» вышеприведенных слов Ленина, процитируем предпоследний абзац той же статьи: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущее. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата...»<sup>2)</sup>.

Анализ главной тематической линии Менье, комплекса приемов, с помощью

<sup>1)</sup> Ф. Энгельс. Положение рабочего класса в Англии. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. III стр. 415.

<sup>1)</sup> В. И. Ленин. Собр. соч., т. VIII, стр. 387.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 390.

которых он организует свой художественный мир, раскрытие сущности его образной системы в ее становлении и формировании, показывают, что движущие силы искусства Менье лежат в мире рабочего класса, что стилевые особенности его творчества находят свое объяснение в этой социальной почве. Все это свидетельствует о том, что в творчестве Менье мы имеем факт становления нового художественного сознания, новой творческой пролетарской ориентации. Но в то же время мы видим, что искусство Менье с его установкой не на выделение из пролетарской действительности изолированной эпизодичности явлений, а на выражение глубоких процессов, совершавшихся в рабочем классе, останавливается у кульминационного пункта этих процессов — классовой борьбы пролетариата. Менье не дал в своих произведениях борьбы рабочего класса, не показал рабочего-борца.

Творчество Менье тесно связано с эпохой зарождения классового самосознания пролетариата, с подъемом рабочего движения в середине 80-х годов прошлого века, нашедшим свое яркое выражение и в первых выступлениях пролетариата Бельгии. Однако, рабочее движение в этой стране вскоре было уложено бельгийской рабочей партией в прокрустово ложе реформизма и оппортунизма. Из всех социалистических партий II интернационала бельгийская рабочая партия всегда отличалась наибольшим уклоном в сторону оппортунизма. «Все проникающая постепенщина» (В. И. Ленин), являющаяся особенностью всякого оппортунизма, характеризует всю деятельность этой партии. Стремление ее к самому узкому и безнадёжному практицизму лишало рабочее

движение Бельгии широких перспектив развития революционной борьбы, ведущей к социальной революции, к победе пролетариата.

Мощные, уверенные в своей силе образы Менье говорят о том, что художник не пошел по пути оппортунистической подмены конечных идей пролетариата мелкими материальными идеалами. Но в то же время образный строй Менье, взятый во всей своей совокупности, свидетельствует о том, что искусство этого мастера не отражает в себе самой сущности идеи пролетариата — его классовой борьбы. В системе образов Менье рабочий класс изолирован от сложной практики общественного бытия, движение пролетариата дано вне каких-либо столкновений с другими противостоящими ему социальными группами и классами.

Изображая сегодняшний день рабочего класса, и притом так, что мы ясно видим, куда направляет свой бег это «сегодня», Менье сумел показать пролетариат, как могильщика буржуазного общества. Но классовую борьбу пролетариата в ее прямом выражении он, повторяем, не отразил в своем искусстве.

Менье — выразитель «класса в себе» в момент перехода его на высшую ступень «класса для себя». В его творчестве мы имеем самое раннее проявление нового процесса в развитии пролетариата, когда он из объекта искусства начинает становиться его субъектом.

Стиль Константина Менье — стиль пролетарского искусства в его движении от «стиля в себе» к «стилю для себя».

Менье стоит на подступах к великому социалистическому искусству пролетариата.

## Книжное обозрение

1. В. КАВЕРИН, „Исполнение желаний“. — М. Эгарт. 2. Я. РЫКАЧЕВ, „Сложный ход“. — Эрт.

**В. Каверин. — «Исполнение желаний».** Гослитиздат. Ленинград. 1935 г. Ц. 4 р., стр. 246.

Имя Каверина достаточно известно. То новое, что наметилось в его творчестве еще в «Прологе» (книге, не достаточно оцененной в свое время), в «Исполнении желаний» получает более серьезное выражение.

Прежде всего ново и значительно для Каверина, — формалиста-экспериментатора, — желание взглянуть жизни «прямо в лицо», потребность «освоить» те ее участки, мимо которых он раньше проходил. В книге показана наша советская, вузовская молодежь. Основные герои — Карташихин и Трубачевский — студенты.

Роман начинается посещением юным журналистом-пушкинником Трубачевским знаменитого профессора-историка Бауэра. Трубачевский работает у Бауэра, помогает ему в его архивных изысканиях и после долгих трудов расшифровывает пушкинское засекреченное стихотворение. Посещая дом профессора, он знакомится с его дочкой Машенькой, студенткой техникума, и влюбляется в нее. Здесь же он встречается с враждебным профессору миром—его сыном, приятелем сына Неворожиным и приятельницей Варварой Николаевной. Несколько раз приходится Трубачевскому с этим миром сталкиваться, и чувство тревоги и любопытства в нем возрастает.

Друг Трубачевского, которого Трубачевский высоко ставит, студент Карташихин учится на медфаке. Он — сын коммуниста, погибшего на фронте, и коммунистски, застрелившейся, чтобы не попасть в руки белых. Но как он ни старается, ему кажется, что мало он похож на своих героических родителей. И в университете, и в быту, и в отношениях с товарищами он, в противоположность Трубачевскому, который весь «на виду», — угрюм, замкнут. Карташихин еще не определил своего места в жизни. К людям он относится, как к себе, — выжидательно и с недоверием. Таковы его отношения к Варваре Николаевне, которую он встречает сначала ночью на улице, потом — в ресторане.

Она ему нравится, но именно поэтому он старается ее не замечать. Такова его неожиданная заботливость к заболевшему дворнику, у которого он дежурит дни и ночи, или чуткое отношение к записавшему студенту Лукину, которого он приютит.

Сюжетные узлы книги только завязаны. Известно, что профессор Бауэр, представитель прогрессивного направления в науке, враждует с профессором Щепкиным, и вражда эта не столько личная, а вражда направлений. Известно, что Неворожин сплавляет безвольного сына Бауэра и похищает ценную рукопись из архива профессора, что случайно обнаруживает Трубачевский. Известно, что Карташихин почти влюблен в Варвару Николаевну, но не хочет себе в этом сознаться. Но сущность отношений между персонажами еще не выявилась, и обнаружится, видимо, только во второй книге.

Наиболее отчетливо показан Трубачевский. Может, потому, что образ этот более знаком Каверину. Очевидны и почти определены его отношения с остальными персонажами: проф. Бауэром, Карташкиным, Машенькой, а если и не совсем определены с Неворожиным. Варварой Николаевной и прочими представителями «другого мира», то, главным образом, потому, что сам этот мир пока еще едва намечен. Трубачевский обрисован с такой иронической теплотой и меткостью, с такой непринужденной легкостью, которые отмечают зрелое мастерство.

Менее обрисован, поскольку не выяснена суть борьбы между ним и Щепкиным, профессор Бауэр, но как человек (в своих отношениях с Трубачевским, дочерью, в своей работе) — это второй по четкости образ.

Более или менее рельефны Машенька, Матвей Ильич, проф. Щепкин, студент Лукин и прочие второстепенные персонажи. Дальше начинаются трудности.

Самой большой трудностью является Карташихин; судя по тому, с какой тщательностью автор им занимается, это образ центральный. Здесь обращает на себя внимание изобилие и противоречивость обстоятельств, которыми Каверин осложняет биографию.

героя я, соответственно, характер: его ненормальное («героическое» и одинокое) детство, черты характера и наклонности, которые Карташкин, как комсомолец, считает нужным в себе подавлять, но которые в нем прорываются неожиданно и сильно: замкнутость, самолюбие и несчастная способность все усложнять.

Откуда все эти трудности?

Автор отвечает: «Медлительность и самостоятельность, с которой он (герой) пробивается к своему пониманию людей и вещей, стала его главной чертой. Ко всему, что он видел и чувствовал, он применял труднейший вариант понимания». (Разрядка наша. — М. Э.).

Первая часть ответа очень хороша, она может многое оправдать и объяснить: Карташкин принадлежит именно к категории самостоятельных и ищущих (не в том смысле, как Трубачевский) людей, он хочет жить по «большому счету», т. е. по-новому относится ко всему, что унаследовано, утеряно и приобретено с первых дней сознательной жизни».

Но как понять вторую часть ответа? Почему Карташкин по отношению к жизни «применял труднейший вариант понимания»? Не имеем ли мы здесь дела с мнимой сложностью? Думается, что так. Карташкин, несмотря на то, что ему посвящена большая и настойчивейшая часть авторских усилий, остается еще пока неясным, — это еще только «черновик» характера.

Оговоримся: мысль о «труднейшем варианте» мы относим скорее к самому Каверину, — для него Карташкин, видимо, является именно таким вариантом решения многих интересующих его проблем.

Все остальные персонажи книги я, главный из них, Неворожин представляют «другой» мир, еще не показанный, но уже ощущаемый. Время действия романа и некоторые намеки позволяют судить о социальной функции этого мира. Неворожин, Дмитрий Бауэр, Варвара Николаевна, проф. Щукин, некий Шиляев, — все это малые и большие звенья в цепочке, оплетающей пока квартиру Бауэров, но выходящей уже слегка Трубачевского, а в последних страницах и Карташкина.

Неворожин остро и точно обрисован, но место его еще неясно, как неясно значение всей этой вражеской «штаб-квартиры». Еще менее ясна Варвара Николаевна. Образ ее как бы дробится: сцена ночью, сцена в баре с Неворожиным, с молодым Бауэром, — каждый раз она является интересной, понятной в частностях и бледной, лишенной единства — в целом. Женщина какого-то «полувека», знающая только мужчин, даря, скуку, безденежье, неопределенность отношений, антисоветские разговоры антисоветских людей и томлящаяся как будто в этом призрачном, упрямом не желающем умирать мире.

Из отдельных особенно удачных мест можно указать на самое начало книги: визит Трубачевского к профессору Бауэру и, вообще, на все, что касается Трубачевского и Бауэра; затем вылазка за город; юмористическая сцена с молочницами; сцена у букиниста, в баре. Карташкин наиболее удачен в сцене — встреча со Щепкиным-младшим.

Немного опрометчивы два единообразных ощущения: первое у Трубачевского, когда он сидит у Бауэра и ему показалось, что все это было когда-то: так же похоже был этот стол и т. д. (стр. 15), а спустя 20 стр. то же у Карташкина: Карташкину на улице кажется, что «как будто это уже было когда-то, вот так же он поднимался» и т. д. (стр. 36). Вряд ли можно назвать художественным подобное единообразие ощущений у столь различных людей. Слабова та сцена парада и неожиданно — для Каверина — чужь ли не «толстовские» три странички: рассуждения о студентах (стр. 141), о том, как Варенька приводит в порядок свои денежные дела (сравните Вронского, распределяющего свои долги), и настроение Трубачевского после победы (сравните Левина перед венцом). Но все это, конечно, мелочи, не умаляющие достоинств книги.

*М. Эгарт.*

**Як. Рыкачев.** — «Сложный ход». Изд-во «Советский писатель». 1935 г. стр. 222. Ц. 3 р.

Если подходить к рецензируемой книге с точки зрения ее темы, то она не отличается особенной новизной: тема приспособленчества была и остается одной из «ходовых» тем советской литературы. Тем не менее, с первых же страниц становится очевидно, что автор пишет на эту тему интересно и остро.

Интересна, главным образом, манера Рыкачева: он совсем почти не обременяет себя показом событий, действий персонажей окружающей их обстановки и т. д. Это мир рассуждений, афоризмов, психологических тонкостей и логических построений. Не литературные персонажи, а «объекты исследования», кружки литературной лаборатории, макеты: «макет» приспособленца («Величие и падение Андрея Полозова»), «макет» литератора, старающегося приблизиться к новому миру («Человек тридцати пяти лет»), «макет» либеральствующего профессора («Профессор»).

Можно, конечно, заранее сказать, что метод и мировоззрение автора ограничены. Кто его герой? Чем они живут? Кто и кто окружает их в нашем советском сегодня?

Вот Полозов, прибывший из провинции в столицу для того, чтобы завоевать себе обширное место под солнцем. Номинально — комсомолец и фактически — враг, по званию — литератор революции, по существу — волеистствующий приспособленец, интентный

эмигрант, доморощенный философ, циник. Вот «человек тридцати пяти лет», «вскормленный мажоранским молоком двух эпох», тоже литератор, начисто зачеркивающий все свое прошлое, свое прежнее «я», как условие приобщения к новому; «салон» хранителей «великой русской литературы», «ветеран», живущий на проценты со своей бывшей и мнимой славы, — галерея масок какого-то лигерагурного паноптикума. Не к месту ли здесь следующая полозовская сентенция: «Это и было главной причиной, побудившей меня избрать именно литературную карьеру и совершенно отказаться от всякой общественной деятельности или политической работы. В царстве слов я чувствовал себя уверенно и спокойно. В царстве жестов я быстро утрачивал ориентировку... В конце-концов я, вероятно, оправился бы и с жестами, но чего ради мне было идти по линии наибольшего сопротивления?»

Вот именно — «чего ради»? И где «линия наибольшего сопротивления»?

На это Як. Рыкачев пытается дать ответ в своих портретах беломорстроевцев. К сожалению, при всей меткости и художественном такте, это — лишь попытка, только «конспекты» людей, ждущих еще подлинной разработки.

Очень интересно сопоставление этих беглых конспектов с первыми произведениями Рыкачева. Легче всего было бы сделать вывод на счет того, что вот, дескать, как любовно, тщательно, «со вкусом» выписывает автор своих условных литераторов, профессоров и как «сухо», будто нехотя — героев Беломорстроя. Но это вывод не совсем справедливый.

Рыкачев честен с собой. Это было его право — с тех позиций и с теми возможностями, которыми он обладал, начинать рассчитывать со «своими» героями, а у него с ними давнявшие счеты. Это условие его собственного творческого роста. И только пройдя этот этап, преодолевая его, писатель мог подойти к разработке беломорстроевских конспектов.

Книга Рыкачева — умная книга. С автором во многом можно не соглашаться, но с ним есть, о чем спорить. То, что его занимает, то, с чем он борется, занимает, тревожит и нас, хоть и по-иному, быть может. Он обладает стремлением, совершенно необ-

ходимым каждому настоящему писателю — разобраться «до конца», поставить и решить проблему, хотя не всегда он ее решает и решает правильно.

Нутро Полозова — холодная, равнодушная старчески-сморщенная душа 24-летнего «загователя» (приспособленца) — демонстрируется читателю и исследуется с беспощадной и скрупулезной тщательностью, как на хирургическом столе. Но, продолжая аналогию, чтобы изучить болезнь, надо изучить среду, чтобы разоблачить приспособленчество, надо показать окружающий Полозова мир. Рыкачев прав, когда говорит, что в области такой «надстройки», как литература, Полозовы особенно живучи и трудно распознаваемы, — он трижды прав, когда утверждает, что, если Полозова «не погубит случай», — «погубит закон»... Но правильно понятое не есть еще художественно доказанное, а как-раз логика Рыкачева часто сильнее его художественных образов.

В самом деле, во всей Москве, во всем огромном советском мире (которому, заметим к слову, посвящены лишь патетические междометия) один-единственный мудрец, «видный товарищ», почуял и распознал приспособленца Полозова. Як. Рыкачев отказывается дать настоящий бой: разоблачить Полозова по «закону», провозглашенному им же, а вытаскивает банальнейшие «подпорки» — дневничные записи Полозова, попавшие случайно к «видному товарищу». Не велика же вера автора в «закон»!

Напрасно говорит он, что «жизнь не дала Полозову утешения — сознания неотвратимой закономерности его гибели». Наоборот, это он, Рыкачев, не смог дать, не смог показать читателю закономерность гибели приспособленца.

Точно так же желание «человека тридцати пяти лет» переделать себя и «приблизжене» профессора к советской действительности остаются больше декларативными, ибо подлинная действительность остается где-то за рубежом книги.

Творчество Рыкачева заслуживает внимания. Путь его, отмеченный настоящей книгой, заканчивает некий этап. Хочется думать, что дальнейший путь Рыкачева пройдет не по обочинам, а в самой глубине жизни, выявляя не «случай», а закономерности.

Эрл.



# Содержание журнала „Новый мир“ за 1935 г.

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ РАССКАЗЫ,

### ПЬЕСЫ:

Р. Азарх. Пятая армия, роман. V—102, VI—63, VII—101, VIII—50, IX—157.

Вс. Вишневский. Трагедия крестьянина пьеса. III—140.

А. Гарри. Испанская новелла, V—32.

Ш. Гергель. Гремит барабан, роман. VIII—92, IX—175, X—189, XI—164.

Ф. Гладков. Трагедия Любаши, повесть. I—22, III—68.

К. Горбунов. Кризис, рассказ, XII—15.

Н. Зарудин. Спящая красавица, рассказ. XI—9.

Макс Зингер. Улица Леваневского, рассказ. I—129.

Макс Зингер. Гольфштрем, роман. V—5, VI—126, VII—78.

Вс. Иванов. Похождения факира, роман. I—5, II—56, III—41, IV—29, V—53, VI—24<sup>1)</sup>.

И. Кутяков. Василий Иванович Чапаев. III—158.

С. Левман. Абрам Монсеевич, три рассказа. IV—101.

Леонид Леонов. Дорога на Оксан, роман. IX—5, X—48, XI—31, XII—31.

Вл. Лидин. Сын, роман. VIII—5, IX—85, X—124, XI—141.

Н. Москвин. Чувство локтя, рассказ. XI—161.

И. Микитенко. Бастилия божьей матери, пьеса. II—17.

С. Мстиславский. Удел сильных, пьеса. XII—162.

Н. Мков. Коломенский завод, V—182, VI—155, VII—123, XII—220.

П. Низовой. Недра, роман, кн. 2-я. VII—5, VIII—115, IX—137, X—147.

Н. Никитин. Потерянный Рембрандт, повесть. III—9.

Г. Никифоров. Верность, рассказ. IV—64.

Г. Никифоров. Мастера, роман. VI—3, VII—53, VIII—71, IX—110.

А. Новиков-Прибой. В дрейфе, повесть. VIII—33.

А. Новиков-Прибой. Цыпленок, IV—61.

А. Перегудов. Встреча, рассказ. II—99.

А. Перегудов. В горах Алтая, рассказ.

V—124.

Бор. Пильняк. Рождение человека, рассказ. I—111.

Бор. Пильняк. Созревание плодов, роман. X—5, XI—106, XII—112.

П. Русин. Маховик, рассказ. IV—5.

И. Соколов-Микитов. Ленкорань, дорожные записи. IX—200.

Ш. Сослани. Дом № 10 на Страстном, рассказ. VI—117.

А. Толстая-Попова. В родовом имении Толстых, воспоминания. XI—188.

Ал. Толстой. Петр I, пьеса. I—54.

К. Тренев. «Здесь жил Антон Чехов». IV—123.

К. Чуковский. Илья Репин, воспоминания. V—195.

Г. Чулков. Путевые заметки. XII—236.

М. Чумандрин. Год рождения 1905-й. I—83, II—106, III—106, IV—71, V—141, VI—85.

Эль - Регистан. Джуль-барс, киноповесть. VII—24.

Бруно Ясенский. Мужество, рассказ. II—5.

### СТИХИ И ПОЭМЫ:

Н. Асеев. Песнь о нефти. VII—22.

Н. Браун. Три стихотворения. I—81.

Н. Браун. Стихи о любимой. IX—82.

Р. Гинсбург. Два стихотворения. VI—77.

Л. Длигач. Речь о деревне, поэма. II—48.

Л. Длигач. Три стихотворения. VI—63.

А. Коваленков. Сказка, стихотворение. XI—105.

Б. Корнилов. Моя Африка, поэма. III—28.

Б. Корнилов. Краснополянское шоссе. VIII—69.

Б. Корнилов. Сын. IX—47.

Б. Корнилов. Последний день Кирова. XII—106.

Лахути. Из раннего Лахути. X—121.

В. Наседкин. Осень. I—127.

А. Решетов. Три стихотворения. II—97.

А. Решетов. Над северной рекой. IV—60.

А. Решетов. Стихотворение. X—146.

Н. Сидоренко. Стихотворение. VII—122.

Т. Табидзе. Всем сердцем, поэма. III—64.

Т. Табидзе. Два стихотворения. V—100.

Т. Табидзе. Стихи об Армении. VIII—46.

М. Толстая. Два стихотворения. XII—160.

М. Шехтер. Ростепель. IV—122.

М. Шехтер. Два стихотворения. V—83.

<sup>1)</sup> Части 1-ю и 2-ю см. «Новый мир», кн. кн. 4—10 за 1934 г.

- М. Шехтер. Два стихотворения. IX—155.  
 А. Чачиков. Стихи об Аджарии. XI—139.  
 Л. Черноморцев. Новоселье. I—110.  
 Л. Черноморцев. Три стихотворения. II—103.  
 Л. Черноморцев. Тропа большевиков. IV—70.  
 Л. Черноморцев. Два стихотворения. IX—109.  
 К. Чичинадзе. Апология Риона, поэма. I—51.  
 К. Чичинадзе. Чучело цапал. V—123.

## СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, МАТЕРИАЛЫ:

- И. Анисимов. Лирика Верхарна. IX—260.  
 Д. Аранович. Архитектура московского метрополитена. VI—169.  
 Э. Аджаркина. Орест Кипренский. VII—252.  
 А. Багдасаров. Переливание крови. II—188.  
 Р. Бегак. Шахта 9—9-бис. IV—130.  
 В. Богданов-Безрезовский. Б. В. Асафьев. V—275.  
 Б. Брайнина. Торжество человека. X—261.  
 И. Бергвальд. Историю делают голубоглазые, белокурые люди... I—210.  
 Н. Волков. После юбилея (20 лет Камерного театра). I—275.  
 Ф. Власов. О творчестве Виктора Гусева. VII—215.  
 Е. Гальперина. «Не переводя дыхания» И. Эренбурга. VIII—232.  
 А. Гарря. Рождение метро. I—150.  
 С. Динамов. «Король Лир» Вильяма Шекспира. II—200.  
 Акад. П. М. Жуковский. Новые культуры. VII—200.  
 Е. Журавлева. Выставка В. Н. Яковлева. IV—251.  
 А. Замков. Гравидан в медицине. VIII—190.  
 Н. Зарудин и Бор. Пильняк. Десять лет Палеха. III—273.  
 А. Зотов. Выставка картин П. П. Соколова-Скаля. VII—269.  
 А. Канторович. Америка и Китай. V—226.  
 В. Канторович. Чародинская дорога. V—213.  
 Б. Капцов и А. Лебедев. История 1-й Конной армии в живописи. I—291.  
 В. Кирпотин. «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина в классовой борьбе шестидесятых годов. VI—240.  
 Н. Корнев. Пьер Этьенн Фланден. II—150.  
 Н. Корнев. Гембеш. IV—173.  
 Н. Корнев. Творцы англо-германского морского соглашения. VII—169.  
 Н. Корнев. Перед вторым антигитлеровским переворотом Адольфа Гитлера. VIII—167.  
 Б. Кукаркин. Астрономические очерки. V—257.  
 Б. Лавров. По непроторенным дорогам. I—179.  
 Б. Лавров. Первая Ленская. VI—181.  
 А. Лебедев, М. Лисенко, П. Сысоев. Е. А. Кацман. II—230.  
 А. Лебедев, Е. Меликадзе, А. Михайлов, П. Сысоев. Журнал «Искусство» и задачи художественной критики. III—247.  
 А. Лебедев, М. Лисенко. Художник Ф. К. Лехт. IV—230.

- А. Лебедев, Е. Меликадзе, А. Михайлов, П. Сысоев. Еще раз о журнале «Искусство». VII—242.  
 А. Лебедев, Е. Меликадзе, А. Михайлов, П. Сысоев. Гоголевская Хивря в роли теоретика искусства. XI—269.  
 Проф. Д. Лифшиц. Япония и морские вооружения на Тихом океане. VI—206.  
 В. Львов. Научное обозрение. II—168. IV—210, XI—234.  
 В. Львов. Энгельс и физика. IX—226.  
 Е. Меликадзе. Густав Курбе. IV—241.  
 А. Мингуляна. В джунглях семьи. VII—231.  
 Л. Полонская. Исповедь одинокого художника. VIII—238.  
 П. Попов. Мистификация. III—282.  
 И. Рабинович. Бронзовые пролетарии. XII—267.  
 П. Рожков. Об определенности характеров. VIII—213.  
 П. Рожков. Беспринципная спекуляция под видом критики. IX—238.  
 Р. Самойлович. В борьбе за Арктику. III—213.  
 К. Ситник. Франс Мазерель. VII—275.  
 К. Ситник. Оморэ Домье и его эпоха. VIII—245.  
 Н. Соколова. Рисунки В. А. Серова. VI—269.  
 Н. Славягинский. Литературные манифесты французских реалистов. VI—287.  
 М. Спектатор. Два года фашистской диктатуры. VII—185.  
 Письма Стендаля о литературе. Перевод, предисловие и примечания Н. Славягинского. IV—254.  
 А. Старчаков. А. П. Чехов. (К 75-летию со дня рождения). II—192.  
 А. Старчаков. Заметки об историческом романе. V—265.  
 А. Старчаков. По поводу одной истории. IX—250.  
 А. Старчаков. Два романа. X—252.  
 А. Старчаков. Уход. (К 25-летию со дня смерти Л. Н. Толстого). XI—253.  
 Г. Стрельцов. Хозяйственные итоги 1934 года. I—133.  
 Г. Стрельцов. Два съезда. III—199.  
 П. Сысоев. Вредные идеи под маской марксизма. I—287.  
 И. Трайнин. Пути испанской революции. III—232.  
 Р. Фатуев. Певец из Кахаб-Росо. IV—150.  
 Проф. Н. М. Федоровский. Наши минеральные богатства. VI—225.  
 Проф. Ю. П. Фролов. Значение новых работ школы академика И. П. Павлова для сравнительной физиологии мозга. I—228.  
 Ал. Хамадан. США. XI—204. XII—244.  
 С. Чемоданов. М. М. Ипполитов-Иванов. (К 75-летию со дня рождения). I—278.  
 С. Чемоданов. Творчество Д. Шостаковича. III—293.  
 С. Чемоданов. «Садко» в Большом театре. VII—278.  
 С. Чемоданов. «Кармен» в театре Станиславского. VIII—257.  
 Н. Шкляр. Реконструкция фауны. IV—158.

**А. Юрsev.** По «Счастливой Аравии». IV—188.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

**Б. Анibal.** Лев Зилов, «Новеллы о Толстом». III—302.

**Б. Анibal.** А. Грин, «Фантастические новеллы». IV—266.

**С. Балезин.** А. К. Вальтер, «Атака атомного ядра». V—302.

**Н. Березов.** Агнесса Смэдли, «Китайские судьбы». I—297.

**К. Богаевская.** С. Сергеев-Цейский, «Невеста Пушкина». I—296.

**Е. Брайнина.** Колхозный читатель о книге. VIII—261.

**И. Гронский.** В. Н. Перельман и А. М. Лесюк, «Евгений Кацман». X—267.

**Н. Замков.** Рошфор Анри, «Приключения моей жизни». I—299.

**Н. Замков.** Моруа Андре, «Карьера Дизраэли». II—271.

**С. Ивансв.** П. А. Стрепетова, «Воспоминания и письма». II—270.

**С. Иванов.** Вольтер, «Орлеанская девица». V—301.

**В. Канторович.** Л. Никулин, «Стамбул—Анкара—Измир». IX—270.

**В. Львов.** Дж. Г. Джинс, «Движение миров». I—301.

**В. Львов.** Документ воинствующего идеализма. IV—269.

**Е. Мелкадзе.** В. Г. Перов. III—302.

**Н. Острогорский.** Ив. Катаев, «Отечество». XI—287.

**Ю. Полетяка.** Американские новеллы XX века. X—271.

**А. Роскин.** П. Ширяев, «Высокая земля». VII—286.

**Г. Тарпан.** Л. Соловьев, «Поход «Победителя». IV—267.

**Н. Славягинский.** Ю. Данилин, «Поэты Июльской революции». X—269.

**А. Старчаков.** «Пушкин-критик». VIII—271.

**М. Эгарт.** В. Каверин, «Исполнение желаний» XII—283.

**Эрт.** Як. Рыкачев, «Сложный ход». XII—284.

Редакция:

**А. И. Безыменский.**  
**Ф. В. Гладков.**  
**В. В. Григоренко.**  
**И. М. Гронский.**  
**Л. М. Леонов.**  
**А. Г. Мапышкин.**  
**В. П. Ставский.**

Отв. редактор **И. М. Гронский.**

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».